



**МАРК
ТВЕН**

**ЖАННА
Д'АРК**



*«Жанна Д'Арк» — произведение американского писателя, из творчества которого «вышла вся современная американская литература», Марка Твена (1835–1910).****

Роман «Жанна Д'Арк» (1896) повествует о 17-летней неграмотной девушке, которая спасла Францию и смогла изменить судьбу всей Западной Европы. Книга создана на основе подлинных исторических документов.

Перу Марка Твена принадлежат и такие произведения: «Ниагара», «Средневековый роман», «Окаменелый человек», «Покойный Бенджамин Франклин», «Миссис Мак-Вильямс и молния».

Марк Твен Жанна д'Арк

Личные воспоминания сьера Луи де Конта (ее оруженосца и писца), переведенные Жаном Франсуа Альденом на английский язык с оригинального неизданного манускрипта, хранящегося в национальном архиве Франции

Personal Recollections of Joanof Arc (1896)

Примите во внимание это беспримерное и знаменательное отличие: с тех пор, как начали записывать историю человечества, из всех людей, мужчин и женщин, одной лишь Жанне д'Арк в семнадцать лет было вверено верховное командование войсками народа.

Лайон Кошут

Правдивость предлагаемого рассказа проверена по следующим авторитетным источникам:

J. E. J. Quicherat. Condamnation et Rehabilitation de Jeanne d'Arc.

J. Fabre. Proces de condamnation et Jeanne d'Arc.

H. A. Wallon. Jeanne d'Arc.

M. Sepet. Jeanne d'Arc.

J. Michelet. Jeanne d'Arc.

Berriat de Saint-Prix. La famili de Jeanne d'Arc.

La Comtesse A. de Chabannes. La Vierge Lorraine.

Monseigneur Ricard. Jeanne d'Arc la Venerablel.

Lord Ronald Giwer. Joan of Arc.

John O'Hagan. Joan of Arc.

Janet Tuckey. Joan of Arc the Maid.

ПРЕДИСЛОВИЕ АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДЧИКА¹

Дать справедливую оценку знаменитой личности можно лишь в том случае, если мы воспользуемся мерками ее эпохи, а не нашей. Опьяненные мерилом какого-нибудь столетия, благороднейшие умы более ранней эпохи теряют впоследствии немалую долю своего блеска; примените мерки наших дней, и вы, быть может, не найдете на протяжении четырех или пяти последних веков ни одного знаменитого человека, слава которого оказалась бы всецело неуязвимой. Но личность Жанны д'Арк уникальна. Ее можно оценивать мерками всех времен, без предчувствия или боязни, что выводы будут разноречивы. Пусть ее судят согласно любым воззрениям, пусть ее судят согласно воззрениям всех поколений: душа ее по-прежнему будет кристально чиста, идеально совершенна; образ ее по-прежнему занимает высочайшее место, которое только может быть достигнуто человеком.

Зная, что ее век был самым зверским, гнусным, преступным веком, какого история не знавала с древнейших времен, мы безмерно дивимся чуду подобного всхода на подобной почве. Жанна непохожа на своих современников, как день не походит на ночь. Она оставалась правдивой, когда ложь стала нормой жизни; она была честна, когда честность сделалась утраченной добродетелью; она была верна своему слову, когда ни от кого нельзя было ждать исполнения обещаний; свой великий ум она посвятила великим мыслям и великим целям в то самое время, когда другие великие умы бесплодно увлекались красивыми фантазиями или пустым тщеславием; она была скромна, утонченна, деликатна, когда крикливость и грубость отличали почти всех; она была преисполнена сострадания, когда бессердечная жестокость являлась общим правилом; она была непоколебима, когда стойкостью не обладал никто, и — душевно благородна, когда все уже забыли, что значит благородство души; она была твердыней веры в то время, когда не верили ни во что и насмехались надо всем; она была безупречно искренна среди всепроникавшего лицемерия; среди царства лести и пресмыкания она сохранила неприкосновенным свое личное достоинство; она была олицетворением неустрашимого мужества в те дни, когда надежда и смелость иссякли в сердцах ее народа; она была белоснежно чиста душой и телом в то самое время, когда высшие сословия страны погрязли в грехе телесно и духовно. Такова была она в тот век, когда преступление было привычным делом вельмож и принцев и когда

¹ В качестве «переводчика» выступает сам Марк Твен.(Примеч. ред.)

высшие сановники христианства способны были поразить ужасом даже своих греховных современников и внушить им омерзение картиной своей лютой жизни, позорно протекавшей среди беспримерных жестокостей, низменностей и предательств.

Из всех имен, нашедших место в истории, быть может, только ее имя окружено ореолом полного бескорыстия. Ни следа, ни намек на себялюбие нельзя найти ни в едином ее слове или поступке. Она вернула своего короля из скитаний, возложила ему на голову королевский венец, за что ей были предложены награды и почести, но она от всего отказалась. Единственное, что она готова была принять, будь на то соизволение короля, это — разрешение вернуться в свою деревню, где она опять могла бы пасти стадо овец, где она могла бы снова почувствовать объятия матери и служить ей помощницей по хозяйству. Дальше этого не шло себялюбие неподкупного полководца победоносных войск, соратника принцев, кумира восторженного и благородного народа.

Подвиг Жанны д'Арк можно смело поставить рядом с величайшими деяниями, занесенными в анналы истории, если вспомнить, при каких условиях она его предприняла, сколько преград было на ее пути и какими средствами она располагала. Цезарь — великий завоеватель, но в его распоряжении были испытанные и закаленные римские ветераны, и он сам был опытный воин; Наполеон обращал в бегство дисциплинированные войска европейских держав, но он тоже был опытный воин, и притом батальоны его сподвижников состояли из патриотов, воодушевленных и воспламененных чудодейственным дыханием Свободы, навеянным революцией, — то были полные сил, способные ученики военного дела, а не дряхлые деморализованные и усталые солдаты, угрюмо пережившие вековое нагромождение однообразных поражений. Но Жанна д'Арк, почти дитя, невежественная, неграмотная, простая деревенская девушка, никому не известная и не имевшая влияния, застала великий народ лежащим в цепях, застала народ, уже не ждавший помощи, не имевший надежды, угнетенный чужеземным владычеством; казна была пуста; войска пали духом, разбрелись кто куда; после долгих лет чужеземного и отечественного угнетения и произвола исчезло всякое воодушевление, угасла смелость в сердце народа; король был лишен воли, покорился своей судьбе, готовился к бегству. И Жанна возложила руку на этот народ, на этот труп — и он воспрял и пошел за ней. Она повела его от победы к победе, она обратила вспять поток Столетней войны, она надломилась британскую мощь и умерла с заслуженным именем Освободительницы Франции — именем, которое остается за ней и поныне.

И в награду за все французский король, на которого она возложила венец, неподвижно и безучастно стоял в стороне в то время, как французские попы потащили в тюрьму это благородное, самое невинное, самое милое, наиболее достойное обожания дитя человеческое и — сожгли ее живой на костре.

ОСОБЕННОСТЬ ИСТОРИИ ЖАННЫ Д'АРК

(Примечание английского переводчика)

Подробности жизни Жанны д'Арк в своей совокупности составляют биографию, которая стоит особняком среди всех биографий мира, потому что это единственное жизнеописание, дошедшее до нас под присягой, единственное, которое дошло до нас со свидетельской скамьи. Официальные отчеты Великого суда 1431 года и происходившего четверть века спустя Суда Восстановления хранятся и донныне в Национальном архиве Франции, и в них с замечательной полнотой изложены события ее жизни. Ни одно из остальных жизнеописаний той отдаленной эпохи не отличается такой всесторонностью и достоверностью.

Сьер Луи де Конт в своих личных воспоминаниях «не расходится» с правительственными отчетами, и, по крайней мере, в этом отношении его правдивость не подлежит сомнению; что же касается множества сообщаемых им других подробностей, то здесь остается лишь поверить ему на слово.

СЬЕР ЛУИ ДЕ КОНТ СВОИМ ВНУЧАТЫМ ПЛЕМЯННИКАМ И ПЛЕМЯННИЦАМ

Ныне 1492 год. Мне восемьдесят два года. События, о которых я собираюсь вам рассказать, произошли на моих глазах в моем детстве и в моей юности.

Во всех песнях, жизнеописаниях и сказаниях о Жанне д'Арк, которые вы и весь остальной мир поете, изучаете и читаете, знакомясь с ними по книгам, тисненным новым, придуманным недавно способом книгопечатания, — во всех этих песнях и книгах упоминается обо мне, сыре Луи де Конте. Я — ее бывший оруженосец и писец. Я сопутствовал ей от начала и до конца.

Я воспитывался в той же деревне, где и она. Когда мы оба были маленькими детьми, я играл с ней каждый божий день, как вы играете со своими сверстниками. Теперь, когда мы узнали, как велика была ее душа, теперь, когда слава ее имени распространилась по всему миру, как-то не верится, чтобы мои слова

были правдой; это все равно, как если бы недолговечная, тонкая свеча заговорила о неугасимом солнце, озаряющем небеса, и сказала: «Оно было моим собеседником и сотоварищем, когда было еще свечкой, как я».

А между тем я сказал истинную правду. Я был товарищем ее забав, и я сражался рядом с ней в бою; до глубокой старости я сохранил ясный и нежный образ этого дорогого, хрупкого создания: вот она, припав грудью к шее коня, во главе французских войск несется на врага; ее волосы развеваются по ветру, ее блестящие латы неустрашимо врезаются все глубже и глубже в середину самой жаркой битвы и порой почти утопают в море мелькающих конских голов, почти скрываются за лесом воздетых мечей, треплемых ветром султанов и отражающих удары щитов! Я был с ней рядом до конца; и когда наступил тот черный день, который навсегда ляжет мрачным обвинением на имена ее убийц, одетых в церковные мантии французских рабов Англии, и на имя самой Франции, праздно стоявшей в стороне и ничего не сделавшей для спасения мученицы, — когда наступил тот день, то я получил последнее прикосновение ее руки.

Годы и десятилетия мчались мимо, и зрелище лучезарного полета славной Девы, осветившей, как метеор, боевой небосвод Франции и угасшей в дыму костра, все глубже и глубже отступало в даль минувшего, становясь с каждым годом более загадочным, Божественным и трогательным чудом; и мало-помалу я научился понимать и ценить ее по заслугам — как благороднейшую человеческую жизнь, подобную лишь Одной, посетившей наш мир.

КНИГА ПЕРВАЯ В Домреми

ГЛАВА I

Я сьер Луи де Конт, родился в Невшато 6 января 1410 года, то есть как раз за два года до появления на свет Жанны д'Арк в Домреми. Мои родные еще в первых годах столетия, покинув окрестности Парижа, укрылись в этом захолустье. По политическим воззрениям они были арманьяки — патриоты; они стояли за то, чтобы у нас был свой, французский, король, не взирая на все его слабоумие и беспомощность. Бургундская партия, стоявшая за английскую династию, обобрала нас дочиста. У отца отняли все, кроме его захудалого дворянства, и в Невшато он добрался уже нищим и с разбитыми надеждами. Но политический настрой на новых местах пришелся ему по вкусу — хоть одно утешение. Он попал в область сравнительного спокойствия; а позади осталась область, населенная фуриями, безумцами, демонами; там убийство было ежедневной забавой, и жизнь человека ни на минуту не была вне опасности. В Париже чернь по ночам безумствовала на улицах, грабя, поджигая, убивая, и никто не вмешивался в это, не запрещал. Солнце всходило над разгромленными и дымящимися домами и над изуродованными трупами, которые лежали повсюду среди улиц — лежали там, где упали в минуту смерти, донага обобранные хищниками, нечестивыми прихлебателями черни. Никто не осмеливался подбирать мертвецов и предавать их земле; они продолжали лежать там, разлагаясь и создавая заразу.

И зараза явилась. словно мухи, люди погибали от моровой язвы; погребали покойников под покровом ночи и тайны, потому что запрещено было хоронить при народе, дабы раскрытием размеров чумы не посеять ужаса и отчаяния среди населения. А в завершение всего наступила такая суровая зима, какой Париж не знал за последние пять веков. Голод, мор, убийства, лед, снег — все сразу низринулось на Париж. Мертвецы горами лежали на улицах, а волки среди бела дня рыскали по городу и пожирали трупы.

Франция пала, о, как низко она пала! Уже больше трех четвертей столетия прошло с тех пор, как когти англичан вонзились в ее тело, и войска ее так присмирели от беспрестанных поражений и кровопролитных потерь, что недалеко от правды было ходячее мнение, будто один вид англичан способен обратить в бегство французское войско.

Мне было пять лет, когда на Францию обрушилась страшная трагедия Азенкура; английский король вернулся к себе, чтобы отпраздновать победу, а обессиленная страна была предоставлена как добыча хищным шайкам «вольных дружин», находившимся на службе бургундской партии. Однажды ночью такая шайка совершила набег и на наш Невшато. При свете огня, охватившего наши соломенные крыши, я видел, как всех, кто был мне дорог на этом свете, убивали, не взирая на их мольбы о пощаде. В живых остался только мой старший брат, ваш предок: он находился тогда при дворе. Я слышал, как эти головорезы смеялись над их мольбами и передразнивали их просьбы о милосердии. Меня не заметили, и я остался невредим. Когда ушли кровожадные звери, я выполз из своего убежища и проплакал всю ночь, глядя на пылавшие дома; я был совершенно один, кругом меня находились лишь мертвые да раненые. Все разбежались, попрыгались.

Меня отослали в Домреми, к священнику; его ключница заменила мне нежную мать. Священник мало-помалу научил меня грамоте и письму, и мы с ним были единственными обитателями деревни, умевшими читать и писать.

К тому времени, как я нашел отчий приют в доме этого доброго патера, Гильома Фронта, мне было лет шесть. Мы жили как раз подле сельской церкви, а небольшой садик родителей Жанны находился позади нее. Семейство их состояло из Жака д'Арк, отца; его жены Изабеллы Ромэ; троих сыновей: Жака — десяти лет, Пьера — восьми и Жана — семи; Жанне тогда было четыре года, а ее сестренке Катерине — около одного. У меня были и другие сверстники, в особенности четыре мальчика: Пьер Морель, Этьен Роз, Ноэль Рэнгесон и Эдмонд Обрэ, отец которого был тогда сельским мэром; были еще две девочки, почти однолетки с Жанной, мало-помалу сделавшиеся ее закадычными приятельницами: одну звали Ометтой, другую — маленькой Менжеттой. Девочки эти принадлежали к простым крестьянским семьям, как и сама Жанна. Впоследствии они обе вышли замуж за простых крестьян. Как видите, происхождения они были не бог весть какого; и однако много лет спустя наступило время, когда каждый путешественник, как знатен он ни был, считал своим долгом зайти, при проезде через наше село, к двум смиренным старушкам, которым в юности выпала честь быть подругами Жанны, и заплатить им дань уважения.

Все это были славные дети, обыкновенные дети крестьян. Конечно, ума не блестящего — вы этого и не стали бы от них требовать, — но добродушные и хорошие товарищи, с послушанием относившиеся и к родителям, и к священнику. Подрастая, они все больше и больше набирались узких понятий и предрассудков, заимствованных через третьи руки от старших и воспринятых без колебаний — как само собой разумеющееся. Религия передалась им по наследству, как и политические воззрения. Пусть себе Ян Гус и его присные заявляют о своем недовольстве Церковью — Дом-реми, как и прежде, будет верить по старинке. Мне было четырнадцать лет, когда наступил раскол, и у нас оказалось сразу трое Пап; но в Домреми никто не колебался, на ком из них остановить свой выбор: Папа, находящийся в Риме, — настоящий, а Папа вне Рима — вовсе не Папа. Все обитатели деревни, до последнего человека, были арманья-ки — патриоты; и если мы, дети, ни к чему другому не питали ненависти, то уж бургундцев и англичан ненавидели горячо.

ГЛАВА II

Наш Домреми ничем не отличался от любой серенькой деревушки той отдаленной поры. То была сеть кривых, узких проездов и проходов, где царилась тень от нависших соломенных крыш убогих домов, похожих на амбары. В дома проникал скудный свет через окна с деревянными ставнями, то есть через дыры в стенах, служивших вместо окон. Полы были земляные, обстановка жилищ отличалась крайней бедностью. Овцеводство да рогатый скот были главным промыслом; вся молодежь была в пастухах.

Местоположение было очаровательно. Сбоку деревни, от самой околицы, широким полукругом раскинулся цветущий луг, подходя к берегу реки Мезы; а позади села постепенно возвышался поросший травой скат, на вершине которого был большой дубовый лес — глубокий, сумрачный, дремучий и несказанно заманчивый для нас, детей, потому что в старину не один путник погиб там от руки разбойника, а еще раньше того были там логовища огромных драконов, которые извергали из ноздрей пламя и смертоносные пары. По правде сказать, один из них еще ютился в лесу и в наши дни. Он был длиною с дерево, тело его в обхвате было как бочка, чешуя — словно огромные черепицы, глубокие кровавые глаза — величиной со шляпу всадника, а раздвоенный, с крючками, точно у якоря, хвост так велик, как уж не знаю что, только величины необычайной даже для дракона, как говорили все знавшие в драконах толк. Предполагали, что дракон этот — ярко-синего цвета с золотыми крапинами, но никто его не видал, а потому нельзя было сказать этого с уверенностью; то было лишь устоявшееся предположение. Я мнения этого не разделял; по-моему, какой смысл создавать то или иное мнение, если не на чем его основать? Сделайте человека без костей; на вид-то он, пожалуй, будет хорош, однако он будет гнуться и не сможет устоять на ногах; и мне думается, что доказательство это — остов всякого мнения. Что касается дракона, то я всегда был уверен, что он был сплошь золотого цвета, без всякой синевы, ибо такова всегда была окраска драконов. Одно время дракон укрывался где-то совсем недалеко от опушки леса; подтверждением чего служит то обстоятельство, что Пьер Морель однажды пошел туда и, услышав запах, сразу узнал по нему дракона. Жутко становится при мысли, что иной раз мы, сами того не зная, находимся в двух шагах от смертельной опасности.

Будь это в стародавние времена, человек сто рыцарей отправились бы туда из далеких стран, чтобы по очереди попытаться убить его и покрыть свое имя славой, но в наше время этот способ перестал применяться; теперь с драконами воюют священники. И отец Гильом взял на себя этот труд. Он устроил процессию со свечами, ладаном и хоругвями, и обошел опушку леса, и изгнал дракона, и после того никто о нем ничего не слышал, хотя, по мнению многих, запах так полностью и не улетучился. Не то чтобы кто-либо замечал этот запах — вовсе нет; это опять-таки было лишь частное мнение, и тоже — мнение без костей, как

видите. Я знаю точно, что чудовище было там до процедуры изгнания; а осталось ли оно и после — этого я утверждать не берусь.

На возвышенности, ближе к Вокулеру, была красивая открытая равнина, устланная ковром зеленой травы; там стоял величавый бук, широко раскинувший ветви и защищая своей могучей тенью прозрачную струю холодного родника; и летними днями дети отправлялись туда — каждый летний день на протяжении пяти столетий! И пели и плясали вокруг дерева по несколько часов подряд, утоляя жажду ключевой водой. Как это было хорошо и весело! Они сплетали гирлянды цветов, вешая их на дерево и вокруг родника, чтобы порадовать живших там фей; а тем это нравилось, потому что все феи — невинные и праздные маленькие существа, любящие все нежное и красивое, вроде сплетенных в гирлянды диких цветов. И в благодарность за эти знаки внимания феи старались сделать для детей все, что было в их силах; они, например, заботились, чтобы источник всегда был чист, прохладен и обилен водой; они прогоняли змей и насекомых, которые жалят. И таким образом, на протяжении более пятисот лет (а по преданию — целое тысячелетие) между феями и детьми существовали самые дружественные, обоюдно доверчивые отношения, не омрачавшиеся никакими ссорами. Если кто-нибудь из детей умирал, то феи грустили о нем не меньше сверстников, и вот доказательство: перед рассветом, в день похорон, они вешали маленький венок из иммортелей над тем местом под деревом, где обыкновенно сидел умерший ребенок. Я убедился в этом воочию, не понаслышке. И вот почему все знали, что венок принесен феями: он весь состоял из черных цветов, каких во Франции нигде не встретишь.

И вот с незапамятных времен все дети, подраставшие в Домреми, назывались «детьми Древа»; и они любили это прозвище, потому что в нем заключалось какое-то таинственное преимущество, не дарованное остальным детям. А преимущество заключалось вот в чем: лишь только приближался для кого-нибудь из них час смерти, как среди смутных образов, теснившихся перед их угасающим взором, вставало прекрасным и нежным видением дерево во всей роскоши своего наряда, если совесть умирающего была спокойна. Так говорили одни. Другие говорили, что явление бывает дважды: сначала как предостережение, за год или за два до смерти, когда душа еще находится во власти греха; и при этом дерево будто бы предстает с оголенными ветвями, словно среди зимы, а душу охватывает непреодолимый страх. Если наступает раскаяние и человек переходит к непорочной жизни, то видение является вторично, и на этот раз — в красоте летнего убора. Но оно не повторяется для души нераскаянной, и она переселяется в иной мир, заранее зная свою участь. А третьи говорили, что видение бывает только один раз, являясь лишь безгрешным, которые умирают на далекой чужбине и тоскливо жаждут какого-нибудь последнего милого напоминания о своей отчизне. И какое напоминание может быть так же дорого их сердцу, как образ дерева, которое было баловнем их любви, товарищем их забав, утешителем их маленьких горестей во все божественные дни улетевшей юности?

Итак, на этот счет были разные предания, одни верили первому, другие — другому. Одно из них — а именно последнее — я признаю истинным. Я ничего не возражаю против остальных; я думаю, что и они верны, но про истинность последнего я знаю; и я нахожу, что если всякий будет придерживаться лишь того, что ему известно, не затрагивая вопросов, недостаточно ему доступных, то он приобретет большую устойчивость понятий, а в этом польза. Я знаю, что если «дети Древа» умирают в дальних странах и если они вели праведную жизнь, то, обратив тоскующий взор к своей родине, они видят как бы сквозь разорванную тучу, затемнявшую небеса, сияющий вдалеке ласковый образ Древа Фей, дремлющий в ореоле золотого света; и они видят цветущий луг, скатом идущий к реке, и до их угасающего обоняния доносится слабый и отрадный аромат цветов отчизны. И затем видение бледнеет, исчезает... но они знают, они знают! А по их преображенному лику и вы, стоя у смертного ложа, знаете; да, вы знаете, какая весть пришла сейчас, вы знаете, что весть эта ниспослана Небом.

Жанна и я — мы оба верили в это. Но Пьер Морель, Жак д'Арк и многие другие были уверены, что видение является дважды — грешникам. В самом деле, они и многие другие говорили, что точно знают это. Вероятно, их родители знали это и сообщили им: ведь в нашем мире познания приобретаются по большей части не из первых рук.

Вот одно обстоятельство, благодаря которому можно поверить, что действительно Древо являлось дважды: с самых незапамятных времен, если замечали кого-нибудь из наших односельчан с побледневшим и помертвевшим от страха лицом, то соседи начинали перешептываться: «А, он осознал свои грехи, он получил предостережение!» И сосед содрогался от ужаса и отвечал шепотом: «Да, бедняга, он увидел Древо».

Подобные доказательства имеют все: их нельзя устранить мановением руки. То, что находит подтверждение в неизменности опыта на протяжении веков, естественным образом приобретает все большую и большую устойчивость; и если так будет продолжаться да продолжаться, то в конце концов подобное мнение сделается неоспоримым — и уж это будет крепкая скала, которую не сдвинешь.

За свою долгую жизнь я наблюдал несколько случаев, когда Древо являлось вестницей смерти, которая была еще далеко; но ни один из умиравших не был во власти греха.

Нет, видение в этих случаях было лишь знамением особой милости; вместо того чтобы приберечь весть о спасении души до часа смерти, оно приносило эту весть задолго до того, а вместе с нею дарило спокойствие, которое уже не могло быть нарушено, — спокойствие души, навеки примиренной с Богом. Теперь уже я сам, хилый старик, жду с просветленной душой, ибо мне послано было видение Древа. Я видел его, я счастлив.

С незапамятных времен дети, кружась хороводом вокруг Древа Фей, пели всегда одну и ту же песню Древа, песню *L'Arbre Fee de Bourlemont* Бурлемонское Древо Фей (*фр.*). . В этой песне звучала тихая грациозная мелодия, та отрадная и нежная мелодия, которая всю жизнь слышалась мне в часы душевного раздумья, когда мне было тяжело и тоскливо; она убаюкивала меня среди ночи и из дальних стран уносила на родину. Чужеземцу не понять, не почувствовать, чем была на протяжении столетий эта песня для брошенных на чужбину «питомцев Древа», для бездомных скитальцев, тоскующих в стране, где не услышишь родного слова, не встретишь родных обычаев. Песня эта нехитра; вы, быть может, найдете ее жалкой, но не забывайте, чем была она для нас и какие образы прошлого она воскрешала перед нами, тогда и вы ее оцените. И вы тогда поймете, почему слезы навертывались у нас на глазах, затуманивая взор, и почему у нас голос прерывался, когда мы доходили до последних строк:

И если мы, в чужих краях,
Будем звать тебя с мольбой,
С словами скорби на устах, —
То осени ты нас собой!

Не забудьте, что Жанна д'Арк, когда была ребенком, пела вместе с нами эту песню вокруг Древа и всегда любила ее. А это освящает песню; да, вы с этим согласитесь.

L'ARBRE FEE DE BOURLEMONT

Детская песня

Чем живет твоя листва,
L'Arbre Fee de Bourlemont?
Росою детских слез! Без слов
Ласкаешь плачущих юнцов,
К тебе спешащих, чтоб излить
Перед тобою скорбь свою
Тебя ж — слезами напоить.

И отчего твой ствол могуч,
L'Arbre Fee de Bourlemont?
Оттого, что много лет
Любовь жила в сердцах детей
И берегла тебя любовь.
И лаской маленьких людей
Ты возрождалось в жизни вновь.

Не увядай у нас в сердцах,
L'Arbre Fee de Bourlemont!
И мы, до склона наших дней,
Пребудем в юности своей,
И если мы, в чужих краях,
Будем звать тебя с мольбой,
С словами скорби на устах, —
То осени ты нас собой!

Когда мы были детьми, феи все еще находились там, хотя мы их никогда не видали, потому что за сто лет до того священник из Домреми совершил под Древом церковный обряд и проклял фей как исчадие дьявола, как тварей, которым закрыт доступ к спасению; а затем он запретил им показываться на глаза людям и вешать на Древо венки под угрозой вечного изгнания из нашего прихода.

Все дети заступились за фей, говоря, что те всегда были их добрыми друзьями, были им дороги и не сделали им ничего дурного; однако патер ничего не хотел и слушать и заявил, что стыдно и грешно водиться с такими друзьями. Дети плакали в безутешном горе; они договорились, что впредь всегда будут по-прежнему вешать на Древо гирлянды цветов как вечное знамение феям, что их все еще любят, что о них не забыли, хотя они и перестали быть видимы.

Но как-то поздно вечером нагрянула беда. Мать Эдмонда Обрэ проходила мимо Древа, а феи тайком устроили хоровод, не ожидая, что кому-нибудь случится здесь проходить; и они так разрезвились, так увлеклись диким весельем пляски, так опьянели от выпитых бокалов росы, приправленной медом, что ничего не замечали; и кумушка Обрэ остановилась, охваченная изумлением, и смотрела, очарованная, как сказочные крошки, числом до трехсот, взявшись за руки, несутся вокруг дерева хороводом шириной в половину обыкновенной спальни, и откидываются назад, и разевают роты, заливаясь смехом и песней (это она расслышала вполне явственно), и в веселом самозабвении скидывают ножонками на целых три дюйма от земли, — о, ни одной женщине не пришлось видеть такую безумную и волшебную пляску!

Но через минуту-другую маленькие бедняжки увидели ее. В один голос они разразились надрывающим сердце писком скорби и ужаса и пустились бежать врассыпную, зажав крошечными, как орешки, кулачками глаза и проливая горючие слезы. И скрылись из виду.

Бессердечная женщина — нет, неразумная женщина, она не была бессердечна, но лишь безрассудна — тотчас пошла домой и разболтала обо всем соседям, покуда мы, юные друзья фей, спали крепким сном, не подозревая, какая нам грозит беда, и не помышляя, что нас следовало бы всем вскочить с постели и попытаться остановить эту роковую болтовню. Наутро уже все об этом знали, и, таким образом, несчастье было неминуемо, ибо о чем все знают, о том знает, конечно, и священник. Мы пошли к отцу Фронту с плачем и мольбами; и он, видя нашу печаль, тоже не мог удержаться от слез, потому что у него было очень нежное и доброе сердце; он сказал, что вовсе не рад изгонять фей, да только не может иначе поступить, потому что ведь решено было, что если они когда-нибудь еще раз покажутся на глаза человеку, то должны быть изгнаны. Случилось все это в самую злосчастную пору, так как Жанна д'Арк лежала больная, в горячке, без сознания, а что могли поделать мы, не умевшие рассуждать и убеждать, как она? Мы гурьбой побежали к Жанне и звали ее: «Жанна, проснись! Проснись, нельзя терять ни минуты! Поди и заступись за фей — поди и спаси их! Вся надежда на тебя».

Но она была в бреду и не понимала, что мы ей говорили, чего добивались; и мы пошли обратно, чувствуя, что все потеряно. Да, все было потеряно, потеряно навеки. Преданные друзья детей, не разлучавшиеся с ними пять столетий, должны были покинуть наши места навсегда.

Горьким днем был для нас тот день, когда отец Фронт совершил у подножия Древа церковный обряд и изгнал фей. Мы не смели открыто носить траур — этого нам не позволили бы; пришлось довольствоваться кое-какими лоскутками черной материи, приколотыми к платью так, чтобы не бросалось в глаза; но сердца наши облеклись в полный, благородный, всеобъемлющий траур, ибо наши сердца принадлежали нам, и никто не мог добраться до них, чтобы наложить запрет.

Великое Древо — l'Arbre Fee de Bourlemont было его звучное прозвание — с тех пор уже не было для нас тем, чем было раньше; но по-прежнему оно было нам дорого; оно дорого мне и теперь, и я, седой старик, отправляюсь туда раз в год, чтобы присесть под ним и воскресить перед собой умерших товарищей детства, и собрать их вокруг себя, и сквозь слезы смотреть на их лица... и чувствовать, как сердце надывается! О Боже!.. Нет, место с тех пор перестало быть тем, чем было прежде. Кое-что оно должно было утратить; ведь с прекращением покровительства фей родник лишился немалой доли своей свежести и прохлады, и воды в нем убыло на две трети, и изгнанные змеи и докучные насекомые вернулись и начали размножаться, сделавшись местным бичом, и остаются там и поныне.

Жанна, это мудрое маленькое дитя, выздоровела, и только тогда мы поняли, во что обошлась нам ее болезнь; ибо мы увидели, что не напрасно верили, что она могла бы спасти фей. Она пришла в такой сильный гнев, какого никто не ожидал бы от столь малого ребенка, и, тотчас отправившись к отцу Фронту, стала перед ним, почтительно присела и сказала:

— Феи должны были удалиться навсегда, если бы вздумали еще хоть раз показаться на глаза людям, не так ли?

— Именно так, дитя мое.

— Если человек в полночь ворвется в спальню другого, когда тот полураздет, то можно ли сказать, что тот показался на глаза первому?

— Ну нет, — ответил добрый патер, уже несколько встревоженный и растерянный.

— Неужели грех всегда остается грехом — даже в том случае, когда ты не имел намерения совершить его?

Отец Фронт воскликнул, воздев руки к небу:

— О бедное дитя мое, я уразумел всю глубину своей ошибки. — И он привлек ее к себе и обнял ее рукой, пытаясь лаской примирить ее, но она была так рассержена, что не могла сразу же перейти на мирный тон, и, припав лицом к его груди, разразилась рыданиями.

— Значит, феи не совершили никакого греха, — сказала она, — у них не было намерения совершить его, они ведь не знали, что поблизости находится человек. И только потому, что они — маленькие бессловесные создания, которые не могли замолвить за себя словечко и сказать, что закон направлен лишь против умысла, а не против их невинного проступка; только потому, что у них не оказалось друга, который продумал бы эту простую мысль до конца и заявил бы о том в их защиту, — только потому их навеки изгнали из родины! Несправедливо было такое решение, несправедливо!

Добрый патер еще ближе привлек ее к себе и сказал:

— Устами детей и младенцев грудных произносится суд над нерадивыми и безрассудными! Перед лицом Господа говорю, что ради тебя я бы хотел вернуть маленьких созданий. И ради себя самого! Ради себя самого! Ибо неправосуден был я в этом деле. Полно, полно, перестань плакать — если бы ты знала, как огорчен я сам, твой бедный старый друг, перестань же плакать, голубушка.

— Но не могу же я сразу так перестать, дайте выплакаться. А это вовсе не пустяки — то, что вы наделали. Если вы немного огорчены — так разве этого довольно, чтобы искупить такую вину?

Отец Фронт отвернулся, чтобы скрыть от нее улыбку, которая могла бы ее обидеть.

— О жестокая, но справедливая обвинительница, конечно, этого не довольно. Погоди, я надену власяницу и посыплю себе пеплом голову. Довольно с тебя?

Рыдания Жанны начали затихать, и вот она взглянула на старика сквозь слезы и простодушно сказала:

— Хорошо, это годится, если только этим искупится ваша вина.

Отец Фронт, быть может, опять засмеялся бы, но вовремя вспомнил, что таким образом он принял на себя обязательство, и притом не из самых приятных. А обязательства надо выполнять. И вот он поднялся с кресла и подошел к очагу; Жанна между тем следила за ним с большим любопытством; он взял на лопатку пригоршню холодной золы и уже готовился насыпать ее себе на седины, но тут в его уме промелькнула счастливая мысль.

— Не хочешь ли помочь мне, голубушка? — сказал он.

— Как это, отец мой?

Он опустил на колени и, поникнув головою, ответил:

— Возьми пепел и насыпь его мне на голову.

Само собой, тем дело и кончилось. Победа была на стороне священника. Легко представить себе, что Жанне и любому из деревенских ребят показалась бы ужасной одна мысль о подобном кошунстве. Она подбежала и бросилась рядом с ним на колени.

— Ах, как страшно! — произнесла она. — Я до сих пор не знала, что значит власяница и пепел... Пожалуйста, встаньте, отец мой.

— Не могу, пока не получу прощения. Прощаешь ли ты меня?

— Я? Да ведь вы, отче, не причинили мне никакого зла. Это вы сами должны простить себя за несправедливый поступок с теми бедняжками. Пожалуйста, встаньте же, отец мой, встаньте!

— Но в таком случае мое положение еще затруднительнее. Я-то думал, что должен снискать твое прощение, а раз я сам должен себе простить, то я не могу быть снисходительным; не подобало бы это мне. Что же мне делать? Придумай для меня какой-нибудь выход, в твоей маленькой головке ведь ума палата.

Патер не трогался с места, несмотря на все просьбы Жанны. Она уже готова была снова расплакаться, но тут ее надоумило, и, схватив лопатку, она высыпала себе прямо на голову золу и пробормотала, задыхаясь и чихая:

— Ну, вот... кончено. Встаньте же, пожалуйста, отец мой! Старик, которого это и растрогало и позабавило, прижал

ее к сердцу и сказал:

— Несравненное ты дитя! Такое мученичество смиренно; такого мученичества не стали бы изображать на картинах; но оно проникнуто духом истины и справедливости. Свидетельствую об этом!

Затем он смахнул пепел с ее волос и помог ей умыться и вообще оправиться. Теперь он совсем развеселился и почувствовал расположение к дальнейшим рассуждениям, а потому он снова занял свое место и привлек к себе Жанну.

— Жанна, — начал он, — ты ведь нередко сплетала там, у Древа Фей, гирлянды цветов вместе с другими детьми, не так ли?

Он всегда подступал с этой стороны, когда хотел завлечь меня приманкой и поймать на слове, — всегда вот такой спокойный, равнодушный тон, которым так легко тебя дурачить, так легко направить в ловушку, а ты и не замечаешь, куда идешь, — опомнишься только тогда, когда дверца за тобой уже захлопнулась. Он очень любил эти штуки. Я уже видел, что он сыплет зернышки перед Жанной. Она ответила:

— Да, отец мой.

— А вешала ты гирлянды на Древо?

— Нет, отец мой.

— Не вешала?

— Нет.

— Почему же?

— Я... ну, да я не хотела этого.

— Не хотела?

— Нет, отец мой.

— А что же ты делала с цветами?

— Я вешала их внутри церкви.

— Почему же тебе не хотелось вешать их на Древо?

— Потому что я слышала, будто феи сродни дьяволу, и мне говорили, что оказывать им почести грешно.

— И ты верила, что нехорошо оказывать им такую почесть?

— Да. Я думала, что это должно быть нехорошо.

— Но если нехорошо было так почитать их и если они сродни дьяволу, то ведь они могли бы оказаться опасными товарищами для тебя и для других детей, не правда ли?

— Я думаю, так... Да, я согласна с этим.

Он задумался на минуту, и я был уверен, что он собирается прихлопнуть капкан. Так оно и было. Он сказал:

— Дело обстоит ведь так. Феи — это гонимые твари; они бесовского происхождения; их общество могло бы оказаться опасным для детей. Так приведи же мне разумную причину, голубушка, если только ты будешь в силах придумать ее, почему ты считаешь несправедливым, если их обрекли на изгнание, и потому ты хотела бы их спасти от этого? Короче говоря, ты-то что потеряла?

Как глупо было с его стороны повести так дело! Будь он мальчишкой, я непременно намылил бы ему голову с досады. Он все время был на верном пути и вдруг все испортил своим нелепым и роковым заключением. Она-то что потеряла! Да неужели он никогда не поймет, что за дитя эта Жанна д'Арк? Неужели он никогда не догадается, что ей никакого дела нет до того, что связано с ее личной выгодой или утратой? Неужели он никогда не постигнет той простой мысли, что есть одно, только одно верное средство задеть ее за живое и пробудить в ней огонь — это показать ей, что кому-то другому грозит несправедливость, или обида, или утрата? Право, он взял да и расставил сам себе западню — вот все, чего он достиг.

В ту же минуту, как эти слова сорвались у него с языка, Жанна вскипела, слезы негодования показались на ее глазах, и она обрушилась на него с таким воодушевлением и гневом, что он был поражен; но меня это не удивило, так как я знал, что он поджег мину, когда добрался до своей злополучной тирады.

— Ах, отец мой, как вы можете говорить подобные вещи? Кто владеет Францией?

— Бог и король.

— Не сатана?

— Сатана? Что ты, дитя мое: ведь эта страна — подножие Вседержителя, и сатана не владеет здесь ни единой пядью земли.

— Ну а кто же указал тем бедным созданиям их жилище? Бог. Кто охранял их на протяжении всех этих столетий? Бог. Кто позволил им резвиться и плясать под деревом, кто не видел в том ничего дурного? Бог. Кто восстал против Божьего соизволения и пригрозил им? Человек. Кто захватил их врасплох среди невинных забав, дозволенных Богом и запрещенных людьми, кто привел в исполнение угрозу и изгнал бедняжек из обители, которую даровал им Господь Всеблагий и Всемиловитый, Господь, пять веков посылавшим им знамение Своего благоволения: и дождь, и росу, и солнечный свет? Ведь то была их обитель — их, волею и милосердием Господа, и ни единый человек не имел права отнять ее у них. А они ведь были самыми милыми и верными друзьями детей, они оказывали им нежные и любвеобильные услуги все эти долгие пять веков, они никого не обидели, не причинили никому зла; и дети любили их, а теперь грустят по ним, и нет исцеления их скорби. И чем провинились дети, что им пришлось понести эту жестокую утрату? Вы говорите, бедные феи могли бы оказаться опасными товарищами для детей? Да — но не были; а «могли бы» — разве это довод? Сродни дьяволу? Так что же? Сородичи дьявола имеют права, и они их имели; дети имеют права, и здешние дети их имели; и будь я здесь тогда, я не промолчала бы, я стала бы просить за детей и за сородичей дьявола, я остановила бы вашу руку и спасла бы их всех. Но теперь... ах, теперь все потеряно! Все потеряно, и неоткуда ждать помощи!

Закончила она свои слова горячим осуждением той мысли, что феям, как сородичам дьявола, надо отказывать в людском сочувствии и дружбе, что надо от них сторониться, потому что им закрыт доступ к спасению. Она говорила, что именно по этой причине люди должны их жалеть и окружать их всяческой

любовью и лаской, чтобы заставить их забыть о жестокой доле, которая досталась им по случайности рождения, а не по их собственной вине.

— Бедные созданыца! — сказала она. — Какое же сердце у того человека, который жалеет христианское дитя, но не чувствует жалости к детям дьявола, хотя тем это в тысячу раз нужнее!

Она вырвалась из рук отца Фронта и залилась слезами, утирая кулачками глаза и гневно топая ножкой. Вот она кинулась к дверям и ушла, прежде чем мы успели прийти в себя после этой бури упреков, после этого урагана страсти.

Патер, наконец, поднялся на ноги и постоял некоторое время, проводя рукой по лбу, как человек озадаченный и встревоженный; затем он повернулся и побрел к двери своей рабочей каморки. Он переступил через порог, и я слышал, как он пробормотал сокрушенно:

— Горе мне! Бедные дети, бедные сородичи сатаны — у них действительно есть права, и она сказала истину... Я и не подумал об этом. Да простит мне Господь — я заслужил наказание.

Слыша эти слова, я убедился, что был прав, ожидая, не попадет ли он сам в свою же ловушку. Так оно и вышло, он сам попался туда, как видите. В первую минуту это придало мне бодрости, и я подумал, не удастся ли и мне когда-нибудь поймать его в капкан; но, поразмыслив, снова пал духом: куда мне!

ГЛАВА III

По поводу этого рассказа я вспоминаю о множестве других событий, о которых я мог бы поговорить, но пока считаю за лучшее не касаться их. Сейчас я в таком настроении, что мне будет приятнее воскресить скромную картину простого и непритязательного уюта, царившего у наших домашних очагов в те мирные дни, особенно в зимнее время. Летом мы, малыши, с утра и до вечера пасли стада на просторе нагорных пастбищ, где вволю можно было порезвиться и пошуметь; но зимой была спокойная пора, зимой была пора уюта. Частенько собирались мы у старого Жака д'Арк, в его просторной горнице с земляным полом. Ярко топилась печка, а мы выдумывали разные игры, пели песни, гадали, слушали, как старики рассказывают длинные были и небылицы. То да другое — смотришь, уж полночь.

Как-то зимним вечером собралась там вся наша компания — это было как раз в ту зиму, которую много лет потом вспоминали, как «лютую зиму», а в ту ночь погода особенно бушевала. На дворе дул сильный ветер, и его завывание действовало на нас возбуждающе; по-моему, это звучало даже красиво, потому что, думается мне, величественным, благородным и прекрасным кажется ветер, который злится, бушует и поет свою лихую песню, в то время как ты сидишь дома, среди тепла и уюта. А мы были именно в такой обстановке. Огонь гудел, дождь со снегом монотонно и ласково капал вниз по трубе; жужжанье веретена, смех и песни продолжались вовсю до десяти часов, а там подавался ужин из горячей похлебки, бобов и пирожков.

Жанночка сидела в сторонке, на одном сундуке, а на другом стояла ее миска и лежала краюха хлеба; она была окружена своими любимцами, которые «помогали» ей. Любимцев у нее было больше, чем обыкновенно и чем допускала бережливость, потому что все бездомные кошки пристраивались к ней, а другие, бесприютные и невзрачные животные, прослышав об этом, тоже являлись и разносили молву дальше, другим тварям, и те тоже приходили. Птицы и прочие робкие и дикие обитатели лесов не боялись ее и всегда при встрече признавали в ней своего друга и, обыкновенно, завязывали с ней знакомство, чтобы получить приглашение на дом. Таким образом, у нее всегда было вдоволь представителей всех этих пород. Ко всем она относилась одинаково гостеприимно, так как всякая живая тварь была ей мила и дорога, просто потому, что это — живая тварь, независимо от того, какого она роду-племени. И она не признавала ни клеток, ни ошейников, ни цепей, предоставляя животным свободно приходить и уходить, когда им вздумается; это им нравилось, и они приходили; но нельзя сказать, что они всякий раз уходили, и потому они были страшной помехой в доме, так что Жак д'Арк из-за них изрядно бранился; однако жена возражала ему на это, что ребенку этот врожденный дар ниспослан Господом, а Бог знал, зачем Он так ее одарил, — значит, так оно и нужно: неразумно было бы вмешиваться в Его дела, коли на то не было предуказаний. Итак, любимцев оставили в покое, и они, как я сказал, находились все тут же: кролики, птицы, белки, кошки и иные «рептилии» — все они окружили девочку и, проявляя немалую любознательность к ее ужину, помогали по мере своих сил. На ее плече сидела крошечная белка и, встав на задние лапки, вертела коготками черствый кусок доисторического каштанового пирога, выискивая наименее затвердевшие места; всякий раз, как ее поиски увенчивались успехом, она поматывала поднятым трубой пушистым хвостом и поводила заостренными ушами в знак благодарности и удивления, а затем отпиливала это местечко теми двумя тонкими резцами, которыми каждая белка снабжена именно для этой цели, а не для красоты. Красивыми ее передние зубы назвать нельзя — с этим согласится всякий, кто присмотрится к ней поближе.

Все чувствовали себя отлично, весело, непринужденно. Но вот идиллия прервалась: кто-то постучал в дверь. Оказалось, один из тех оборванных бродяг, которыми непрекращающиеся войны наводнили страну.

Он вошел, весь в снегу, вытер ноги, отряхнулся, закрыл дверь, снял свою затасканную изорванную шапку и раза два шлепнул ею себя по бедру, чтобы стряхнуть снег, а затем обвел взором наше сборище; на его худощавом лице появилось выражение удовольствия, а в глазах при виде яств отразились голод и вождление; произнес учтивое и заискивающее приветствие, он заговорил о том, как отрадно в подобную ночь сидеть у такого огня, под защитой такого крова, и вкушать такую богатую трапезу, и калякать с дорогими друзьями, — о да, вот уж по правде можно сказать, милостив будь, Господи, ко всем бездомным и к тем, что должны в такую погоду тащиться по дороге.

Никто ничего не ответил. Бедняга, смутившись, стоял на том же месте и умоляюще смотрел то на того, то на другого, но не встретил приветливого взора; и его улыбка мало-помалу начала меркнуть, сглаживаться и — исчезла. И он потупил глаза, мускулы его лица дрогнули; он поднял руку, чтобы скрыть это проявление слабости, которое не подобает мужчине.

— Садись на место!

Грозный окрик этот исходил от старого Жака д'Арк и обращен он был к Жанне. Незнакомец вздрогнул и отнял руку от лица: перед ним стояла Жанна, предлагая свою миску с похлебкой.

Он произнес:

— Господь Всемогущий да благословит тебя, дитя мое!

И слезы ручьем потекли по его щекам, но он не смел принять миску.

— Слышишь? Садись на место, говорю тебе!

Не было ребенка уступчивее Жанны, но не так надо было ее уговаривать. Этого искусства ее отец не знал — да и не мог бы ему научиться. Жанна ответила:

— Батюшка, ведь он голоден — я же вижу.

— Пусть тогда заработает себе на хлеб. Такие молодчики объедают нас, выживают из дому, и я сказал, что больше этого не потерплю, и сдержу свое слово. В нем по лицу сразу узнаешь мошенника и негодяя. Садись, садись, говорят тебе!

— Я не знаю, негодяй он или нет, но он голоден, батюшка, и он получит мою похлебку — мне не хочется есть.

— Если ты не послушаешь меня, я... Негодяям вовсе не пристало приходить за едой к честному люду, и они не получают в этом доме ни куска, ни глотка! Жанна!!

Она поставила миску на крышку сундука, подошла и, став перед нахмуренным отцом, сказала:

— Батюшка, если ты не разрешишь мне, то пусть будет по-твоему. Но мне хотелось бы, чтобы ты задумался, тогда ты увидишь, что несправедливо было бы наказывать одну часть его тела за то, в чем повинна другая; ведь в злых делах повинна голова этого бедного путника, но не голова его голодна — голодает желудок, который никому не причинил вреда, желудок, который не заслужил упрека и ни в чем не повинен и не сумел бы совершить преступление, даже если бы желал. Пожалуйста, позволь...

— Что это ты мелешь? Да я такой чепухи отроду не слыхивал!

Но тут вмешался Обрэ, сельский староста, любитель словопрений и большой мастер по этой части, как все единодушно признавали. Встав со своего места и опершись руками на стол, он с непринужденным достоинством посмотрел вокруг себя, как подобает оратору, и начал говорить плавно и убедительно:

— Я не разделяю вашего мнения, кум, и беру на себя задачу доказать всем присутствующим, — тут он обвел нас взором и самоуверенно кивнул головой, — доказать, что в словах ребенка есть здравый смысл. Видите ли, в чем дело: не подлежит сомнению та непреложная и легко доказуемая истина, что голова человека есть властелин и верховный правитель всего тела. Допускаете? Не желает ли кто возразить? — Он опять глянул кругом: все выразили согласие. — Ну и отлично. А раз это так, то ни единая часть тела не ответственна, если она исполняет приказание, отданное головой; ergo Следовательно(лат.). , только голова ответственна за преступления, совершенные руками человека, или его ногами, или желудком. Понимаете вы мою мысль? Прав ли я пока?

Все ответили «да!» — и ответили с восторгом, а иные говорили друг другу, что староста сегодня в ударе, как никогда. Это очень понравилось старосте, так что его глаза засверкали от удовольствия: похвалы не прошли мимо его ушей. И он продолжал тем же богатым и блестящим словом:

— Ну, рассмотрим же теперь, что такое — понятие об ответственности и какую роль оно занимает в разбираемом вопросе. Ответственно делает человека ответственным только за те деяния, за которые он ответствен в собственном смысле слова, — и он сделал широкий взмах ложкой, чтобы подчеркнуть обширность природы всех тех ответственностей, которые возлагает на людей ответственность.

Некоторые из слушателей благоговейно воскликнули: «Он прав! Он сумел выложить всю эту путаницу как на ладони! Просто диво!»

Он на минуту остановился, для вящего поощрения и усиления любопытства, и заговорил снова:

— Прекрасно. Предположим такой случай: щипцы упали человеку на ногу и причинили жестокую рану. Станете ли вы утверждать, что щипцы подлежат за это наказанию? Вы уже ответили на вопрос: по вашим

лицам вижу, что вы сочли бы подобное утверждение нелепым. Ну а почему же оно нелепо? Оно нелепо потому, что поскольку щипцы не обладают способностью мышления — иными словами, способностью лично распоряжаться своими действиями, — то личная ответственность за поступки щипцов безусловно лежит вне пределов щипцов; а следовательно, раз нет ответственности, не может возникнуть и наказание. Не правда ли? — (Гром горячих рукоплесканий послужил ему ответом.) — Ну вот, мы теперь подошли к желудку человека. Заметьте, в каком точном, дивном соответствии находятся роль щипцов в разобранным случае и роль желудка. Слушайте и, прошу вас, замечайте хорошенько. Может ли человеческий желудок замыслить убийство? Нет. Может ли он задумать кражу? Нет. Может ли он задумать поджог? Нет. А теперь ответьте — могут ли затеять все это щипцы? — (Возгласы восторга: «Нет! Оба случая точь-в-точь одинаковы! Как великолепно он все разобрал!») — Итак, мои друзья и соседи, желудок, который не может задумать преступление, не может быть и главным его исполнителем — видите, это ясно, как божий день. Итак, вопрос уже вложен в тесные рамки; мы сузим его еще более! Может ли желудок по собственному побуждению быть пособником преступления? Конечно, нет, ибо отсутствует повеление, отсутствует мыслительная способность, отсутствует сила воли, как и в случае со щипцами. И теперь мы понимаем — не так ли? — что желудок совершенно безответствен за преступления, совершенные им полностью или отчасти. — (Единодушный ропот одобрения.) — Тогда каков же будет наш приговор? Да, очевидно, мы должны признать, что в нашем мире не существует виновных желудков; что в теле величайшего негодяя все-таки находится непорочный и безобидный желудок; что, каковы бы ни были поступки его господина, он, то есть желудок, в наших глазах должен быть свят; и что, раз Господь одарил нас разумом, способным думать справедливо, великодушно и благородно, то мы должны почитать не только своим долгом, но и своим преимуществом накормить голодный желудок, который пребывает в негодяе; мы должны сделать это не только из сострадания, но и в знак радости и благодарности, в воздаяние заслуг желудка, который мужественно и честно отстаивал свою чистоту и непорочность, невзирая на окружающий соблазн и на тесное соседство того, что так противоречит его лучшим чувствам! Я кончил.

Вам, я уверен, никогда не приходилось видеть такую восторженную картину! Они встали — все собрание встало — и начали хлопать в ладоши, кричать «ура», и превозносить оратора до небес; и один за другим, не переставая рукоплескать и кричать, они подходили к нему — иные со слезами на глазах — и пожимали ему руки и говорили ему столько хорошего, что он был прямо-таки вне себя от гордости и счастья и не мог сказать ни слова — да он и не в силах был бы перекричать их. Торжественное было зрелище. И каждый говорил, что ему никогда не приводилось в своей жизни слышать подобную речь, да никогда и не придется. Красноречие — сила, в этом не может быть сомнения. Старый Жак д'Арк и тот увлекся, хоть один раз в жизни, и крикнул:

— Ладно, Жанна, дай ему похлебки!

Она была смущена и, по-видимому, не знала, что сказать. Дело в том, что она уже давным-давно отдала незнакомцу похлебку, и он уже успел всю ее прикончить. Ее спросили, почему она не подождала, пока не вынесут решения. Желудок человека, отвечала она, чувствовал голод, и неразумно было бы ждать, так как она не знала, каково будет решение. Ребенок, а какую она высказала добрую и дальновидную мысль.

Человек вовсе не оказался негодяем. Он был очень славный парень, только ему не повезло, а это, конечно, не считалось во Франции преступлением в те времена. Так как теперь уже была доказана невиновность его желудка, то сей последний получил разрешение чувствовать себя как дома; и лишь только он хорошенько наполнился и получил удовлетворение, как у человека развязался язык, который оказался большим мастером своего дела. Путник много лет провел на войне, а его рассказы и его манера рассказывать высоко подняли в нас чувство любви к отечеству, заставили биться наши сердца и разгорячили нашу кровь. И прежде чем кто-либо сумел понять, как произошла перемена, он увлек нас в дивное странствие по высотам былой французской славы; и грезилось, что на наших глазах воскресают стихийные образы двенадцати палладинов Легендарные витязи, сподвижники Карла Великого, погибшие с Роландом в Ронсельванской долине. (*Примеч. пер.*) и становятся лицом к лицу со своей судьбой; нам слышался топот бесчисленных полчищ, стремившихся вниз по ущелью, чтобы закрыть им путь к отступлению; мы видели, как этот живой поток набегал и как волна откатывался назад, видели, как он таял перед горстью героев; мы во всех мелочах видели повторение этого грозного и несчастнейшего и в то же время наиболее дорогого нам и прославленного дня легендарного прошлого Франции; среди необъятного поля, где лежали убитые и умиравшие, то здесь, то там виден был один из палладинов; слабеющей рукой, собрав остаток сил, они продолжали геройскую сечу, и все они, друг за другом, пали на наших глазах, пока не остался только один — тот, кому не было равного, тот, чье имя послужило названием «Песни Песней», а эту песнь ни единый француз не может слышать без воодушевления, без гордости за свою отчизну. А затем — зрелище наибольшего величия и скорби! — мы увидели и его горестную кончину; мы, затаив дыхание, с пересохшими губами ловили каждое слово рассказа, и в нашем безмолвии был отзвук того грозного безмолвия, которое царило на этом необъятном поле брани, когда отлетала душа последнего героя.

И вот незнакомец, среди этого торжественного молчания, погладил Жанну по головке и молвил:

— Маленькая дева, да сохранил тебя Господь! Нынче ночью ты возвратила меня от смерти к жизни. Послушай: вот тебе награда!

То была минута, которая давно соответствовала этой вдохновенной, стихийно увлекательной неожиданности: не сказав более ни слова, он возвысил голос, исполненный благородного и страстного одушевления, и полилась великая «Песнь о Роланде»!

Подумайте, как это должно было подействовать на взволнованных и разгоряченных слушателей, сынов Франции! О, куда девалось ваше деланое красноречие? Чем оно показалось бы теперь? Каким прекрасным, статным, вдохновенным певцом стоял он перед нами, с этой песнью на устах и в сердце! Как он весь преобразился, и куда девались его лохмотья!

Все поднялись и продолжали стоять, пока он пел. Лица у всех разгорелись, глаза сверкали, по щекам лились слезы. Невольно все начали раскачиваться в такт песни; слышались вздохи, стоны, возгласы горя; вот раздалось последнее слово: Роланд лежал умирающий, один-одинешенек, обратив лицо к полю битвы, где рядами и грудами лежали погибшие, и ослабевшей рукой протянул к престолу Всевышнего свою латную рукавицу, и с его бледнеющих уст слетела дивная молитва; тут все разразились рыданиями. Но когда замерла последняя, величественная нота и кончилась песня, то все, как один человек, бросились к певцу, словно помешавшись от любви к нему, от любви к Франции, от гордого сознания ее великих дел и древней славы, — и начали душить его в объятиях; но впереди всех была Жанна, которая прильнула к его груди и покрывала его лицо поцелуями страстного благоговения.

На дворе бушевала метель, но это уже было безразлично: приют незнакомца был теперь здесь, и он мог оставаться сколько ему угодно.

ГЛАВА IV

У всех детей есть прозвища; так было и у нас. С малых лет каждый получал какое-нибудь прозвание, и оно за ним оставалось. Но Жанна была богаче: с течением времени она снискала себе новое прозвище, потом третье и так далее; наконец, у нее набралось их с полдюжины. Некоторые прозвища остались за ней навсегда. Крестьянские девушки вообще застенчивы; но она этим свойством так выделялась, так быстро краснела от малейшей причины, так сильно смущалась в присутствии незнакомых людей, что мы прозвали ее Стыдливой. Мы все были патриоты, но настоящей Патриоткой называлась она, потому что самые горячие наши чувства к родине показались бы ничтожными в сравнении с ее любовью. Называли ее также Красавицей — не только за необычайную красоту ее лица и стана, но и за прелесть ее душевных качеств. Все эти имена она оправдывала, как и другое прозвище — Храбрая.

Мы подрастали среди этой трудолюбивой и мирной обстановки и мало-помалу превратились в довольно больших мальчиков и девочек. Воистину мы были уже достаточно велики, чтобы не хуже старших понимать насчет войн, непрерывно свирепствовавших на севере и на западе; и мы уже не меньше старших волновались из-за случайных вестей, доходивших до нас с тех кровавых полей. Я очень хорошо помню несколько таких дней. Как-то во вторник мы толпой резвились и пели вокруг Древа Фей и вешали на него гирлянды в память о наших утраченных маленьких приятельницах. Вдруг маленькая Менжетта воскликнула:

— Гляньте-ка! Что это такое?

Подобный возглас, выражающий удивление и испуг, всегда привлекает общее внимание. Мы все столпились в кучку; сердца трепетали, лица разгорелись, а жадные взоры были все направлены в одну и ту же сторону — вниз по откосу, туда, где находилась деревня.

— Да ведь это черный флаг.

— Черный флаг? Нет... будто бы?

— У самого глаза есть, не видишь, что ли?

— А ведь взаправду — черный флаг! Случалось ли кому видать такую штуку раньше?

— Что бы это значило?

— Что? Это должно означать что-нибудь страшное, уж не без того!

— Не про то говорю, это и так понятно. Но что именно — вот вопрос.

— Вероятно, тот, кто несет флаг, сумеет ответить не хуже любого из нас — только имейте терпенье, пока он подойдет.

— Бежит-то он шибко. Кто это такой?

Одни называли одного, другие — другого; но вот все уже могли разглядеть, что это Этьен Роз по прозвищу Подсолнечник, потому что у него были желтые волосы и круглое, покрытое рябью от оспы лицо. Его предки несколько сот лет тому назад переселились из Германии. Он во всю мочь спешил вверх по откосу и время от времени подымал над головой древко, развертывая в воздухе черное знамение скорби, между тем

как все глаза следили за ним, все уста говорили о нем, и все сердца ускоренно бились от нетерпеливого желания узнать его новости. Наконец он подбежал к нам и, воткнув древко флага в землю, сказал:

— Вот! Стой здесь и будь олицетворением Франции, покуда я переведу дыхание. Франции больше не нужно иного знамени.

Замолкла беспорядочная болтовня. словно весть о смерти нагрянула к нам. Среди этой жуткой тишины слышно было только прерывистое дыхание запыхавшегося гонца. Собравшись с силами, мальчик заговорил:

— Пришли черные вести. В Труа заключен договор между Францией и Англией с их бургундцами. В силу договора Франция предательски отдана во власть врагу, связанная по рукам и ногам. Все это придумано герцогом Бургундским и этой ведьмой — королевой Франции. Решено, что Генрих английский женится на Катерине французской...

— Неужели это не ложь? Дочь Франции выйдет за азенкурского мясника? Возможно ли поверить этому! Ты, наверное, что-то слышал, да перепутал.

— Если ты этому не можешь поверить, Жак д'Арк, то тебе предстоит нелегкая задача, потому что надо ждать еще худшего. Дитя, которое родится от этого брака, будь то даже девочка, унаследует себе обе короны, английскую и французскую; и такое совмещение двух королевств будет принадлежать их потомству навеки.

— Ну, это уж точно ложь, потому что это было бы противно нашему салическому закону. В силу салического закона женская линия устранялась во французской монархии от престолонаследия. *(Примеч. пер.)*, а значит, это незаконно, этому не бывать! — сказал Эдмонд Обрэ, прозванный Паладином за привычку хвастать, будто он в один прекрасный день разобьет в пух и прах неприятельскую рать. Он сказал бы больше, если бы его не заглушили возгласы остальных: все возмущались этой статьёй договора, все заговорили в один голос, и никто не слушал других. Наконец Ометта уговорила их попритихнуть, сказав:

— Зачем же перебивать его на половине рассказа? Дайте ему, пожалуйста, закончить. Вы недовольны этим рассказом, потому что он вам кажется ложью. Будь это ложь — нам пришлось бы ликовать, а не гневаться. Досказывай, Этьен.

— Сказ невелик: наш король, Карл Шестой, останется на престоле до своей смерти, затем вступает во временное управление Францией Генрих Пятый английский, пока его ребенок не подрастет настолько, чтобы...

— Этот человек будет править нами — мясник? Это ложь! Сплошная ложь! — вскричал Паладин. — Подумай к тому же, а дофин куда денется? Что сказано о нем в договоре?

— Ничего. У него отберут престол, а сам пусть идет, куда хочет.

Тут все загалдели в один голос, говоря, что в известии нет ни словечка правды. И все даже развеселились. «Ведь король наш, — успокаивали мы себя, — должен был бы подписать договор, чтобы он вошел в силу; а как же он мог бы дать свою подпись, видя, что это погубило бы его собственного сына?»

Но Подсолнечник возразил:

— А я тоже задам вам вопрос: подписала бы королева договор, лишаящий ее сына наследства?

— Эта змея? Конечно. О ней и речи нет. От нее и нельзя ждать лучшего. Нет такой низости, за которую она не ухватилась бы, — лишь бы насытить свою злобу; она ненавидит своего сына. Но ее подпись не имеет значения. Подписать должен король.

— Спрошу у вас еще одну вещь. В каком состоянии король? Безумный он или нет?

— Да, он безумен, и народ любит его за это еще больше. Он ближе к народу благодаря своим страданиям; а жалость к нему переходит в любовь.

— Правильно сказано, Жак д'Арк! Ну, так чего же вы ждете от того, кто безумен? Знает ли он, что делает? Нет. Делает ли он то, к чему побуждают его другие? Да. Теперь я могу сообщить вам, что он подписал договор.

— Кто заставил его сделать это?

— Вы знаете и так — мне незачем было бы говорить: королева.

Снова раздался единодушный крик негодования; все заговорили одновременно, и каждый призывал проклятья на голову королевы. Наконец Жак д'Арк сказал:

— Но ведь сплошь и рядом приходят неверные вести. Не было еще слухов ни о чем столь постыдном, как это, ни о чем, столь мучительном, столь унижительном для Франции. Поэтому есть еще надежда, что этот рассказ — тоже лишь злая молва. Где ты об этом услышал?

На его сестре, Жанне, не было лица. Она боялась ответа, и предчувствие не обмануло ее.

— Мы узнали от священника из Максэ.

Все замерли. Мы, видите ли, знали этого кюре как человека правдивого.

— А он сам считает ли это правдой?

У всех нас сердца почти остановились. Ответ гласил:

— Да. Мало того: не только считает, но, по его словам, знает, что это правда.

Некоторые девочки заплакали; у мальчиков словно отнялся язык. Скорбь на лице Жанны была подобна тому выражению страдания, которое появляется в глазах бессловесного животного, получившего смертельный удар. Животное терпит муку без жалобы; так и Жанна не говорила ни слова. Ее брат Жак гладил ее по голове и ласкал ее локоны, чтобы показать свое сочувствие, и она прижала его руку к губам, целуя ее в порыве признательности и не произнося ни слова. Наконец миновала самая тяжелая минута, и мальчики начали говорить. Ноэль Рэнгесон воскликнул:

— Ах, неужели мы никогда не сделаемся мужчинами! Мы растем так медленно, а Франция никогда еще не нуждалась в солдатах так, как теперь, чтобы смыть это пятно позора.

— Я ненавижу эту пору юности! — сказал Пьер Морель, прозванный Стрекозой за свои выпученные глаза. — Все жди, жди, жди, а тем временем уж сто лет тянутся эти войны, и тебе так и не привелось до сих пор попытать счастья.

— Ну, что касается меня, так мне не придется долго ждать, — заметил Паладин, — и уж когда я вступлю на военное поприще, то вы услышите кое-что обо мне, ручаюсь за это. Иные предпочитают, беря штурмом крепость, оставаться в задних рядах; а на мой вкус — дайте мне место впереди всех или же вовсе не надо. Я не желаю, чтобы впереди меня был кто-нибудь, кроме офицеров.

Даже девочкам передан был воинственный пыл, и Мэри Дюпон сказала:

— Я бы хотела быть мужчиной. Я бы отправилась сию же минуту! — И она осталась очень довольна своими словами и гордо посмотрела вокруг себя, ожидая похвал.

— Я тоже! — заявила Сесиль Летелье, раздувая ноздри, словно боевой конь, который почуял поле битвы. — Могу поручиться, что я не пустилась бы в бегство, хотя бы очутилась лицом к лицу со всей Англией.

— Хо-хо! — произнес Паладин. — Девчонки умеют хвастаться, но больше они ни на что не способны. Пусть-ка тысяча их выступит против горсти солдат — вот тогда вы посмотрите, что значит быстро бежать. Вон наша Жанночка — недостает, чтобы еще она затеяла пойти в солдаты!

Мысль была так забавна и вызвала такой дружный смех, что Паладин попытался продолжить шутку:

— Вы можете как воочию представить ее себе: вот она устремляется в битву, словно опытный ветеран. Да, именно так; и не какой-нибудь жалкий, простой солдат вроде нас — нет, она будет офицером, заметьте, и у нее будет шлем с забралом, чтобы скрыть румянец смущения, когда она увидит перед собой армию незнакомых людей. Офицером? Непременно так — ей дадут чин капитана! Она будет капитаном, и ей дадут команду в сто человек — или, быть может, девушек. О, не такова она, чтобы быть простым солдатом! Боже ты мой, каким ураганом она налетит на вражескую армию и сомнет ее!

И он продолжал все в том же роде, так что все хохотали до слез, да оно и неудивительно: что могло быть (в то время) забавнее предположения, что вот это кроткое маленькое создание, которое мухи не обидит, которое не выносит вида крови и вообще так девственно и пугливо, — что оно ринется в битву, ведя за собой толпу солдат? Бедняжка, она сидела смущенная, не зная, куда деться от сыпавшихся со всех сторон насмешек. А между тем как раз в ту минуту подготавливалось событие, которое должно было изменить общую картину и показать всей этой детворе, что прав тот, кто смеется последним. Как раз тогда из-за Древа Фей показалось хорошо знакомое и внушавшее нам страх лицо: и нас всех обожгла мысль, что шальной Бенуа убежал на свободу и что мы на волосок от смерти! Это оборванное, косматое и страшное чудовище выскочило из-за дерева и направилось к нам с поднятым топором. Мы все бросились кто куда, все девочки завизжали и заплакали. Нет, не все; все, кроме Жанны. Она встала, повернулась лицом к безумцу и осталась стоять. Мы быстро достигли леса, опушка которого примыкала к поляне, и спрятались под его защиту; кое-кто оглянулся назад, чтобы узнать, не догоняет ли нас Бенуа, и вот что мы увидели: Жанна стоит, а безумец, высоко подняв топор, приближается к ней. Зрелище, полное ужаса. Мы остановились как вкопанные; мы не могли двинуться с места. Я не желал видеть, как совершится убийство, и в то же время не мог отвести взгляд. Вот я вижу, что Жанна пошла навстречу человеку, — и не верю глазам. Вижу — он остановился. Погрозил ей топором, словно предупреждая, чтобы она не шла дальше, но она, не обращая внимания, идет — подошла к нему лицом к лицу, как раз под топор. Остановилась и, по-видимому, заговорила с ним. Я вдруг почувствовал тошноту, голова закружилась, все вокруг меня пошло ходуном, и не знаю, долго ли, коротко ли, но некоторое время я не мог ничего видеть. Когда это прошло и я глянул снова, Жанна шла рядом с человеком, держа его за руку; в другой ее руке был топор. Они направлялись к деревне.

Мальчики и девочки, друг за дружкой, начали выползать из зарослей, и мы стояли, разинув рты, и во все глаза смотрели на тех двоих, пока они не вошли в деревню и не скрылись из виду. Вот тогда-то мы и прозвали ее Храброй.

Черный флаг мы оставили на том же месте, чтобы он исполнял свой печальный долг; а нам надо было теперь подумать о другом. Бегом пустились мы в деревню, чтобы предупредить народ и спасти Жанну от опасности. Хотя, думается мне, раз теперь топор был у Жанны, то преимущество оказалось бы не на стороне безумца. Мы прибежали, когда опасность уже миновала: сумасшедшего заперли. Все население спешило на

маленькую площадь перед церковью, чтобы поговорить, поахать и подивиться; часа на два были забыты даже мрачные вести о договоре.

Женщины наперебой обнимали и целовали Жанну, хвалили ее и плакали, а мужчины гладили ее по голове и говорили, что ей бы следовало родиться мужчиной — тогда ее послали бы на войну, и уж наверно она заставила бы говорить о своих подвигах. Ей пришлось вырваться из объятий и прятаться: такая слава была слишком тяжелым испытанием для ее скромности.

Само собой, начали расспрашивать у нас подробности. Мне было так стыдно, что я постарался отделаться от первого же посетителя и потихоньку убежал назад, к Древу Фей, где я был бы избавлен от этих мучительных для моего самолюбия вопросов. Там я застал Жанну, которая искала спасения от тягости славы. Мало-помалу присоединились к нам и остальные, тоже спасавшиеся от допроса. Тут мы окружили Жанну, спрашивая, как это она набралась такой смелости. Она отвечала нам очень скромно и сдержанно:

— Вы поднимаете из-за этого много шума, но вы не правы: дело вовсе не стоит того. Он мне вовсе не чужой человек. Я знаю его и знала с давних пор; он тоже знает меня и любит. Много раз я протягивала ему пищу через решетку его клетки; а когда в последнем декабре ему отрубили два пальца, чтобы он боялся хватать и наносить раны прохожим, — то я перевязывала ему каждый день руку, пока она не зажила.

— Так-то оно так, — возразила маленькая Менжетта, — но, дорогая, все-таки он сумасшедший, и ни его привязанность, ни признательность, ни дружба — ничто не поможет, коли он разъярится. Ты подвергла себя большой опасности.

— Еще бы, — подтвердил Подсолнечник. — Разве он не грозил убить тебя топором?

— Да, грозил.

— И грозил несколько раз?

— Да.

— И ты не испытывала страха?

— Нет... по крайней мере, не очень — чуть-чуть.

— Почему же ты не испугалась?

Она с минуту подумала и сказала простодушно:

— Не знаю.

Этот ответ всех рассмешил. И Подсолнечник сказал, что это похоже на то, как если бы овца старалась додуматься, почему это ей удалось съесть волка, но не сумела бы объяснить.

— Почему ты не побежала вместе с нами? — спросила Сесиль Летелье.

— Потому что необходимо было водворить его снова в клетку, иначе он убил бы кого-нибудь. А тогда и ему самому не уйти бы от беды.

Замечательно, что этот ответ, из которого ясно, до какого самозабвения, до какого полного равнодушия к собственной безопасности доходила Жанна, помышлявшая и заботившаяся только о спасении других, — ответ этот был принят нами как очевидная истина, и никто из присутствующих не оспаривал его, не вдавался в рассуждения, не возражал. Это показывает, как ясно обрисовывался ее нрав и как хорошо он был всем известен.

Наступило молчание; быть может, мы все в это время думали об одном: о том, какую жалкую роль мы сыграли в этой истории и как мы были далеки от Жанны. Я пытался придумать какой-нибудь хороший предлог, которым мог бы объяснить, почему я убежал и предоставил беззащитную девочку на произвол вооруженного топором безумца; но все объяснения, приходившие мне в голову, казались мне такими жалкими и шаткими, что я отказался от своей затеи и продолжал молчать. Но не все были столь же благоразумны. Ноэль Рэнгесон потоптался-потоптался да и брякнул, сразу показав, чем были все время заняты его мысли:

— По правде сказать, я был захвачен врасплох. В этом все дело. Имей я хоть минуту, чтобы опомниться, я не побежал бы, как не побежал бы от грудного младенца. Ведь в конце-то концов, кто такой Теофиль Бенуа и чего ради я стал бы бояться его? Фу! Неужели можно испугаться этого несчастного? Пусть бы он появился вот сейчас — я бы показал вам!

— И я тоже! — подхватил Пьер Морель. — Уж он у меня полез бы на это дерево проворнее, чем... ну да, вы увидели бы, каков я! А то — застигнуть человека врасплох — это право... нет, я вовсе не хотел бежать, то есть бежать по-настоящему. Я и не думал бежать взаправду: я только хотел пошутить, а когда увидел, что Жанна стоит, а он грозит ей топором, то я едва сдержал себя, чтобы не кинуться на него и не выворотить у него все нутро. Я чувствовал неудержимый порыв сделать это, и если бы пришлось опять, то я так бы и поступил! Если он еще явится дурачить меня, то я...

— Полно, цыц! — презрительно перебил его Паладин. — Послушать вас, молодцы, так можно подумать, что большое геройство — стоять лицом к лицу с этой жалкой развалиной человека! Да это — сущая безделица! Не велика честь справиться с таким — вот что скажу я вам. Да я знаю, что может быть

легче, чем стать лицом к лицу с целой сотней ему подобных. Явись он сейчас сюда, я бы подошел к нему — вот так, не обращая внимания хоть на тысячи топоров, — и сказал бы...

И он все продолжал и продолжал описывать чудеса, которые он совершил бы, и храбрые речи, которые он говорил бы; а остальные время от времени вставляли свое словцо, тоже повествуя о грозных подвигах, которыми они отличатся, если этот безумец еще раз осмелится стать им поперек дороги. Уж в другой раз они будут наготове, и если он задумал вторично заставить их врасплох — только потому, что один раз это ему удалось, — то они покажут ему, что он жестоко ошибается, — вот и весь сказ.

Итак, в конце концов им всем удалось восстановить свое доброе имя, даже кое-что прибавить к нему. И когда наше заседание закончилось, то каждый ушел, сохраняя в душе лучшее о себе мнение, чем когда-либо.

ГЛАВА V

Тих и отраден был поток тех юных дней. То есть, вообще говоря, это было так, потому что мы жили далеко от театра войны; но изредка шайки грабителей бесчинствовали и вблизи наших мест, так что по ночам нам случалось видеть зарево подожженной фермы или деревни; и все мы знали или, по крайней мере, чувствовали, что когда-нибудь они подойдут еще ближе и настанет и наш черед. Этот тупой страх угнетал нас, словно тяжелая ноша; страх сделался еще напряженнее года через два после договора в Труа.

Поистине то была для Франции година бедствий. Однажды мы перебрались на ту сторону, чтобы помериться силами (как это случалось не раз) с ненавистными мальчишками из Максэ — приверженцами бургундцев. Нас поколотили, и мы, избитые и усталые, возвращались на наш берег уже вечером, когда порядком стемнело. Тут на колокольне ударили в набат. Мы пустились бегом и, добравшись до площади, застали там толпу взволнованных сельчан; лица были озарены зловещим светом дымившихся, ярких факелов.

На церковной паперти стоял незнакомец, бургундский священник, и передавал народу вести, заставлявшие слушателей то плакать, то гневаться, то роптать, то проклинать. Наш старый безумный король умер, говорил он, и теперь мы, и Франция, и престол составляем собственность младенца английской крови, который лежит в своей колыбели в Лондоне. И он убеждал нас выразить этому ребенку свои верноподданнические чувства и быть его преданными слугами и доброжелателями; и он говорил, что теперь, наконец, у нас будет правительство могучее и незыблемое и что скоро английская армия соберется в последний поход; но поход тот закончится быстро, потому что довершить осталось лишь немного — осталось завоевать кое-какие клочки нашей страны, остающиеся под этой редкостной и почти забытой тряпкой — под знаменем Франции.

Народ бушевал и порывался кинуться на него; десятки людей грозили ему кулаками, вздетыми над морем освещенных лиц; то была дикая и волнующая картина. И патеру под стать было занимать в этом зрелище первое место: он стоял среди яркого света и с полным равнодушием и спокойствием смотрел вниз на этих раздраженных людей, так что нельзя было не преклониться перед его поразительным самообладанием, хотя в то же время всем хотелось сжечь его на костре. И его заключительные слова своей невозмутимостью превзошли все остальное; он рассказал им, как при погребении нашего старого короля французский герольдмейстер преломил свой жезл над гробом Карла VI, произнеся при этом во всеуслышание: «Генриху, королю Франции и Англии, нашему верховному государю, многие лета!» — и он предложил народу возгласить вместе с ним сердечное «аминь» этому пожеланию.

Все побледнели от ярости. У всех язык точно прилип к гортани, и некоторое время никто не мог вымолвить ни слова. Но Жанна стояла совсем рядом; она взглянула ему в лицо и произнесла спокойным, серьезным тоном:

— Я хотела бы видеть, как голова у тебя слетит с плеч! — И после минутного молчания добавила, осенив себя крестным знаменем: — Если бы на то была воля Божья.

Это стоит запомнить, и вот почему: то были единственные жестокие слова, какие Жанна сказала за всю свою жизнь. Когда я расскажу вам о всех бурях, о всех несправедливостях и притеснениях, которым она подвергалась, то вы подивитесь, что она только один раз в жизни произнесла страшные слова.

С того дня, когда пришли эти печальные вести, мы жили в постоянном страхе; грабители то и дело добирались чуть не до наших дверей. Опасность придвигалась все ближе и ближе, но по милости Неба мы до сих пор избегали погрома. Но наконец наступила действительно и наша очередь. Случилось это весной 1428 года. В глухую темную полночь бургундцы нагрянули с шумом и гамом, и мы повскакали с постелей, чтобы бегством спасти себе жизнь. Мы направились к Невшато и неслись как угорелые, в полном беспорядке — каждый старался обогнать других, каждый мешал другому. Но Жанна — только одна из всех нас — не потеряла хладнокровия и создала порядок из этого хаоса. Она сделала это быстро, уверенно и толково, и наше паническое бегство вскоре превратилось в правильное, размеренное шествие. Согласитесь, что для такой молоденькой девушки это был немалый подвиг.

Ей было теперь шестнадцать лет; статная и стройная, она отличалась такой необычайной красотой, что я мог бы использовать всю цветистость языка для описания ее наружности и — все же не преступить границ истины. Кроткое и ясное чело ее было верным отражением чистоты ее духовной природы. Она была глубоко религиозна. Часто бывает, что религиозность придает человеку какой-то грустный облик. Но она была не такова. Религия наполняла ее внутренними красотой и спокойствием; и если она по временам бывала встревожена и ее лицо и осанка изобличали переживаемое ею страдание, то это была скорбь о своей родине, скорбь, ни единая доля которой не проистекала от веры.

Значительная часть нашей деревни была сожжена, и когда мы получили возможность без опаски вернуться назад, то нам пришлось испытать на себе все те страдания, от которых много лет — десятки лет! — изнывал народ в других краях Франции. В первый раз мы увидели разрушенные, обгорелые стены; наткнулись на улицах на туши бессловесных животных, убитых только ради потехи, — в их числе были телята и овцы, любимцы детей, и тяжело было видеть малышей, плакавших над погибшими друзьями.

Налоги, налоги! Каждый думал об этом. Каково будет нести это бремя теперь нашей разоренной общине! Лица у всех вытянулись при одной этой мысли. Жанна сказала:

— Много лет уже вся остальная Франция платит налоги, не имея, чем платить. Но мы до сих пор не испытали этой горькой напасти. Теперь узнаем.

И она продолжала говорить о том же. Волнение ее возрастало. Ясно было, что эта забота наполняет все ее мысли.

Наконец мы увидели нечто ужасное. То был безумец — исколотый кинжалами и изрубленный на куски в своей железной клетке, на углу площади. Кровавое и страшное зрелище! Едва ли кто из нас, молодежи, видел когда-нибудь раньше человека, погибшего от насильственной смерти; оттого этот мертвец как-то зловеще приковал к себе наше внимание — мы не могли оторвать от него глаз. Впрочем, не на всех он подействовал именно так; на всех нас, кроме Жанны. Она отвернулась в ужасе и ни за что не соглашалась вторично взглянуть на убитого. В этом было поразительное предсказание, что мы — лишь рабы привычки; предсказание того, как сурово и жестоко иногда относится к нам судьба. Ибо было предопределено, что спокойно доживут до старости именно те из нас, которых наиболее заворожило это зрелище кровавой и жестокой смерти, между тем как она, с врожденным и глубоким ужасом отвращавшаяся от крови, вскоре должна была видеть ее изо дня в день на полях сражений.

Вы легко можете поверить, что теперь у нас было вдоволь о чем потолковать; разгром нашей деревни казался нам величайшим событием мира. Ведь эти простодушные крестьяне в действительности еще ни разу не оценили во всей полноте размеров тех событий мировой истории, которые находили смутный отзвук в их представлениях, хотя им и казалось раньше, что они сознают сущность дела. Мелкое, но мучительное происшествие, представшее их невинным взорам и испытанное ими на собственной шкуре, сразу сделалось для них важнее самых величественных деяний давно минувшей старины, о которых они знали понаслышке. Теперь забавно вспомнить, как разглагольствовали тогда наши старики. То-то они сердились да ныли!

— Да! — сказал старый Жак д'Арк. — Времена настали, нечего сказать. Надо бы довести об этом до сведения короля. Пора уж ему перестать бездельничать да мечтать — пусть примется за свое дело по-настоящему. — Он имел в виду нашего молодого, лишенного наследства короля, бездомного изгнанника, Карла VII.

— Правильно сказано! — заметил староста. — Надо бы сообщить ему. Разве можно терпеть такие вещи! Ты тут не знаешь, где преклонить голову, а он себе прохлаждается! Надо об этом рассказать всем — непременно надо! Пусть узнает вся Франция!

Послушать их, так можно было подумать, что все предшествовавшие десять тысяч погромов и поджогов были выдумкой, а только наш — настоящий. Так уж всегда: пока в беде твой сосед — ничего, довольно одних разговоров; а попадешь сам в беду, значит, пора королю встряхнуться и взяться за дело.

Великое событие вызвало много толков и среди нас, молодежи. Пасем стада и — говорим без умолку. Мы уж начали изрядно важничать: мне было восемнадцать, а остальным на год и даже на четыре больше, во всяком случае, уже не дети. Однажды Паладин начал высокомерно разносить французских вельмож-патриотов.

— Взгляните на Дюнуа, на побочного Орлеана, — какой же он полководец! Пусть только меня назначат на его место — я не стану говорить, что именно я сделаю: болтать языком вовсе не по моей части; я предпочитаю действовать, пусть болтовней занимаются другие; но только поставьте меня на его место — вот и все! А возьмем хоть Сентрайля — просто тьфу! А этот хвастливый Ла Гир — неужели, по-вашему, и он личность?

Всем было как-то не по себе видеть такое презрительное отношение к этим великим именам. Ведь в наших глазах эти знаменитые полководцы были почти богами. Они, величественные и далекие от нас, представлялись нам какими-то смутными, огромными призраками, какими-то грозными тенями; и жутко

было говорить о них как о простых смертных и запанибрата разбирать или осуждать их поступки. Жанна вспыхнула.

— Не понимаю, — сказала она, — как можно говорить так резко об этих необыкновенных людях: ведь они — истинные столпы французского государства, которое они поддерживают по мере своих сил и спасают ценою ежедневно проливаемой крови. Что касается меня, так я сочла бы великим счастьем, если бы мне выпала честь хоть один раз взглянуть на них — взглянуть только издали, потому что я недостойна близко даже подойти к любому из них.

На минуту Паладин смутился, прочитав в наших лицах, что слова Жанны были выражением наших общих чувств. Но он тотчас оправился и снова принялся разносить всех в пух и прах.

Жан, брат Жанны, заметил ему:

— Если тебе не по нутру то, что делают наши полководцы, то почему же ты сам не отправишься на войну и не исправишь их ошибок? Ты все толкуешь о сборах в поход, а сам — ни с места.

— Вот как! — возразил Паладин. — Легко сказать: иди! Изволь, я объясню, почему я остаюсь здесь и изнываю от мирного бездействия, столь противного моей природе, как ты знаешь. Я не иду, потому что я не дворянин. Вот в чем все дело. Что может в такой войне сделать один солдат? Ничего! Он не смеет и думать о повышении. Будь я дворянином — неужели я остался бы здесь? Да ни единой минуты! Я спас бы Францию. Ладно, смейтесь себе, но я-то знаю, какие силы таятся во мне, я знаю, что кроется под этой крестьянской шапкой. Я могу спасти Францию, и я готов сделать это — только не при настоящих условиях. Если я нужен — пусть пришлют за мной; а нет — сами будут виноваты. Но я не тронусь с места, пока меня не сделают офицером.

— Увы! Бедная Франция — Франция погибла! — заметил Пьер д'Арк.

— Чем фыркать на других, отчего тебе самому не отправиться на войну, Пьер д'Арк?

— О, за мной ведь тоже еще не прислали. Притом я такой же дворянин, как и ты. Но я пойду на войну; обещаю пойти. Я обещаю пойти в качестве простого солдата, под твоей командой, Паладин, когда за тобой пришлют.

Все засмеялись, а Стрекоза сказал:

— Так скоро? В таком случае тебе пора уже собираться; тебя, пожалуй, позовут уже лет через пять — кто знает? Да, я уверен, что ты отправишься на войну через пять лет.

— Он отправится раньше, — сказала Жанна.

Она произнесла это тихо и задумчиво, но ее слова были услышаны всеми.

— Откуда ты знаешь, Жанна? — удивленно спросил Стрекоза. Но его перебил Жан д'Арк:

— Я тоже хотел бы пойти, но так как я слишком молод, то тоже подожду и отправлюсь, когда пришлют за Паладином.

— Нет, — сказала Жанна, — он отправится вместе с Пьером.

Она точно говорила сама с собой — вслух, но бессознательно; и на этот раз я один услышал ее слова. Я взглянул на нее; ее вязальные спицы бездействовали, лицо ее сделалось каким-то мечтательным, не от мира сего. Губы ее слегка двигались, как будто она произносила про себя отрывки фраз. Но она говорила беззвучно: я стоял ближе всех и ничего не слышал. Однако я насторожил слух, потому что те две фразы неслышанно поразили меня: я суеверен, и всякая мелочь, если она необычна и странна, легко может меня взволновать.

Ноэль Рэнгесон сказал:

— Есть только одно средство, которое могло бы спасти Францию. У нас в деревне есть по крайней мере хоть один дворянин. Почему бы Школяру не поменяться с Паладином своим именем и званием? Тогда он сделался бы офицером, Франция прислала бы за ним, и мы, словно мух, смели бы в море все эти полчища бургундцев и англичан.

Школяр — это был я. Меня прозвали так, потому что я умел читать и писать.

Хор одобрения был ответом на шутку Ноэля. А Подсолнечник добавил:

— Вот это будет в самый раз, этим устраняются все затруднения. Сьер де Конт охотно согласится. Да, он отправится в поход под командой Паладина и падет во цвете лет, покрытый славой простого солдата.

— Он пойдет вместе с Жаном и Пьером и будет жить, пока не забудется эта война, — пробормотала Жанна, — и в одиннадцатом часу Ноэль и Паладин присоединятся к ним, но не по доброй воле.

Ее голос был так тих, что я не могу поручиться за точную передачу слов; во всяком случае, так мне послышалось. Жутко слышать такие вещи.

— Итак, — продолжал Ноэль, — все налажено; осталось только сплотиться под знаменем Паладина и идти освобождать Францию. Вы все примкнете к нам?

За исключением Жака д'Арк, все изъявили согласие.

— Прошу уволить меня, — сказал Жак. — Беседа о войне — вещь прекрасная, и в этом я всегда вам сочувствовал, и я всегда думал, что пойду в солдаты, как только вырасту. Но вид нашей разгромленной

деревни и этот изуродованный, кровавый труп безумца показали мне, что я вовсе не создан для такой работы и для подобных зрелищ. Это ремесло мне не по нутру. Подставлять себя под удары меча, под выстрелы пушек, идти на смерть? Это не по мне. Нет, нет, на меня не рассчитывайте. К тому же я ведь старший из сыновей, я — будущая опора и защита семьи. Раз уж вы собираетесь взять на войну Жана и Пьера, то должен же кто-нибудь остаться здесь, чтобы позаботиться о Жанне и другой сестре. Я останусь дома и доживу до спокойной и безмятежной старости.

— Он останется дома, но не доживет до старости, — пробормотала Жанна.

Болтовня продолжалась в том жизнерадостном и беззаботном тоне, который является достоянием юности. Паладин рассказывал планы своих походов, вступал в свои битвы, одерживал победы, истреблял англичан, возводил короля на престол и возлагал ему на голову корону. Мы спросили, что он скажет, когда король предложит ему самому назначить себе награду. У Паладина ответ был уже готов заранее, и он произнес без запинки:

— Он должен дать мне герцогство, сделать меня главным пэром и возвести меня в сан наследственного великого коннетабля Франции.

— И женить тебя на принцессе — ты ведь не забудешь упомянуть и об этом?

Паладин немного покраснел и резко возразил:

— Пусть оставляет принцесс при себе — я найду невесту сам, по своему вкусу.

Он имел в виду Жанну, хотя в то время никто не догадался. Если бы догадались, то Паладина подняли бы на смех за его самомнение. Во всей деревне никто не был достоин Жанны; всякий сказал бы так.

Каждый из присутствовавших, по очереди, должен был сказать, чего он потребовал бы от короля, если бы мог поменяться местами с Паладином и совершить те чудеса, которые тот собирался привести в исполнение. Ответы были шутливые, и каждый старался превзойти остальных беспредельностью притязаний. Дошла очередь до Жанны, и когда ее вызвали из мира грез и попросили высказаться, то пришлось объяснить ей, в чем дело, так как ее мысли были далеко и она не слышала последней части нашего разговора. Она подумала, что от нее ждут серьезного ответа, и ответила искренно. Некоторое время она молчала, обдумывая; затем сказала:

— Если бы дофин, по своему милосердию и благородству, сказал мне: «Вот теперь я богат и восстановлен в правах своих; выбирай и дается тебе», — то я опустилась бы на колени и попросила бы его приказать, чтобы наша деревня на вечные времена была освобождена от налогов.

Это было сказано так просто и от всего сердца, что растрогало нас, и мы не засмеялись, а задумались. Мы не засмеялись. Но наступил день, когда мы с печальной гордостью вспомнили эти слова, и мы порадовались, что не смеялись над ними, потому что тогда мы поняли, сколько благородства было в ее словах, и увидели, с какой прямоотой она оправдала их в свое время, прося у короля именно этой милости и не желая ничего для себя самой.

ГЛАВА VI

Все свое детство и до четырнадцати с лишним лет Жанна была самым жизнерадостным и веселым существом в деревне; вечная попрыгунья, вечная хохотушка, заразительно и счастливо смеявшаяся! И за этот нрав, за теплоту и отзывчивость души, за пленительность и прямооту обращения ее любили решительно все. Она всегда горячо любила отчизну, почему иногда вести о войне притупляли ее веселость, терзали ее сердце и знакомили ее с горечью слез; но всякий раз, лишь только проходили мимо черные тучи, она веселела и становилась снова прежней Жанной.

Но вот уже года полтора, как настроение Жанны изменилось, сделалось каким-то грустным; она не была печальна, но много задумывалась, забывала об окружающем, отдавалась мечтам. Она носила Францию в своем сердце, и ее ноша была нелегка. Я знал, что именно в этом причина ее тревоги, другие же приписывали ее рассеянность религиозному самозабвению; она почти ни с кем не делилась своими мыслями, но мне кое-что сообщала, и потому я лучше других знал, чем поглощены ее помыслы. Нередко мне приходило в голову, что у нее есть тайна — тайна, которую она всецело хранит в себе, скрывая и от меня, и от других. Эта догадка зародилась во мне потому, что несколько раз она останавливалась на полуслове или меняла предмет разговора в такую минуту, когда казалось, что она готова нечто поведать. Мне суждено было раскрыть эту тайну, но только не сейчас.

На другой день после описанного разговора мы все были на пастбище и, по обыкновению, принялись толковать о Франции. Ради Жанны я до сих пор всегда старался говорить с надеждой на лучшее будущее; но я лгал, потому что в действительности во всей Франции не на чем было повесить клочка надежды. А лгать ей в глаза было так мучительно; так стыдно было преподносить это предательство той, кто была белоснежно чиста от вероломства и лжи, той, кто даже не подозревал о существовании подобной низости в других; так тяжело было кривить душой, что я решил повернуть назад и начать все сызнова и никогда больше не

оскорблять ее лживыми речами. Итак, я пустился в новую политику и сказал (и конечно, открыл свои действия маленькой ложью, потому что привычка — вторая натура и ее никак не вышвырнешь сразу в окошко: приходится ласково уговаривать ее сойти вниз, ступенька за ступенькой):

— Жанна, прошлой ночью я все думал о том же и пришел к выводу, что мы все время заблуждались; что положение Франции отчаянно; что оно было отчаянным еще со дня битвы при Азенкуре; и что теперь оно более чем отчаянно — оно безнадежно.

Я говорил, но не смел посмотреть ей в лицо. Да и кто решился бы на моем месте? Разбить ее сердце, разрушить надежды такой неприкрашенной, жестокой речью, не смягчив ее ни единым благотворным словом, — как это было постыдно! Но вот я кончил, от сердца отлегло, и совесть моя воспарила ввысь; и я взглянул, как это на нее подействовало. Никак. По крайней мере, не того я ждал. В ее задумчивых глазах было чуть заметное выражение изумления — вот и все. И она произнесла, просто и невозмутимо, как всегда:

— Положение Франции безнадежно? Почему ты думаешь так? Объясни.

Если вы боитесь чего-то неотвратимого, что должно причинить боль дорогому вам человеку, то как отрадно видеть, что ваши опасения оказались напрасными! Я почувствовал облегчение и теперь мог высказаться вполне, без утайки, без смущения. И я приступил:

— Оставим в стороне тонкие чувства и патриотические мечтания и разберем действительную суть дела. Что же мы видим? Обстоятельства дела так же красноречивы, как цифры в счетной книге купца. Достаточно подсчитать оба столбца, чтобы убедиться в несостоятельности французского торгового дома и увидеть, что на половину его собственности уже наложен запрет английским шерифом, тогда как другая половина — неизвестно в чьих руках: во власти тех безответственных грабителей и разбойников, которые никому не приносят присяги. Наш король, позорно бездеятельный и обнищавший, заперт со своими любимыми царедворцами и шутами в крохотном уголке своего королевства и нигде не имеет власти, не имеет за душой ни гроша, не имеет солдат; он не сражается и не намерен сражаться, не помышляет о дальнейшем сопротивлении. Поистине единственное, к чему он готовится, это махнуть рукой на все, бросить корону в канаву и убежать в Шотландию. Вот обстоятельства дела. Верно ли?

— Да, все верно.

— Значит, так оно и выходит: стоит только подсчитать, и вывод ясен.

Она спросила спокойным и ровным тоном:

— Какой вывод? Что дело Франции проиграно?

— Очевидно. Разве можно сомневаться в этом, если налицо такие данные.

— Как ты можешь думать это? Как ты можешь чувствовать так?

— Как я могу? А разве я могу думать или чувствовать иначе перед лицом очевидности? Жанна, неужели, видя эти роковые цифры, ты действительно питаешь какую-нибудь надежду?

— Надежду! Больше того. Франция вернет себе свободу и сохранит ее. Не сомневайся в этом.

Мне начало казаться, что на ее ясный ум нашло временное затмение. Очевидно, это было так, иначе она поняла бы, что все данные могли говорить только об одном. Может быть, если я перечислю все снова, она увидит? Итак, я сказал:

— Жанна, твое сердце, которое боготворит Францию, обмануло твой разум. Ты не понимаешь смысла этих цифр. Вот я набросаю тебе общую картину — начерчу палкой на земле. Здесь вот я грубо обрисовал Францию. Посередке, с востока на запад, провожу реку.

— Так, Луару.

— Ну, вся северная половина страны — в цепких когтях англичан.

— Да.

— А вот эта часть — южная половина — в ничьих руках, как это признано нашим королем, ибо он готовится к бегству в чужие страны. У Англии здесь стоят войска; сопротивления никакого; она может занять всю страну, когда ей вздумается. Поистине Франции нет, вся Франция уже погибла, Франция перестала существовать. То, что было Францией, теперь — английская провинция. Верно ли?

Ее голос был тих, слегка взволнован, но отчетлив:

— Да, верно.

— Прекрасно. Теперь добавь одно решающее обстоятельство, и сумма получится полная. Когда французские войска одержали последнюю победу? Шотландские войска, правда, несколько лет тому назад одержали одну или две жалкие победы под нашим знаменем — но я говорю о французских. С тех пор как восемь тысяч англичан двенадцать лет назад почти истребили при Азенкуре шестнадцать тысяч французов — с тех пор французская доблесть надломлена. И теперь вошло в пословицу, что пятьдесят французских солдат побегут, увидев пятерых английских.

— Прискорбно, но даже и это правда.

Я был уверен, что теперь она ясно увидит все. Я думал, что теперь она поневоле убедится в моей правоте и признает сама, что больше нет никакой надежды. Но я ошибался; я был разочарован. Она ответила без малейшей тени сомнения:

— Франция воспрянет. Увидишь.

— Воспрянет? Когда на ее спине это тяжелое бремя неприятельских войск?

— Она сбросит это бремя; она растопчет его.

Это было сказано с воодушевлением.

— Не имея солдат, будет сражаться?

— Барабанный бой созовет их. Они откликнутся, они выступят в поход.

— Выступят спиной к врагу?

— Нет, лицом к врагу — вперед, все вперед! Увидишь сам.

— А нищий король?

— Он взойдет на престол, он наденет венец.

— Ну, по правде сказать, от таких речей голова кругом идет. Кабы я мог поверить, что через тридцать лет будет свергнуто английское владычество и что на голову французского монарха будет возложена настоящая корона, знак верховной власти...

— Не пройдет и двух лет, как свершится и то и другое.

— Действительно? А кто же совершит все эти дивные невозможности?

— Бог.

Ясно прозвучал этот тихий и благоговейный ответ.

Откуда у нее взялись эти странные мысли? Вопрос этот неотступно занимал меня в течение двух или трех последующих дней. Неизбежно возникала догадка: не помешалась ли она? Чем иначе объяснить все это? Грустные, неустанные думы о невзгодах Франции поколебали ее сильный разум и населили ее фантазию несбыточными призраками. Да, это несомненно так.

Но я следил за ней, подвергал ее испытаниям — и приходилось разубеждаться. Ее взгляд был по-прежнему ясен и сознателен, ее поступки естественны, ее речи связны и толковы. Нет, ее разум не помутился, но по-прежнему был самым светлым и здравым во всей деревне. Она продолжала думать за других, брала на себя чужие заботы, жертвовала собой ради других — как всегда. Она продолжала ухаживать за больными и убогими и по-прежнему была готова уступить свою постель страннику, устроившись сама на полу. Тайна существовала, но не в помешательстве была ее разгадка. Это было очевидно.

Наконец, ко мне в руки попал ключ ее тайны. И вот как это случилось. Вы слышали, как весь мир говорил о том, о чем я собираюсь вам рассказать, но вы не слышали ни одного рассказа очевидца.

Однажды — это было 15 мая 1428 года — я возвращался, идя с другой стороны холма; достигнув опушки дубового леса, я только собирался выйти на поросшую дерном поляну, где стоял волшебный бук, но сначала взглянул из-за кустарника и — попятился назад, спрятавшись под покровом листвы. Дело в том, что я увидел Жанну, и мне захотелось как-нибудь подшутить над ней. Подумать только: эта пошлая затея едва не соприкоснулась с событием, которому суждено навеки запечатлеться в истории и в народных песнях!

День был пасмурный, и над зеленой поляной, где стояло Дерево, царил мягкая, богатая тень. Жанна сидела на природной скамейке, образованной большими узловатыми корнями Древа. Руки ее покоились на коленях. Она слегка склонила голову к земле; и было заметно, что она углубилась в думы, витает в мире грез, забыла о себе самой и об окружающем мире. И тут я заметил нечто чрезвычайно странное: то была белая тень, медленно скользящая по траве, по направлению к Древу. Тень была величественна по своим размерам — какой-то крылатый призрак, в мантии. И белизну тени я не решился бы с чем-либо сравнить, разве — с белизной молнии. Но даже у молнии не бывает такой поразительной белизны: на молнию можно смотреть без боли, а этот блеск был так ослепителен, что я почувствовал боль в глазах и прослезился. Я обнажил голову, догадавшись, что стою перед чем-то Божественным. Страх и трепет овладели мной, так что мое дыхание стеснилось и замерло.

Другая странность. Лес только что безмолвствовал, в нем царил та глубокая тишина, которая наступает при появлении темной грозовой тучи, когда все лесные твари в испуге умолкают. Теперь же все птичьи голоса сразу слились в одну общую песнь, исполненную неопишемого ликования, воодушевления, восторга; и песнь была столь красноречива и трогательна, что я не мог больше сомневаться: совершалось Божественное таинство. При первом же звуке птичьих голосов Жанна упала на колени и низко склонила голову, скрестив на груди руки.

Она еще не видала тени. Не птицы ли возвестили ей о ее приближении? Вероятно, да. В таком случае это должно было повторяться и раньше. Да, в том не может быть сомнения.

Тень медленно приближалась; вот она коснулась Жанны, озарила ее, окутала своим грозным великолепием. В этом сиянии бессмертия ее лицо, до тех пор лишь человечески прекрасное, приобрело

божественную красоту. Ее простое крестьянское платье, преображенное этим потоком лучей, уподобилось одеянию тех светозарных Божьих детей, сидящих на ступенях Престола, которых мы встречали в наших сновидениях и грезах.

Вот она встала; голова ее все еще была немного наклонена, руки опустились, и пальцы слегка переплелись. Она стояла вся пронизанная дивным светом, но, по-видимому, не сознавая того, и словно вслушивалась; однако я ничего не слышал. Вскоре она подняла голову и посмотрела вверх, как будто ей приходилось глядеть в лицо великану, — и сложила руки, высоко подняла их с мольбой и словно начала о чем-то просить. Я разобрал некоторые слова. Я расслышал, как она говорила:

— Но я так молода! Ах, я слишком молода, чтобы оставить свою мать и родные места, пойти в чуждый мне мир и взяться за такое великое дело! Ах, как я могу говорить с мужчинами, быть их сотоварищем, да еще с солдатами! Я должна буду терпеть оскорбления, обиды, презрительные насмешки. Как могу я пойти на великую войну и стать во главе армии? Я, девушка, ничего в этом не понимающая, не умеющая владеть оружием, ни ездить верхом... Но если так повелено...

Ее голос дрогнул, прервался рыданиями, и я не мог больше расслышать ее слова. И тогда я опомнился. Я познал, что вторгаюсь в тайну Божию, — какова же будет мне кара за это? Я испугался и углубился подальше в лес. Тут я сделал зарубину на стволе дерева, говоря себе, что, быть может, я сплю и никакого видения не было. Я вернусь сюда, когда буду уверен, что я бодрствую, и посмотрю, окажется ли моя заметка на месте. И тогда я все пойму.

ГЛАВА VII

Кто-то окликнул меня по имени. То был голос Жанны. Я вздрогнул: как она могла узнать о моем присутствии? Я сказал себе: значит, сон еще не кончился; все это был только сон — и голос, и тень, и все остальное; это проделки фей. И, перекрестившись, я произнес имя Бога, чтобы разогнать чары. Теперь я знал, что не сплю, потому что никакое колдовство не устояло бы перед таким заклинанием. Оклик повторился; я тотчас вышел из зарослей; передо мной действительно была Жанна, но не такая, какую я видел ее во сне. Она теперь не плакала, но была похожа на ту Жанну, которую мы знали полтора года назад, когда у нее на сердце было легко, а на душе весело. Вернулось ее прежнее одушевление, возгорелся пламень, и в ее лице, в ее осанке было что-то восторженное. Она как будто только что очнулась от какого-то волшебного сна. Поистине казалось, что она только что была где-то далеко, недостижимая для нас, — и вернулась к нам наконец; и мне сделалось так радостно, что я хотел бы созвать всех сюда, чтоб поздравили ее с прибытием. Взволнованный, я подбежал к ней и сказал:

— Ах, Жанна, я сейчас расскажу тебе нечто такое удивительное! Ты и представить себе не можешь! Я видел сон: ты стояла как раз на том месте, где стоишь сейчас, и...

Она подняла руку и сказала:

— Это не был сон.

Я опешил; боязнь опять начала овладевать мною.

— Не сон? Откуда ты знаешь, Жанна?

— Спишь ли ты сейчас?

— Я... я думаю, что нет. Вероятно, нет.

— Нет, не спишь. Я знаю, что не спишь. И ты не спал и тогда, когда делал заметку на дереве.

Я похолодел от ужаса, потому что теперь не оставалось никаких сомнений, что я не спал, но действительно был очевидцем чего-то страшного, чего-то сверхъестественного. И тут я вспомнил, что грешными стопами я попираю священную землю — ту землю, которой коснулась священная тень. Я ринулся прочь, содрогаясь от страха. Жанна догнала меня.

— Не бойся; пугаться нечего, — сказала она. — Пойдем со мной. Сядем у родника, и я расскажу тебе свою тайну.

Она уже готова была начать, но я перебил:

— Сначала скажи мне вот о чем. Ведь ты не могла видеть меня в лесу; как же ты узнала, что я сделал заметку на дереве?

— Подожди. Дойдем и до этого, узнаешь все.

— Но объясни мне теперь хоть одно: чья это была грозная тень?

— Изволь, скажу. Только не пугайся, опасности нет. То была тень архангела Михаила, вождя и предводителя рати Небесной.

Я перекрестился и затрепетал при мысли, что я осквернил стопами эту землю.

— Тебе не было страшно, Жанна? Видела ли ты его лик, его стан?

— Да, но мне не было страшно, потому что это случилось уж не в первый раз. А в первый раз — боялась.

— Когда это было, Жанна?

— Года три тому назад.

— Так давно? И много ли раз ты видела его?

— Да, много.

— Вот почему ты так переменилась; вот почему ты стала такой задумчивой, не похожей на прежнюю Жанну. Теперь понимаю. Почему ты никому не рассказывала об этом?

— Мне не было позволено. Теперь можно, и вскоре я расскажу обо всем. Но пока — только тебе. Еще несколько дней это должно оставаться тайной.

— А раньше никто не видел этой белой тени?

— Никто. Она нисходила на меня несколько раз, когда были тут и другие, и ты, но никто не мог ее увидеть. Сегодня было иначе; и мне сказано почему. Но больше она никогда не будет видима.

— Значит, в этом было знамение мне? Знамение, имеющее особый смысл?

— Да, но я не имею права говорить об этом.

— Странно, что этот ослепительный свет может явиться перед твоими глазами, а ты его и не заметишь.

— Он сопровождается голосами. Являются несколько святых, сопутствуемые сонмами ангелов, и говорят со мной; я слышу их голоса, но другие не слышат. Они дороги мне — мои Голоса; так я их называю.

— Что же они говорят тебе, Жанна?

— Разное. Все о Франции.

— О чем они больше всего говорили? Она вздохнула:

— О бедствиях — все только о бедствиях, о неудачах, об унижениях. Больше нечего было предсказывать.

— Так они говорили тебе все это заранее?

— Да. Так что я знала наперед о всех грядущих событиях. И потому я была печальна, как ты заметил. Могло ли быть иначе? Однако всякий раз было также и слово надежды. Больше того: Франции обещано освобождение, она получит назад свое величие и свою независимость. Но как и через кого — о том не было сказано. Не было сказано до нынешнего дня.

При последних словах глаза ее загорелись глубоким огнем; впоследствии я видел этот огонь много раз, когда трубы призывали к атаке, и я прозвал его боевым огнем. Ее грудь трепетала, щеки оживились румянцем.

— Но сегодня я узнала. Господь избрал для этого дела недостойнейшее из созданий Своих. И по Его повелению, под защитой Его десницы и Его всемогущества — не по своей воле — я должна повести Его рать, должна отвоевать Францию, должна возложить корону на главу Его слуги, дофина, которому надлежит сделаться королем.

Я был поражен:

— Ты, Жанна? Ты, ребенок, поведешь французское войско?

— Да. На одно лишь мгновение мысль об этом удручила меня. Ведь я, как ты сказал, еще ребенок; я молода и неопытна, не понимаю ничего в военном деле; мне ли нести тяготы походной жизни, мне ли быть товарищем воинов? Но прошли минуты слабости, и они больше не повторятся. Я назначена, и я не отстранюсь, пока с Божьей помощью Франция не освободится от когтей англичан. Мои Голоса никогда не лгали, не солгали они и сегодня. Они сказали, что я должна идти к Роберту де Бодрикуру, губернатору Вокулера: он даст мне вооруженную свиту и пошлет к королю. Пройдет год — и разразится удар, который будет началом конца, а конец будет близок.

— Где разразится?

— Мои Голоса не открыли мне этого, не открыли и того, что случится в течение года, до нанесения удара. Мне суждено нанести его — вот все, что я знаю; и за этим ударом последуют другие, быстрые и могучие, — в десять недель рухнут великие, многолетние труды англичан, и на главу дофина будет возложена корона — такова воля Господа; мои Голоса вещали мне, и могу ли я им не верить? Сбудется произнесенное ими, потому что они говорят только истину.

Слова ее потрясли меня. Голос разума говорил мне, что все это несбыточно, но сердце признавало их правдой. Итак, сомневаясь разумом, я верил сердцем; я верил и с того дня твердо хранил эту веру.

Я сказал:

— Жанна, я верю тому, что ты сказала. И теперь я рад, что мне суждено идти на войну, то есть если мне суждено идти с тобой.

Она с удивлением взглянула на меня и сказала:

— Действительно, тебе назначено пойти со мной, когда я выступлю в поход, но откуда ты узнал?

— Я пойду с тобой; пойдут Жан и Пьер; но Жак останется.

— Верно, именно так и назначено: недавно мне было откровение. Но только сегодня я узнала, что те пойду вместе со мной и что сама я пойду. Откуда же ты узнал?

Я рассказал, как мне удалось уловить ее слова. Но она не могла вспомнить. И я понял, что она тогда спала, или была в забытьи, или в состоянии экстаза. Она велела мне покуда молчать об этих откровениях; я обещал и — сдержал слово.

В этот день всякий, встречая Жанну, замечал происшедшую с ней перемену. Ее движения и речи отличались особым рвением и решимостью; в ее глазах замечался странный огонь, которого не было раньше, и что-то совершенно новое и необычное было во всей ее осанке. Этот новый огонь в глазах, эта новая осанка были отражением свыше дарованных ей в тот день влияния и полномочий народного вождя; и эта внешняя перемена красноречивее слов говорила о ее превосходстве над нами, но без малейшего оттенка рисовки или хвастовства. Это спокойное осознание силы, спокойное, безотчетное ее проявление с тех пор остались у нее, пока она не привела в исполнение свое великое дело.

Подобно другим жителям деревни, Жанна всегда относилась ко мне с уважением, согласно моему званию. Но теперь, словно по молчаливому уговору, мы поменялись местами; она давала приказания — не советы, — и я подчинялся беспрекословно, почитая ее как начальника. Вечером она сказала мне:

— Я уйду отсюда перед рассветом. Никто не должен знать об этом, кроме тебя. Я отправляюсь, чтобы переговорить с губернатором Вокулера, согласно повелению; он посмеется надо мной, будет груб и, быть может, на первый раз откажется удовлетворить мою просьбу. Сначала я пойду в Бюрэ, чтобы уговорить дядю Лаксара пойти со мной, так как мне не подобает идти одной. Ты можешь понадобится мне в Вокулере: если губернатор откажется принять меня, то я продиктую письмо к нему; значит, мне нужен будет человек, умеющий писать и читать. Завтра ты уйдешь отсюда после полудня и останешься в Вокулере, пока не минует надобность.

Я обещал повиноваться, и она пошла своей дорогой. Видите, какая у нее была светлая голова, как правильно она предусмотрела все. Она не приказала мне идти вместе с ней; нет она оберегала свое доброе имя от грязных сплетен. Она знала, что губернатор, как дворянин, примет меня — дворянина; но нет — это, как видите, не соответствовало ее принципам. Бедная крестьянская девушка передает просьбу через молодого дворянина: как взглянули бы на это? Она избегала любых ситуаций, способных бросить на нее даже тень подозрения, и в результате ей удалось до конца сохранить незапятнанным свое доброе имя. Теперь я знал, как надлежит мне поступить, чтобы заслужить ее одобрение: отправиться в Вокулер, не показываться ей на глаза и быть наготове, чтобы явиться по первому ее зову.

На следующий день, после полудня, я отправился в город и нанял там скромное помещение; через день я посетил замок и засвидетельствовал свое почтение губернатору, который пригласил меня на следующий день на обед. Это был образцовый солдат того времени: высокий, загорелый, седой, грубоватый, он вечно произносил страшные проклятия, которые он подобрал во время походов и сохранял, как драгоценные украшения. Он всю жизнь провел в походах, и, по его мнению, война была лучшим даром, ниспосланным человеку Богом. На нем была стальная кираса, сапоги выше колен, и опоясан он был огромным мечом. И когда я взглянул на эту воинственную фигуру, и услышал всю эту диковинную ругань, и понял, как чужд этот человек всяких тонкостей чувства и поэзии, то я подумал, что крестьяночка не удостоится получить доступ к этой крепости: она должна будет довольствоваться продиктованным посланием.

В следующий полдень я снова явился в замок; меня провели в обширную пиршественную залу и посадили рядом с губернатором за небольшой стол, стоявший на возвышении, отдельно от общей трапезы. Кроме меня, за почетным столиком сидели еще несколько гостей, а за общим — старшие офицеры гарнизона. У входных дверей помещались часовые с алебардами, в шишаках и латах.

Беседа, конечно, шла все о том же — об отчаянном положении Франции. Кто-то сообщил слух, что Солсбери собирается идти на Орлеан. Собеседники тотчас разгорячились, каждый высказывал свое мнение. Одни говорили, что он выступит в поход немедленно, другие — что он успеет начать осаду только к шапочному разбору, третьи — что осада будет продолжительна и встретит доблестный отпор; только в одном все мнения сходились: Орлеан непременно падет, а с ним и Франции конец. На том и окончились долгие споры, и наступило молчание. Каждый, казалось, погрузился в собственные мысли, забыв обо всем окружающем. Разительна и торжественна была эта внезапная, глубокая тишина, сменившая господствовавшее перед тем оживление. Вошел слуга и прошептал что-то на ухо губернатору, который переспросил:

— Хотят говорить со мной?

— Да, ваша милость.

— Гм... Странная затея, право! Приведи их сюда.

Это были Жанна и ее дядя Лаксар. При виде знатных господ бедный старый крестьянин совсем растерялся, остановился на полдороге и ни за что не решался идти дальше, а продолжал стоять, комкая в руках свой красный колпак и смиренно кланяясь во все стороны. Страх и смущение ошеломили его. Но Жанна смело выступила вперед и остановилась перед губернатором, держась с достоинством и владея собой.

Она узнала меня, но не показала и виду. Ее встретили гулом изумления, и даже губернатор пробормотал: «Ей-богу, какое прелестное создание!» Минуту-другую он пытливо всматривался в нее, затем сказал:

— Ну, по какому делу ты явилась, дитя мое?

— Я послана к вам, Роберт де Бодрикур, губернатор Вокулера, и вот ради чего: вы должны послать дофину весть, чтобы он не торопился дать врагу сражение, но обождал, потому что Господь скоро пошлет ему помощь.

Этот странный ответ поразил присутствовавших, и иные пробормотали: «Бедняжка не в своем уме». Губернатор нахмурился и произнес:

— Что это за чепуха? Король — или дофин, как ты его называешь, — не нуждается в вестях такого рода. Он подождет — на этот счет будь спокойна. Что еще желаешь ты мне сказать?

— Вот что: я хочу просить, чтобы вы дали мне вооруженную стражу и послали к дофину.

— Зачем это?

— Чтобы он сделал меня своим полководцем, ибо мне предначертано изгнать из Франции англичан и возложить корону на главу его.

— Как... ты? Да ведь ты еще ребенок!

— И тем не менее мне назначено совершить это.

— Вот как? А когда все это должно случиться?

— В следующем году произойдет его коронование, и после того он станет повелителем Франции.

Все разразились громким хохотом. Когда немного поутихло, губернатор спросил:

— Кто послал тебя с этими несбыточными поручениями?

— Мой Повелитель.

— Какой Повелитель?

— Царь Небесный.

Многие заговорили вполголоса: «Ах, бедняжка, бедняжка!», «Разум-то у нее совсем помутился!».

Губернатор кликнул Лаксара и сказал:

— Эй, ты! Отведи-ка эту полоумную девчонку домой, да выпороть ее хорошенько! Самое лучшее будет лекарство.

Уходя, Жанна обернулась и сказала простодушно:

— Вы отказываетесь дать мне солдат. Почему — я не знаю; ведь Господь повелел вам. Да, это Он приказывает; а потому я приду опять и опять и, наконец, получу вооруженную стражу.

После ее ухода долго шли разговоры; все дивились. А стража и слуги разнесли эти слухи по городу; из города весть разлетелась по всей провинции, и Домреми уже пересуживал ее на все лады, когда мы возвратились.

ГЛАВА VIII

Природа человека повсюду неизменна: она благоговеет перед успехом, неудачи клеймит презрением. В деревне решили, что Жанна опозорила ее своим шутовским выступлением и его смехотворным исходом. И все чесали об этом языки с такой же язвительностью и злобой, как с усердием; счастье, что языки все были беззубые, а то Жанна не пережила бы этой травли. Иные языки, хоть и не бранили ее, зато были еще злее и нестерпимее: они издевались над ней, высмеивали ее и не переставали денно и ночью изощрять свое остроумие, преследуя ее шуточками и хохотом. Ометта, маленькая Менжетта и я стояли за нее, но остальные ее друзья не выдержали враждебного натиска и начали сторониться Жанны; им стыдно было показываться в ее обществе, потому что она была теперь так непопулярна и потому что из-за нее теперь и на них сыпались насмешки и издевательства. Она потихоньку проливала слезы, но никогда не плакала на виду. На глазах у всех она, напротив, держалась с невозмутимым спокойствием, не высказывая ни грусти, ни злобы, — и уж одним этим она могла бы смягчить общее враждебное чувство; но нет — все оставалось по-прежнему. Ее отец был рассержен так, что не мог спокойно говорить о ее затее — отправиться на войну, точно она мужчина. Когда-то ему приснилось, будто она выкинула подобную штуку, и теперь он с испугом и досадой вспомнил об этом сновидении и сказал, что скорее, чем дозволит ей забыть свой девичий стыд и отправиться с солдатами на войну, он прикажет братьям утопить ее, а если они не послушаются, то он сделает это собственными руками.

Но намерение ее ничуть не было поколеблено, несмотря ни на что. Родители зорко смотрели за ней, чтобы помешать ее уходу из деревни; но она говорила, что должное время еще не наступило; а когда наступит — ей будет указано свыше, и тогда никакие преграды ее не смогут удержать.

Лето приближалось к концу; ее решимость между тем не ослабевала, и тут родители с радостью ухватились за представившийся случай, надеясь положить конец всем ее затеям. Выдать ее замуж! Паладин

возымел наглость утверждать, будто она еще несколько лет назад обручилась с ним, и потребовал теперь исполнения слова.

Она заявила, что его утверждение лживо, и отказалась быть его женой. Ее вызвали в церковный суд в город Тул и привлекли к ответственности за нарушение брачного обета; и когда она отказалась от защитника, предпочтя лично вести свое дело, то ее родители и все ее недоброжелатели возрадовались, будучи заранее уверены в ее неудаче. Да оно и понятно: кто мог бы ожидать, что невежественная крестьянская девушка шестнадцати лет не испугается, не лишится дара слова, когда ей впервые в жизни придется предстать перед собранием опытных законоведов, среди леденящей, торжественной обстановки суда? И тем не менее все ошиблись. Собравшись в Тул, чтобы присутствовать при зрелище и насладиться ее испугом, смущением и неудачей, они испытали лишь всю горечь разочарования. Она была скромна, спокойна и вполне сохраняла самообладание. Она, со своей стороны, не вызывала свидетелей, сказав, что она удовольствуется только допросом свидетелей обвинения. Они дали свои показания; тогда она встала, изложила их показания в нескольких словах, указала на их неопределенность, сбивчивость и необоснованность, затем вызвала Паладина и начала допрашивать его. Под ее искусными руками все его предыдущие показания распались на клочки, так что он, пришедший в богатом облачении лицемерия и лжи, в конце концов был как бы раздет донага. Его поверенный начал было развивать свои доводы, но суд отказался от слушания речи и постановил прекратить дело, произнеся в заключение несколько слов, весьма лестных для Жанны, которую величали не иначе как «это дивное дитя». Разумеется, Жанна выиграла дело, и суд вынес решение в ее пользу.

После такой победы, после такой похвалы со стороны столь высокого собрания переменчивая деревня поддалась новому течению и встретила Жанну благосклонно, ласково и миролюбиво. Мать снова прижала ее к сердцу, и даже отец смягчился, сказав, что он ею гордится. Но тем не менее каждый день ложился тяжелым бременем на ее сердце: уже началась осада Орлеана, над Францией все больше сгущались черные тучи, а Голоса говорили «жди!» и не давали прямых указаний. Началась и тоскливо потянулась зима; но наконец-таки наступила перемена.

КНИГА ВТОРАЯ При дворе и в стане

ГЛАВА I

Пятого января 1429 года Жанна пришла ко мне со своим дядей Лаксаром.

— Время наступило, — сказала она. — Теперь мои Голоса не смутны, но отчетливы, и они сказали мне, что следует делать. Через два месяца я буду у дофина.

Ее настроение было восторженно, ее осанка — воинственна. Это передалось мне, и я почувствовал тоже какое-то неодолимое стремление; подобный порыв переживаешь, когда услышишь барабанный бой и топот идущего войска.

— Я верю! — сказал я.

— Я тоже верю, — произнес Лаксар. — Если бы она раньше сказала мне, что Господь повелел ей спасти Францию, — я не поверил бы; я предоставил бы ей самой, как умеет, пробиваться к губернатору, и постарался бы держаться подальше от всей этой кутерьмы, не сомневаясь, что Жанна спятила с ума. Но я видел, как безбоязненно она стояла перед теми знатными и сильными людьми, я слышал, как она говорила свою речь; ведь только с помощью Божьей она могла это сделать. В этом я убедился. А потому я отныне смиренно подчиняюсь ее приказаниям. Пусть поступает со мной, как хочет.

— Мой дядя очень добр, — сказала Жанна. — Я послала к нему с просьбой: пусть придет к нам и уговорит маму отпустить меня с ним, чтобы я могла поухаживать за его женой — она больна. Это устроилось, и завтра с рассветом мы отправляемся. Из его дома я вскоре пойду в Вокулер — буду там ждать и домогаться, пока не получу просимого. Кто были те два рыцаря, что сидели тогда слева от тебя за столом губернатора?

— Один — сьер Жан де Новелонпон де Мец, другой — сьер Бертран де Пуланжи.

— Добрая сталь — добрая сталь, и тот и другой. Я наметила их себе в помощники... Что прочитала я на твоём лице? Сомнение?

Я приучал себя говорить ей всегда лишь неприкрашенную правду, а потому сказал:

— Они приняли тебя за помешанную — так и сказали. Правда, они сожалели о тебе, но все-таки назвали тебя безумной.

По-видимому, это несколько не встревожило и не обидело ее. Она только промолвила:

— Мудрые люди меняют свои мнения, когда видят, что их взгляд был ошибочным. Так будет и с ними. Они отправятся со мной. Теперь я опять встречу с ними... Кажется, ты опять сомневаешься? Сомневаешься?

— Н-нет. Теперь нет. Мне лишь вспомнилось, что это было год тому назад и что они нездешние; они случайно остановились здесь на один день во время путешествия.

— Они приедут опять. Но к делу: я пришла, чтобы оставить тебе кое-какие распоряжения. Через несколько дней после моего ухода отправишься и ты. Устрой все свои дела, потому что твое отсутствие будет продолжительно.

— А Жан и Пьер пойдут со мной?

— Нет; сейчас они отказались бы, но вскоре придут и они, и принесут мне родительское благословение и согласие на то, чтобы я пошла навстречу своему призванию. Тогда я буду сильнее... это придаст им бодрости; а теперь я слаба, потому что мне недостает этого. — Она замолчала, и ее глаза наполнились слезами; затем она продолжала: — Я хотела бы проститься с маленькой Менжеттой; на рассвете приведи ее за околицу; пусть она немного проводит меня...

— А Ометта?

Жанна не выдержала и залилась слезами.

— Нет... о нет! — сказала она. — Слишком она дорога мне. Я не перенесла бы свидания, зная, что никогда не увижу ее лица.

На другое утро я пришел с Менжеттой, и мы, все четверо, пошли по дороге, пока деревня не осталась далеко позади. Тогда обе девушки сказали друг другу последнее «прости»; долго они обнимались, долго изливали в ласковых словах свое горе. Грустная картина. Жанна долго смотрела на далекую деревню, на Древо Фей, на дубовый лес, на цветущий луг, на реку, как будто она хотела запечатлеть все эти картины в своей памяти, так, чтобы они вечно сохранялись, не побледили: она ведь знала, что никогда в жизни больше не увидит этого. Потом она повернулась и пошла своей дорогой, проливая горькие слезы. То был ее день рождения и мой. Ей исполнилось семнадцать лет.

ГЛАВА II

Через несколько дней Лаксар проводил Жанну в Вокулер и нашел ей там помещение у Катерины Ройе, жены пекаря, честной и доброй женщины. Жанна не пропускала ни одной обедни, помогала по хозяйству — этим она платила за помещение и стол, — и если кому-нибудь приходила охота поговорить с ней насчет ее призвания, — а таких любителей было много, — то она беседовала свободно, ничего уже не скрывая. Я вскоре поселился неподалеку и подмечал, как к ней относится население. Быстро разнеслась весть, что появилась молодая девушка, которой Бог повелел спасти Францию. Простой народ стекался толпами, чтобы взглянуть на нее и поговорить с ней, и ее юная красота сразу завоевывала ей половину их доверия, а ее глубокая убежденность и несомненная искренность довершали остальное. Зажиточные люди держались вдали и подтрунивали; ну да их не переделаешь.

Вспомнили пророчество Мерлина; восемьсот лет миновало с тех пор, как он предсказал, что через многие годы Францию погубит женщина, и женщина спасет. Вот Франция была погублена впервые — и погубила ее женщина, Изабелла Баварская, ее королева-предательница; и нет сомнения, что эта чистая и прекрасная молодая дева избрана Небом для завершения пророчества.

В этом было новое и могучее поощрение возраставшего любопытства; все больше и больше разгоралось волнение, а вместе с ним надежда и вера. И волна за волной покатилося из Вокулера по всей стране это животворное воодушевление, разлилось вглубь и вширь, охватив все деревни, освежило и приободрило гибнувших сынов Франции. И из тех деревень потянулся народ, чтобы увидеть воочию и услышать самим; кто узрел и услышал — тот веровал. Они переполнили город; больше того: харчевни и дома были набиты битком, и все-таки половина прибывших должна была остаться без крова. А люди все прибывали, хотя стояла зима; когда алчет душа, то где тут думать о хлебе или пристанище, лишь бы утолить свою более высокую потребность. День за днем, день за днем увеличивался этот многолюдный поток. Домреми был поражен, ошеломлен, сбит с толку. Деревня задавалась вопросом: «Неужели это мировое чудо все эти годы пребывало среди нас, а мы и не примечали?» Пришли из деревни Жан и Пьер; на них смотрели во все глаза, им завидовали, словно великим и счастливым мира сего. Их шествие в Вокулер было подобно триумфу; из окрестных деревень сбегался народ, чтобы увидеть и приветствовать братьев той, с которой ангелы беседовали с глазу на глаз и в чьи руки, по воле Бога, они передавали судьбу Франции.

Братья принесли Жанне благословение и напутствие родителей, а также обещание, что они вскоре сами придут подтвердить ей это. И с этим беспредельным блаженством на сердце, с этим залогом счастливой надежды она вторично отправилась к губернатору. Но тот был столь же несговорчив, как и раньше. Он отказался послать ее к королю. Она была разочарована, но ничуть не пала духом.

— Все равно, — сказала она, — я должна буду приходить, пока не получу вооруженной свиты, потому что так повелено, и я не могу не повиноваться. Я должна отправиться к дофину, хотя бы мне пришлось ползти на коленях.

Я и оба брата навещали Жанну каждый день, чтобы видеть приходивший народ и послушать, о чем говорят. И однажды действительно явился сьер Жан де Мец. Он повел с ней речь в шутовском и ласковом тоне, как обыкновенно разговаривают с детьми.

— Что ты тут поделываешь, девочка? Как ты думаешь, вытурят ли короля из Франции и превратимся ли мы все в англичан?

Она отвечала ему со своим обычным спокойствием и деловито:

— Я пришла просить Роберта де Бодрикура отвести или отослать меня к дофину, но он не внемлет моим словам.

— Поистине твоя настойчивость поразительна; минул целый год, а ты не изменила своей прихоти. Я видел тебя, когда ты явилась в первый раз.

Жанна возразила с прежней невозмутимостью:

— Это не прихоть, а цель. Он даст согласие. Я буду ждать.

— Ах, дитя мое, благоразумно ли так твердо уповать на это? Губернаторы ведь упрямый народ, с ними скоро не сладишь. Ежели он не удовлетворит твоей просьбы...

— Удовлетворит. Он не может иначе. Ему не дано выбирать.

Шутливость дворянина начала пропадать — это видно было по его лицу. Убежденность Жанны передавалась и ему. Всегда случалось так, что все, кто начинал с ней шутить, под конец становились серьезны, подмечая в ней такую душевную глубину, о которой раньше и не подозревали; ее очевидная искренность и непоколебимая твердость ее убеждений составляли силу, перед которой не могло устоять легкомыслие. Сьер де Мец вдруг немного призадумался. Затем произнес, уже без оттенка шутки:

— Необходимо ли тебе отправиться к королю так скоро? То есть, хочешь сказать...

— До наступления крестопоклонной недели. Хотя бы у меня отнялись ноги до самых колен.

Она произнесла это с тем скрытым огнем, который столь много говорит, когда взбаламучено сердце. Прочитали бы вы ответ на лице этого рыцаря, посмотрели бы вы, как загорелись его глаза! То было сочувствие. Он сказал:

— Бог свидетель — я верю, что ты получишь стражу и что из этого выйдет толк. Что же ты собираешься сделать? На что ты надеешься и какова твоя цель?

— Спасти Францию. И мне предназначено совершить это. Ибо ни единый человек на всем свете, ни король, ни герцог, ни кто-либо другой, не может восстановить французское королевство, и неоткого ждать помощи помимо меня.

Эти слова были проникнуты и убежденностью и искренностью порыва; они растрогали доброго дворянина. Я видел ясно. А Жанна добавила несколько упавшим голосом:

— Но поистине я предпочла бы сидеть со своей бедной матерью за веретеном, потому что не для того я была рождена. Однако я должна пойти и совершить это — такова воля моего Повелителя.

— Кто твой Повелитель?

— Бог.

И тогда сьер де Мец, исполняя древний и красивый рыцарский обычай, преклонил колени и вложил свои руки в руки Жанны, показывая тем, что он признает себя ее вассалом, и поклялся, что с помощью Божьей он сам проводит ее к королю.

На следующий день прибыл сьер Бертран де Пуланжи, и он также принес ей клятву и честью рыцаря обещал оставаться при ней и повиноваться ее указаниям.

И к вечеру в этот же день разнеслась великая молва по всему городу — будто сам губернатор собирается посетить юную деву в ее убогом жилище. Поутру все улицы и переулки наводнились народом: каждому хотелось увидеть, действительно ли сбудется столь невероятная вещь. И сбылось. Губернатор подъехал в полном параде, в сопровождении своей вооруженной свиты; известие о том разнеслось повсюду, поразило всех, положило конец насмешкам, и слава Жанны поднялась до небывалой высоты.

Губернатор поставил себе такой вопрос: Жанна либо ведьма, либо святая; и он решил докопаться до истины. Поэтому он привел с собою священника, чтобы произвести изгнание беса, на случай, если она одержима нечистой силой. Патер совершил надлежащий обряд, но не обнаружил дьявола. Он лишь оскорбил Жанну в ее лучших чувствах и неизвестно зачем надругался над ее благочестием; ведь он перед тем исповедовал ее сам и должен был бы знать, — если только он вообще что-нибудь знал, — что бесы не могут присутствовать в исповедальне, но издают крики страдания и самые нечестивые проклятия, лишь только почувствуют близость этого святого таинства.

Губернатор вернулся встревоженный и задумчивый; он решительно не знал, что делать. А пока он размышлял и обдумывал, прошло несколько дней и наступило 14 февраля. Тогда Жанна пришла в замок и сказала:

— Во имя Господа, Роберт де Бодрикур! Вы слишком медлите, и, задерживая меня, вы тем самым причиняете вред, ибо сегодня дофин проиграл битву вблизи Орлеана, и он понесет еще больший урон, если вы не отошлете меня к нему как можно скорее.

Губернатор ушам не верил, слушая такую речь, и сказал:

— Сегодня, дитя, сегодня? Как ты можешь знать, что произошло в тех местах сегодня? Восемь или десять дней требуется, чтобы оттуда пришла весть.

— Мои Голоса принесли мне эту весть, и она истинна. Сегодня проиграна битва, и на вас лежит вина, что я до сих пор не двинулась в путь.

Губернатор некоторое время ходил взад и вперед по комнате, говоря сам с собою и иногда произнося какое-нибудь увесистое проклятие; наконец он сказал:

— Вот что! Ступай себе с миром и жди. Если окажется так, как ты говоришь, то я дам тебе грамоту и пошлю тебя к королю, — но не иначе.

Жанна ответила с жаром:

— Благодарение Богу, почти миновала пора ожидания. Через девять дней вы дадите мне грамоту.

Население Вокулера уже подарило ей коня, а также вооружило и снарядило ее, как воина. До сих пор у нее не было случая испытать коня и узнать, может ли она ездить верхом, потому что ее первой и главной обязанностью было не покидать своего поста и внушать надежду и смелость всем приходящим к ней и готовить их к совместному подвигу освобождения и возрождения королевства. Исполнению этого долга она посвящала каждую минуту своего времени. Но не все ли равно — не было ничего, чему она не могла бы научиться, и притом в кратчайший срок. Ее конь убедился в том с первого же часа. Между тем учебе ездить верхом занялись братья Жанны и я; мы учились по очереди. Обучались мы также искусству владеть оружием.

20 числа Жанна созвала свое маленькое войско — двух рыцарей, двух своих братьев и меня — на частный военный совет. Нет, то не был совет — такое название не подошло бы, потому что она не совещалась с нами, а отдавала приказания. Она начертала нам путь, которым намеревалась ехать к королю, и сделала это подобно человеку, в совершенстве знающему географию; и эта роспись ежедневных переходов была составлена так, что все особенно опасные места оставались в стороне благодаря фланговым движениям. Из этого видно, что политическую географию она знала так же хорошо, как физическую. И в то же время она ни одного раза не была в школе, ничему не училась. Я изумился, но тотчас подумал, что Голоса вразумили ее. Однако по некотором размышлении я заметил, что дело вовсе не в том. Она постоянно ссылалась на слова того, или другого, или третьего, и я понял, что она прилежно расспрашивала всех своих бесчисленных посетителей и на основании их сообщений терпеливо собрала всю эту сокровищницу знания. Оба рыцаря восхищались ее здравым смыслом и проницательностью.

Она приказала нам сделать все приготовления к путешествию, во время которого мы будем совершать переходы ночью, а спать — днем, в потаенных местах; почти весь долгий путь через неприятельскую территорию нам предстояло совершить в таких условиях.

Кроме того, она приказала хранить в тайне день нашего отправления, потому что желала уйти незамеченной. В противном случае наше выступление было бы отпраздновано шумными проходами, а это могло бы послужить предупреждением врагу: нас подстерегли бы в засаде и взяли в плен. В заключение она сказала:

— Теперь мне только осталось сообщить вам день, когда мы выступим в поход, — чтобы вы могли заблаговременно приготовить все и чтобы не пришлось ничего делать в последнюю минуту кое-как и наспех. Мы отправляемся двадцать третьего в одиннадцать часов вечера.

И она отпустила нас. Оба рыцаря были ошеломлены и — встревожены. И сьер Бертран сказал:

— Даже если губернатор в самом деле даст ей грамоту к королю и конвой — он все-таки, быть может, не успеет сделать это к назначенному ею времени. Тогда как же она решается назначать день и час? Опасно, очень опасно выбирать и назначать время при такой неизвестности.

Я сказал:

— Раз она сказала двадцать третьего, то мы можем ей довериться. Я думаю, Голоса поведали ей. Нам лучше всего повиноваться.

И мы повиновались. Родителей Жанны уведомили, чтобы они пришли до 23 числа, но из осторожности им не было сказано, почему назначен крайний срок.

23 она целый день пытливо всматривалась в толпы стремившихся к дому новых посетителей, но ее родители не показывались. Однако она не теряла мужества и продолжала надеяться. Но наступил вечер, и надежды ее рушились; она залилась слезами, но вскоре осушила их и сказала:

— Очевидно, так должно было случиться; очевидно, так суждено. Я должна перенести это и — перенесу.

Де Мец пытался утешить ее, говоря:

— От губернатора пока ничего не слышно. Они, быть может, придут завтра и...

Он не договорил, потому что она прервала его словами:

— Чего ради? Мы отправляемся сегодня вечером, в одиннадцать часов.

Так и сбылось. В десять часов явился губернатор в сопровождении свиты и факельщиков и привел ей отряд конной стражи, дал коней и вооружение мне и братьям Жанны и вручил ей грамоту на имя короля. Затем он снял свой меч и собственноручно опоясал им Жанну и сказал:

— Истинны были твои слова, дитя мое. Битва была проиграна в тот день. И вот я исполняю свое слово. Иди... будь что будет!

Жанна поблагодарила его, и он пошел своей дорогой.

Эта проигранная битва была тем знаменитым поражением, которое значится в истории под именем Сельдяной битвы.

Все огни в доме были сразу погашены, и через некоторое время, когда улицы погрузились в темноту и безмолвие, мы, никем не замеченные, миновали их и, выехав через западные ворота, помчались во весь опор, нахлестывая и пришпоривая лошадей.

ГЛАВА III

Нас выехало двадцать пять отлично вооруженных человек. За городом мы построились попарно: Жанна и ее братья — посреди колонны, Жан де Мец — во главе, а сьер Бертран — в арьергарде. Рыцари были назначены на эти места, чтобы предупреждать попытки бегства — на первое время. Часа через два-три мы будем уже на территории неприятеля, и тогда никто не осмелится задать тягу. Мало-помалу по всей линии начали в разных местах раздаваться стоны, оханья и проклятья; расспросив, в чем дело, мы узнали, что шестеро из нашего отряда — крестьяне, никогда раньше не ездившие верхом; им лишь с большим трудом удавалось держаться в седле, и к тому же теперь они начали испытывать изрядную боль. Губернатор в последнюю минуту велел схватить их и силой присоединить к нашему отряду, чтобы заполнить ряды; к каждому он приставил опытного воина с приказанием поддерживать их в седле и убить при первой попытке к бегству.

Эти бедняги соблюдали тишину, пока были в силах; но их физические страдания наконец столь обострились, что они не могли долее терпеть. Однако теперь мы вступили на вражескую территорию, где им неоткуда было ждать помощи; они вынуждены были продолжать с нами путь, хотя Жанна и разрешила им покинуть нас, если они не боятся. Они предпочли остаться. Мы убавили ходу и теперь продвигались с осторожностью; новобранцев предупредили, чтобы они терпели свое горе молча, а не подвергали весь отряд опасности своими проклятиями и жалобами.

К рассвету мы углубились в лес, где разбили лагерь, и вскоре все, кроме часовых, заснули крепким сном, несмотря на холодное земляное ложе и морозный воздух.

В полдень я очнулся от такого крепкого и одуряющего сна, что сначала не мог привести в порядок свои мысли и не знал, где нахожусь и что случилось. Понемногу моя голова прояснилась, и я вспомнил все. Я лежал, раздумывая о необычайных событиях последнего месяца, и вдруг мне пришла в голову мысль, сильно меня поразившая: ведь одно из пророчеств Жанны не сбылось. Где Ноэль и Паладин, которые должны были присоединиться к нам в одиннадцатом часу? К этому времени, видите ли, я привык ожидать исполнения всего, что сказано Жанной. Встревоженный и взволнованный такими мыслями, я открыл глаза. И что же? Передо мной стоял сам Паладин, прислонившись к дереву и поглядывая на меня! Как часто бывает, что думаешь или говоришь о каком-нибудь человеке, а сам и не подозреваешь, что он тут как тут! Можно предположить, что ты подумал о нем именно потому, что он находится вблизи, а вовсе не случайно, как принято объяснять. Как бы то ни было, Паладин стоял, смотря мне прямо в лицо и ожидая, когда я проснусь. Я чрезвычайно обрадовался, увидя его, вскочил на ноги, крепко пожал ему руку, отвел его немного в сторону от нашего лагеря — причем он хромал, словно калека, — и, предложив ему присесть, сказал:

— Откуда же ты свалился как снег на голову? Какими судьбами ты попал сюда? И что значит твой военный наряд? Объясни мне все.

Он ответил:

— Я ехал с вами всю прошлую ночь.

— Да ну! — И я сказал себе: значит, пророчество сбылось хоть наполовину.

— Да. Я поспешил из Домреми, чтобы присоединиться к вам, и едва не опоздал на каких-нибудь полминуты. По правде говоря, я уже опоздал, но так усердно упрашивал губернатора и он был так растроган

моим доблестным рвением послужить на пользу отечеству — таковы были его подлинные слова, — что сдался и позволил мне примкнуть к отряду.

Я подумал: «Это ложь; он — один из тех шести, которых губернатор насильно завербовал в последнюю минуту; я знаю это, потому что по пророчеству Жанны он должен был присоединиться к нам в одиннадцатом часу, и не по доброй воле». Затем я сказал вслух:

— Очень рад, что ты явился; мы боремся за правое дело, и в наши времена никому не подобает сидеть дома.

— Сидеть дома! Мне так же невозможно было усидеть дома, как грому — остаться в туче вопреки призыву бури.

— Хорошо сказано. И это так похоже на тебя. Он был польщен.

— Мне приятно, что ты не ошибся во мне. Не все знают меня. Но у них скоро откроются глаза. Они близко узнают меня, прежде чем я успею вернуться из похода.

— Не сомневаюсь в этом. Верю, что при первой же опасности ты сумеешь показать себя.

Мои слова очаровали его, и он раздулся, как пузырь. Он сказал:

— Если я знаю самого себя (а мне думается, что знаю хорошо), то мои подвиги во время этого похода не раз заставят тебя вспомнить о своих словах.

— Глупо было бы сомневаться в том. Я верю в тебя.

— Мне, правда, негде будет развернуться: ведь я простой солдат. Тем не менее мое имя прогремит по всему отечеству. Будь я на своем месте, будь я на месте Ла Гира, или Сентрайля, или Бастарда Орлеанского... не стану ничего говорить, я не из породы болтунов, вроде Ноэля Рэнгесона и ему подобных, избави боже! Но согласишься, ведь это кое-что значило бы — это поразило бы весь мир, как нечто небывалое, если бы слава простого солдата вознеслась выше их и своим блеском затмила величие их имен!

— Послушай-ка, друг мой, — сказал я, — знаешь ли, ты набрел на великую мысль? Сознаешь ли ты, какой необъятный простор она откроет тебе? Рассуди: что значит быть прославленным полководцем? Ничего — история битком набита ими; их так много, что всех имен и в памяти не удержишь. Но простой солдат, прославивший себя до небывалой высоты, будет стоять особняком! Он был бы единственной луной среди небосвода мелких, как горчичное зерно, звезд; его имя переживет род человеческий. Друг мой, от кого ты заимствовал такую мысль?

Он едва не лопался от восторга, но старался по мере возможности скрывать свои чувства. Он скромно отстранил похвалу мановением руки и сказал:

— Пустяки. У меня они зарождаются часто — мысли в таком же роде, да и еще более величественные. А в этой, по-моему, нет ничего особенного.

— Я поражен. Поистине поражен. Неужели это ты сам додумался?

— Именно. И там, откуда эта мысль явилась, их есть еще большой запас, — тут он указал пальцем на свой лоб и заодно воспользовался случаем сдвинуть свой шишак набекрень, что придало ему крайне самодовольный вид. — Мне нет нужды пользоваться чужими мыслями, как это делает Ноэль Рэнгесон.

— Кстати, насчет Ноэля — когда ты видел его в последний раз?

— С полчаса назад. Он дрыхнет вон там, словно колода. Ехал с нами всю ночь.

Мое сердце сильно забилося, и я сказал себе, что теперь я могу успокоиться и возрадоваться и что отныне я никогда не буду сомневаться в пророчествах Жанны. И я произнес:

— Это радует меня. Я могу гордиться нашей деревней. Я вижу, что в нынешние великие времена никакая сила не удержит дома наших львиных сердец.

— Львиное сердце! У кого — у этого молокососа? Да он, словно собачонка, просил отпустить его. Плакал и просился к маме. Это у него-то львиное сердце! У этого олуха!

— Боже мой, а я-то думал, что он записался добровольцем! Неужели нет?

— Ну да, такой же доброволец, как те, что идут к палачу. Дело в том, что он еще в Домреми узнал о моем желании присоединиться к Жанне и навязался мне в попутчики, чтобы под моей защитой взглянуть на народ и на всю эту сутолоку. Ну, пришли мы и видим: у замка появились факелы; побежали туда, а губернатор приказал его схватить вместе с четырьмя другими. Он давай проситься, и я тоже просил, чтобы взяли меня вместо него, и в конце концов губернатор позволил мне присоединиться; однако Ноэля не согласился отпустить — слишком уж осерчал на него за то, что он плакса. Да, нечего сказать, много от него пользы будет на королевской службе: жрать будет за шестерых, удирать — за десятерых. Ненавижу карликов с половинным сердцем и девятью брюхами!

— Право, я не ожидал такой новости, я этим огорчен и разочарован. Ведь я всегда считал его за очень храброго парня.

Паладин с негодованием взглянул на меня и сказал:

— Не понимаю, как ты можешь говорить подобные вещи, положительно не понимаю. Не понимаю, откуда у тебя взялось такое мнение о нем. Я отсюда не чувствую вражды к нему и говорю так вовсе не из

предубеждения — я не позволил бы себе отнестись к кому-либо с предубеждением. Я люблю его — я чуть не с колыбели был его товарищем, но пусть он не взыщет, если я открыто выскажусь о его недостатках, а он пусть выскажется о моих, если найдет во мне таковые. И, правду сказать, возможно, что они у меня есть, но, думаю, они выдержат испытание; так мне кажется. Бравый парень! Послушал бы ты, как он ночью визжал, хныкал, ругался только потому, что седло намозолило ему зад. Почему оно не намозолило мне? Ба! Мне было так удобно, словно я в седле родился. А между тем я первый раз в жизни поехал верхом. Все старые служивые дивились моей мастерской посадке, говорили, что никогда не видывали такого ездока. А он-то! Они должны были все время поддерживать его.

Среди ветвей пахло благоуханием завтрака; Паладин невольно расширил ноздри, смакуя трапезу, — встал и ушел, сказав, что ему надо присмотреть за лошадью.

В сущности, он был славный и добродушный великан, совершенно безвредный, ибо какой вред, если собака лает, — лишь бы не кусалась; какой вред, если осел кричит, — лишь бы не лягался. Если у этой огромной туши, состоящей из мякоти, мускулов, тщеславия и глупости, на первый взгляд чересчур длинный язык, то что же из этого? Болтовня его в действительности была безобидна; к тому же этот недостаток не им самим создан, а воспитан Ноэлем Рэнгесоном, который холил его, лелеял, выращивал и совершенствовал — ради собственной забавы. Беззаботному, легкомысленному Ноэлю надо было непременно кого-нибудь дразнить, подзадоривать, вышучивать; а Паладин только нуждался в некоторой обработке, чтобы пойти навстречу его желаниям. Ну, тот и взялся за обработку, приложил все свои старания и изобретательность и повел дело с усердием комара, гонящегося за быком. Целые годы продолжалось это в ущерб более важным задачам воспитания. И старания увенчались полным успехом. Ноэлю общество Паладина было дороже всего; Паладин что угодно готов был предпочесть обществу Ноэля. Огромного детину часто видели вместе с этим юрким молодчиком, но происходило это по тем же причинам, по которым быка часто видят в обществе комара.

Как только представился случай, я заговорил с Ноэлем. Поздравив его с началом нашего похода, я сказал:

— Хорошо и доблестно ты поступил, что записался добровольцем, Ноэль.

Он, подмигнув, ответил:

— Да, мне кажется, это было довольно недурно. Впрочем, заслуга-то не вполне моя: мне помогли.

— Кто помог?

— Губернатор.

— Как так?

— Ну, да уж расскажу тебе все, как было. Пошел я из Домреми поглядеть на толпу да на все эти занятные зрелища. Раньше-то мне ничего такого не случалось и видывать, а тут вдруг представилась возможность. Но я вовсе не собирался идти в добровольцы. На полдороге догнал я Паладина и решил во что бы то ни стало осчастливить его своим обществом, хотя он заявил, что вовсе в том не нуждается. И пока мы ротозейничали да шурились от блеска факелов у губернаторского замка, нас с четырьмя другими схватили и присоединили к отряду: теперь ты знаешь, как я стал добровольцем. Но в конце концов я не очень кручинился, вспомнив, как скучно стало бы в деревне без Паладина.

— Как он отнесся к этому? Был доволен?

— Я думаю, он был рад.

— В самом деле?

— Ведь он заявил, что не рад. Видишь ли, его схватили врасплох, и вряд ли он сумел бы без подготовки сказать правду. Я не думаю, впрочем, что он проявил бы откровенность даже в том случае, если бы имел время на размышление, — я не стану возводить на него такую напраслину. Если бы дать ему время для придумывания лжи, он бы, скорее всего, в этом случае рассуждал бы хладнокровнее и поостерегся бы пускать пыль в глаза столь непривычным способом. Нет, я уверен, что он был рад, так как он говорил, что не рад.

— А по-твоему, он очень радовался?

— Очень, в том нет сомнения. Он униженно молил, ревел, что ему хочется к маме, говорил, что у него слабое здоровье, что он не умеет ездить верхом, что он не переживет и одного дня походной жизни. Но в действительности внешность его вовсе не была так слаба, как его чувства. Неподалеку лежала бочка вина — впору поднять разве четверым. Губернатор рассердился на него, послал ему проклятие, от которого пыль столбом взлетела, и приказал тотчас приподнять эту бочку, не то, говорит, «изрублю тебя на куски и отошлю в корзине домой». Паладин исполнил, и тогда его без дальнейших рассуждений произвели в рядовые нашего отряда.

— Да, ты очень ясно доказал мне, что он был рад своему производству, — если только верна предпосылка, на которую ты опираешься. Как держал он себя в минувшую ночь?

— Примерно так же, как я. Если он больше шумел, то не надо забывать, что он и размерами больше меня. Мы оба свалились бы с седел, если бы нас не поддерживали. И оба мы сегодня хромаем в одинаковой степени. Коли ему нравится сидеть — пусть сидит, а я предпочитаю постоять.

ГЛАВА IV

Нам приказано было выстроиться, и Жанна сделала нам внимательный смотр. Затем она произнесла небольшую речь, указав, что даже в суровой военной обстановке дело спорится лучше, если избегать ругани и всяких непристойных выражений, и что она предлагает нам помнить и строго соблюдать этот совет. Затем она распорядилась, чтобы новобранцев в течение получаса обучали верховой езде, и приставила в качестве руководителя одного из ветеранов. То было смехотворное зрелище, однако мы кое-чему научились, и Жанна осталась нами довольна. Сама она не принимала участия в ученье, но сидела на коне, как воинственное изваяние, не пропустив ни единой подробности урока, и удерживала все в памяти и потом применяла полученные сведения с такой уверенностью и ловкостью, как будто давно преодолела все трудности.

Мы сделали три ночных перехода подряд, по двенадцать-тринадцать лье каждый; ехали мы спокойно, без всяких приключений, так как нас принимали за бродячую шайку «вольных дружинников». Местные крестьяне только о том и молились, чтобы такие гости поскорее проехали мимо. Тем не менее путь был утомителен и неудобен: мостов встречалось мало, а рек — много; приходилось перебираться вброд и, перемокнув в адски холодной воде, располагаться потом на ночлег прямо на замерзшей или покрытой снегом земле; согревайся и спи, как умеешь, — разводить костры было бы опасно. Мы пали духом от всех этих лишений и смертельной усталости, но Жанна не изменилась. Ее походка сохранила свою легкость и уверенность, в ее глазах не потухал огонь. Мы могли только удивляться этому — объяснить не могли.

Но если до сих пор мы терпели лишения, то я не знаю, как уж назвать последовавшие затем пять ночей, когда помимо тягот путешествия, помимо неизбежных ледяных купаний нам пришлось вдобавок семь раз спастись от вражеской засады и потерять при стычках двух новобранцев и трех опытных солдат. Уже повсюду разнеслась весть, что вдохновенная Дева из Вокулера отправилась с вооруженным отрядом к королю, — и теперь на всех дорогах были устроены засады.

Эти пять ночей сильно надломили бодрость отряда. Тревожность положения усилилась, когда Ноэль сделал одно открытие, о котором немедленно сообщил офицерам. Некоторые солдаты ломали голову над вопросом, почему Жанна по-прежнему бодра, подвижна и уверена, в то время как самые сильные мужчины уже утомились от тяжелых переходов и лишений и сделались угрюмы и раздражительны? Вот вам пример, доказывающий, что далеко не все, у кого есть глаза, умеют видеть. Всю жизнь эти люди видели, как женщины впрягаются вместе с животными и тащат плуг, между тем как мужчины правят. Немало видали они и других примеров того, что женщины отличаются большим терпением, выносливостью и бодростью, чем мужчины, — а чему это их научило? Ничему. Как горох об стену. Они так-таки не могли понять, каким образом семнадцатилетняя девушка лучше бывалых воинов переносит лишения походной жизни. Они не могли взять в толк, что великая душа, задавшаяся великой целью, может оживить немощное тело и поддерживать в нем силу. А во Вселенной нет другой души столь же великой, как ее. Но как могли бы они все это познать — эти тупоголовые создания? Нет, они ничего не знали, и их рассуждения были сродни их невежеству. Они толковали и спорили друг с другом — Ноэль прислушивался — и пришли к заключению, что Жанна — ведьма и что ее странная отвага и сила исходят от сатаны; и они решили выждать удобный случай и лишить ее жизни.

Дело принимало очень тревожный оборот, раз в нашем отряде начали возникать подобные заговоры, и рыцари попросили у Жанны позволения повесить зачинщиков, но она наотрез отказала.

— Ни эти люди, ни другие, — сказала она, — не могут лишить меня жизни, пока не свершится то, за чем я послана, а потому надо ли мне обагрять руки их кровью? Я сообщу им о том и предостерегу их. Позовите их ко мне.

Они явились, и она повторила им, почему их замысел невозможен; говорила она с ними так просто и деловито, как будто ей никогда и в голову не приходило, что кто-нибудь может усомниться в ее словах: как сказано, так и будет. На них это заметно подействовало; они были поражены уверенным и убежденным тоном ее речи: смело сказанное пророчество всегда находит отзвук в суеверных умах. Да, ее речь, очевидно, подействовала на них, но еще большее впечатление произвели ее заключительные слова. Относились они к главному зачинщику, и Жанна произнесла их с грустью:

— Как прискорбно, что ты подготовлял смерть другому, между тем как твоя собственная смерть не за горами.

В ту же ночь, когда мы переправлялись через реку, лошадь этого человека споткнулась и придавила его собой; он утонул прежде, чем мы подоспели на помощь. Заговоры больше не повторялись.

Этой ночью мы наткнулись на несколько засад, но миновали их благополучно, не потеряв ни одного человека. Еще одна ночь, и, если нам посчастливится, мы выберемся из области, занятой неприятелем; поэтому мы с большим волнением ждали наступления вечера. До сих пор мы всегда с некоторой неохотой выступали в путь, зная, что нам предстоит мерзнуть при холодной переправе или спастись от врага; но на этот раз мы с нетерпением стремились сняться с лагеря и покончить дело разом, хотя нынче можно было ожидать более частых и упорных стычек, чем во все прежние ночи. Вдобавок на три лье впереди от нас находился глубокий поток, через который был перекинут непрочный деревянный мост; и так как целый день шел не переставая холодный, мокрый снег, то нам было крайне важно узнать, не приготовлена ли нам ловушка. Если бы вздувшаяся от дождя река смыла этот мост, то мы оказались бы, как в капкане: путь к отступлению был бы отрезан.

Лишь только стемнело, мы потянулись гуськом из скрывавшей нас лесной чащи и двинулись в путь. С тех пор как наше путешествие начало прерываться стычками с подстерегавшим нас врагом, Жанна всегда занимала место во главе колонны. Так было и на этот раз. К тому времени, как мы прошли около одного лье, снег с дождем превратился в град с дождем, который под напором ветра хлестал меня по лицу, точно бичом, и я позавидовал Жанне и рыцарям — они могли ведь, опустив забрало, спрятать голову как в коробку. Вдруг из крошечного мрака, чуть не над самым моим ухом, раздался резкий окрик:

— Стой!

Мы повиновались. Впереди нас виднелось что-то смутное и темное; как будто отряд всадников, но с уверенностью определить было невозможно. Приблизился кто-то верхом на коне и обратился к Жанне с упреком в голосе:

— Поистине вы выждали время. Ну, что же вы узнали? По-прежнему ли она позади нас или уже обогнала?

Жанна ответила спокойно:

— Она еще позади.

Эта весть успокоила незнакомца. Он произнес дружелюбнее:

— Если вы уверены в том, то вы не потратили времени понапрасну, капитан. Но наверняка ли вы знаете? Каким образом вы узнали?

— Я видел ее.

— Видели ее? Видели саму Деву?

— Да, я был в ее лагере.

— Возможно ли! Капитан Рэмон, не сердитесь за мою недоверчивость. Вы совершили смелый и поразительный подвиг. Где она расположилась лагерем?

— В лесу, на расстоянии не больше лье отсюда.

— Отлично. Я боялся, что она опередила нас, но теперь, раз мы знаем, что она все еще позади, — дело в наших руках. Ей не ускользнуть. Мы ее повесим. Вы повесите ее собственноручно. Вам, и никому другому, принадлежит почетное право — уничтожить это пагубное исчадие сатаны.

— Не знаю, как и благодарить вас. Если мы изловим ее, то я...

— Если! Я уж об этом позабочусь, будьте спокойны. Мне только хотелось бы взглянуть на нее один раз, чтобы узнать, на что похожа ведьма, которая сумела заварить всю эту кутерьму, — а затем всецело предоставляю ее вам и виселице. Сколько у нее людей?

— Я насчитал лишь восемнадцать, но, вероятно, у нее еще было расставлено несколько часовых.

— И все? Да это суцая безделица по сравнению с нашими силами. Правда ли, что она — молодая девушка?

— Да; не старше семнадцати лет.

— Просто невероятно! Дюжая она или тщедушная?

— Тщедушная.

Офицер подумал минуты две, затем спросил:

— Собиралась ли она сняться с лагеря?

— Когда я видел ее в последний раз — нет.

— Что она делала?

— Спокойно разговаривала с офицером.

— Спокойно? Не делала никаких распоряжений?

— Нет, беседовала так же спокойно, как я с вами.

— Это хорошо. Напрасно она так уверена в своей безопасности. Знай она, что ей готовится, сейчас же принялась бы суетиться да бегать, как все бабы, когда нагрянет на них беда. Ну, раз она не делала никаких приготовлений к выступлению в путь...

— Никаких, когда я видел ее в последний раз.

— ...но преспокойно занималась болтовней, значит, такая погода прилась ей не по вкусу. Ночное путешествие в бурю и в град не может понравиться семнадцатилетней девчонке. Нет, она предпочтет остаться. Спасибо ей. Мы тоже можем сделать привал; здесь как раз подходящее место. Давайте-ка примемся.

— Если вы прикажете — не смею ослушаться. Но ее сопровождают два рыцаря. Они могут принудить ее отправиться в путь, особенно если погода утихнет.

Я был напуган и с нетерпением ждал, когда же мы выберемся из этой передраги; и мне досадно и мучительно было, что Жанна как будто старается оттянуть время и тем самым увеличить опасность. Но все-таки я надеялся, что она лучше знает, как поступить. Офицер сказал:

— В таком случае мы как раз будем здесь на ее пути.

— Да, если они поедут этой дорогой. А что, если они пошлют разведчиков и, разузнав кое-что, попытаются пробраться к мосту лесом? Благоразумно ли оставить мост нетронутым?

Офицер подумал немного и сказал:

— Пожалуй, лучше будет послать отряд и разрушить мост. Я хотел бы занять его всем своим отрядом, но теперь это ни к чему.

Жанна произнесла спокойно:

— С вашего разрешения, я поеду и разрушу мост сам.

Тут я увидел, к чему она все время клонила; и я почувствовал радость, что она так находчива и что она смогла столь хладнокровно обдумать свою мысль перед лицом смертельной опасности. Офицер ответил:

— Не только разрешаю, но и благодарю вас, капитан. На вас-то я могу положиться. Я мог бы послать вместо вас кого-нибудь другого, но лучшего исполнителя мне не найти.

Они отдали друг другу честь, и мы двинулись вперед. Я вздохнул свободнее. Двадцать раз мне уже мерещилось, что сзади слышен топот подъезжающего отряда подлинного капитана Рэмона, и я все время сидел как на иголках, пока тянулся этот нескончаемый разговор. Я вздохнул свободнее, но тревога моя еще не утихла, так как Жанна скомандовала только: «Вперед!» — значит, мы должны были ехать шагом. Ехать шагом через строй вытянувшейся во всю длину и смутно видной вражеской колонны! Мучительна была эта минута напряженного ожидания, хотя она и пролетела быстро. Лишь только неприятельский рожок протрубил «спешиться!», Жанна отдала приказ ехать рысью, и тогда я почувствовал большое облегчение. Видите, как она всегда умела владеть собой. Ведь если бы мы помчались мимо шеренги, пока не был дан знак спешиться, то любой человек из их отряда мог бы потребовать у нас пароль; теперь же все видели, что мы отправляемся в назначенное место, согласно предписанию, и нас пропускали беспрепятственно. Чем дальше мы ехали, тем больше разворачивались перед нами грозные силы неприятеля. Быть может, их всего-то было не больше двухсот человек, но мне показалось, что их целая тысяча. Я возблагодарил Господа, когда мы миновали последнего из этих людей, и чем больше мы углублялись в темноту, за пределы их стоянки, тем мне становилось легче. Я чувствовал себя спокойным, хоть на час; а когда мы подошли к мосту, который оказался еще в исправности, то я успокоился окончательно. Мы перешли по мосту и разрушили его, и тогда я почувствовал... нет, не нахожу слов, чтобы описать, что я тогда почувствовал. Надо самому пережить подобное чувство — иначе не понять.

Мы прислушивались, не гонятся ли за нами вражья сила, так как опасались, что вернется настоящий капитан Рэмон и тогда они догадаются, что приняли отряд Вокулерской Девы за свой. Но, по-видимому, он замешкался не на шутку: мы уже возобновили путь по ту сторону реки, а позади ничего не было слышно, кроме неистовства бури.

Я высказал замечание, что Жанна получила целый короб похвал, относившихся в действительности к капитану Рэмону, который по своем возвращении найдет лишь сухую мякину упреков, и начальник к тому времени будет уже не так ласков.

Жанна сказала:

— Конечно, так и будет, как ты говоришь. Заслышав впотьмах наше приближение, он заранее решил, что это свои, и не позаботился даже спросить у нас пароль. Затем он собирался расположиться лагерем, сам не сообразив, что надо послать кого-нибудь разрушить мост. А кто сам достоин порицания, тот всегда особенно склонен осуждать чужие промахи.

Съера Бертрана забавляло простодушие Жанны: она говорила, что надоумила вражеского военачальника, как будто она подала ему ценный совет и тем спасла от предосудительной ошибки. Но в то же время он восхищался находчивостью, подсказавшей ей, как обмануть этого человека, не произнеся ни единого слова лжи. Надо заметить что в подлиннике разговор Жанны с неприятельским офицером представляется в несколько ином виде так как английскому языку совершенно несвойственны родовые окончания. Таким образом все ответы Жанны могли быть поняты и в мужском и в женском роде когда она говорила о себе... Это смутило Жанну.

— Мне казалось, что он сам обманывается. Я не лгала ему, потому что это было бы нехорошо; но если моя правда обманула его, то она обратилась в ложь, и в таком случае я заслужила хулу. Да вразумит меня Господь, если я поступила несправедливо.

Мы принялись уверять, что она поступила правильно и что ради избежания опасности на войне всегда допустим обман, служащий на пользу себе и во вред врагу; но она не могла вполне успокоиться и утверждала, что даже в том случае, когда опасность грозит великому и правому делу, мы должны сначала испробовать благородные пути. Ее брат Жан возразил:

— Жанна, ты сама сказала нам, что идешь к дяде Лаксару, чтобы ухаживать за его больной женой, а не сказала, что отправишься дальше; а между тем пошла в Вокулер. Вот видишь!

— Сознаю, — грустно ответила Жанна, — я не солгала, но в то же время обманула. Сначала я испробовала все другие средства, но не могла уйти, а должна была уйти. Того требовала назначенная мне цель. Я поступила нехорошо и, думается мне, достойна осуждения.

Некоторое время она молчала, обдумывая этот вопрос со всех сторон; затем произнесла со спокойной решимостью:

— Но я поступила так ради честного дела, и в другой раз я повторила бы то же самое.

Нам казалось, что она чересчур шепетильна, но все промолчали. Если бы мы знали ее так же хорошо, как она знала сама себя и как впоследствии доказала история ее жизни, то мы поняли бы, что она сказала истину и что мы заблуждались, думая, будто она стоит наравне с нами. Она была выше нас. Она готова была принести в жертву себя — лучшую часть своего я, то есть свою искренность, — ради спасения дела; но только ради этого: жизнь свою она не пожелала купить такой ценой. Между тем наша военная этика допускала обман ради спасения жизни или получения какого бы то ни было преимущества над врагом. Ее изречение показалось нам тогда заурядным, потому что суть заключенной в нем мысли ускользнула от нашего понимания. Но теперь легко видеть, что в этих словах таилось высокое нравственное убеждение, сообщавшее им величие и красоту.

Понемногу ветер затих, град и дождь прекратились, и стало заметно теплее. Дорога лежала через трясины, так что лошадям пришлось пробираться шагом — иначе было нельзя. Время тянулось медленно: не имея сил бороться с усталостью, мы засыпали в седлах. Даже опасность, грозившая со всех сторон, не могла заставить нас бодрствовать.

Эта десятая ночь показалась нам самой долгой; и конечно, она была тяжелее всех предшествовавших, потому что утомление наше возрастало с каждым днем и теперь угнетало нас больше, чем когда-либо. Зато нас больше не беспокоили. Когда наступил, наконец, бледный рассвет, то мы увидели перед собой реку и знали, что это — Луара; мы вступили в город Жиан и знали, что находимся в дружественной стороне, враг остался позади. То было счастливое утро.

Отряд наш был изнурен, потрепан и невзрачен с виду; но Жанна, как всегда, была и душой и телом бодрее всех нас. В среднем мы каждую ночь проезжали больше тринадцати лье по извилистым и неудобным дорогам. Этот замечательный поход показал, на что способны люди, когда у них есть вождь, беззаветно преданный своей цели и непоколебимый в своей решимости.

ГЛАВА V

По прибытии в Жиан мы первые два или три часа посвятили отдыху и вообще занялись восстановлением своих сил. Но за это время успела распространиться молва, что приехала та Дева, которая послана Богом для спасения Франции. И тотчас начался такой наплыв народу, желавшего взглянуть на нее, что благоразумие заставило нас искать более укромное место. Поэтому мы выехали и сделали привал в небольшой деревне, называвшейся Фьербуа.

Теперь мы были в шести лье от замка Шинон, где находился король. Жанна сейчас же продиктовала мне письмо к нему. Она говорила, что совершила путь в полтораста лье, чтобы сообщить ему хорошие вести, и просила разрешения передать ему эти вести с глазу на глаз. Она добавила, что хотя никогда не видела его, однако сразу его узнает и сумеет отличить, даже если бы он переоделся в чужое платье.

Оба рыцаря тотчас же отправились с этим письмом. Наш отряд спал все время после полудня, а после ужина мы порядочно-таки приободрились и развеселились, в особенности наш кружок молодых домремийцев. Нам была предоставлена уютная столовая деревенской харчевни, и первый раз за все эти бесконечные десять дней мы были избавлены от тревог, ужасов, лишений и утомительных трудов. Паладин вдруг снова стал самим собой, каким мы знали его прежде, и чванливо разгуливал взад и вперед, как живое олицетворение самодовольства. Ноэль Рэнгесон заметил:

— Я просто диву даюсь, как славно он нас выручил из беды.

— Кто? — спросил Жан.

— Да Паладин.

Паладин прикинулся глухим.

— Он-то тут при чем? — спросил Пьер д'Арк.

— При всем. Только вера Жанны в его осторожность и дала ей возможность сохранить самообладание.

Насчет смелости она могла бы понадеяться на нас и на себя, но осторожность — первейшее дело на войне, в сущности-то говоря; осторожность — это редчайшая и высочайшая добродетель, а у Паладина ее хоть отбавляй — больше, чем у любого француза; больше, пожалуй, чем у шести десятков французов.

— Ну, ты опять норовишь дурака валять, Ноэль Рэнгесон, — отозвался Паладин. — Тебе следовало бы обмотать вокруг шеи свой длинный язык да заткнуть конец его себе в ухо, а то как бы тебе не попасть в беду.

— Вот уж не знал, что в нем больше осторожности, чем у других людей, — сказал Пьер. — Ведь для осторожности нужна смекалка, а у него, я думаю, мозгов ничуть не больше, чем у любого из нас.

— Ошибаешься. Осторожность не имеет никакого отношения к мозгам; для нее мозги скорее являются помехой, потому что она не рассуждает, а чувствует. Высочайшая степень осторожности указывает на отсутствие мозгов. Осторожность есть свойство сердца — только сердца; мы повинемся ей в силу чувства. Это видно из того, что, если бы она была свойством разума, она заставляла бы видеть опасность только там, где опасность действительно налицо; между тем...

— Охота вам слушать, что он мелет, проклятый олух! — пробурчал Паладин.

— ...между тем как осторожность, являясь исключительно качеством сердца и руководясь чувством, а не разумом, преследует более широкие и возвышенные цели и чутко подмечает и предупреждает такие опасности, которых в действительности и в помине нет. Как, например, давеча ночью, когда Паладин, среди тумана, принял уши своей лошади за неприятельские копыта и, соскочив, взобрался на дерево...

— Это ложь! Ни на чем не основанная ложь! Послушайте моего совета, не верьте злостным выдумкам этой ехидной трещотки: он из года в год прилагал все старания, чтобы очернить меня, а потом примется злословить и на вас. Я слез с лошади, чтобы подтянуть подпругу, — провалиться мне, если это не так, — хотите верьте, не хотите — не надо.

— Вот он всегда таков: ни о чем не может спорить спокойно, а сразу идет напролом и становится строптивым. А замечаете, какая у него плохая память? Он помнит, что соскочил с лошади, но забыл обо всем остальном, даже о дереве. Впрочем, это естественно: он помнит, как спрыгнул с лошади, потому что это вошло у него в привычку. Он всегда поступал так, лишь только в передних рядах поднималась тревога и раздавался лязг оружия.

— Чего ради он слезал с лошади именно в такое время? — спросил Жан.

— Не знаю. По его мнению, чтоб подтянуть подпругу; по моему мнению — чтоб взобраться на дерево. В одну из ночей он на моих глазах девять раз взбирался на дерево.

— Ничего подобного ты не видал! Кто так нагло лжет, тот недостоин уважения. Предлагаю всем вам ответить на мой вопрос: верите ли вы словам этой змеи?

Видно было, что все пришли в замешательство. И только Пьер ответил неуверенно:

— Я... право, я не знаю, что сказать. Вопрос-то щекотлив. Как-то неловко не поверить человеку, когда он говорит напрямик; однако вынужден сознаться — хоть это не совсем вежливо, — что я не могу принять на веру его слова целиком. Нет, я не могу поверить, что ты вскарабкался на девять деревьев.

— Ну вот! — вскричал Паладин. — Небось самому стыдно стало, Ноэль? А сколько раз я взбирался на деревья, как ты полагаешь, Пьер?

— Только восемь раз.

Хохот, покрывший эти слова, довел гнев Паладина до белого каления, и он сказал:

— Придет и мой черед, придет и мой черед! Рассчитаюсь с вами со всеми, можете быть уверены.

— Не трогайте его, — предупредил нас Ноэль. — Он становится настоящим львом, если его раздражить. После третьей стычки я убедился в этом воочию. Когда сражение окончилось, то он вышел из кустов и напал на убитого один на один!

— Новая ложь! Остерегись — ты зашел слишком далеко. Будь благоразумнее, а не то тебе придется увидеть, как я нападаю на живого.

— То есть на меня. Этим ты уязвил меня больше, чем всеми своими несправедливыми и грубыми речами. Какая неблагодарность к своему благодетелю...

— Благодетелю?.. А чем я обязан тебе, желал бы я знать?

— Ты обязан мне жизнью. Я стоял между неприятелем и твоими деревьями и оттеснял сотни и тысячи врагов, жаждавших твоей крови. И делал я это не ради похвальбы своею доблестью, но ради того, что я тебя люблю и не мог бы без тебя жить.

— Ну, будет тебе, замолчи! Я не желаю оставаться здесь долее и внимать такому глумлению. Я еще мог бы стерпеть твою ложь, но никак не твою любовь. Побереги эту отраву для кого-нибудь, не столь брезгливого, как я. И прежде чем уйду, скажу вам вот что: во все время похода я скрывал свои подвиги, дабы не затенять ваших крохотных отличий, но дать вам возможность приумножить свою скудную славу. Я всегда

устремлялся вперед, где шла самая жаркая сеча, потому что я хотел быть вдали от вас: иначе вы увидели бы, как я повергаю врага, и убоялись бы, осознав свое бессилие. Я твердо вознамерился хранить эту тайну в своей груди, но вы побудили меня открыться. Если вам нужны свидетели, то поищите их вдоль пройденной нами дороги — там лежат они. На той дороге была грязь непролазная — я вымостил ее телами убитых. Бесплодна была земля в окрестной стране-я удобрил ее кровью. То и дело меня просили удалиться из передовых рядов, потому что некуда было двинуться из-за множества моих жертв. И ты — ты, неверный! — утверждаешь, будто я взлезал на деревья! Стыдись!

И он удалился, преисполненный величия, потому что перечень воображаемых подвигов успел вновь воодушевить и умиротворить его.

На другой день мы оседлали коней и двинулись к Ши-нону; Орлеан был теперь уже недалеко от нас — он задыхался в когтях англичан. Бог даст, скоро направим путь туда и поспешим на выручку. Из Жиана пришла уже весть и в Орлеан, что крестьянская Дева из Вокулера идет спасать осажденный город. Это известие вызвало большое волнение и породило великую надежду — в первый раз за пять месяцев эти бедняги увидели луч надежды. Они тотчас послали гонцов к королю, прося его взвесить это дело по совести и не отвергать такой помощи, как что-то ненужное. Гонцы эти теперь уже находились в Шиноне.

На полпути в Шинону мы опять наткнулись на вражеский отряд, который неожиданно показался из лесной чащи; вдобавок силы неприятеля были значительны. Но теперь мы были уже не новички, как девять или двенадцать дней назад; мы успели привыкнуть к подобным приключениям. Душа у нас не ушла в пятки, оружие не дрогнуло в руках. Мы приучились всегда быть готовыми к бою, всегда владеть собою и всегда встречать отпором любую опасность. Появление врагов встревожило нас не более, чем нашу предводительницу. Прежде чем они успели выстроиться, Жанна скомандовала: «Вперед!» — и мы ринулись прямо на них. Они не ожидали натиска; они показали тыл и рассеялись во все стороны, и мы на скаку опрокидывали их, точно соломенные чучела. То была последняя засада на нашем пути; и подготовлена она была едва ли не самим де ла Трёмуйлем, этим негодяем-предателем, министром и фаворитом короля.

Остановились мы в гостинице. И вскоре начало стекаться население всего города, чтобы взглянуть на Деву.

О, несносный король и несносный народ его! Наши два добрых рыцаря вернулись доложить Жанне об исходе своего поручения в полном негодовании. Они и мы все почтительно стояли, — как надлежит стоять в присутствии королей и тех, кто выше их, — пока Жанна не пригласила нас сесть; она была встревожена этим знаком внимания и уважения, не одобряла его и не привыкла к нему, хотя мы в ее присутствии не осмеливались держаться иначе с тех пор, как она предсказала смерть несчастного изменника, который утонул в тот же час, — мы убедились тогда окончательно, что она посланница Бога. Сьер де Мец начал:

— Король получил письмо, но нам не позволили говорить с ним лично.

— Кто же запрещает?

— Никто не запрещает, но ближе всех стоят к нему три или четыре царедворца — каждый из них предатель и интриган, — и они ставят всякие препятствия, пускаются на разные хитрости и пользуются лживыми предложениями, лишь бы только оттянуть дело. Главные из них — Жорж де ла Трёмуйль и эта лукавая лисица, архиепископ Реймский. Покуда король, благодаря их стараниям, бездействует да развлекается охотой да пирами, они сильны и положение их тем прочнее. Если же он воспрянет, образумится и, как подобает мужу, обнажит меч на защиту страны и короны, то их могуществу наступит конец. Им лишь бы самим благоденствовать, а там — пусть погибнет страна, пусть погибнет король: это их не тревожит.

— Говорили вы с кем-нибудь, кроме них?

— Ни с кем из придворных: ведь придворные — покорные рабы этих змей; они перенимают их слова и поступки, сообразуются с их действиями, думают по их указке и вторят их речам. А потому все относятся к нам холодно; поворачиваются спиной и отходят в сторону при нашем появлении. Но мы говорили с посланцами из Орлеана. Они заявили с горячностью: «Удивительно, как это человек, находящийся в столь отчаянном положении, как король, может праздно и безучастно стоять в стороне; он видит гибель всего своего достояния — и палец о палец не ударит, чтобы остановить беду. Какое странное зрелище! Вот он заперт в крохотном уголке своего королевства, словно крыса в западне. Королевским дворцом ему служит этот огромный, унылый, как гробница, замок; там вместо занавесей — истлевшие тряпки, вместо убранства палат — развалившаяся мебель; там воистину царит мерзость запустения. В его казне сорок франков — ни сантима больше, Бог свидетель! У него нет войска, и неоткуда достать его; и рядом с таким голодным убожеством вы видите этого бездержавного нищего, окруженного толпами шутов и любимых царедворцев, — все они разодеты в самые пышные шелка и бархат, каких не встретишь ни при одном дворе христианского мира. И ведь он знает, что с падением Орлеана падет Франция; он знает, что, лишь только пробьет час, он превратится в беглеца и изгнанника и что в покинутой им стране над каждым клочком его великого наследства будет победоносно развеяться английское знамя; он знает все это, знает, что наш доблестный город совершенно одиноко, без всякой поддержки борется с болезнями, голодом и нашествием в

надежде отвратить грозное бедствие; и тем не менее он отказывается нанести хотя бы единый удар, чтобы спасти город, он не хочет слышать наши просьбы, он даже не хочет видеть нас». Вот что сказали мне посланцы; они уже перестали надеяться.

Жанна мягко возразила:

— Как печально! Но они не должны отчаиваться. Дофин вскоре пожелает их выслушать. Передайте им это.

Она почти всегда называла короля дофином. По ее мнению, он, как некоронованный, еще не был королем.

— Мы передадим им, и эти слова успокоят их, так как они верят, что ты послана Богом. Архиепископ и его единомышленник опираются на этого старого воина, Рауля де Гокура, великого дворецкого. Человек он честный, но солдат, и больше ничего; возвышенное недоступно его уму. Он не в состоянии понять, как это деревенская девушка, ничего не знающая в военном деле, возьмет в маленькую руку тяжелый меч и станет одерживать победы там, где полвека подряд опытные французские полководцы ничего не ждали — и не находили, — кроме поражений. И он топорщит свои седые усы и подтрунивает.

— Когда сражается Господь, то не важно, большая или малая рука возьмется за Его меч. Со временем он убедится в этом. Есть ли в Шинонском замке хоть один наш доброжелатель?

— Да, теща короля, Иоланта, королева Сицилии: она исполнена мудрости и доброты. Она беседовала со сьером Бертраном.

— Она сочувствует нам и ненавидит всю эту толпу королевских тунеядцев, — сказал Бертран. — Она проявила живую любознательность и осыпала меня тысячью вопросов, и я рассказал ей все, что знал. Затем она погрузилась в задумчивость и долго сидела неподвижно, так что я предположил, что она задремала и не скоро очнется. Но я ошибся. Она наконец заговорила, медленно, как бы беседуя с собой: «Ребенок семнадцати лет... девочка... выросла в деревне... не училась... не знает, как воевать, как обращаться с оружием, как руководить битвами... скромная, кроткая, боязливая. И вот она бросает в сторону свой пастушеский посох, надевает стальную кольчугу и мечом прокладывает себе путь через занятую неприятелем область, не теряя ни мужества, ни надежды, не зная страха... и приходит за полтора года к королю... она, которой надлежало бы трепетать и страшиться в присутствии короля... приходит, чтобы стать перед ним и сказать: «Не бойся! Господь послал меня спасти тебя!..» Ах, откуда может взяться такая вдохновенная отвага и убежденность, как не от самого Господа!» Она снова умолкла и задумалась, собираясь с мыслями; потом сказала: «Послана она Богом или нет, но есть в ней нечто, возвышающее ее над людьми, над всеми людьми нынешней Франции; она — носительница того таинственного дара, который способен воодушевить солдат и превратить трусливую толпу в доблестную армию, не знающую страха, — в войско, что идет на битву с радостью в глазах и с песнями на устах и, подобно буре, налетает на врага... Этим именно воодушевлением может спастись Франция — и только им, откуда бы оно ни исходило! В ней есть этот вдохновенный огонь — я твердо верю, — ибо что другое могло поддерживать отвагу в этом ребенке и заставить ее презреть все опасности утомительного похода? Король должен увидеть ее лицом к лицу — и это будет!» Она отпустила меня с этими милостивыми словами, и я не сомневаюсь, что ее обещание будет исполнено. Они — эти животные — будут мешать ей всеми средствами, но в конце концов она восторжествует.

— Ах, если бы она была королем! — произнес с жаром другой рыцарь. — Слишком мало надежды, что самого короля удастся пробудить от спячки. Он окончательно махнул рукой на королевство и только о том и помышляет, как бы ему оставить все на произвол судьбы и убежать в другую страну. Посланцы говорят, что он находится во власти каких-то чар, убивающих в нем всякую надежду, — что надо всем этим тяготеет какая-то тайна, которую они не могут разгадать.

— Я знаю эту тайну, — сказала Жанна со спокойным убеждением. — Тайна эта известна мне и ему, а кроме нас — только Богу. Увидевшись с ним, поведаю ему нечто сокровенное, что развеет его тревогу, — и тогда он снова поднимет голову.

Мне мучительно захотелось узнать, что такое скажет она королю, но она нам ничего не сказала, да и нельзя было ждать этого. Правда, она была почти ребенок; но она не была болтуней, которая стала бы разглашать о великом деле ради того, чтобы порисоваться перед маленькими людьми.

Нет, она была сдержанна, молчалива и таила про себя то, что знала, как все истинно возвышенные души.

На другой день королева Иоланта одержала первую победу над тюремщиками короля. Несмотря на все их возражения и препятствия, она выхлопотала аудиенцию двум нашим рыцарям, и они использовали благоприятный случай, сколько могли. Они рассказали королю, какая у Жанны чистая и прекрасная душа, каким она горит великим и благородным вдохновением, и умоляли его уверовать в нее, возложить на нее все надежды и уповать, что она — ниспосланная Небом спасительница Франции. Они просили его допустить ее к себе. Он поддался на их увещания и обещал, что не оставит этого дела без внимания и рассмотрит его со своими советниками. Начинался поворот к лучшему. Часа через два в нижнем этаже поднялась какая-то

суматоха, и хозяин гостиницы прибежал к нам сказать, что от короля прибыло посольство в составе нескольких знаменитых богословов — от самого короля, поймите! Подумайте, какая высокая честь выпала на долю его скромной харчевни! Он даже задыхался от восторга и в своем волнении едва находил нужные слова. Они явились от короля, чтобы переговорить с Девой из Во-кулера. Хозяин ринулся вниз и через несколько минут появился снова, пятясь в нашу комнату задом и на каждом шагу земно кланяясь четырем важным и строгим епископам, вошедшим в сопровождении целой свиты своих слуг.

Жанна поднялась; мы все встали. Епископы расселись по местам, и некоторое время никто не произносил ни слова, потому что им принадлежало право заговорить первыми. А они не сразу нашлись, что сказать: слишком велико было их изумление, когда они увидели, как молода та девушка, из-за которой поднялся шум на весь мир и которая заставила их явиться в эту жалкую харчевню для передачи поручения, унижающего их высокий сан. Наконец один от лица остальных заявил, что, как им сообщено, она принесла весть королю, а потому пусть она изложит все это на словах кратко, без излишней траты времени и без всякой витиеватости языка.

По правде сказать, я был вне себя от радости: наконец-то ее весть достигнет короля! Та же радость, гордость, восторг отразились и на лицах обоих рыцарей и братьев Жанны. Я уверен, что они все — как и я — молили Бога, чтобы страх, овладевший нами в присутствии этих высоких сановников Церкви и лишивший нас дара речи, не подействовал таким же образом и на нее, дабы она сумела хорошо изложить свою заповедную весть не запинаясь: ведь тут необходимо было произвести как можно более благоприятное впечатление — от этого столь многое зависело.

О, как далеки мы были от мысли о том, что произошло вслед затем! Мы испугались, услышав ее ответ. Она стояла, почтительно склонив голову и благоговейно сложив руки, ибо она всегда проявляла уважение к священнослужителям Господа. Лишь только замолкли обращенные к ней слова, она подняла голову и спокойно взглянула на лица епископов; их торжественность и строгое величие так же мало смутили ее, как если бы она была принцесса; и она с обычной своей простотой сказала:

— Простите меня, преосвященные, но никому не могу передать эту весть, кроме самого короля.

Они онемели от изумления; лица их сделались багровыми. Наконец представитель их сказал:

— Слушай! Неужели ты осмеливаешься швырнуть в лицо короля его приказ? Отказываешься передать свою весть его слугам, которым поручено выслушать тебя?

— Выслушать меня Господь поручил только одному, и никакой приказ не может отменить Его волю.

Прошу, дозвоьте мне переговорить с его высочеством дофином.

— Оставь свои выдумки и переходи к делу! Говори, что имеешь сказать, и не трать времени попусту.

— Поистине вы заблуждаетесь, высокопреосвященные отцы, и это прискорбно. Я пришла сюда не ради разговоров, но чтобы спасти Орлеан и повести дофина в святой город Реймс и возложить корону на главу его.

— Это и есть то известие, которое ты посылаешь к королю?

Но Жанна лишь ответила с присущей ей простотой:

— Простите, что я опять напоминаю: я никому не посылаю никакой вести.

Посланцы короля встали в великом гневе и стремительно вышли из комнаты; Жанна и мы стояли на коленях, пока они удалялись.

Мы были растеряны, мы были подавлены сознанием непоправимой беды. Как можно было пренебречь таким великолепным случаем! Мы не могли понять поступка Жанны — ведь она была так мудра вплоть до этого рокового часа. Наконец сьер Бертран решил спросить, почему она не воспользовалась возможностью передать королю свою весть.

— Кто послал их сюда? — спросила она.

— Король.

— Кто побудил короля послать их сюда? — Она ждала ответа, но мы молчали, так как начали угадывать ее мысль; и она ответила сама: — Советники дофина побудили его к этому. Враги они мне и дофину или — друзья?

— Враги, — ответил сьер Бертран.

— Избирают ли изменников и обманщиков для правдивой и неискаженной передачи известия?

Я видел, что она была мудра, а мы ошибались. Другие тоже поняли это, и никто не нашелся что-либо сказать. И она продолжала:

— Скудоумием придумана была эта западня. Они решили выпросить у меня все и с показным прямотушием передать королю мое известие, но умертвить его сущность. Вы знаете, что поручение мое отчасти сводится к тому, чтобы путем доводов и увещаний побудить дофина дать мне войско и послать меня к Орлеану. Враг мог бы передать мою просьбу совершенно точно, не выпустив ни единого слова; но он не воспроизвел бы убедительности движений, взволнованной дрожи голоса и красноречия умоляющих взоров — всего того, что наполняет слова содержанием и заставляет их жить; куда девалась бы тогда сила моих увещаний? Кого могли бы они убедить?

Сьер де Мец несколько раз кивнул головой и пробормотал про себя:

— Она была права и поступила мудро, а мы, в конце концов, оказались глупцами.

Мне только что пришла та же самая мысль, она была у меня на языке. И все остальные разделяли ее. Какой-то страх обуял нас, когда мы увидели, что эта неопытная девушка, будучи застигнута врасплох, тем не менее сумела разгадать и отразить хитрые замыслы изощренных в кознях королевских советников. Пораженные и восхищенные ее находчивостью, мы умолкли и больше не решались заговорить. До сих пор мы знали, что она сильна отвагой, бодростью, выносливостью, терпением, убежденностью, преданностью своему долгу — всеми добродетелями, которыми должен отличаться хороший и надежный солдат и которыми он совершенствуется на своем посту; а теперь мы начали сознавать, что ум ее обладает, быть может, еще более высокими достоинствами, чем эти великие качества сердца. Мы невольно призадумались.

Посеянное Жанной в этот день на другой же день принесло плоды. Король не мог не отнестись с уважением к отваге молодой девушки, которая проявила такую силу воли; и он сумел воспрянуть настолько, что доказал свое уважение поступком, а не пустыми и вежливыми речами. Из бедной харчевни он переселил Жанну и нас, ее слуг, в замок Кудрэ и поручил ее попечению мадам де Белье, жены старого Рауля де Гокура, великого дворецкого. Само собою, такое проявление королевского внимания не прошло бесследно: тотчас начали к нам стекаться знатные вельможи и придворные дамы — повидать и послушать дивную воинственную Деву, о которой заговорил весь мир и которая открытым неподчинением встретила повеление короля. На всех благотворно подействовала кротость Жанны, ее естественность, ее бессознательное красноречие; и всякий, кто одарен был более чуткой душой, признавал, что в ней есть нечто неуловимое — знаменующее, что она создана не как другие люди, но витает выше их. И слава ее разрасталась. Так всегда создавала она себе друзей и защитников. Никто — будь то знатный или простой — не мог остаться равнодушным, после того как увидел ее лицо или услышал ее голос.

ГЛАВА VI

Итак, затянуть дело во что бы то ни стало! Советники короля уговорили его не принимать слишком поспешного решения. Как будто он слишком торопился! И вот они отправили в Лотарингию посольство, состоявшее из представителей духовенства (опять духовенство!), чтобы на родине Жанны навести справки о ее прошлом; и конечно, на это потребовалось бы несколько недель. Видите, до чего доходила их разборчивость. Вообразите, что сбежался народ на пожар и кто-нибудь вызвался тушить, но ему не позволяют, пока не пошлют в соседнюю страну справиться, всегда ли он чтит день субботний или нет.

Потянулись дни, отчасти скучные для нас, молодых людей; скучные только отчасти, потому что нас в близком будущем ожидало одно великое событие: мы никогда еще не видели короля, а теперь нам предстояло увидеть и на всю жизнь запечатлеть в своей памяти это дивное зрелище. Итак, мы были наготове и с нетерпением ждали первого случая. Оказалось, что другим суждено было ждать дольше, чем мне. Однажды пришла великая весть: орлеанские посланцы, Иоланта и наши рыцари совместными усилиями оказали воздействие на совет и убедили короля допустить к себе Жанну.

Жанна, услышав необычайную новость, проявила глубокую благодарность, но ничуть не растерялась. Мы — другое дело; мы были так взволнованы, так ликовали, что не могли ни спать, ни есть, ни заняться каким-нибудь делом. В течение двух дней наши благородные рыцари трепетали и волновались за Жанну, потому что аудиенция должна была состояться вечером и они опасались, как бы Жанну не смутили своим блеском длинные ряды ярких факелов, пышные обряды и торжественные церемонии, многолюдная толпа знаменитых вельмож, роскошные костюмы и иные чудеса придворного мира; естественно было ожидать, что она, простая девушка из народа, совершенно не привыкшая к подобному великолепию, так испугается всех этих ужасов, что ее выступление окончится жалкой неудачей.

Конечно, я мог бы успокоить их, но я не имел права говорить. Как может встревожить Жанну это дешевое зрелище, это мишурное торжество, где выставлены напоказ лицом к лицу с князьями Небесными, с нареченными сынами Господа, и видевшую их ангельскую свиту, легионы которой простирались по всему небосклону, подобно необъятному лучезарному ветру, ее, созерцавшую блеск ангелов, так что морем ослепительного света наполнялась бесконечность пространства? Я был спокоен за Жанну.

Королева Иоланта желала, чтобы Жанна произвела на короля и придворных наилучшее впечатление, а потому она приготовила ей платье из богатейших тканей, вышитое драгоценными камнями и достойное самой знатной принцессы. Но в этом, конечно, ей пришлось разочароваться: Жанна ни за что не соглашалась надеть этот наряд и просила, чтобы ей позволили одеться скромно и непритязательно, как подобает той, которая служит Господу и послана совершить дело великой государственной важности. И тогда королева Иоланта придумала для нее ту простую и очаровательную одежду, которую я описывал вам много раз и о которой я даже теперь, доживая свою старость, не могу вспоминать без умиления. Такое же умиление чувствуешь, когда слушаешь стройную и красивую музыку. Поистине то платье было, что музыка — музыка,

которую видели глазами и чувствовали сердцем. Да, Жанна превращалась в поэму, в грезу, в одухотворенное видение, когда облачалась в этот наряд.

Одежду эту она всегда хранила и неоднократно носила ее в торжественных случаях; и она до сих пор сохраняется в сокровищнице Орлеана вместе с двумя ее мечами, ее знаменем и другими предметами, которые теперь священны, потому что когда-то принадлежали ей.

В назначенное время к нам явился, в богатой одежде, в сопровождении свиты и помощников, граф Вандомский, один из великих сановников двора, чтобы проводить Жанну к королю; я и оба рыцаря отправились с ней — мы получили это почетное преимущество в силу нашего официального положения при ней.

Мы вошли в обширную палату, предназначенную для аудиенций, — и я нашел именно ту картину, которая заранее была написана моим воображением. Вот ряды телохранителей в сверкающих латах и с блестящими алебардами. По обе стороны — точно цветущие сады: так многоцветны и великолепны были наряды. Двести пятьдесят факелов лили волны света на это царство красок. Посреди во всю длину залы был оставлен широкий свободный проход, и в конце его виднелся трон под королевским балдахином; там восседал венценосец со скипетром, и на нем была роскошная мантия, блиставшая драгоценными камнями.

Да, Жанне долго ставились препятствия; но теперь, когда она, наконец, добилась аудиенции, ее встречали со всеми почестями, присущими лишь самым знатным мира сего. У входных дверей стояли четыре герольда в роскошном облачении поверх лат; они поднесли к губам длинные и тонкие серебряные трубы с привешенными к ним четырехугольными шелковыми флажками, на которых был вышит французский герб. И когда Жанна и граф проходили мимо, эти трубы звучно сыграли красивую мелодию; по мере того как мы продвигались вперед под золочеными и расписанными сводами залы, это повторялось шесть раз — через каждые пятьдесят шагов. Наши два добрых рыцаря чувствовали себя гордыми и счастливыми, и молодцевато выпрямились и шествовали уверенной поступью, и приняли удалой и воинственный вид. Они не ожидали, что нашу деревенскую девочку встретят такими торжественными и высокими почестями.

Жанна шла на расстоянии трех шагов позади графа, мы — на расстоянии трех шагов позади нее. Наше торжественное шествие остановилось, когда мы подошли к трону шагов на восемь или десять. Граф отвесил глубокий поклон, возвестил имя Жанны, поклонился снова и занял свое место в ряду сановников неподалеку от трона. Я во все глаза смотрел на венценосца, и сердце мое почти замерло от благоговейного страха.

Взоры всех остальных были устремлены на Жанну: в их глазах можно было прочесть удивление, восторг; «Как она мила... как прелестна... как божественна!» — казалось, говорили они. Все уста полуоткрылись и онемели — верный знак, что эти люди, которые никогда не забываются, забылись теперь и ничего не сознают, кроме того, чем поглощено было их внимание. Они были похожи на людей, очарованных видением.

Но вот они начали приходить в себя, просыпаться от чар, как люди, которые мало-помалу сбрасывают с себя оцепенение дремоты или опьянения. Теперь они воззрились на Жанну с новым любопытством, причина которого была иная: им хотелось знать, как она сейчас поступит, потому что любознательность их подстрекалась тайной причиной. И они ждали. А вот что они увидели.

Жанна не поклонилась, даже не склонила головы, но молча стояла, обратив взор к королевскому трону. Пока все ограничивалось этим.

Взглянув на де Меца, я был поражен бледностью его лица. Я спросил шепотом:

— В чем дело? Скажите, в чем дело?

Он прошептал мне в ответ, но так тихо, что я едва уловил его слова:

— Они воспользовались неосторожным советом ее письма и решили ее обмануть! Она ошибется, и ее поднимут на смех. Сидящий там — не король.

Тут я посмотрел на Жанну. Она все еще пристально смотрела по направлению к трону, и мне, как это ни странно, показалось, что даже ее плечи и затылок выражали полное замешательство. Вот она медленно повернула голову и начала обводить взглядом ряды стоявших придворных; глаза ее остановились на одном очень скромно одетом молодом человеке, — и ее лицо засветилось радостью; она подбежала, и бросилась к его ногам, и обняла его колени, и воскликнула тем нежно музыкальным голосом, который был ее природным даром и в котором теперь звучало глубокое и сердечное чувство:

— Господь милосердный да продлит вашу жизнь на многие годы, дорогой и благородный дофин!

Не имея сил скрыть от всех свой восторг и изумление, де Мец воскликнул:

— Клянусь тенью Господа, это поразительно! — И радостным рукопожатием он едва не раздавил мои пальцы и добавил, гордо встряхнув своей гривой: — Посмотрим, что теперь скажут эти недоверчивые куклы!

Между тем скромно одетый юноша говорил Жанне:

— Ах, вы ошиблись, дитя мое, я вовсе не король. Там сидит он, — и он указал на трон.

Лицо рыцаря омрачилось, и он пробормотал с негодованием и скорбью:

— Стыдно так поступать с ней. Если бы не эта ложь, она с честью выдержала бы испытание. Я пойду и объявлю во всеуслышание...

— Не трогайтесь с места! — прошептали в один голос я и сьер Бертран и заставили его остановиться.

Жанна не вставала с колен, но, подняв к королю светившееся счастьем лицо, сказала:

— Нет, милостивый повелитель, вы — король, и никто другой.

Тревога де Меца рассеялась, и он произнес:

— Поистине она не угадала, но знала. А как же она могла узнать? Это — чудо. Я удовлетворен и больше не буду ни во что вмешиваться, потому что, как я убедился, она сама гораздо лучше справится с любым затруднением. В ее голове есть нечто такое, чему могла бы только повредить помощь моего недомыслия.

Он перебил меня, так что я пропустил две или три фразы их разговора; но я расслышал следующий вопрос короля:

— Но скажи мне, кто ты и что тебе нужно?

— Меня зовут Жанной-девственницей, и я послана возвестить волю Царя Небесного, который желает, чтобы вы были коронованы и помазаны на царство во святом городе Реймсе и чтобы вы после того были наместником Господа Небесного, который есть король Франции. И он повелевает, чтобы вы доверили мне то дело, ради которого я послана, и дали мне вооруженное войско. — И после некоторого молчания она добавила, и глаза ее загорались от ее собственных слов: — Ибо тогда я сниму осаду с Орлеана и сокрушу английскую мощь!

На игривое лицо молодого монарха набежала легкая тень, когда в этом душном воздухе раздалась воинственная речь — точно принеслось дуновение с поля брани, где разбиты боевые палаты. И вот его насмешливая улыбка угасла совсем и исчезла. Он был теперь серьезен и задумчив. Немного погодя он слегка махнул рукой, и все расступились широким кольцом, оставив их наедине. Оба рыцаря и я отошли в другой конец залы и там остановились. Мы видели, как Жанна поднялась по знаку короля и между ними началась беседа с глазу на глаз.

Все сборище только что перед тем сгорало от любопытства — узнать, как поступит Жанна. Они увидели и теперь преисполнились изумлением, когда убедились, что она действительно совершила то странное чудо, которое обещала в письме; и не менее изумились они тому, что она ничуть не была смущена окружающим великолепием и торжественностью, но повела речь с королем еще спокойнее и непринужденнее, чем смогли бы они, при всем своем навыке и опытности.

Что касается наших двух рыцарей, то они были вне себя от гордости за Жанну, но почти лишились дара речи, потому что не были в состоянии объяснить себе, как это она смогла так безупречно выдержать грозное испытание, не нарушив красоты и благородства своего великого подвига ни единым промахом или неловкостью.

Беседа между Жанной и королем была продолжительна и серьезна, и говорили они вполголоса. Слышать мы не могли, но у нас были глаза, чтобы видеть происходившее; и вот мы и все собравшиеся подметили одну поразительную и достопамятную особенность, которая потом приводилась очевидцами в мемуарах, летописях и свидетельских показаниях Суда Восстановления, ибо все впоследствии сознали ее великий смысл, хотя в то время, конечно, никто еще не понимал ее значения. Мы увидели, как ленивец король вдруг встрепенулся и выпрямился, как мужчина, — и в то же время заметно было, что он до крайности поражен. Как будто Жанна сказала ему нечто слишком удивительное, чтобы можно было поверить, и однако нечто в высшей степени животворное и желанное.

Лишь через много лет мы узнали тайну этого разговора; теперь мы знаем ее, знает ее и весь мир. Вот содержание этой части беседы — она изложена во всех исторических книгах. Смущенный король потребовал у Жанны какого-нибудь знамения. Он хотел уверовать в нее, и в ее призвание, и в то, что ее Голоса не от мира сего и что им ведомо все недоступное простым смертным; но как он может уверовать, если сами Голоса не дадут ему какого-либо неоспоримого доказательства? Вот тогда-то Жанна сказала:

— Я дам вам знамение, и ваши сомнения исчезнут. В вашем сердце живет тайное горе, о котором вы никому не говорили, — сомнение, которое подтачивает вашу отвагу и направляет ваши помыслы к тому, чтобы бросить все и бежать из своего королевства. Совсем недавно вы молились в душе своей, чтобы Бог, по Своему милосердию, разрешил это сомнение, хотя бы вам пришлось узнать через это, что не дано вам право носить королевский венец.

Именно эти слова поразили короля, потому что она сказала правду: его молитва была тайной его души, и никто не мог знать о ней, кроме Бога. И он сказал:

— Этого знамения достаточно. Теперь я знаю, что Голоса эти ниспосланы Богом. Они вещали истину; если еще что-нибудь поведали они тебе, скажи — я поверю.

— Они разрешили ваше сомнение, и я повторю их слова. Вот что сказали они: ты — законный наследник своего венценосного отца и истинный правитель Франции. Так сказал Господь. Подними же главу и отбрось все свои сомнения; дай мне солдат и поручи мне исполнить свое призвание.

Он узнал в себе законного сына короля: вот отчего он вдруг выпрямился и на минуту превратился в мужчину, забыв свои мучительные сомнения и почувствовав свои королевские права. И если бы кто-нибудь мог вздернуть на виселицу всех его злокозненных и вредоносных советников и предоставить ему свободу, то он откликнулся бы на просьбу Жанны и снарядил бы ее в поход. Но нет: этим тварям объявлен был только шах, а не шах и мат; они постараются опять затянуть дело.

Мы очень гордились почестями, которыми было встречено появление Жанны во дворце; такие почести выпадают только на долю самых знатных и знаменитых людей. Но гордость эта — ничто в сравнении с тем, что мы почувствовали, когда покидали залу. Жанне при встрече оказали великий почет, а провожали ее как королеву. Сам король взял ее за руку и через всю залу проводил до дверей; блестящая толпа стояла по обе стороны и низко кланялась им, а серебряные трубы снова огласили воздух сладкозвучной игрой. У дверей король сказал ей на прощание несколько милостивых слов и, низко нагнувшись, поцеловал ее руку. Покидая собрание людей, простых или знатных, она всегда выходила из него с ореолом большей славы и уважения, чем вступала в него.

А любезность короля не ограничилась этим: он отослал нас в замок Кудрэ с отрядом факельщиков и дал нам конвой из своих телохранителей — свою почетную стражу, свое единственное войско; великолепны были доспехи и одежда солдат, хотя сами они, вероятно, уже много лет не получали жалованья. Чудеса, которые Жанна совершила перед лицом короля, уже успели сделаться достоянием всеобщей молвы, так что дорога была запружена народом, желавшим взглянуть на нее, и мы пробирались с трудом. А разговаривать нам было совершенно невозможно, потому что голоса наши тонули в буре радостных криков, которые раздавались при нашем появлении и волной сопровождали нас на всем пути.

ГЛАВА VII

Будучи обречены на тоскливое ожидание и бездействие, мы примирились со своей судьбой и вооружились угрюмым терпением; отсчитывали медленные часы и хмурые дни и уповали, что Господь пошлет, наконец, желанную перемену. Единственным исключением был Паладин — я хочу сказать, что он один из всех нас был счастлив и ничуть не тяготился праздностью. Отчасти это объяснялось тем удовлетворением, источником которого был его наряд. Он сразу по прибытии купил себе платье. Купил по случаю. То был полный наряд испанского всадника: широкополая шляпа с развевающимися перьями, кружевной воротник и такие же нарукавники, выцветший бархатный камзол с шароварами, короткий плащ, накидываемый на плечи, сапоги с раструбом, длинная шпага и все прочее. Словом, изящный и живописный костюм, для которого представительная фигура Паладина была подходящей вешалкой. Он носил это платье в свободные часы. И когда он принимал чванливую позу, положив одну руку на эфес шпаги, а другой покручивал свои недавно пробившиеся усики, то все прохожие останавливались и восторгались; и по правде говоря, было чем восторгаться, потому что он представлял собою красивую и величественную противоположность щуплому французскому дворянчику, затянутому в приглядевшийся французский костюм того времени.

Он был пчелиным королем маленькой деревни, ютившейся у подножия хмурых башен и бастионов замка Кудрэ, и общепризнанным властелином распивочной местного трактира. Стоило ему там раскрыть рот — и воцарялась тишина. Эти простые ремесленники и земледельцы слушали его с глубочайшим вниманием и благоговением. Ведь он путешествовал и видел божий мир, вернее, ту часть его, что лежит между Шиноном и Домреми, а для них и этого было много: хоть бы частицу этого повидать, и то слава богу. Он побывал в сражениях и умел мастерски описывать все неожиданности и злоключения, все опасности и ужасы походной жизни — в этом искусстве он был неподражаем. Он был петухом в этом курятнике, героем этой харчевни: он привлекал посетителей, как мед привлекает мух, а потому за ним ухаживали и трактирщик, и его жена, и дочь — они были его подобоострастными и покорными слугами.

Большинство людей, одаренных талантом рассказчика, этим великим и редким талантом, отличаются также предосудительной привычкой излагать свои излюбленные рассказы всегда одинаково, а это вредит их успеху: уже после нескольких повторов их повести кажутся избитыми и скучными. Но не таков Паладин: его мастерство было утонченнее; когда он в десятый раз описывал сражение, то его рассказ слушали с большим трепетом и интересом, чем в первый, потому что он никогда не повторялся, он создавал новую битву, великолепнее прежних, и с каждым разом возрастали потери врага, расширялись границы народного бедствия, увеличивалось в окрестной стране число вдов, сирот и страдальцев. Он сам только по названиям мог отличить свои сражения одно от другого, и, описав одно из них десять раз подряд, он чувствовал необходимость отложить его в сторону и приняться за другое, потому что прежняя битва так разрасталась,

что уже не могла поместиться во Франции, но переливалась через края. Однако, вплоть до этого момента, слушатели не желали замены старой битвы новыми, зная, что старые битвы лучше и что они все совершенствуются, пока Франция может их вместить. Итак, вместо того, чтобы сказать ему, как они сказали бы другому: «Нет ли у тебя чего-нибудь новенького, нам уж надоело это старое», — они единодушно и с увлечением просили: «Расскажи-ка еще про неожиданную стычку под Болье, расскажи три или четыре разочка подряд!» Много ли на свете рассказчиков, которым пришлось услышать столь высокую похвалу?

Сначала Паладин огорчился, когда мы рассказали о виденных нами в королевском дворце торжествах; ему обидно было, что его не взяли; через некоторое время он принялся рассказывать, как держался бы он, если бы присутствовал там; а через два дня он уже сообщал, как он держался, когда был там. Мельница пошла полным ходом и уже не нуждалась в поощрении. Спустя три вечера оказалось, что его сражения отдыхают: поклонники его так увлеклись величественным описанием приема в королевском дворце, что ничего больше и не желали и готовы были забыть все ради того, чтобы услышать, как он был на приеме у короля.

Однажды Ноэль Рэнгесон спрятался среди слушателей и рассказал мне, а потом мы отправились слушать вдвоем, упросив жену трактирщика предоставить в наше распоряжение свою комнатку, где мы могли бы, став у дверей, видеть и слышать все происходившее.

Зала для посетителей была просторна; впрочем, это не мешало ее уютному и гостеприимному виду, так как повсюду на кирпичном полу были беспорядочно расставлены радушные столики и стулья, а в широком камине, потрескивая, пылал яркий огонь. Славно было сидеть тут в холодные и бурные мартовские вечера, и под этим кровом собиралась добрая компания, которая в ожидании повествователя благодушно потягивала вино и перекидывалась словами. Хозяин, хозяйка и их милостивая дочь сновали среди столиков туда и сюда, едва успевая удовлетворять требования посетителей. Комната эта была длиной примерно так около сорока футов, а в средней ее части было оставлено свободное пространство, находившееся в полном распоряжении Паладина. В конце этого прохода были устроены подмости в десять или двенадцать футов шириной; на возвышении этом, куда надо было всходить по трем ступенькам, стояло огромное кресло и столик.

Среди занятых винцом посетителей было несколько знакомых нам лиц: сапожник, коновал, кузнец, плотник, оружейник, пивовар, пекарь, мельничный батрак в своей обсыпанной мукой куртке — и так далее; и как подобает, ибо так водится во всех деревнях, самой важной и заметной персоной был цирюльник. Так как его должность заключается в том, чтобы рвать всем зубы и, для поддержания здоровья, делать раз в месяц кровопускание всем взрослым обывателям, то он знаком решительно со всеми и благодаря постоянному общению с людьми различных положений усвоил все тонкости приятного обращения и, как никто другой, способен вести занимательную беседу. Было также немало возниц, погонщиков и им подобных, вплоть до странствующих ремесленников.

Когда наконец ленивой походкой вошел Паладин, то его встретили громким «ура», а цирюльник, кинувшись вперед, приветствовал его многочисленными низкими, изящными и крайне изысканными поклонами и, взяв его за руку, приложил ее к губам. Затем он зычным голосом приказал подать Паладину жбан вина, а когда хозяйская дочь, поставив вино на столик, сделала поклон и хотела удалиться, то он сказал ей добавить еще вина за его, цирюльника, счет. Этим он вызвал возгласы всеобщего одобрения, весьма ему понравившиеся, так что его крысиные глазки засверкали от удовольствия; и подобная похвала вполне справедлива и уместна, потому что, проявляя чем-либо свое великодушие и щедрость, мы, естественно, желаем, чтобы наше благородство не осталось незамеченным.

Цирюльник предложил присутствующим встать и выпить за здоровье Паладина, что и было всеми немедленно и с сердечным сочувствием исполнено: чоканье оловянных кружек слилось в единый звон, и торжественность картины усугубилась громогласным «ура». Любо было смотреть на этого молодого хвастуна, который так быстро снискал себе популярность среди совершенно чужих людей, не имея никаких иных заслуг, кроме длинного языка и Богом дарованного умения с ним обращаться; этот вначале единственный дар понемногу удесятерился благодаря распорядительности, обрабатыванию и выращиванию, — благодаря тому вниманию, которое является естественным спутником данного таланта и по праву вознаграждает за длительные труды.

Гости сели на места и начали стучать кружками по столам, крича: «Прием у короля! Прием у короля! Прием у короля!» Паладин стоял, приняв наиболее картинную позу: его широкополая шляпа с султаном была сдвинута набекрень, складки короткого плаща небрежно ниспадали с плеч, одна рука покоилась на рукоятке шпаги, в другой он высоко держал бокал вина. Когда шум затих, он отвесил величественный, где-то им заимствованный поклон, затем плавным движением поднес бокал к губам и, закинув голову, осушил его до дна. Брадобрей подскочил и, приняв пустой бокал, поставил его на стол. Паладин начал ходить взад и вперед по эстраде с весьма большим достоинством и вполне непринужденно. И он говорил, продолжая ходить; по временам он останавливался, обращал лицо к своим слушателям и так продолжал рассказ.

Три вечера подряд приходили мы слушать. Ясно было, что в этих представлениях кроется какое-то очарование, помимо любопытства, возбуждаемого простым враньем. И мы поняли, что источник очарования — в искренности Паладина. В его словах не было сознательной лжи; он сам верил всему, о чем рассказывал. Для него все его первоначальные утверждения были истиной; и всякий раз, когда он расширял рамки рассказа, новое приращение вымысла также становилось истиной. Он вкладывал сердце в эти невероятные рассказы, подобно поэту, вкладывающему душу в свое героическое повествование, и его чистосердечие оживляло всякую картину — оживляло, поскольку суждение касалось его самого. Никто не верил его рассказам, но верили, что он верит.

Он вводил свои преувеличения без щегольства, без подчеркивания, а так — невзначай; иной раз даже не замечали видоизменений рассказа. На первом вечере он упоминал о губернаторе Вокулера просто как о губернаторе Вокулера; на втором вечере он назвал его своим дядей; на третьем вечере губернатор Вокулера оказался его отцом. Он, по-видимому, не замечал вводимых им необычайных превращений; они срывались у него с языка совершенно естественно и непринужденно. По рассказу первого вечера выходило, что губернатор частным образом прикомандировал его к военному отряду Девы; во второй вечер его дядя, губернатор Вокулера, послал его с Девой, назначив его начальником тыла; в третий вечер его отец, губернатор Вокулера, поручил его личному попечению и Деву, и отряд, и все остальное. Сначала губернатор говорил о нем как о юноше, который не имеет ни имени, ни титула, но «которому суждено обрести и то и другое». Затем его дядя, губернатор, отозвался о нем как о последнем и наиболее достойном прямом потомке самого великого и доблестного из двенадцати Паладинов — Карла Великого. В третий вечер он говорил о нем как о прямом потомке всех двенадцати. На протяжении трех вечеров Паладин произвел графа Вандомского из недавних знакомых — в друга детства, а напоследок — в шурина.

На приеме у короля все возрастало в той же пропорции. Сначала четыре серебряных трубы превратились в двенадцать, затем — в тридцать пять и, наконец, — в девяносто шесть; и к этому времени он добавил столько барабанов и кимвалов, что залу пришлось увеличить с пятисот футов до девятисот, иначе было бы слишком тесно. По мановению его руки число присутствовавших приумножалось в столь же быстрой степени.

В продолжение первых двух вечеров он довольствовался тем, что описывал с надлежащими преувеличениями главный драматический эпизод аудиенции, но на третий вечер он уже пояснял описание живым примером. Чтобы изобразить лжекороля, он посадил на свое высокое кресло цирюльника; потом рассказал, как все придворные с напряженным любопытством следили за Девой, едва скрывая свое злорадство, так как были уверены, что она вот-вот попадет на удочку и что гром презрительного хохота навсегда уронит ее в глазах людей. Он подробно расписывал эту сцену, пока всех слушателей не охватил лихорадочный огонь любопытства и нетерпения, и только тогда приступил он к главному. Повернувшись к брадобрею, он продолжал:

— Но представьте, как она поступила! Пристально всмотрелась она в лицо этого лживого негодяя, как вот я теперь смотрю на тебя, — приосанилась с благородной простотой, как я, затем она обернулась ко мне — вот так, протянув руку, так, — указала на него пальцем и произнесла тем твердым, спокойным тоном, которым она привыкла отдавать распоряжения во время битвы: «Стащи-ка с трона этого самозваного подлеца!» Я, выступив вперед, как сейчас вам показываю, схватил его за шиворот и приподнял на руках — вот так, словно какого-нибудь младенца. — (Слушатели вскочили, крича, топя и гремя кружками, и прямо-таки сошли с ума при виде этого великолепного проявления силы — и никто и не думал смеяться, хотя в фигуре тщедушного, но гордившегося этой честью цирюльника, висевшего в воздухе, точно кукла, не было ничего торжественного.) — Затем я поставил его на пол — вот так. Мне хотелось смять его покрепче и вышвырнуть за окно, но она приказала мне воздержаться: только благодаря этому он избежал смерти.

Затем она обернулась и стала обводить толпу глазами — этими светозарными окнами, через которые ее бессмертная мудрость взирает на мир, разоблачая его ложь и отыскивая скрытое в ней зерно истины; и вот ее взор остановился на скромно одетом молодом человеке, и она угадала в нем того, кем он действительно был. «Я твоя служанка, ты — король!» — сказала она. И все были поражены, и раздался громогласный клич шеститысячной толпы, так что стены содрогнулись от этой необъятной бури звуков.

Он красиво и живописно рассказал про уход с аудиенции, доведя великолепие этой картины до крайних пределов невозможного. Потом он снял с пальца медную гайку от задвижки, полученную им утром от старшего конюха замка, и, показывая ее в поднятой руке, закончил так:

— После этого король чрезвычайно милостиво простился с Жанной, как она того заслуживала, и, повернувшись ко мне, сказал: «Прими сей печатный перстень, сын паладинов, и явись с ним ко мне в час нужды; и постарайся, — добавил он, дотрагиваясь до моего виска, — сберечь этот мозг: он нужен Франции; и смотри также в оба за его оправой, ибо я предчувствую, что некогда на эту главу возложена будет герцогская корона». Я взял перстень, опустил на колени и, поцеловав его руку, сказал: «Государь, на поле славы мое пребывание; где носится смерть, где опасность поджидает на каждом шагу, там моя стихия; когда

понадобится помощь Франции и престолу... не скажу ничего, ибо я не из болтливой породы, — пусть тогда мои подвиги говорят за меня. Это все, чего я прошу».

Так завершилось это счастливое и достопамятное событие, столь чреватое будущими благами для короля и народа. И да славится имя Господа! Встаньте! Наполните кружки! Ну, за короля и отечество! Пейте!

Они осушили свои кружки; снова раздалось «ура», не смолкавшее по крайней мере минуты две, а Паладин величественно стоял на эстраде и милостиво улыбался.

ГЛАВА VIII

Когда Жанна открыла королю ту глубокую тайну, которая терзала его сердце, то сомнения его рассеялись. Он уверовал, что она послана Богом, и, будь он самостоятелен, он сразу же послал бы ее исполнить свою великую задачу. Но он не мог действовать один. Тремуйль и преосвященная реймская лиса знали его хорошо. Им стоило сказать только одно — и они сказали это:

— Ваше высочество! Вы говорите, что ее Голоса поведали вам ее устами некую тайну, известную только вам и Богу. Но как вы можете знать, что Господь ее не от сатаны и что она — не посланница дьявола? Ибо разве сатана не знает тайн людских и не пользуется этим знанием для гибели людских душ? Опасна эта затея, и вашему высочеству следовало бы остановиться, пока вы не исследуете всей подноготной.

Этого было достаточно. От этих слов душонка короля сморщилась, словно изюмина, наполнилась ужасом и опасениями, и он тотчас же тайно созвал собор епископов, которые должны были ежедневно допрашивать Жанну, пока не узнают, где находит она сверхъестественных пособников, — на Небе или в преисподней.

Один из родственников короля, герцог Алансонский, три года пробывший у англичан в качестве военнопленного, был в это время выпущен на свободу, так как за него обещали заплатить крупный выкуп. Слава Вокулерской Девы дошла и до него, ибо ее имя было у всех на устах, и он явился в Шинон, чтобы собственными глазами увидеть, какова она. Король послал за Жанной и представил ее герцогу. Она встретила его просто, как всегда.

— Добро пожаловать, — сказала она. — Чем больше французской крови будет на нашей стороне, тем лучше для нас и для нашего дела.

Между ними завязалась беседа, исход которой можно было заранее предугадать: герцог расстался с Жанной ее другом и защитником.

На другой день Жанна присутствовала на богослужении, где был король, а затем обедала вместе с королем и герцогом. Король начинал ценить ее общество и дорожить ее речами. И это было понятно: ведь он, как все короли, привык слышать только осторожные фразы, бесцветные и ничего не говорящие или предусмотрительно подобранные под цвет его собственных слов; а подобная беседа лишь надоедает, сердит и утомляет. Между тем разговор Жанны отличался свежестью и непринужденностью, искренностью и благородством и был совершенно свободен от боязливого самоконтроля и сдержанности. Она высказывала именно то, что у нее было на уме, и высказывала напрямик, безыскусственно. Легко понять, как это было отрадно королю: как будто свежая прохладная вода горных источников оросила его запекшиеся губы, до сих пор утолявшие жажду нагретой солнцем стоячей водой долин.

После обеда отправились на луг, рядом с Шинонским замком, куда пришел и король. Жанна так очаровала герцога искусством метать копьё и верховой ездой, что он подарил ей рослого вороного коня.

Каждый день являлся совет епископов, допрашивал Жанну о ее Голосах и посланничестве и отправлялся к королю с докладом. Допросы эти почти ни к чему не приводили. Она говорила не более того, что считала благоразумным, об остальном умалчивала. Угрозы и ухищрения были напрасны. Она не обращала внимания на угрозы, а в ловушки поймать не могли. Она относилась к этому с детским прямотушием. Она знала, что епископы посланы королем, и что они допрашивают ее по поручению короля, и что по закону и по обычаю на вопросы короля необходимо отвечать; и тем не менее как-то за столом короля она наивно заявила ему, что дает ответы только на те вопросы, которые ей по душе.

Епископы, в конце концов, пришли к заключению, что они не в состоянии решить, послана Жанна Богом или нет. Видите, какая осторожность! При дворе соперничали две сильные партии; поэтому, высказавшись решительно в ту или иную пользу, они неизбежно навлекли бы на себя неудовольствие одной из этих партий. И они сочли за самое благоразумное взобраться на насест, а дело взвалить на чужие плечи. И вот как они поступили: заявили в своем последнем докладе, что решение вопроса о Жанне превышает их полномочия, и предложили поручить это дело просвещенным и знаменитым докторам университета Пуатье. С тем они и отстранились от дела, включив в протокол только одно суждение, к которому их побудила молчаливость Жанны: она, по их словам, была «кроткая маленькая пастушка, очень чистосердечная, но не отличающаяся болтливостью».

Это было совершенно верно, поскольку они ее наблюдали. Но если бы они могли перенестись в минувшие времена и увидеть ее среди нас, на благодатных пастбищах Домреми, то они не преминули бы заметить, что у нее есть язычок, который умеет работать без усталости, если только ей не приходится опасаться своих слов.

Итак, мы отправились в Пуатье, чтобы три недели изнывать там в томительном бездействии и видеть, как эту бедную девочку ежедневно мучают допросом перед большим собранием... Вы думаете — военных знатоков? Ведь просила-то она о том, чтобы ей дали войско и разрешили начать поход против врагов Франции. О нет! То было великое собрание священников и монахов — глубоких ученых и тонких казуистов, знаменитых профессоров богословия. Вместо того чтобы созвать военных деятелей и поручить им проверить, действительно ли этот отважный солдатик способен одержать победы, — они засадили за работу целую ватагу церковных толкователей и пустословов, чтобы узнать, достаточно ли набожен маленький воин и не погрешает ли он против учения Церкви. Когда крысы подтачивают дом — надо бы осмотреть, хороши ли у кошки зубы и когти; а они вместо того спрашивают, богобоязненна ли она. Вся суть в благочестии кошки, а об остальных качествах заботиться нечего — они к делу не относятся.

Жанна больше походила на зрительницу из толпы, чем на подсудимую: так спокойно и уверенно держалась она перед этим грозным судом с его длиннополыми знаменитостями, с его торжественной обстановкой и величественными церемониями. Она спокойно сидела, невозмутимая, на своей скамье и разбивала науку мудрецов своей изумительной простотой; простотой, которая была подобна крепости: ухищрения, козни, почерпнутые из книги знания и тому подобные метательные снаряды отскакивали от каменной твердыни ее неведения и, не причинив вреда, падали на землю; они не могли поколебать засевавший в крепости гарнизон — великое, ясное сердце и мощную душу Жанны, этих защитников и блюстителей ее высокой задачи.

Она чистосердечно отвечала на все вопросы и рассказала, как она видела ангелов и что они говорили ей; и слова ее были так непринужденны, убедительны и искренни, в них звучала такая жизненная правда, что даже эти черствые, бывалые судьи забылись и сидели неподвижные и безмолвные, до конца следя за ее рассказом с каким-то восторженным любопытством, словно очарованные. А если вы моему показанию не верите, то загляните в летописи: там прочтите вы об одном очевидце, который под присягой заявил на Суде Восстановления, что она изложила свой рассказ «с благородным достоинством и простотой», а относительно впечатления, вынесенного слушателями, он повторяет приблизительно то же, что сказано мной. Семнадцать лет было ей — и она была одна; и однако она нисколько не боялась и смело смотрела на этих ученых законовевов и богословов; и победила она их не школьной наукой, а только присущими ей от природы чарами молодости, искренности, нежной мелодичностью голоса и красноречием, источником которого было сердце, а не разум. Сколько было красоты в этом зрелище! О, если бы я мог воскресить его перед вами во всей полноте: я знаю, что сказали бы вы тогда.

Как я уже упоминал, она не умела читать. Однажды они принялись травить и осаждать ее доказательствами, рассуждениями, возражениями и иными бессодержательными и многословными цитатами из различных авторитетных и знаменитых книг по богословию; наконец, у нее не стало терпения, и, резко повернувшись к ним, она сказала:

— Я не сумела бы отличить А от Б; но вот что я знаю: я явилась по приказанию Небесного Царя, чтобы спасти Орлеан от англичан и короновать в Реймсе короля, а вы толкуете о пустяках.

Разумеется, для Жанны это были тяжелые дни, как и для всех присутствовавших. Но все-таки ей выпала наиболее тяжелая доля, потому что у нее не было праздников; она всегда должна была присутствовать и выжидать долгие часы, тогда как тот или другой из следователей мог отлучиться и отдохнуть, если чувствовал усталость. И тем не менее она не казалась ни утомленной, ни раздраженной и лишь изредка давала волю своей досаде. Изю дня в день она сражалась с этими опытными мастерами схоластики, обнаруживая неизменное спокойствие, терпение и бодрость, каждый раз сумев за себя достойно постоять.

Однажды доминиканский монах вздумал ошеломить ее вопросом, который заставил всех насторожить уши; а я, признаюсь, затрепетал и сказал себе, что на этот раз бедная Жанна попалась, потому что ответить на такой вопрос невозможно. Хитрый доминиканец начал тоном напускной небрежности, как будто спрашивал он о каких-то пустяках:

— Ты утверждаешь, что Господь пожелал избавить Францию от английского владычества?

— Да, такова Его воля.

— Тебе нужно войско, чтобы пойти на помощь к орлеанцам, не так ли?

— Да, и чем скорее, тем лучше.

— Бог всемогущ и может сделать все, что пожелает, не правда ли?

— Конечно. Никто в этом не сомневается.

Тут доминиканец внезапно поднял голову и с торжеством кинул свой вопрос:

— В таком случае скажи мне: если Он пожелал освободить Францию и если Он может все, что пожелает, то для чего понадобилось войско?

Эти слова вызвали заметное движение в рядах: всякий старался вытянуть шею и подносил руку к уху, чтобы лучше расслышать ответ. А доминиканец самодовольно тряхнул головой и посмотрел вокруг себя, чтобы насладиться успехом, потому что одобрение отразилось на всех лицах. Но Жанна была невозмутима. Ни одной нотки беспокойства не было слышно в ее голосе, когда она сказала:

— Он помогает лишь тому, кто сам себе помогает. Сыны Франции будут сражаться, а Он дарует победу!

Все лица озарились мимолетным восторгом, точно по ним проскользнул солнечный луч. Даже доминиканцу понравилось, что она так ловко отразила его мастерской удар. И я слышал, как один почтенный епископ пробормотал в присутствии суровому времени стиле: «Ей-богу, дитя сказало правду. Он пожелал, чтобы Голиаф был убит, и послал такого же ребенка, как она».

В другой раз, когда допрос успел уже на всех, кроме Жанны, нагнать тоску и сонливость, за дело взялся брат Сеген, профессор богословия университета в Пуатье. Это был человек угрюмого и саркастического нрава; он начал осаждать Жанну разными язвительными вопросами, а говорил он на ломаном французском языке, потому что родом был из Лиможа.

— Как это ты могла понимать своих ангелов? — спросил он под конец. — На каком языке они говорили?

— По-французски.

— Скажите пожалуйста! Какая честь нашему языку — весьма лестно! И чистое произношение?

— Да... безукоризненное.

— Безукоризненное, вот как? Ну, конечно, тебе ли не знать. Может быть, их произношение было лучше твоего, а?

— Насчет этого... я ничего не могу сказать, — ответила она и хотела продолжать, но остановилась. Затем она добавила, как бы говоря с собою: — Во всяком случае, лучше вашего.

Как ни невинны были ее глаза, но в них промелькнула усмешка. Пронесся гул одобрения. Брат Сеген, задетый за живое, резко спросил:

— Веруешь ли ты в Бога?

Жанна ответила с задорной небрежностью:

— О, еще бы... и, вероятно, лучше, чем вы.

Брат Сеген потерял терпение и начал без устали язвить ее и наконец обрушился, не скрывая более своей досады:

— Прекрасно. Если твоя вера в Бога так велика, то вот что я скажу тебе: Бог не желает, чтобы кто-либо уверовал в тебя, не увидев знамения. Где твое знамение? Покажи нам!

Это зажгло Жанну; она вскочила со своего места и воскликнула с воодушевлением:

— Не для того пришла я в Пуатье, чтобы показывать знамения и творить чудеса! Пошлите меня в Орлеан, и у вас не будет недостатка в знамениях. Дайте мне войско — хоть какое-нибудь — и отпустите меня туда!

Глаза ее метали молнии... о, маленькая героиня! Не встает ли она перед вами как живая? Громкие возгласы сочувствия наградили ее слова, и она села на свою скамью, зардевшись как маков цвет: ее деликатная душа всегда боязливо избегала похвал.

Ее речь, как и происшествие с французским языком, создали два пункта, неблагоприятные для брата Сегена и ничем не повредившие Жанне; однако при всей своей язвительности он был человек благородный и честный, как вы можете узнать из истории; на Суде Восстановления он мог бы умолчать об этих двух неприятных эпизодах, если бы пожелал; но он не сделал этого, а, напротив, чистосердечно рассказал обо всем.

В один из последних дней этого трехнедельного заседания длиннополые богословы и профессора устроили обстрел по всей линии, буквально закидав Жанну возражениями и доводами, почерпнутыми из всевозможных творений старинных и знаменитых писателей римской Церкви. Ее чуть не задушили. Но наконец она сумела выкарабкаться и отразить натиск, сказав:

— Послушайте! Книга Божья гораздо ценнее всех тех, на которые вы ссылаетесь, и я опираюсь на нее. И поистине в книге сей есть многое, чего ни один из вас не может прочесть, несмотря на всю вашу ученость!

С самого начала она по приглашению жила у госпожи де Рабато, жены советника парламента Пуатье; и в этот дом по вечерам собирались знатные горожанки, чтобы повидать Жанну и побеседовать с ней; стремились туда также старьезаконоведы, советники и ученые парламента и университета. И эти важные господа, привыкшие взвешивать каждое новое и странное явление, осторожно к нему присматриваться, вертеть его так и сяк и недоверчиво пожимать плечами, приходили каждый вечер, все более и более подчиняясь тому таинственному влиянию, тому неуловимому и неопределимому обаянию, которое было

высшим даром Жанны, тому неотразимо убедительному очарованию, которое чувствовалось и признавалось знатными и незнатными, хотя ни те, ни другие не могли его объяснить или описать; и все они, один за другим, сдавались, говоря: «Это дитя послано Богом».

День-деньской Жанна должна была терпеть неудобства, присутствуя на верховном суде и подчиняясь строгим правилам судебной процедуры; ее судьи распоряжались всем по своему усмотрению. Но вечером можно было видеть обратную картину: Жанна сама становилась председательницей, получала свободу слова, а те же судьи стояли перед ней. Легко понять, к чему это приводило: каждый вечер она своим обаянием разрушала все возражения и препятствия, воздвигнутые стараниями их трудового дня. В конце концов она склонила всех судей на свою сторону, и благоприятный приговор был вынесен единогласно.

Интересное зрелище представляла собою зала суда, когда председатель читал приговор со своего высокого кресла: сюда собрались все знатные горожане, которым только посчастливилось получить пропуск и найти себе место. Сначала были выполнены некоторые торжественные церемонии, обычные в таких случаях; затем воцарилась тишина, и последовало чтение приговора; среди глубокого безмолвия можно было слышать каждое слово даже в самых далеких углах залы:

— Установлено и сим доводится до всеобщего сведения, что Жанна д'Арк, по прозванию Девственница, — добрая христианка и добрая католичка; что ее нрав и ее речи не избличают ничего, противного вере; и что король может и должен принять предлагаемую ею помощь, ибо отказаться от таковой значило бы прогневить Дух Святой и признать себя недостойным Божественного Промысла.

Судьи встали, и раздался гром рукоплесканий, неудержимый, то стихавший, то снова разрастающийся... Я потерял Жанну из виду, потому что она потонула в толпе людей, кинувшихся вперед, чтобы поздравить ее и призвать благословения на нее и на Францию, судьба которой отныне была передана в ее маленькие руки.

ГЛАВА IX

То был великий день и величественное зрелище.

Она победила! Какую ошибку сделали Ла Тремуль и остальные ее недоброжелатели, разрешив ей эти вечерние «заседания»!

Коллегия священников, посланная в Лотарингию якобы для того, чтобы навести справки о нравственности Жанны, — в действительности же, чтобы затянуть дело и заставить ее отказаться от своего намерения, — вернулась, признав характер Жанны безупречным. Как видите, наши дела теперь должны были пойти полным ходом.

Приговор вызвал оживление необычайное. Мертвая Франция вдруг воскресала, лишь только приходила великая весть. Прежде унылый и угнетенный народ поникал головой и отходил в сторону, если с ним заговаривали о войне; теперь же добровольцы шумными толпами стекались под знамена Вокулерской Девы, и в воздухе неумолчно гремели воинственные песни и барабанный бой. И я вспомнил, как ответила она в минувшую пору нашей деревенской жизни, когда я фактами и цифрами старался доказать ей, что положение Франции безнадежно и что никакие силы не пробудят народ от летаргического сна:

— Они услышат барабанный бой, они откликнутся и выступят в поход.

Говорят, пришла беда — растворяй ворота. Мы могли бы сказать то же самое про удачу. Дождались мы первой удачи — и счастье хлынуло, волна за волной. Ближайший наш успех заключался в следующем. Попы не на шутку тревожились вопросом, должна ли Церковь позволить женщине-воину надеть мужское платье. Но вот пришло разрешение. Два великих богослова того времени (один из них — канцлер Парижского университета) высказались утвердительно. Они заявили что, так как Жанне «предстоит совершить дело мужа и воина, то, по справедливости, и ее одеяние должно соответствовать такому положению».

Разрешение Церкви носить мужское платье было большим выигрышем. Да, счастье хлынуло, волна за волной. Не буду говорить о маленьких волнах, упомяну только о самой большой — о той волне, которая нас ошеломила, так что мы едва не захлебнулись от радости. В тот же день, когда был вынесен приговор, к королю отправили герцогов, а на другое утро ясные звуки трубы прорезали морозный воздух; мы насторожили уши и начали считать. Раз... два... три... пауза; раз... два... пауза; опять — раз... два... три... Мы выскочили на улицу и понеслись во всю прыть: такое сочетание нот служило признаком, что королевский герольд будет сейчас читать народу высочайший указ. По мере того как мы бежали вперед, отовсюду — из боковых улиц, из домов, из ворот — выскакивали впопыхах мужчины, женщины, дети и тоже бежали, одеваясь на ходу. А ясные звуки трубы опять прорезали воздух, и стечение народа все увеличивалось, так что вскоре пробудился весь город и устремился к главной улице. Наконец, мы добрались до площади, на которой уже тесной толпой стояли горожане; высоко на пьедестале большого креста стоял пышно одетый герольд, окруженный своими помощниками. Через минуту он начал читать зычным голосом, какой подобает его должности:

— Пусть узнают все и запомнят, что высочайший и знаменитейший Карл, Божию милостию король французский, соизволил даровать своей верноподданной, Жанне д'Арк, по прозванию Девственница, сан, полномочия, власть и достоинство главнокомандующего войсками Франции...

Тут тысячи шапок полетели в воздух, и толпа разразилась бурей радостных криков, которая, казалось, никогда не уймется; но наконец затихло, и герольд продолжал:

— ...и повелел принцу королевской крови, его светлости герцогу Алансонскому, быть ее наместником и начальником штаба.

Этими словами манифест заканчивался, и ураган разбушевался снова и, разделившись на бесчисленные вихри, пронесся по всем улицам и по всем закоулкам и переулкам города.

Она — главнокомандующий, а принц королевского дома — ее подчиненный! Вчера она не значила ничего — сегодня какой почет! Вчера она не была ни сержантом, ни капралом, ни даже рядовым — а сегодня она сразу поднялась на самую вершину. Вчера ей не был подчинен ни один новобранец — а сегодня ее слово стало законом для Ла Гира, Сентрайля, Бастарда Орлеанского и всех прочих заслуженных ветеранов, блестящих знатоков военного дела. Таковы были охватившие меня размышления; я старался свыкнуться с этим странным, волшебным превращением.

Мысли мои унеслись в минувшее, и вот предо мной воскресла картина, которая была еще так свежа в моей памяти, как будто это происходило вчера, — и в самом деле, это было не далее первых чисел января. Вот что представилось мне: в далекой деревне живет крестьянская девушка; ей еще не исполнилось семнадцати лет. И сама она, и ее родное село никому не известны, словно они — на другом конце света. Где-то подобрала она и принесла домой бесприютное существо — маленького серого котенка, жалкого и голодного; она его накормила, утешила, приручила, снискала его доверие, и вот он, свернувшись клубочком, спит у нее на коленях, а она вяжет грубый чулок и о чем-то думает, мечтает. О чем? Никто не ведает. Но теперь — котенок еще не успел превратиться во взрослого кота, а та девушка назначена главнокомандующим французской армией, и будет отдавать приказания принцу королевской крови, и над мраком ее родного села взойшло ее имя как солнце, видимое со всех концов страны! Голова кружилась, когда я думал об этих событиях, — такими необычайными, такими невозможными казались они.

ГЛАВА X

Вступив в свою должность, Жанна первым делом продиктовала письмо к английским полководцам, осаждавшим Орлеан; она предлагала им сдать все захваченные ими укрепления и покинуть пределы Франции. Можно было предположить, что она заранее обдумала все и мысленно составила текст письма — так легко находила она нужные слова, и столько силы и яркости было в ее выражениях. Однако такое объяснение было бы ошибочно: она всегда отличалась быстротой мысли и гибкостью языка, а в продолжение последних недель способности ее развивались непрерывно. Послание это надлежало отправить из Блуа. Теперь уже не было недостатка в добровольцах, в провизии и в деньгах, и Жанна назначила Блуа сборным пунктом для новобранцев и вещевым складом, а надзор поручила Ла Гиру.

Великий Бастард — побочный сын герцога и губернатор орлеанский — уже несколько недель взывал, чтобы Жанну прислали к нему; а тут явился новый посланец — старый д'Олон, заслуженный воин, человек надежный, хороший и честный. Король предоставил его в распоряжение Жанны, назначив заведующим ее хозяйственной частью, а остальных приближенных приказал ей выбрать самой — лишь бы их численность и достоинства соответствовали величию ее сана; и попутно распорядился, чтобы их надлежащим образом снабдили оружием, одеждой и лошадьми.

Между тем в Туре по заказу короля изготовлялся для нее полный набор латных доспехов. Латы из тончайшей стали, покрытой толстым слоем серебра, были богато украшены резными узорами и отполированы как зеркало.

Голоса поведали Жанне, что за алтарем церкви Святой Екатерины в Фьербуа спрятан старинный меч, и она послала за ним де Меца. Причт церкви никогда не слыхал о чем-либо подобном. Начали искать и действительно нашли меч, зарытый в указанном месте, под каменной плитой. Ножны отсутствовали, и меч был заржавлен; священники отполировали его и отослали в Тур, где ожидалось наше прибытие. Они вдобавок заказали ножны из малинового бархата, а турецкие горожане приготовили вторые ножны — из золотой парчи. Но Жанна намеревалась носить этот меч во время всех своих битв и, отказавшись от пышных украшений, заказала ножны из простой кожи. Все верили, что меч принадлежал Карлу Великому, но то было лишь предположение. Я хотел было отточить этот старый булат, но Жанна сказала, что незачем, ибо она никого не собирается убивать и будет носить меч только как символ власти.

В Туре она придумала рисунок своего штандарта, за изготовление которого взялся некий шотландский живописец, по имени Джеймс Пауэр. На куске тончайшего белого букассена с шелковой бахромой был изображен Бог Отец, восседающий на облаках и держащий в руке Вселенную; два коленопреклоненных

ангела у ног Его протягивали Ему лилии; надпись: Jesus, Maria; на обратной стороне — корона Франции, поддерживаемая двумя ангелами.

Она приказала также сделать второе знамя, поменьше, изображавшее ангела, который подает лилию Пресвятой Деве.

В Туре кипела шумная жизнь. То и дело раздавался гром военной музыки; поминутно слышались мерные шаги марширующих людей — то были отправляемые в Блуа отряды новобранцев; днем и ночью в воздухе разносились песни, крики и ликующее «ура!». В город нахлынули приезжие, улицы и трактиры были полны народа, всюду шли хлопотливые приготовления, и лица всех сияли радостью и довольством. Вокруг главной квартиры Жанны постоянно толпился народ, в надежде взглянуть хоть одним глазком на нового главнокомандующего, и если им удавалось дождаться этого, то они становились как угорелые. Впрочем, показывалась она редко, потому что была занята подготовкой похода, выслушиванием докладов, отдачей распоряжений, отправлением гонцов, и если выпадала ей свободная минута, то она выходила к важным сановникам, ожидавшим в ее приемной. А уж нам, молодежи, почти совсем не приходилось видеть ее: столько было у нее дел.

Мы переживали смену настроений: то надеялись, то нет. Она еще не выбрала себе свиты: вот из-за чего мы тревожи

лись. Мы знали, что она была завалена просьбами о предоставлении мест и что просьбы эти поддерживаются именитыми и влиятельными людьми, тогда как за нас некому было хлопотать. Она имела возможность назначить даже на самые скромные места титулованных дворян, связи которых послужили бы ей могучей защитой и могли бы впоследствии оказать ей неопределимую поддержку. При таких обстоятельствах могло ли благоразумие позволить ей подумать о нас? Мы не разделяли веселья города, проявляя склонность к унынию и досаде. Время от времени принимались мы рассуждать о своих слабых надеждах, и каждый старался утешить себя, сколько мог. Но даже одно упоминание об этом вопросе причиняло страдание Паладину, потому что если у нас и была хоть тень упования, то ему ждать было решительно нечего. Ноэль Рэнгесон вообще предпочитал не начинать этих тягостных разговоров; но при Паладине — другое дело. Однажды мы опять заговорили об этом, и Ноэль сказал:

— Не грусти, Паладин: прошлою ночью мне привиделся сон, будто ты один из всех нас получил должность. Не очень-то почетную, но как-никак должность: что-то вроде лакея или прислужника.

Паладин встрепенулся и почти повеселел: он придавал значение вещам снам и вообще отличался суеверием. Надежды его начали возрождаться.

— Хотел бы я, чтобы сон твой оправдался, — сказал он. — Как ты думаешь, сбудется ли?

— Обязательно. Я прямо-таки уверен в этом: сны ведь никогда почти не обманывают.

— Ноэль, я задушу тебя в объятиях, если этот сон сбудется! Быть слугой главнокомандующего всех войск Франции... Весь мир услышит об этом, дойдет известие и до нашего села: то-то вылупят глаза все эти олухи, которые пророчили, что из меня не будет никакого толку! Какая великая будущность! Ноэль, действительно ли ты думаешь, что это непременно сбудется? Убежден ли ты?

— Убежден. Вот тебе моя рука.

— Ноэль, если это сбудется, то я о тебе не позабуду, — пожми мне руку еще раз! Я надену великолепную ливрею, об этом услышит наша деревня, и эти скоты скажут: «А он-то служит лакеем у главнокомандующего, на него смотрит весь мир и дивится... Каков? Ведь взлетел прямо в высоту поднебесную!»

Он начал ходить по комнате и строить воздушные замки — такие высокие и неожиданно быстрые, что мы едва поспевали за ним. Но вдруг на его лице погасла радость, и уныние сменило ее. Он сказал:

— О, это был ошибочный сон, который не сбудется никогда. Я совсем забыл про эту нелепую затею в Туре. Все это время я старался не показываться ей на глаза, надеясь, что она забудет и простит меня... но этому не бывать, я уверен. Она не может забыть. А в конце-то концов я не виноват. Я сказал, что она обещала пойти за меня замуж, но подучили меня другие, клянусь — это они! — Огромный детина чуть не заплакал. Немного оправившись, он сказал с унынием: — Это была единственная ложь за всю мою жизнь, и...

Хор гневных и досадных восклицаний заглушил его слова, и, прежде чем он получил возможность продолжать, в комнату вошел личный слуга д'Олона и сказал, что нас требуют в главную квартиру. Мы встали, а Ноэль возгласил:

— Ну, что я говорил? Я предчувствовал; дух пророчества на мне. Она сейчас назначит его на высокую должность, а мы призваны, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Иди же с нами!

Но Паладин побоялся, и мы оставили его одного.

Когда мы остановились перед Жанной, впереди толпы блестящих офицеров, она приветствовала нас обаятельной улыбкой и сказала, что принимает всех нас в свою свиту, потому что не может обойтись без своих старых друзей. Вместо нас она могла бы избрать людей знатных и влиятельных, и такая неожиданная честь была нам тем приятнее; но мы не находили слов, чтобы высказаться, ибо теперь ее недостижимое

величие повелевало нам молчать. По очереди мы выступали вперед, чтобы принять удостоверительную грамоту из рук нашего ближайшего начальника, д'Олона. Все мы получили почетные места: выше всех стояли оба рыцаря; затем — братья Жанны; я был первым оруженосцем и писцом; вторым оруженосцем назначен был молодой дворянин по имени Рэмон. Ноэль был ее гонцом; у нее были два герольда, а также капеллан и раздаватель милостыни, которого звали Жан Пакерель. Еще раньше выбрала она дворецкого и нескольких домашних слуг. Наконец она посмотрела кругом и спросила:

— Где же Паладин?

Сьер Бертран ответил:

— Он не знал, должно ли ему прийти, сиятельная госпожа.

— Это нехорошо. Позовите его.

Вошел Паладин с весьма смиренным видом. Он переступил через порог и не посмел идти дальше, но остановился в явном замешательстве и страхе. Жанна заговорила с ним ласково:

— Я наблюдала за тобой во время нашего путешествия. Ты начал плохо, но понемногу исправляешься. Смолоду ты любил говорить небылицы, но в тебе кроется муж — и я заставлю его проснуться. — Надо было видеть, как прояснилось лицо Паладина при этих словах. — Последуешь ли ты за мной, куда я прикажу?

— Хоть в огонь! — воскликнул он.

А я сказал самому себе: «Бог свидетель, она, по-видимому, превратила этого хвастуна в героя. Вот новое ее чудо — в том нет сомнения».

— Верю тебе, — сказала Жанна. — Вот, возьми мое знамя. Ты будешь ездить за мною во всех сражениях, и когда Франция будет спасена, ты возвратишь мне его.

Он взял знамя, которое ныне является драгоценнейшей реликвией Жанны д'Арк, и сказал дрожащим от волнения голосом:

— Если я когда-либо опозорю этот залог доверия, то мои товарищи, здесь стоящие, сумеют исполнить над моим телом долг дружбы, и я возлагаю на них сию обязанность, зная, что не обманусь в них.

ГЛАВА XI

Мы с Ноэлем пошли назад вдвоем; сначала мы молчали, находясь еще под впечатлением пережитого. Наконец Ноэль вышел из своей задумчивости и сказал:

— Первый да будет последним, последний — первым. В сих словах — оправдание этой неожиданности.

Но в то же время надо сознаться, что нашего толстого бычка втащили бог знает как высоко!

— Да. Я до сих пор чувствую себя ошеломленным. Ему досталась самая почетная должность.

— Самая почетная. Командиров много, и она может еще больше увеличивать их число. Но знаменосец только один.

— Верно. После нее самой это самая видная должность во всей армии.

— И самая заманчивая и почетная. Мы знаем, что этого места добивались сыновья двух герцогов. А заполучил его — кто же? — эта чванная ветряная мельница. Скажи на милость, разве это — не огромное повышение, если взглянуть на дело как следует?

— Вне всякого сомнения. Эта должность — как бы уменьшенное подобие должности самой Жанны.

— Ума не приложу: как объяснить это? А ты понимаешь ли?

— Понимаю и могу объяснить без всякого труда — так, по крайней мере, мне кажется.

Ноэль был изумлен и быстро глянул на меня, словно желая узнать, не шучу ли я.

— Я думал, ты шутишь, — сказал он, — но вижу, что нет. Если можешь помочь мне разобраться в этой загадке, так сделай это. Объясни, в чем дело.

— Надеюсь, что сумею. Ты заметил, что наш старший рыцарь нередко говорит умные вещи; у него на плечах многотумная голова. Однажды мы с ним ехали рядом и разговаривали о великих способностях Жанны. Он сказал: «Но самый крупный из ее даров — это зрячий глаз». Я бухнул в ответ, словно дурак: «Зрячий глаз? Подумаешь, какая диковина: ведь это есть у всех нас». «Нет, — возразил он, — зрячим глазом одарены немногие». И он пояснил мне свою мысль. Он сказал, что обыкновенный глаз видит только внешнюю сторону вещей и на этом основывает свое суждение; но зрячий глаз пронизывает насквозь, умеет прочесть сердце и душу, находя там такие качества, о которых по внешности догадаться нельзя и которые не могут быть узнаны простыми глазами. Он сказал, что величайший военный гений ошибется и обратится в ничто, если он не одарен зрячим глазом, то есть если он не способен читать в сердцах людей и выбирать своих подчиненных с непогрешимой прозорливостью. Он как бы по наитию угадывает, что этот человек годен для стратегии, другой — для бесшабашной, удалой стычки, третий — для терпеливого, собачьего упорства; он назначает каждого на присущее ему место и достигает успеха; между тем полководец, не имеющий зрячего глаза, назначал бы не на те места и — проигрывал бы. Я увидел, что он правильно отозвался о Жанне. Когда она была ребенком, пришел однажды вечером бродяга: ее отец и все мы приняли

его за негодяя, а она увидела сквозь лохмотья честного человека. Обедая у вокулерского губернатора, я ничего не заметил в наших двух рыцарях, хотя провел в разговоре с ними целых два часа. Жанна пробыла там пять минут, не разговаривала с ними и не слышала их речей, однако сразу признала в них людей надежных и достойных, и они оправдали ее суждение. Кому поручила она надзор за этой крикливой, неукротимой толпой новобранцев в Блуа — толпой бывших арманьякских разбойников, сущих дьяволов? Кому, как не самому сатане, то есть Ла Гиру — этому военному урагану, этому безбожному крикуну, этому докрасна накаленному горнилу богохульства, этому вечно деятельному Везувию сквернословия! Знает ли он, как обращаться с легионом ревущих дьяволов? Да лучше всех людей на свете! Ведь он — сам Вельзевул этого бесовского царства, он перещеголяет их всех, взятых вместе, и, вероятно, он — отец большинства из них. Жанна сделала его временным начальником, пока сама не приедет в Блуа... а там! Там-то она самолично приберет их к рукам, а если нет, значит, я ошибся в ней, несмотря на нашу многолетнюю близость. То-то будет зрелище, когда прекрасный ангел в белых доспехах начнет отдавать приказания этим негодным отбросам пагубы!

— Ла Гир! — вскричал Ноэль. — Наш давнишний герой!.. Хотел бы я увидеть этого человека!

— Я тоже. Его имя и теперь волнует меня столь же сильно, как в мои отроческие годы.

— Я хочу послушать, как он ругается.

— Еще бы! Я предпочел бы его ругательства молитвам любого человека. Он — самый прямодушный из всех людей и самый наивный. Однажды ему был объявлен выговор за то, что он грабит во время своих набегов; он ответил, что это сущие пустяки. По моему мнению, он как раз такой человек, которому следовало поручить временное командование в Блуа. Видишь, Жанна обратила на него свой зрячий глаз.

— А это возвращает нас к началу нашего разговора. Я искренно люблю Паладина — не потому только, что он славный парень, но и потому, что он — мое детище: я ведь сделал его таким, каков он теперь, то есть самым пустым хвастуном и самым щедрым лгуном во всем королевстве. Я радуюсь его счастью, но у меня нет зрячего глаза. Я не избрал бы его на самую опасную должность во всей армии; я поместил бы его в тылу, поручив ему добывать раненых и уродовать убитых.

— Поживем — увидим. Жанна, быть может, лучше нас знает его. И подумай еще вот о чем: если человек, занимающий положение Жанны, говорит кому-нибудь, что он храбрец, — тот верит этому, а веры достаточно. Действительно, разве верить в свою храбрость — не значит ли быть храбрым? Ведь в этом все дело.

— Что верно, то верно! — вскричал Ноэль. — У нее не только зрячие глаза, но и творящие уста. Конечно, в этом все дело. Жанна д'Арк сказала вещее слово, и вот Франция идет на врага, высоко подняв голову.

Тут меня позвали: Жанна хотела продиктовать мне письмо. В продолжение следующих суток портные были заняты шитьем наших должностных нарядов, и нам готовили новое вооружение. Теперь любо было посмотреть на нас, когда мы наряжались в свои походные или домашние мундиры. Паладин, одетый по мирному времени в дорогие многоцветные ткани, был подобен башне, вызолоченной роскошным закатом; а когда он наряжался на войну, то его султан, яркая перевязь и стальные латы составляли еще более величественное зрелище.

Был дан приказ отправляться в Блуа. Было ясное, свежее, прекрасное утро. Можете себе представить, какое это было красивое зрелище, когда наш блестящий отряд мчался по дороге, вытянувшись в колонну, по два в ряд — впереди Жанна с герцогом Алансонским, затем д'Олон и огромный знаменосец и так далее. А когда мы ехали сквозь радостную толпу, и Жанна кивала головой направо и налево, и солнце отражалось от ее серебряных лат, то зрители чувствовали, что перед их глазами взвивается занавес, открывая первое действие могучей драмы; и возрождение их надежд проявлялось восторгом, который возрастал с каждым мгновением, так что, наконец, тело начало ощущать колыхание воздуха, стонавшего от радостных криков. Далеко в конце улицы послышалась нежная духовая музыка, и мы увидели тучу движущихся копыеносцев; солнце мягким светом озаряло их доспехи, но ярко сверкали над их головами наконечники копий, как будто над светозарным туманом сияло скопление звезд; то была наша почетная стража. Этот отряд примкнул к нам, шествие вполне оформилось, начался первый военный поход Жанны д'Арк — занавес поднялся.

ГЛАВА XII

В Блуа мы пробыли три дня. О, этот лагерь принадлежит к сокровищам моих воспоминаний! Порядок?.. У этих разбойников царил такой же порядок, какой можно встретить среди волков и гиен. Они бродили туда и сюда, пьяные, горланили во все горло, кричали, галдели, ругались и искали развлечений во всевозможных грубых и бесшабашных выходках; на каждом шагу встречались крикливые, распутные женщины, не уступавшие мужчинам по части наглых шуток, бесчинств и нелепых причуд.

Вот среди какого сброда привелось Ноэлю и мне увидеть Ла Гиру впервые. Он соответствовал самым заветным нашим мечтаниям. Он был высок ростом, отличался воинственной осанкой; он был с головы до пят закован в латы, на его шлеме развевался султан из перьев, а сбоку к поясу был привешен огромный меч.

Он отправлялся к Жанне, чтобы представиться ей как главнокомандующему; и, проходя через лагерь, он восстанавливал порядок и кричал, что приехала Дева и что он не допустит подобных безобразий в присутствии главы армии. Для восстановления порядка он прибегал к способу, весьма своеобразному, им самим придуманному: продвигаясь вперед, он ругался на чем свет стоит, грозил лютой карой каждому встречному и сыпал ударами направо и налево; и куда он попадал, там человек валился с ног.

— Проклятое чучело! — кричал он. — Чего ты тут шатаешься и сквернословить, когда сам главнокомандующий приехал в лагерь! Держись прямее! — И он сшибал солдата с ног.

Что значило, по его понятиям, «держаться прямее», никому, кроме него, было неизвестно.

Мы последовали за знаменитым ветераном в главную квартиру, прислушиваясь, наблюдая, восхищаясь, можно сказать, пожирая глазами любимого героя французских мальчишек, которые, как и мы, обожали его от колыбели. Вспомнил я, как однажды, когда мы еще мирно проводили дни на пастбищах Домреми, Жанна упрекнула Паладина за легкомысленное отношение к могучим именам — к Ла Гиру и Бастарду Орлеанскому — и сказала, что для нее было бы высокой честью стоять где-нибудь вдаль и хоть один только раз увидеть этих великих людей. Ей и другим девочкам они были так же дороги, как мальчишкам. И вот, наконец, перед нами один из них — по какому делу идет он? Трудно поверить, а между тем это правда: он спешит обнажить голову перед Жанной и выслушать ее приказание.

Покуда он недалеко от главной квартиры умирал «ласковым» способом значительную толпу своих разбойников, мы перегнали его и увидели военный совет Жанны — великих полководцев армии, которые только что прибыли. Их было шестеро — все знаменитые воины, красавцы, в блестящем вооружении; но красивее всех был генерал-адмирал Франции.

Когда вошел Ла Гир, то на его лице отразилось удивление: его поразили красота и чрезвычайная молодость Жанны; а по радостной улыбке Жанны легко было заметить, как она счастлива увидеть, наконец, героя своего детства. Ла Гир низко поклонился, держа свой шлем в руке, защищенной латной рукавицей, и произнес грубоватую, но милую приветственную речь, не разбавленную почти ни единым проклятием. Заметно было, что они сразу почувствовали расположение друг к другу.

Официальный прием продолжался недолго, и остальные посетители вскоре удалились; но Ла Гир остался, сел рядом с Жанной, прихлебывая вино из ее стакана, и они начали разговаривать и смеяться, как старые друзья. А когда она дала ему, как начальнику лагеря, некоторые предписания, то он чуть не поперхнулся. Начала она с того, что потребовала удаления распутных женщин — ни одной из них она не позволит остаться. Далее, надо положить конец необузданным оргиям, привести к пристойным и строго определенным границам употребление вина и водворить дисциплину на место беспорядка. А завершила она эту вереницу неожиданностей следующим требованием, которое едва не вышибло Ла Гиру из его брони:

— Каждый человек, становящийся под мое знамя, обязан исповедаться у священника и получить отпущение грехов; и каждый вновь принятый солдат должен два раза в день присутствовать на богослужении.

С добрую минуту Ла Гир не мог вымолвить слова, наконец он сказал тоном глубокого уныния:

— О милое дитя, ведь они — эти мои бедные любимцы — порождение чертовых самок! Ходить к обедне!.. Да они, голубушка моя, скорей проклянут нас обоих!

И он продолжал в том же роде трогательные доводы, и богохульства полились щедрым потоком; Жанна не устояла и расхохоталась так, как не хохотала со времени своего детства, когда она веселилась на пастбищах в Домреми. Отрадно было ее слушать.

Но она настаивала, и воин принужден был уступить и сказал: ладно, раз таково приказание, он должен повиноваться и уж постарается не ударить лицом в грязь. После этого он освежил себя потоком самых мрачных проклятий и пообещал, что разожжет башку всякому, кто не изъявит готовности отрешиться навсегда от грехов и начать праведную жизнь. Это снова рассмешило Жанну; да и как тут было не развеселиться. Но она не согласилась с таким способом обращения на путь истинный. Она сказала, что они должны пойти добровольно.

Ла Гир ответил, что это само собою понятно: он ведь не собирается убивать послушных, а только тех, кто заупрямится.

Совсем не то: никого не надо убивать; Жанна не желает этого. Ведь если человеку предлагают сделать что-либо добровольно и угрожают смертью в случае отказа, то он будет более или менее стеснен в своих действиях, а она желает для них полной свободы.

Ветеран тогда вздохнул и сказал, что он посоветует солдатам ходить к обедне, но что едва ли найдется в лагере хоть один человек, который проявит большую склонность к этому, чем он сам. Тут на него обрушилась новая неожиданность.

— Но, дорогой мой, — сказала Жанна, — вы тоже будете посещать обедню!

— Я? Немыслимо! Это безумие!

— Ничуть. Вы будете два раза в день ходить на богослужение.

— Да что это, неужели я не сплю? Или я пьян?.. Или обманывает меня слух? Право, я скорей отправился бы к...

— Мне неинтересно знать куда. Завтра утром вы начнете, а продолжать будет уже гораздо легче.

Полно, чего вы вдруг приуныли? Стерпится — слюбится.

Ла Гир старался ободрить себя, но тщетно. Он только грустно вздохнул и сказал:

— Ладно. Я сделаю это для вас. Но ни для кого другого, клянусь...

— Не клянитесь. Оставьте это.

— Оставить? Немыслимо! Я прошу вас... просил бы... О военачальник мой, ведь эта речь — мне родная.

Он обещал, что будет божиться только своим генеральским жезлом — в ее присутствии; в остальных случаях он тоже будет сдерживаться по мере возможности, хотя не надеется на успех, потому что эта застарелая привычка слишком уж укоренилась в нем и доставляет ему на старости лет отраду и утешение.

Упрямый, старый лев, расставаясь с Жанной, был уже значительно усмирен и приручен; не решусь сказать, что он был сделан кротким и мягким, такие выражения едва ли можно было к нему применить. Ноэль и я предположили, что, лишь только он окажется вне видимости Жанны, в нем сейчас же с такой силой воскреснет старая неприязнь, что он, не будучи в силах преодолеть себя, уклонится от обедни. Как бы то ни было, мы уговорились встать на другой день пораньше, чтобы посмотреть.

Что же? Он действительно пошел. Трудно было поверить, но вот он шествует сам, угрюмо исполняя свой долг, стараясь напустить на себя самый набожный вид и ругаясь, как леший. То было новое доказательство испытанной истины: всякий, кто прислушался хоть раз к голосу Жанны и посмотрел ей в глаза, подпадал под ее обаяние и переставал принадлежать себе.

Итак, сатана был обращен в веру. Ну а остальные последовали за ним. Жанна объезжала лагерь, и всюду, где показывался этот юный прекрасный образ в сверкающих латах, невежественной рати мерещился сам бог войны, сошедший с облаков. Сначала они дивились, потом начали поклоняться. А тогда уже она могла делать с ними, что хотела.

Через каких-нибудь три дня лагерь был очищен и приведен в порядок, и эти варвары два раза в день собирались на богослужение, как благонравные дети. Женщины исчезли. Ла Гир был ошеломлен таким чудом: для него оно было непостижимо. Если он чувствовал желание ругаться, то уходил за пределы лагеря. Такова уж была его натура: при всей своей врожденной и благоприобретенной греховности он относился с суеверным страхом к святым местам.

Восторженное отношение преображенного войска к Жанне, его преданность и пробудившееся в нем горячее желание идти под ее предводительством на врага превосходили все, что Ла Гир видал когда-либо на своем долгом веку. Он не находил слов, чтобы высказать, насколько его восхищали и поражали эти таинственные чудеса. Прежде он считал свое войско почти никуда не годным, теперь же его гордость и уверенность в солдатах не знали пределов.

Дня два или три назад они побоялись бы напасть на курятник, а теперь они готовы взять приступом хоть врата ада.

Жанна и Ла Гир были неразлучны, составляя контраст, который и забавлял и услаждал взоры. Ла Гир был громаден, она — изящна и миниатюрна; он, убеленный сединами, уже прошел значительную часть своего жизненного пути, она была еще так молода; его лицо было такое бронзовое и покрытое шрамами, ее — такое милое и розовое, такое юное и нежное; она была ласкова, он — суров; она была олицетворением целомудрия и непорочности, он — олицетворением греховности. Ее взор был полон милосердия и сострадания, в его глазах сверкали молнии; на ком останавливался ее взор, того словно осеняло Божественное благословение и спокойствие, но никак нельзя было сказать того же про глаза Ла Гира.

Раз двенадцать в течение дня объезжали они лагерь, заглядывая в каждый уголок, наблюдая, осматривая, исправляя, и всюду их появление вызывало бурю восторга. Ехали они рядом; он — олицетворение жилистой, мускулистой силы, она — маленькое чудо легкости и изящества; он — твердыня из ржавого железа, она — сияющая серебряная статуэтка. И, завидев их, новообращенные хищники-грабители говорили тоном ласкового привета:

— Вот они — сатана и оруженосец Христа!

Все три дня, что мы пробыли в Блуа, Жанна усердно и неумолимо уговаривала Ла Гира уверовать в Бога; старалась освободить его из сетей греха, вдохнуть в его бурное сердце благодатное спокойствие религии. Она убеждала, упрашивала, умоляла его прочесть молитву. В продолжение нашего трехдневного пребывания в лагере он не переставал упрямыться и чуть не со слезами на глазах просил избавить его только от одного — от этого невозможного требования; он готов исполнить что угодно — решительно все; пусть

ему прикажут, и он будет повиноваться беспрекословно. Стоит ей сказать одно только слово, и он ради нее пойдет в огонь, но пусть его избавят от этого, только от этого, потому что он не может молиться, он отродясь не молился, он не знает, как читается молитва, он для этого не мог бы подобрать слов.

А между тем — поверите ли? — она таки поставила на своем, одержала даже эту беспримерную победу. Она заставила Ла Гира молиться. Мне кажется, это доказывает, что для Жанны не было ничего невозможного. Да, он стал перед ней, поднял руки, закованные в железную броню, и прочел молитву. И молитва была не заимствованная, но его собственная. Ему никто не помогал сочинять ее, и он придумал сам.

— Милый Господь Бог, — сказал он, — прошу Тебя, поступай с Ла Гиrom так, как Ла Гир поступал бы с Тобой, если б Ты был Ла Гир, а он — Бог Молитва эта была многократно и многими народами похищаема в продолжение последних 460 лет. Но настоящий автор ее Ла Гир. *(Примеч. авт.)* .

После этого он надел свой шлем и вышел из палатки Жанны, крайне довольный собою; он имел вид человека, которому удалось уладить ко взаимному удовольствию и восторгу какое-то запутанное и трудное дело.

Знай я, что он только что молился, я понял бы, почему он поглядывал кругом себя с видом превосходства, но, конечно, я еще не успел сообразить, в чем дело.

Как раз в эту минуту я приближался к палатке; я видел уходившего Ла Гира и заметил, что он шагает с каким-то особым величием; действительно, на него любо было глядеть. Но, подойдя к двери палатки, я остановился и отступил назад, пораженный и опечаленный, ибо я услышал, что Жанна плачет (как я ошибочно предположил), плачет, словно не будучи в силах перенести душевную боль, — плачет, словно испытывая смертные муки. Оказалось совсем не то: она хохотала, хохотала над молитвой Ла Гира.

Только через тридцать шесть лет узнал я об этом, и тогда... о, тогда я мог только заплакать при виде этой картины беззаботного веселья, этого образа, воскресшего передо мной из мрака и тумана минувшего. Смеяться я не мог, потому что от минувшего меня отделял тот день, когда я безвозвратно утратил этот дар Божий — дар смеха.

ГЛАВА XIII

Выступили мы с многочисленным и великолепным войском и направились к Орлеану. Наконец-то начала осуществляться первая часть великих мечтаний Жанны. Впервые нам, молодым людям, привелось увидеть настоящую армию, и это зрелище было торжественно и величаво. Поистине нельзя было не одушевиться, глядя на бесконечную вереницу, которая растянулась вплоть до туманной дали горизонта, расстилаясь лентой по извилинам дороги, словно огромная змея. Жанна ехала во главе колонны, сопровождаемая своим штабом; затем следовала группа священников, певших «*Veni Creator*» «Приди, Создатель» *(лат.)*. и несших хоругвь с изображением креста; а дальше целый лес сверкающих копий. Различные отряды находились под командой великих арманьякских полководцев: Ла Гира, маршалов де Буссака, де Реца, Флорана д'Илье и Потона де Сентрайля Этот факт подтверждается правительственными документами Национального архива Франции. Мы можем сослаться на авторитет Мишле. — *М. Т.* .

Каждый был крут в своем роде, но существовали три степени крутости: крутой, покруче и самый крутой. Ла Гир принадлежал к последним, хотя и другие почти не уступали ему. Они, все до одного, в сущности, были попросту знаменитые официальные разбойники, для которых беззаконие давно уже сделалось привычным делом, так что они утратили всякое чувство повиновения, если оно и было у них когда-нибудь.

Король строго приказал им: «Повинуйтесь главнокомандующей во всем; ничего не предпринимайте без ее ведома; не начинайте действовать, не получив ее распоряжений».

Но что было толку предупреждать их? Эти вольные птицы не знали законов. Изредка они повиновались королю; повиновались только, когда сами желали. Станут ли они повиноваться Деве? Во-первых, они не знали, что значит повиноваться ей или кому бы то ни было; во-вторых, они, конечно, не могли относиться серьезно к ее воинскому званию. Кто она? Деревенская семнадцатилетняя девушка, которая изучала сложное и опасное военное дело... пася своих овец.

Они и не собирались повиноваться ей, за исключением тех случаев, когда их многолетний военный опыт подскажет им, что выставляемые ею требования осмысленны и правильны с военной точки зрения. Можно ли было осуждать их за такое отношение к ней? По-моему, нет. Старые, опытные воины всегда отличаются упрямством и расчетливостью. Им нелегко было уверовать, что невежественные дети способны вести войны и командовать войсками. Ни один полководец на свете не мог бы отнестись к Жанне серьезно, поскольку дело касалось военных действий, пока она не сняла осады с Орлеана и не осуществила вслед за тем великого луарского похода.

Быть может, они ни во что не ставили помощь Жанны? Вовсе нет. Они дорожили Жанной, как плодоносная земля дорожит солнцем; они вполне верили, что она может вызвать урожай, но собрать жатву

надлежит им, а не ей. Они питали к ней глубокое и суеверное уважение, как к существу, которое одарено чем-то сверхъестественным и таинственным, что дает ей возможность совершить непосильное им дело: вдохнуть силу и жизнь в робких солдат и превратить их в героев.

Они были уверены, что вместе с ней они всеильны, тогда как без нее — все пропало. Она могла вдохновить солдат и зажечь их воинственный пыл, но... сражаться? О, какая нелепость! Это уж их обязанность. Сражаться будут они, полководцы, а Жанна дарует победу. Таково было их мнение — случайный пересказ ответа, данного Жанной хитрому доминиканцу.

И вот они начали сообща обманывать ее. Она отдавала себе ясный отчет в том, как надлежит действовать. Она намеревалась смело пойти к Орлеану северным берегом Луары. Своим полководцам она отдала соответствующий приказ. Но они сказали друг другу: «Нелепый замысел! Вот и первый ее промах. Иного нельзя было ждать от девочки, которая ничего не смыслит в военном деле». Потихоньку они известили Бастарда Орлеанского. Тот также признал нелепость ее решения (по крайней мере, так ему казалось) и тайно посоветовал им обойти ее приказ каким-либо путем.

Они избрали путь обмана. Она им доверяла; она не ожидала такого отношения к себе и не была настороже. Это послужило ей хорошим уроком; потом она приняла меры к предупреждению подобных проделок.

Почему эти старые рубаки считали это решение нелепым, а она — нет? Потому что она была намерена тотчас снять осаду, сразившись с врагом, тогда как они предполагали осадить осаждавших и изнурить их, отрезав им подвоз провианта, а на это потребовались бы целые месяцы.

Англичане выстроили вокруг Орлеана цепь сильных укреплений, называемых «бастилиями»; эти укрепления закрывали доступ ко всем воротам города, кроме одних. По мнению французов, попытка пробиться через эти укрепления и ввести войско в Орлеан была бы неразумна; они были уверены, что это значило бы погубить армию. Само собою, их мнение было правильно с военной точки зрения, то есть было бы правильно, если бы не одно обстоятельство, ими не замеченное. А именно: английские солдаты были охвачены суеверным ужасом; они прониклись убеждением, что Дева заключила союз с сатаной, а благодаря этому рассеялась и исчезла значительная доля их отваги. С другой стороны, солдаты Девы были полны мужества, воодушевления и усердия.

Жанна могла бы пройти через укрепления англичан. Однако этому не суждено было осуществиться. Обманом ее лишили первой возможности нанести могучий удар врагу отечества.

Эту ночь она спала в лагере на земле, не снимая вооружения. Ночь выдалась холодная, и к утру, когда нам пришлось отправиться в дальнейший путь, Жанна окоченела почти так же, как ее латы; ведь железо — не очень-то хорошая замена одеяла. Тем не менее радость, что она уже приближается к заветной цели, была столь велика, что вскоре разгорячила ей кровь.

Восторг и нетерпение ее возрастали с каждой пройденной милей. Но наконец мы подошли к городу, и тогда ее воодушевление исчезло, сменившись негодованием. Она поняла, что ее обманули: от Орлеана нас отделяла река.

Жанна считала необходимым атаковать одну из трех бастилий, находившихся на нашем берегу, и силою получить доступ к охранявшемуся ею мосту. Таким образом, в случае удачи мы тотчас же сняли бы осаду. Но давно укоренившийся страх перед англичанами снова обуял ее полководцев, и они умоляли ее отказаться от этой попытки. Солдаты рвались в бой, но им пришлось разочароваться. И мы двинулись дальше и остановились против Шеси, в шести милях выше Орлеана. Дюнуа, Бастард Орлеанский, выехал из города, сопровождаемый рыцарями и горожанами, чтобы приветствовать Жанну. Она все еще пылала негодованием и досадой и не чувствовала ни малейшего расположения обмениваться любезностями, хотя бы и с обожаемым военным кумиром своего детства.

— Вы — Бастард Орлеанский? — спросила она.

— Он самый. И я весьма рад вашему прибытию.

— Не вы ли посоветовали привести меня к этому берегу реки, тогда как я хотела сразу напасть на Тальбота и англичан?

Ее гордый тон смутил его; он не мог ответить с надлежащей уверенностью и, пересыпая свою речь оправданиями и извинениями, сознался, что он и его совет избрали этот образ действий в силу военной необходимости.

— Клянусь Господом, — возразила Жанна, — совет Божий надежнее и мудрее вашего. Вы хотели обмануть меня, но обманулись сами, ибо я предлагаю вам наилучшую помощь, какую когда-либо получали рыцари и горожане, — помощь Божию, ниспосланную не из благоволения ко мне, но по милости Всевышнего. Благодаря молитвам святого Людовика и святого Карла Великого Он сжалился над Орлеаном и не допустит, чтобы врагу достались и герцог Орлеанский, и его город. Привезены припасы для спасения голодающих, но суда стоят ниже города, ветер неблагоприятен, они не могут подойти к этому месту. Скажите же мне, вы, премудрые люди, о чем думал ваш совет, изобретая эту нелепую помеху?

Дюнуа и остальные еще продолжали некоторое время оправдываться, но наконец сдались и согласились, что сделана ошибка.

— Да, ошибка сделана, — сказала Жанна, — и если Господь не возьмет на Себя ваших забот и не переменит ветра для исправления вашей оплошности, то надеяться больше не на кого.

Иные из них начали замечать, что при всей своей неопытности в военном деле она обладает практическим здравым смыслом и что, несмотря на свою врожденную кротость и обаятельность, она не принадлежит к тем людям, над которыми можно шутить безнаказанно.

Но вот Господь взялся за исправление промаха, и по Его милости ветер переменялся. Приблизившаяся флотилия судов забрала провизию и рогатый скот и, под прикрытием вылазки у крепостной стены против бастилии Сен-Лу, успешно отвезла голодному городу эту желанную помощь. После того Жанна снова принялась за Бастарда:

— Видите вы войско? — спросила она.

— Да.

— По вашему ли увещанию и совету оно находится на этом берегу?

— Да.

— Так пусть же ваш премудрый совет объяснит мне, почему войску лучше быть здесь, чем, скажем, на дне морском?

Дюнуа сделал несколько робких попыток объяснить необъяснимое и защитить незащитимое, но Жанна оборвала его, сказав:

— Ответьте мне, сударь, может ли войско принести какую-либо пользу, находясь по эту сторону реки?

Бастард признался, что пользы никакой нет; то есть если принять во внимание придуманный и предписанный ею план действий.

— И все-таки, зная это, вы проявили такое упрямство, что не исполнили моих приказаний? Раз войску надлежит находиться на том берегу реки, то не объясните ли вы мне, как его туда переправить?

Бесполезность обмана стала вполне очевидна. Отговорки не помогли бы делу, и Дюнуа признался, что нет иного средства исправить ошибку, как вернуть войско назад, в Блуа, начать путь сызнова и подступить к Орлеану другим берегом, сообразно с первоначальным планом Жанны.

Всякая другая девушка, одержав такую победу над старым и знаменитым воином, почувствовала бы некоторое торжество, и ее нельзя было бы за это винить; но это было не в ее характере. Она лишь обмолвилась несколькими словами сожаления по поводу потерянного драгоценного времени и затем немедленно начала отдавать распоряжения относительно выступления в обратный путь. Ей грустно было видеть, как удаляется армия, потому что, говорила она, велико было воодушевление войска и его храбрость и во главе его она не побоялась бы встречи со всеми силами Англии.

После того как были закончены все приготовления к возвращению главной части армии, она, взяв с собою Бастарда, Ла Гира и тысячу солдат, переправилась в Орлеан, где весь город с лихорадочным нетерпением жаждал увидеть ее лицо. Было восемь часов вечера, когда она со своим отрядом вступила в город через Бургундские ворота. Паладин ехал впереди, неся ее штандарт. Она сидела на белом коне и держала в руке священный меч из Фьербуа. Посмотрели бы вы, как встречал ее Орлеан! Что это была за картина! Черное море голов, целый небосвод ярких факелов, оглушительная буря приветственных возгласов, звон колоколов и гром пушечных выстрелов! Казалось, что наступил конец света. Всюду видны были, озаренные факелами, обращенные кверху бледные лица, по которым струились неудержимые слезы радости.

Жанна медленно продвигалась через плотную толпу, и ее одетый в кольчугу стан возвышался, подобно серебряному изваянию, над этой мостовой из голов. Народ теснился кругом и смотрел на нее сквозь слезы тем восторженным взором, который присущ людям, когда они верят, что перед ними существо не от мира сего. И благодарная толпа целовала ее стопы, а те, кому не удавалось добиться этого счастья, прикасались рукой к ее коню и целовали свои пальцы.

Ни единое движение Жанны не ускользало от их внимания, все служило предметом их разговоров и похвал. То и дело слышались замечания:

— Вот... она улыbnулась! Видел?

— А теперь сняла свою украшенную перьями шапочку и машет кому-то... Ах, как она мила и грациозна!

— Она гладит вон ту женщину по голове!

— Она будто родилась на коне: погляди-ка, как она повернулась на седле и рукояткой меча посылает воздушный поцелуй тем горожанкам, что бросили ей цветы из окна.

— А вот какая-то бедная женщина подняла на руках ребенка... она его поцеловала! О, она божественна!

— Как она красива и изящна, и какое милое лицо... какое румяное и оживленное!

С узким, длинным знаменем Жанны, развевавшимся по ветру, случилось несчастье: бахрама его загорелась от факела. Жанна наклонилась вперед и рукой потушила огонь.

— Она не боится огня, не боится ничего! — вскричали они, и воздух содрогнулся от восторженных рукоплесканий.

Она подъехала к собору и прочитала благодарственную молитву Господу, а народ, столпившись на площади, начал молиться с нею заодно. Потом она возобновила свой путь, понемногу пробираясь через толпу и через лес факелов к дому Жака Буше, казначея герцога Орлеанского, у жены которого ей предстояло гостить все время своего пребывания в городе и жить в одной комнате с его дочерью, своей будущей подругой. Буря народного восторга не унималась всю ночь, сливаясь с радостным звоном колоколов и приветственным громом пушек.

Жанна д'Арк вышла наконец на сцену и была готова начать.

ГЛАВА XIV

Она была готова, но ей пришлось сидеть и ждать прибытия войска, с которым можно было бы приступить к работе.

На следующее утро, в субботу 30 апреля 1429 года, она стала расспрашивать о посланце, который был отправлен из Блуа с ее воззванием к англичанам — воззванием, продиктованным в Пуатье. Ниже я привожу его целиком. Этот документ замечателен по многим причинам: он поражает и своей деловой прямоотой, и высоким одушевлением, и силой слога, и наивной верой в свою способность выполнить огромную задачу, которую она на себя возложила или которая была на нее возложена — как хотите. Читая, вы все время как будто видите блеск военного шествия и слышите барабанный бой. В этом воззвании открывается перед вами воинственная душа Жанны, и вы забываете кроткую маленькую пастушку. Эта неученая сельская девушка, не привыкшая диктовать что бы то ни было, не говоря уже о важных документах, обращенных к королям или полководцам, сумела так естественно создать вереницу могучих слов, как будто подобный труд был ей знаком с самого детства:

Jesus Maria

«Король Англии, и ты, герцог Бедфорд, именующий себя регентом Франции; Вильям де ла Поль, граф Суффолк; и ты, Томас лорд Скейлс, величающие себя наместниками названного Бедфорда, — оправдывайтесь перед Царем Небесным. Вручите посланной Господом Деве ключи всех праведных городов, захваченных и похищенных вами во Франции. Она послана сюда Господом для восстановления королевской династии в ее правах. Она вполне готова примириться с вами, если вы поступите справедливо, отказавшись от притязаний на Францию и возместив убытки, причиненные вашим захватом. А вы, стрелки, боевые товарищи, дворяне и незнатные, вы, которые стоите перед праведным городом Орлеаном, — удалитесь, ради Господа, в свою отчизну, иначе вы получите новые вести от Девы, которая, к великому вашему ущербу, не замедлит встретиться с вами. Король Англии, если ты не сделаешь этого, то помни, что я — военный вождь и что я буду изгонять всех твоих людей, которых встречу в пределах Франции, не спрашивая, согласны они или нет; и если они не будут покорствоваться, то я истреблю их всех до единого, если же они проявят послушание, я их пощажу. Явилась я сюда по воле Бога, Царя Небесного, чтобы изгнать тебя из Франции наперекор всем изменникам и зложелателям королевства. Не думай, что тебе когда-нибудь достанется сие королевство с соизволения Царя Небесного, Сына Благодатной Марии; владеть им будет король Карл. Такова воля Господа, возвещенная Им через Деву. Если же вы не верите тому, что сообщено вам Богом через посредство Девы, то знайте: всюду, где бы мы с вами ни встретились, мы будем нападать на вас бесстрашно и поднимем такой шум, какого Франция не знала целое тысячелетие. Знайте, что Господь может послать Деве такую могучую помощь, с какой не справится ни единое войско, направленное против нее и против ее защитников. И тогда увидим мы, кто прав: Царь Небесный или вы. Герцог Бедфорд, Дева просит тебя: не подготавливай собственной гибели. Если вы вовремя образуетесь, то еще успеете пойти вместе с ней туда, где французы совершат наивысший подвиг великодушия, когда-либо виданный в христианском мире; если же нет, то вскоре придется вам вспомнить о всех ваших великих несправедливостях».

Заключительной фразой она приглашала их всех предпринять с ней крестовый поход, чтобы освободить Гроб Господен.

Воззвание это осталось без ответа, и сам гонец не возвратился. Теперь она послала двух своих герольдов с письмом, в котором она предостерегала англичан, прося их снять осаду и возвратить пропавшего гонца. Герольды вернулись, но гонца с ними не было. Они доставили только ответ англичан, гласивший, что ее возьмут в плен и сожгут, если она не уберется восвояси, пока есть время, и «не займется своим настоящим делом: доением коров».

Она отнеслась к этому спокойно, выразив только свое сожаление, что англичане столь упорно призывают грядущую беду и неминуемую гибель, в то время как она «делает все возможное, чтобы предоставить им возможность покинуть страну целыми и невредимыми».

Затем она придумала соглашение, которое ей казалось приемлемым. «Идите назад, — обратилась она к герольдам, — и скажите лорду Тальботу от моего лица: «Выйдите из ваших бастилий с вашей ратью, а я выйду со своей; если я одержу над вами победу, удалитесь из Франции с миром; если я буду побеждена, сожгите меня, согласно вашему желанию»».

Я слышал это от Дюнуа. Вызов не был принят.

В воскресенье утром ее Голоса — или какое-то врожденное чутье — послали ей предостережение, и она отправила Дюнуа в Блуа с поручением принять армию под свою команду и поскорее двинуть ее к Орлеану. Это было мудрое распоряжение: оказалось, что Реньо де Шартр и некоторые другие негодяи, любимцы короля, всеми силами старались разъединить армию и воспрепятствовать военачальникам вести войско к Орлеану. Шайка этих негодяев была вся как на подбор. Теперь они сосредоточили свое внимание на Дюнуа, но он уже раз испытал на себе, что значит идти наперекор Жанне, и вовсе не был расположен вторично навлечь на себя неприятности. Он быстро двинул армию вперед.

ГЛАВА XV

В течение тех немногих дней, которые отделяли нас от прибытия войска, мы, собственная свита Жанны, жили в каком-то волшебном царстве. Мы посещали общество. Для наших двух рыцарей это не была новинка, но мы, молодые сельчане, окунулись в жизнь новую и преисполненную чудесами. Занятие какой бы то ни было должности при особе Вокулерской Девы почиталось за высокую честь, и все искали встречи с ее приближенными; а потому и братья д'Арк, и Ноэль, и Паладин, не возвышавшиеся дома над званием простого крестьянина, здесь заняли место дворян, людей знатных и влиятельных. Любо было смотреть, как понемногу и деревенская робость, и неуклюжесть испарялись под благодетельными лучами всеобщего уважения и исчезали бесследно и как свободно и легко дышалось им в непривычной атмосфере. Паладин был столь счастлив, сколь может быть счастлив человек на нашей земле. Язык его работал без устали, и каждый день он черпал новое наслаждение, слушая собственные рассказы. Он начал расширять свою родословную, раскинул ветви ее по всей стране, заводил себе знатных сородичей справа и слева, и, в конце концов, почти все они оказались герцогами. Он возобновлял свои старые битвы и украшал их новым великолепием, а также новыми ужасами, потому что теперь он добавил артиллерию. В первый раз мы увидели пушки в Блуа; их было несколько штук. Здесь же их было вдоволь, и по временам случалось вам видеть величественное зрелище, когда огромная английская бастилия окутывалась гороподобной тучей дыма от собственных пушек, метавших грозные снопы красного пламени. И это впечатляющее зрелище в соединении с потрясавшим землю громом, который исходил из сердца твердыни, вдохновило фантазию Паладина и дало ему возможность украсить наши стычки с засевающим врагом таким великолепием, что в его рассказах не осталось и тени истины — разве только в глазах людей, не бывших их очевидцами.

Быть может, вы подозреваете, что была какая-то особая причина, вдохновлявшая Паладина на эти великие подвиги; в таком случае вы не ошиблись. То была восемнадцатилетняя дочь хозяина дома, Катерина Буше, милая, грациозная и обаятельно красивая. По моему мнению, она была бы так же красива, как Жанна, будь у нее глаза Жанны. Но это было невозможно. Существовала только одна пара таких глаз — и никогда не появится вновь. Глаза Жанны были глубоки, роскошны, дивны, выше всего земного. Они говорили на всех языках, они не нуждались в словах. Они могли вызвать любое настроение, стоило им взглянуть — взглянуть один только раз; то был взгляд, который мог уличить лжеца и принудить его к признанию; который мог укротить высокомерие гордеца и внушить ему чувство смирения; который мог населить отвагой трусливую душу и умертвить отвагу первого храбреца; который мог усмирить злобу и неподдельную ненависть; который мог призывать к тишине бурю страстей и встречать повинование; который мог неверного заставить верить, а скорбящему вернуть надежду; который мог изгонять греховные помыслы; который мог убеждать... да, вот оно, настоящее слово: убеждать! Кого не мог убедить ее взгляд? Безумец из Домреми, священник, обреченный фей на изгнание, преподобный тульский трибунал, недоверчивый и суеверный Лаксар, упрямый вокулер-ский ветеран, безвольный наследник французского престола, мудрецы и ученые парламента и университета в Пуатье, баловень сатаны Ла Гир, непокорный Бастард Орлеанский, привыкший признавать правильными и разумными поступками только свои, — вот победные трофеи того великого дара, благодаря которому Жанну окружала такая таинственность и чудесность.

Мы сближались с знатными посетителями, которые ради знакомства с Жанной стремились к большому дому Буше; они относились к нам чрезвычайно внимательно, и мы все время, так сказать, парили в высотах. Но все-таки этому счастью мы предпочитали те тихие часы, когда официальные гости уходили, и оставалась только семья с десятком ближайших друзей, среди которых можно было провести время в задушевной беседе. Вот тогда-то мы, пятеро юнцов, прилагали все усилия, чтобы показать себя с наилучшей стороны, и главной целью наших стараний была Катерина. Никто из нас еще не испытал любви, а теперь мы, бедняги, сразу влюбились, все пятеро, в одну и ту же девушку; влюбились с первой минуты, с первой же встречи. Она

была весела и жизнерадостна, и я до сих пор не могу вспоминать без нежного чувства о тех немногих вечерах, когда я имел счастье наслаждаться ее милым обществом и когда я принадлежал к тесному кружку этих славных людей.

С первого вечера Паладин пробудил нашу ревность: стоило ему хорошенько начать расписывать свои битвы — и все обращалось в слух; тогда уже нечего было и думать кому-либо из нас привлечь к себе внимание. Эти люди семь месяцев прожили в обстановке настоящей войны; и, слушая этого болтливового великана, который рассказывал о своих воображаемых походах и буквально плавал в крови, лившейся целыми потоками, — они забавлялись до самозабвения. Катерина чуть не умирала от восторга. Она не смеялась во всеуслышание (мы, конечно, очень желали бы этого), но, закрыв лицо веером, тряслась чуть не до судорог: казалось, что ее ребра отскочат от спинного хребта. Паладин кончал битву; мы начинали радоваться, надеяться на перемену; но тут раздавался ее голос — такой ласковый, обходительный, что сердце мое сжималось от боли, — она спрашивала его о той или другой подробности начала его повествования; она, дескать, очень заинтересовалась этим вопросом, а потому не будет ли он так добр описать начало битвы снова и притом еще более обстоятельно? Ну, само собой, все сражение опять обрушивалось на нас с сотней лживых добавлений, которые раньше были пропущены.

Не знаю, как описать терзавшие меня мучения. Я до тех пор не знал, что такое ревность, и невыносимо мне было видеть, что этот бездельник пользуется столь большим счастьем, которого он вовсе не достоин, тогда как я должен сидеть в стороне, в пренебрежении; а я так страстно мечтал получить хоть ничтожную долю тех бесчисленных милостей, которыми моя возлюбленная осыпала его. Сидя вблизи нее, я раза два или три попытался приняться за описание тех подвигов, которые были совершены мною в этих битвах, — и мне самому было стыдно, что я унижаюсь до такого дела; однако ничто не занимало ее, кроме битв Паладина, и завладеть ее вниманием было невозможно. А один раз она, пропустив по моей вине какой-то драгоценный обрывок его вранья, попросила его повторить — и, конечно, ее просьба породила новую стычку и удесятирила свирепость и кровопролитие битвы. Эта моя злополучная неудача была для меня столь унижительна, что я отказался от дальнейших попыток.

Остальные мои товарищи были не в меньшей степени возмущены эгоизмом Паладина и, разумеется, его великим счастьем; последнее, пожалуй, было обиднее всего. Мы нередко обсуждали друг с другом свою незавидную долю. Это естественно, ибо соперники превращаются в братьев, когда на них обрушивается общее горе и когда победителем оказывается их общий враг.

Всякий из нас сумел бы понравиться и обратить на себя внимание, если бы не этот хвостун, который присвоил себе все вечера и вытеснил остальных. Я написал поэму (просидев над ней целую ночь) — поэму, в которой я чрезвычайно удачно и тонко воспевал прелести этой прелестной девушки, и хотя я не упоминал ее имени, однако всякий мог догадаться, о ком идет речь, ибо даже заглавие — «Орлеанская роза» — разъяснило бы все, как мне казалось. В поэме описывалось, как невинная и прелестная роза выросла на суровой почве войны, обратила свои нежные очи на ужасные орудия смерти и (обратите внимание на остроумие этого сравнения), устыдившись греховной природы человека, краснеет. Понимаете? Роза, которая накануне была белой, поутру превращается в красную. Мысль была моя собственная и совершенно новая. Тогда роза послала из воинствующего города свое нежное благоухание, и осаждавшие, почуяв его, сложили оружие и заплакали. Это тоже была моя мысль, и тоже новая. Первая часть поэмы на этом заканчивалась; дальше я сравнивал ее с небосводом — не со всей твердью, а только с уголком ее, то есть она была луной, и все созвездия кружились вокруг нее, сгорая от любви, но она не хотела остановиться, не хотела слушать, потому что, думали, она любит другого. Думали, что она любит бедного недостойного рыцаря, который скитался по земле, не страшась ни опасностей, ни смерти, ни увечий на поле кровавой брани; он объявил беспощадную войну бессердечному врагу, чтобы спасти ее от преждевременной смерти, чтобы спасти ее город от разрушения. И когда созвездия, ее печальные преследователи, узнали о постигшей их горькой судьбе, то (заметьте!) сердца их разбились и полились потоки их слез, озарившие весь небосклон огненным великолепием, ибо те слезы были падающие звезды. Идея довольно смелая, но красивая; красивая и трогательная — поразительно трогательно вышло это у меня: рифмы и все прочее. После каждого куплета был припев в две строчки, оплакивавший несчастного поклонника, который живет на далекой земле, разлученный, быть может, навеки со своей возлюбленной; с каждым днем он становится все бледнее, чахнет, худеет, ибо он с тоской сознает, что близится к нему жестокая смерть (самое трогательное место поэмы). Ноэль так превосходно читал эти строчки, что мы сами не могли удержаться от слез. В первой части поэмы было восемь строф — в главе, относившейся к розе, или в «ботанической» главе, если такое наименование не слишком велико для столь малой поэмы; в «астрономической» главе тоже восемь, всех вместе, значит, шестнадцать строф. Но я мог бы насочинять их полторы сотни, если бы пожелал, — так велико было мое вдохновение и столько красивых мыслей и образов теснилось передо мной. Однако этого оказалось бы слишком много, чтобы пропеть или декламировать на вечере, а шестнадцать строф — как раз впору, и если слушатели пожелают, то можно будет повторить.

Мои молодые товарищи были поражены, что я сумел написать такое стихотворение, все из собственной головы. Я, конечно, тоже был поражен, потому что для меня это была столь же великая неожиданность, как для всякого другого: я не подозревал, что во мне кроются такие способности. Если бы кто-нибудь спросил меня раньше, способен ли я на это, я не колеблясь ответил бы: нет, не способен.

Нередко случается так: проживешь ты уже добрую половину своего века, не зная, что в тебе таится такая штука, а в самом-то деле все время сидела в тебе и ждала только случайного толчка, чтобы проявиться. У нас в роду это повторялось всегда. У моего деда был рак, а его близкие не знали, что с ним, пока он не умер; он сам так и не узнал. Удивительно, как иной раз глубоко бывают запряваны таланты и недуги. В моем случае стоило только этой милой девушке-вдохновительнице показаться на горизонте — и на свет появилась поэма, составить которую, подобрать рифмы и отделать ее оказалось для меня не труднее, чем запустить камнем в собаку. Нет, я ответил бы, что я не способен; а вышло наоборот.

Мои юные друзья были так очарованы и поражены, что не переставали меня расхваливать. Больше всего им нравилась предстоящая победа над Паладином. Желание отстранить его и зажать ему рот заставило их забыть обо всем. Ноэль Рэнгесон был прямо-таки вне себя от красот поэмы и говорил, что хотелось бы и ему сочинить такую штуку, да только это не по его части, и, конечно, он не сумел бы. В полчаса он выучил стихи наизусть, и читал их с бесподобной задушевностью и выразительностью. Это было как раз его даром — чтение и искусство передразнивать. Он мог прочесть любую вещь лучше всех на свете, мог изобразить Ла Гира как живого, мог передразнить кого угодно. А я вовсе не умел читать наизусть, и когда я попытал свои способности на одной поэме, то товарищи не дали мне прочесть до конца; подавай им Ноэля, и никого больше. Ну а так как мне хотелось, чтобы стихи произвели наилучшее впечатление и на Катерину, и на остальное общество, то я сказал Ноэлю, чтоб читать взялся он. Он был обрадован донельзя. Он не сразу поверил, что я не шучу; но я говорил серьезно. Я заявил, что буду удовлетворен, если им известно будет, кто автор поэмы. Товарищи ликовали, а Ноэль сказал, что лишь бы только ему удалось улучшить удобную минуту, — больше он ни о чем не просит; он уж тогда докажет им всем, что есть нечто получше и поблагороднее, чем военные небылицы.

Но как улучшить случай? В этом заключалось главное затруднение. Мы составили несколько многообещающих планов и, наконец, остановились на одном, успех которого, казалось, был обеспечен. А именно: надобно предоставить Паладину увлечься описанием вымышленной битвы, а затем вызвать его под каким-либо предлогом; по его уходе Ноэль должен был занять его место и довести сражение до конца, в точности передразнивая Паладина. Этим он вызовет шумное одобрение, расположит все собрание в свою пользу и приведет слушателей в такое настроение, что чтение поэмы явится как нельзя более кстати.

Такая двойная победа доконала бы знаменосца — повредила бы ему, во всяком случае, а нам, остальным, дала бы возможность надеяться на будущее.

Итак, в ближайший вечер я держался в сторонке, пока Паладин не разогнался вовсю; он уже вихрем несся на врага во главе своих полчищ, когда я, одетый в присвоенную моей должности форму, вошел в комнату и возвестил, что генерал Ла Гир прислал гонца, требуя к себе знаменосца. Он покинул комнату, а Ноэль, заняв его место, сказал, что, как ни досаден этот перерыв, однако он, к счастью, лично осведомлен относительно подробностей сражения и, если ему будет позволено, он сочтет за счастье ознакомить с ними присутствующее общество. Затем, не дожидаясь позволения, он превратился в Паладина — разумеется, в Паладина-карлика, в точности воспроизводя его манеры, голос, телодвижения, жесты и все прочее, и продолжал битву — да так, что невозможно было и вообразить себе более совершенного и смехотворного подражателя. Слушателями овладели судороги смеха; они хохотали до исступления, и слезы текли по их щекам. Чем больше они хохотали, тем больше вдохновлялся Ноэль и совершал чудеса, так что хохот, наконец, сменился каким-то ревом. Всего отраднее было то, что Катерина Буше умирала от восхищения: она прямо-таки задыхалась. Это ли не победа? Настоящий Азенкур.

Паладин отсутствовал не более нескольких минут: он сразу же узнал, что его обманули, и вернулся назад. Приближаясь к двери, он услышал окопавшую Ноэля и понял, как обстоят дела; и, остановившись у двери, стараясь, впрочем, не быть замеченным, он выслушал всю комедию до конца. Успех, выпавший на долю Ноэля, когда он кончил, был поразителен; и они долго продолжали выражать одобрение, хлопая в ладоши как сумасшедшие и прося его повторить.

Но Ноэль был себе на уме. Он знал, что наилучший фон для стихотворения, проникнутого глубоким и тонким чувством, бывает именно тогда, когда великая и приятная веселость подготовила душу к могучей противоположности.

И он выдержал паузу, пока все не умолкло; затем на лице его появилось выражение задумчивости, и все лица тотчас сделались сочувственно серьезны, и в обращенных на Ноэля взорах можно было прочесть удивление и любопытство. Вот он начал тихим, но отчетливым голосом читать вступительные строки «Розы». В то время как лились ритмические фразы и среди глубокого безмолвия, одна за другой, звучали

чарующие строки, — повсюду слышался восторженный полусшепот: «Как мило! Как красиво! Как великолепно!»

Между тем Паладин, отлучившийся на короткое время и пропустивший начало поэмы, вернулся снова и на этот раз вошел в комнату. Он стоял у дверей, прислонившись дюжей спиной к стене, и неподвижно смотрел на чтеца, словно пораженный столбняком. Когда Ноэль добрался до второй части и этот скорбный припев начал умилять и волновать всех слушателей, то Паладин принялся тереть глаза сначала одной рукой, потом другой. При следующем повторении припева он начал издавать какие-то гнусавые звуки, почти зарыдал и продолжал вытирать глаза рукавами своего камзола. Он стоял у всех на виду, так что Ноэль несколько смутился; к тому же это неблагоприятно отозвалось на слушателях. Как только припев повторился снова, Паладин окончательно потерял власть над собой: он замычал, как теленок, испортил все впечатление и рассмешил многих слушателей. После того дело пошло все хуже и хуже; я никогда не видал такого зрелища. Он вытащил полотенце из-под своего камзола и принялся тереть им себе глаза, оглашая воздух самыми адскими завываниями; он рыдал, стонал, икал, лаял, кашлял, сопел, кричал, визжал, вертелся на одном месте, переминался так и сяк, не переставая издавать звериный рев, размахивая в воздухе полотенцем, выжимая его и снова вытирая глаза. Мыслимо ли было слушать среди такого сумбура? Голос Ноэля был совершенно заглушен, и ему пришлось замолчать, а слушатели так хохотали, что, казалось, вот-вот они надорвут себе животы. Положение было самое унижительное. Но вот я услышал бряцание, которое раздается, когда идет человек в латных доспехах, и как раз рядом со мной загрохотал самый нечеловеческий хохот, какой когда-либо доводилось слышать людям; я взглянул: это был Ла Гир. Он стоял, упершись в бока стальными рукавицами, закинув голову и так широко разинув пасть, что становилось прямо-таки неприлично: видно было все находившееся во рту. Хуже этого могло быть только одно — и свершилось: у дверей я заметил какую-то суету, должностные лица и лакеи начали кланяться и расшаркиваться; очевидно, входило высокопоставленное лицо. Появилась Жанна д'Арк, и все встали! Встали, стараясь сомкнуть непристойные уста и принять важный и приличный вид; но, увидев, что сама Дева хохочет, они возблагодарили Бога за эту милость, и землетрясение возобновилось.

Подобные события наполняют горечью жизнь, и я не чувствую охоты на них останавливаться. Впечатление от поэмы было совершенно утрачено.

ГЛАВА XVI

Это происшествие расстроило меня, и я на следующий день не мог встать с постели. Не будь этого, кому-либо из нас, вероятно, досталось бы то счастье, которое выпало в тот день на долю Паладина; впрочем, легко заметить, что Господь по Своему милосердию посылает удачу тому, кто мало наделен природными дарованиями, — чтобы вознаградить его за недомыслие; между тем как одаренным Он повелевает достигать трудом и талантом то, что достается случайно. Это сказал Ноэль; и по-моему, мысль его была хороша и справедлива.

Паладин, гуляя целый день по городу, чтобы показать себя народу, вызывать всеобщее восхищение и слышать, как люди благоговейно говорят друг другу: «Шш! Посмотри-ка — вот знаменосец Жанны д'Арк!» — вступал в разговоры с каждым встречным и поперечным и узнал от них, что в бастилиях, на другой стороне реки, идут какие-то приготовления. Вечером, продолжая свои поиски, он встретил перебежчика из крепости, называвшейся «Августинцы», который сказал ему, что англичане предполагают, пользуясь покровом ночи, переправить отряд для усиления своих гарнизонов на нашем берегу и что они сильно ликуют, потому что надеются напасть на Дюнуа и уничтожить его армию, когда она будет проходить мимо бастилий. А сделать это легко, так как «ведьмы» там не будет и в ее отсутствие армия окажется такой же, какой она была на протяжении многих лет подряд: войска побросают оружие и обратятся в бегство, лишь только появится английский солдат.

Было десять часов вечера, когда Паладин явился с этим известием и попросил разрешения переговорить с Жанной; я не спал и находился на дежурстве. Горько было мне видеть, какой случай я упустил. Жанна тщательно расспросила обо всем и, убедившись в истинности сообщения, сказала, к великой моей досаде:

— Ты поступил хорошо, благодарю тебя. Быть может, ты предотвратил большое бедствие. Твое имя и твоя заслуга будут упомянуты в официальном докладе.

Он низко поклонился, а когда выпрямился, то в нем было одиннадцать футов росту. Спесиво проходя мимо меня, он украдкой оттянул себе пальцем угол глаза и пробормотал отрывок этого злополучного припева: «Ах, слезы, слезы! О, слезы нежной грусти!.. Мое имя в приказе по армии будет доведено до сведения самого короля. Как это тебе нравится?»

Мне бы хотелось, чтобы Жанна заметила его поведение, но она размышляла о том, что надлежит предпринять. Она послала меня за рыцарем Жаном де Мецом, и через минуту он уже спешил к Ла Гиру с приказом — ему, де Вильяру и Флоранту д'Илье явиться к ней в пять часов утра с отрядом в пятьсот хорошо

вооруженных отборных солдат. В летописях говорится, что назначено было приготовиться к половине пятого, но это неверно: я сам слышал приказ.

Мы выступили в пять часов, минута в минуту, и в седьмом часу встретили в нескольких милях от города авангард нашей армии, шедший всю ночь. Дюнуа обрадовался, так как войско начало робеть и тревожиться по мере приближения к грозным бастилиям. Но настроение сразу изменилось, когда по всем рядам пронеслась волною весть о прибытии Девы, и раздались возгласы ликования. Дюнуа попросил ее остановиться и пропустить мимо себя всю колонну, чтобы солдаты могли удостовериться в том, что известие о ее прибытии правдиво, а не вымыслено с целью ободрить их. Она расположилась со своим штабом сбоку дороги, и отряды, один за другим, воинственно промаршировали мимо нее, крича «ура!». Жанна была в латах, только вместо шлема она носила изящную бархатную шапочку, украшенную пучком вьющихся белых страусовых перьев, ниспадавших по ее краям, — подарок города Орлеана, поднесенный вечером в день ее приезда; в этой шапочке Жанна изображена на портрете, который хранится в городской ратуше Руана. На вид Жанне можно было дать лет пятнадцать. При виде солдат у нее всегда закипала кровь, глаза разгорались, щеки заливались густым румянцем; и тогда всякий видел, что ее красота — красота неземная или что в ее красоте есть нечто неуловимое, что отличает ее от всех знакомых вам человеческих образов и возвышает над ними. Показалась вереница повозок, нагруженных запасами; на одной из телег поверх тюков лежал человек. Он был распростерт на спине, руки его были связаны веревками, ноги — тоже. Жанна знаком подозвала к себе офицера, которому была вверена эта часть обоза; он прискакал и отдал ей честь.

— Кто это лежит связанный? — спросила она.

— Преступник.

— Чем он провинился?

— Он — дезертир.

— Что ждет его?

— Его повесят; во время похода это было неудобно; к тому же незачем было торопиться.

— Расскажите мне о нем.

— Он — хороший солдат; но он попросился в отпуск, чтобы повидать умирающую жену, — так он сказал; ему отказали. Тогда он ушел самовольно. Между тем мы снялись с лагеря, и он догнал нас только вчера вечером.

— Догнал вас? По собственному желанию?

— Да, по собственному желанию.

— И он — дезертир? Боже мой! Приведите его ко мне.

Офицер поехал вперед, развязал солдату ноги и привел его назад, со скрученными руками. Какой это был молодец — добрых семи футов росту, богатырь хоть куда! У него было отважное лицо; а когда офицер снял его шпашак, густая копна нечесаных черных волос рассыпалась по плечам; оружием служил ему огромный топор, заткнутый за широкий кожаный пояс. Он стоял рядом с лошадью Жанны, отчего Жанна казалась еще миниатюрнее; их головы были почти на одном уровне, хотя Жанна сидела на коне. На лице его была печать глубокой грусти; казалось, он всецело отрешился от жизненных помыслов. Жанна сказала:

— Подыми руки.

Солдат до тех пор стоял с поникшей головой. Но, услышав ее кроткий дружелюбный голос, он поднял лицо, на котором вдруг отразилось какое-то сосредоточенное внимание; казалось, что слова ее были для него музыкой, которую он желал бы услышать вновь. Он поднял руки, и Жанна приложила лезвие своего меча к его путам, но офицер произнес с испугом:

— Но, ваша светлость...

— В чем дело? — спросила она.

— Ведь он осужден!

— Да, я знаю. беру на себя ответственность, — и она перерезала веревки. Они впились в тело, и кисти рук солдата были в крови. — Ах, несчастный! — сказала она. — Кровь! Я не люблю крови... — И она невольно отшатнулась, но тотчас оправилась: — Дайте мне что-нибудь, надо перевязать ему раны.

Офицер возразил:

— Ваша светлость! Годится ли это? Позвольте мне поручить это дело другому.

— Другому? De par le Dieu! Но мой Бог! (*фр.*) Вам долго пришлось бы искать, чтобы найти кого-либо, кто сумел бы сделать это лучше меня: ведь я же с детства занималась этим и среди людей, и среди животных. И связать его я сумела бы лучше этого: если бы поручили мне, веревки не врезались бы ему в мясо.

Солдат стоял молча, пока ему делали перевязку, и время от времени украдкой взглядывал на лицо Жанны; он похож был на животное, которое, встретив неожиданную ласку, старается разобраться в совершившемся. Свита совершенно забыла о ликующем войске, которое шло мимо нас, поднимая облака пыли; все вытягивали шеи, чтобы следить за перевязкой, как за зрелищем, бесприммерно занимательным и увлекательным. Нередко я наблюдал подобное явление: люди сосредоточивают все свое внимание на

каком-нибудь простейшем событии, если только оно кажется им из ряда вон выходящим. В Пуатье, например, я видел, как два епископа и около дюжины важных и знаменитых ученых столпились около лавки, чтобы посмотреть на маляра, писавшего вывеску; они стояли, затаив дыхание, не смея шевельнуться; начал накрапывать дождь, но они не сразу заметили; только потом они спохватились; каждый из них глубоко вздохнул и с удивлением посмотрел вокруг, словно недоумевая, как сюда попали остальные и как он сам очутился здесь. Но, повторяю, с людьми часто бывает так. Тут нечего вдаваться в рассуждения: человеческую натуру не переделаешь.

— Ну вот, — сказала наконец Жанна, довольная результатом своего труда, — никто другой не смог бы сделать лучше; пожалуй, даже не сделал бы и так, как я. Расскажи мне, что ты сделал? Расскажи обо всем.

Великан сказал:

— Вот как было дело, ангел мой: сначала умерла моя мать, затем — трое малых ребят, один за другим; и все в каких-нибудь два года. С голоду. Другим тоже приходилось круто, на все воля Божья. Умирали они у меня на глазах: Господь сподобил меня, и я похоронил их. А когда настала очередь и моей бедной жены, то я просил отпустить меня к ней, ведь она была мне так дорога! Кроме нее, у меня не было никого на свете, на коленях молил. Но меня не отпустили. Как же оставить ее, умиравшую, не имевшую друзей, одинокую? Как же я мог покинуть ее в час смерти, отнять у нее надежду увидеть меня еще раз? Неужели она не пришла бы, зная, что я умираю, — не пришла бы, зная, что ей стоит только пойти и что за это она должна будет заплатить только жизнью? О, она бы пришла — она пришла бы сквозь огонь! И я пошел. Я свиделся с ней. Она умерла у меня на руках. Я похоронил ее. А войско двинулось в путь. Трудно было догнать, однако ноги у меня длинные, а день велик: вчера вечером я догнал их.

Жанна произнесла задумчиво, как бы высказывая свои мысли:

— Рассказ похож на правду. А если он правдив, то беда невелика — поступиться законом на сей только раз; с этим каждый согласится. Быть может, дело было не так, но если это действительно правда... — Вдруг она повернулась к солдату и сказала: — Я хочу посмотреть тебе в глаза; взгляни на меня!

Глаза их встретились, и Жанна сказала офицеру:

— Этот человек помилован. Желая вам всего хорошего. Можете идти.

Затем она обратилась к солдату:

— Знал ли ты, что, догоняя войско, ты идешь на верную смерть?

— Да, — ответил он, — я знал.

— Тогда почему же ты вернулся? Он ответил простодушно:

— Именно потому, что меня ожидала смерть. Кроме жены, у меня не было никого на свете. Мне некого было больше любить.

— Как некого, а Францию? У сынов Франции всегда есть мать; они никогда не могут сказать, что им некого любить. Ты будешь жить — и ты будешь служить Франции...

— Я буду служить тебе!

— Ты будешь сражаться за Францию...

— Сражаться за тебя!

— Ты будешь солдатом Франции...

— Я буду твоим солдатом!

— Франции отдашь ты все свое сердце...

— Я отдам все свое сердце тебе; и свою душу, если она есть у меня; и всю свою силу, которой у меня так много; потому что я был мертв, а теперь воскрес; у меня не было цели жизни, а теперь я нашел ее! Для меня ты — Франция! Ты — моя Франция; другой мне не нужно.

Жанна улыбнулась; она была обрадована и растрогана этим проявлением прямодушного восторга — восторга столь глубокого, что его можно было назвать торжественным. И она сказала:

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Как тебя зовут? Тот ответил с наивной простотой:

— Меня прозвали Карликом, но, должно быть, только в шутку.

Жанна рассмеялась.

— Действительно, похоже на шутку, — сказала она. — Для чего у тебя этот огромный топор?

Солдат ответил с прежней степенностью, которая была в нем так естественна, что, казалось, дана была ему от рождения:

— Для того, чтобы внушать встречным уважение к Франции.

Жанна снова засмеялась и сказала:

— И многих ты уже проучил?

— О да, многих.

— А потом ученики твои были послушны?

— Да, мой топор успокаивал их: они становились совершенно миролюбивы и умолкали.

— Еще бы! Хочешь служить при мне, быть вестовым, часовым или кем-нибудь в этом роде?

— Если б только я мог!

— Да будет так. Ты получишь надлежащее вооружение и будешь продолжать свою проповедь. Возьми одну из тех запасных лошадей и поезжай вслед за свитой, когда мы двинемся в путь.

Вот при каких обстоятельствах мы встретились с Карликом; и он оказался очень хорошим парнем. Жанна остановила на нем свой выбор, доверившись первому взгляду, и она не ошиблась. Не найти было человека более преданного, чем Карлик, и он превращался в сущего дьявола, когда начинал работать своим топором. Он был так высок, что Паладин рядом с ним казался человеком среднего роста. Он любил людей, и его тоже любили. Нас, молодых, он полюбил сразу же, полюбил обоих рыцарей, полюбил чуть не всех, с кем повстречался; но о мизинце Жанны он заботился гораздо больше, чем о всем остальном мире.

Да, вот как нашли мы его: распростертого на телеге, везомого на смерть, и некому было обратиться к нему с добрым словом. Бедняга! То была ценная находка. Рыцари обращались с ним почти как с равным — даю честное слово; вот он какой был человек. По временам они называли его Бастилией, а иногда — Адским Огнем, за его горячее и порывистое боевое усердие; и вы можете быть уверены, что они не стали бы наделять его шутивными прозвищами, если б не любили его.

Для Карлика Жанна была сама Франция — воплощение народного духа; он навсегда остался при этой мысли, которая зародилась в нем с первой же встречи: и — Бог свидетель! — эта мысль была высоко правдива. Скромное око увидело истину, которая ускользала от многих. По-моему, это замечательно. А между тем в конце-то концов так бывает с каждым народом. Когда народ любит нечто великое и благородное, то он старается олицетворить свою любовь — он хочет созерцать ее воочию. Например, свободу. Народ не удовлетворяется туманной, отвлеченной идеей свободы, но воздвигает ее дивно красивую статую; и тогда его заветная мысль получает телесные формы, так что он может созерцать ее и боготворить. Так было и с Карликом: в его глазах Жанна была воплощением нашего отечества; живой и прекрасный образ олицетворял нашу страну. Когда она стояла впереди отряда, все видели Жанну д'Арк, а он видел Францию.

Иногда, говоря о ней, он так и называл ее. Видите, как упорна была его мысль и как он верил в нее. Так принято было называть наших королей, но я не знаю никого, кроме нее, кто имел бы право носить это великое имя.

Когда войска прошли мимо нас, Жанна вернулась к передовому отряду и поехала во главе колонны. Вот мы приблизились к угрюмым бастилиям; мы могли разглядеть людей, стоявших подле пушек и готовых послать смерть в наши ряды; и тут мною овладела такая слабость, я почувствовал такой упадок сил, что очертания предметов как-то расплылись и все завертелось в моих глазах; остальная молодежь, вероятно, тоже оробела, не исключая и Паладина, хотя этого я не могу сказать наверняка. Паладин ехал впереди, а мне приходилось все время глядеть в сторону бастилий, потому что все-таки легче было преодолевать страх, когда причина страха была перед глазами.

Но Жанна не проявляла ни малейшей тревоги, она как бы находилась в раю. Она сидела непоколебимо, и я видел, что ее настроение совершенно непохоже на мое. Страшнее всего была тишина: не было слышно ничего, кроме скрипения седел, размеренного топота шагов и фырканья лошадей, которым попадала в ноздри удушливая пыль, целыми облаками клубившаяся из-под копыт. У меня тоже начало щекотать в носу, но я предпочел бы пройти мимо не чихая; я даже готов был бы подвергнуться жесточайшим мучениям, лишь бы только не привлечь к себе внимания.

Моя должность не давала мне права предлагать советы, иначе я высказал бы мнение, что чем больше прибавим мы хода, тем скорее минем опасное место. Мне казалось, что при таких обстоятельствах вовсе не следовало бы устраивать прогулку. Как раз когда мы скользили среди гнетущей тишины мимо большой пушки, глядевшей на нас из-под выдвинутой решетки и отделенной от меня только рвом, — как раз в эту минуту в крепости раздался пронзительный крик осла, и я свалился с седла. Сьер Бертран подхватил меня, и хорошо сделал, потому что, упав я на землю, мне было бы невозможно подняться без посторонней помощи: на мне были тяжелые латы. Английские часовые, стоявшие на крепостной стене, грубо расхохотались; они забыли, что каждому приходится когда-то начинать и что было время, когда они сами трусили бы не меньше меня, услышав ослиный крик.

Англичане ни разу не окликнули нас и не сделали ни единого выстрела. Впоследствии ходили слухи, что когда их солдаты увидели Деву, ехавшую во главе войска, и заметили, как она прекрасна, то их отвага частью поубавилась, а частью исчезла вовсе, потому что они были убеждены, что она не простая смертная, а настоящее исчадие Сатаны; офицеры в свою очередь были столь благоразумны, что не принуждали солдат сражаться. Говорили также, что и некоторых офицеров охватил тот же суеверный страх. Как бы то ни было, но они ни разу не попытались воспрепятствовать нам, и мы благополучно миновали все их грозные укрепления. Во время пути я воскресил в своей памяти все забытые молитвы; в конце концов, я не только не потерял ничего, но и кое-что приобрел.

Летописцы сообщают, что именно во время этого перехода Дюнуа сказал Жанне, что англичане ждут подкреплений под предводительством сэра Джона Фастольфа; и Жанна будто бы ответила, обратившись к нему:

— Бастард, Бастард, именем Господа повелеваю вам: известите меня о его прибытии сейчас же, как только услышите; ибо если он пройдет без моего ведома, то вы лишитесь своей головы.

Быть может, дело было и так; я не опровергаю, но сам я этих слов не слышал. Если она действительно сказала это, то, вероятно, она имела в виду отнять у него командование — разжаловать его. Слишком несвойственно ей было грозить соратнику смертью. Она не доверяла своим полководцам и имела на то причины: ведь она настаивала на необходимости теснить и атаковать врага, тогда как, по их мнению, надо было выжидать и томить англичан измором. А так как они, опытные старые солдаты, не верили в справедливость ее советов, то вполне естественно было их желание действовать по-своему и стараться обойти предписания Жанны.

Но я слышал нечто такое, о чем летописцы не упоминают и не знают. Я слышал, как Жанна сказала, что ныне южный берег является наиболее выгодным местом военных действий, так как гарнизоны там ослабели — ведь часть сил перешла на наш берег для усиления близлежащих бастилий; а потому она намерена переправиться туда и напасть на крепости, защищающие мост, чтобы восстановить сообщение с Францией и тем самым положить конец осаде. Наши же военачальники начали тотчас же втихомолку чинить препятствия; но они только задержали ее, да и то лишь на четыре дня.

У городских ворот войско было встречено всем населением Орлеана; улицы были разукрашены флагами; ликующая толпа проводила солдат до мест их стоянки. Но убаюкивать их было незачем: они тотчас свалились и заснули как убитые, потому что Дюнуа во время пути гнал их немилосердно; и на двадцать четыре часа воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь храпом.

ГЛАВА XVII

Когда мы, молодежь, вернулись домой, то в столовой нас уже ожидал завтрак, и хозяева в знак почета сели с нами за стол. Милый старик, казначей, а в сущности все трое сгорали от любопытства узнать о наших приключениях; это было приятно для нашего самолюбия. Никто не просил Паладина начать рассказ, но он начал, потому что его военная должность, отмеченная особым отличием, ставила его выше всех членов свиты — за исключением старого д'Олона, который обедал отдельно от нас. Паладин ни во что не ставил ни дворянство рыцарей, ни мое и начинал беседу, лишь только ему приходила охота, то есть всегда, ибо он был болтлив от рождения.

— Слава богу, — сказал он, — войско оказалось в превосходном состоянии. Кажется, еще ни разу я не видел лучшего стада животных.

— Животных? — спросила Катерина.

— Сейчас объясню, что он имеет в виду, — вмешался Ноэль. — Он...

— Будь добр, не трудись ничего объяснять за меня, — надменно сказал Паладин. — Я имею основание думать...

— Вот всегда он таков, — подхватил Ноэль, — всякий раз, когда он думает, что у него есть основание думать, он думает, что он действительно думает, но он ошибается. Он не видал войска. Я наблюдал за ним и говорю, что он ничего не видел. Он страдал от своего застарелого недуга.

— Какой же у него застарелый недуг? — спросила Катерина.

— Благоразумие, — подсказал я, желая отличиться.

Но мое замечание было неудачно. Паладин тотчас возразил:

— Пожалуй, тебе не очень-то пристало судить о благоразумии других — ведь ты валишься с лошади, заслышав ослиный рев.

Все рассмеялись, и мне стало стыдно за мою необдуманную остроту. Я сказал:

— Ты не прав, говоря, будто я свалился из-за ослиного крика. Это — от волнения, от самого обыкновенного волнения.

— Ну и отлично, назови хоть так, я возражать не буду. А вы как называли бы это, сьер Бертран?

— Знаете ли... что бы это ни было, по моему мнению, это простительно. Вы все учились, как надо держать себя, если дело дойдет до рукопашной, и тут вам не пришлось бы стыдиться. Но медленно идти под угрозой смерти, не прибегая к оружию, не слыша шума или музыки, не видя никакого движения, — тяжело до крайности. Будь я на вашем месте, де Конт, я назвал бы это волнение своим настоящим именем; в этом нет ничего постыдного.

Его прямодушные и умные слова поразили меня, и я почувствовал признательность за указанный мне путь. Я вступил на него и сказал:

— Это был страх... благодарю вас за честную мысль!

— Вот это хорошо и благородно, — заметил старый казначей. — Вы поступили молодцом.

Я приободрился. А когда и Катерина присоединилась к этому мнению, сказав: «Да, я тоже так думаю», то я был уже рад только что пережитому затруднению.

— Мы все ехали вместе, — сказал сьер Жан де Мец, — когда закричал осел, и перед тем гнетущая тишина царила кругом нас. Я думаю, что каждый молодой воин испытывал такое же волнение, хотя бы в слабой степени.

Он посмотрел кругом, и на его добром лице светилась вопросительная улыбка. И все, кому он смотрел в глаза, утвердительно кивали головой. Кивнул и Паладин. Это изумило всех и спасло честь знаменосца. Он поступил умно: никто не ожидал, что он может сказать столь непривычную для него правду. Вероятно, он желал произвести на хозяев благоприятное впечатление. Старый казначей возобновил беседу:

— Мне кажется, что для того, чтобы идти мимо крепостей при столь гнетущей обстановке, нужна такая же выдержка, как для того, чтобы решиться пойти в темноту, где бродят привидения. Что скажет на это знаменосец?

— Не приходилось испытывать, сударь. Частенько я подумываю, что недурно бы мне увидеть хоть одно привидение, если только...

— Хотите? — воскликнула молодая девушка. — У нас водятся призраки. Не желаете ли с ними познакомиться? Согласны?

Она была так настойчива и мила, что Паладин недолго думая изъявил свое согласие. И так как ни у кого из нас, остальных, не хватило мужества показать свой страх, то мы, один за другим, тоже вызвались на этот подвиг; насколько смелы были наши слова, настолько же сжимались тревогой наши сердца. Все мы присоединились к их компании. Девушка радостно захлопала в ладоши. А родители тоже были довольны и сказали, что привидения их дома были бичом и несчастьем для них и для их предков в течение нескольких поколений и что до сих пор не было ни одного смельчака, который вызвался бы встретиться с ними и разведать причину их горя; теперь же появляется надежда, что бедные призраки найдут исцеление и успокоятся навеки.

ГЛАВА XVIII

Дело было примерно в полдень; я беседовал с мадам Буше; все в городе было тихо и спокойно. Вдруг в комнату вбежала Катерина Буше, сильно взволнованная, и вскричала:

— Спешите, сударь, спешите! Дева дремала в кресле, у меня в комнате, но вскочила внезапно и закричала: «Льется французская кровь!.. Оружие, где мое оружие!» Ее великан стоял на часах, у дверей; он призвал д'Олона, и тот начал ее вооружать. Между тем я и великан побежали известить свиту. Бегите и оставайтесь при ней; и если действительно происходит битва, то не пускайте ее туда, не позволяйте ей подвергать себя опасности, в этом ведь нет никакой надобности: лишь бы только солдаты знали, что она вблизи и что она смотрит на них — больше ничего не нужно! Держите ее в стороне от сражающихся — непременно позаботьтесь об этом!

Я побежал, бросив на ходу саркастический ответ (ибо я всегда питал склонность к сарказму и, говорят, проявлял в этой области недюжинные способности):

— О, разумеется, ничего нет легче — уж я об этом позабочусь!

В отдельном крыле дома я встретил Жанну: вооруженная с ног до головы, она спешила к выходу. Она сказала:

— Ах, льется французская кровь, а никто и не сказал мне.

— Право же, я не знал этого, — возразил я. — Кликов боевых не слышно, все безмолвствует.

— Вдоволь боевых кликов услышишь ты сейчас, — сказала она и ушла.

Она сказала правду. Прежде чем я успел бы сосчитать до пяти, тишина нарушилась топотом приближающейся толпы пеших и конных людей; раздалась хриплые невнятные приказы. И вдруг издалека донеслось гулкое бум! Бум-бум! Бум! — стреляли из пушек. И в ту же минуту толпа подоспела к дому и заревела, как ураган. Наши рыцари и вся остальная свита прибежали в полном вооружении, но не успели приготовить лошадей, и мы кинулись вслед за Жанной; Паладин несся впереди всех, держа знамя. Колыхавшаяся, как море, толпа состояла частью из горожан, частью из солдат, и никто ими не предводительствовал. Как только появилась Жанна, грянуло «ура!». Она крикнула:

— Коня! Коня!

Мгновенно ей предоставили несколько лошадей. Она вскочила в седло, и сотни голосов закричали:

— Дорогу!.. Дайте дорогу Орлеанской Деве!

В первый раз было произнесено это бессмертное имя, и благодаря Господу я был тут же и все это слышал! Толпа раздалась, подобно водам Чермного моря, и Жанна пролетела через эту просеку, как птица,

крича: «Вперед, французские сердца, за мной!» И мы неслись вслед за ней, оседлав предложенных лошадей; священное знамя развевалось над нами, и толпа тотчас смыкалась позади нас.

Это было совершенно непохоже на тоскливое шествие мимо мрачных бастий. Теперь мы чувствовали себя отлично и были охвачены восторгом. Внезапная тревога объяснилась следующим: город и небольшой гарнизон, столь долго пребывавшие в страхе и отчаянии, безмерно обрадовались прибытию Жанны и не могли дольше сдерживать своего нетерпеливого желания сразиться с врагом; и вот несколько сот солдат и горожан, не дожидаясь приказаний, покорились внезапному порыву и сделали вылазку через Бургундские ворота. Они напали на самую страшную из крепостей лорда Тальбота — на Сен-Лу, но тут им пришлось плохо. Известие об этом разнеслось по всему городу и собрало новую толпу.

Выехав из ворот, мы встретили отряд, везший раненых с поля боя. Это зрелище взволновало Жанну, и она промолвила:

— Ах, французская кровь! Сколь страшен этот вид — у меня волосы шевелятся на голове.

Очень быстро мы добрались до места битвы и моментально очутились среди жаркой схватки. В первый раз Жанна, как и мы, увидела настоящую битву.

Сражение происходило на открытом месте, потому что гарнизон крепости Сен-Лу самоуверенно предпринял вылазку: англичане привыкли побеждать, если нет поблизости «ведьм». На помощь к их вылазке подоспело подкрепление из парижской бастии, и мы приблизились как раз в то время, когда французов лупили и теснили назад. Но лишь только Жанна со своим знаменем врезалась в толпу сражающихся, крича: «Вперед, друзья, за мной!» — наступила перемена. Французы повернулись лицом к врагу и ринулись вперед, рассыпая удары направо и налево. Англичане в свою очередь тоже не оставались в долгу. Страшная картина!

На поле сражения Карлик не исправлял определенной должности, то есть он не получил приказа занимать то или другое место; а потому он сам выбрал себе занятие: он шел впереди Жанны и расчищал ей дорогу. Страшно было видеть, как стальные шлемы разлетаются в куски под ударами его грозного топора. Он называл это «щелкать орехи»: сравнение вполне удачное. Дорогу он прокладывал широкую и устилал ее разбитым железом и мертвыми телами. Жанна и мы продвигались по этой дороге столь быстро, что обогнали наших воинов и были теперь окружены со всех сторон англичанами. Рыцари скомандовали нам сплотиться кольцом вокруг Жанны, обратившись лицом к неприятелю. Мы тотчас повиновались. Тут-то началась настоящая работа. Паладина теперь нельзя было не уважать. Подчиненный облагораживающему и преображающему влиянию Жанны, он забыл о своей врожденной «осторожности», забыл о недоверии к себе перед лицом опасности, забыл, что такое страх; и ни в одной из своих воображаемых битв он не сыпал таких могучих ударов, как теперь; и всякий раз, как опускался его меч, одним врагом становилось меньше.

Лишь несколько минут провели мы в этой жаркой схватке: наши воины ликующе прорвались сквозь вражескую цепь и окружили нас, тогда как англичане начали пробивать себе путь к отступлению. Но они доблестно сражались: шаг за шагом теснили мы их к крепости, и они все время были обращены к нам лицом; а с крепостных стен в нас летели тучи стрел, болтов из арбалетов и каменных ядер.

Главная часть неприятельских сил успела благополучно укрыться за стенами, покинув нас посреди груд убитых и раненых французов и англичан: зрелище потрясающее, ужасное зрелище для нас, для молодых. Ведь наши маленькие февральские стычки происходили по ночам; кровь, раны, мертвые лица — все это было сокрыто благодетельным мраком. Теперь же мы впервые увидели эти подробности во всей их страшной наготе.

Между тем из города прибыл Дюнуа, пронесся через поле сражения и галопом подскочил к Жанне на своем взмыленном коне; он еще издали отдал ей честь и начал отменно учтиво поздравлять ее. Мановением руки он указал на далекие стены города, где весело развевались по ветру флаги, и сказал, что там собралось чуть не все население, наблюдая за ее подвигами и радуясь ее удаче. Напоследок он добавил, что теперь ей и всему войску готовится торжественная встреча.

— Теперь? Едва ли теперь, Бастард. Не время еще!

— Почему не время? Разве что-нибудь осталось недоделанным?

— Что-нибудь? Бастард, ведь мы только начали! Мы возьмем эту крепость.

— Ах, вы шутите! Мы не можем взять этих укреплений; позвольте мне просить вас отказаться от этой попытки: она слишком отчаянна. Разрешите мне приказать войску отступить.

Сердце Жанны было преисполнено радости и восторгов войны, и ей досадно было слушать такие речи. Она вскричала:

— Бастард, Бастард, всегда ли вы будете играть на руку англичанам? Воистину говорю вам: мы не вернемся назад, пока не завладеем этой крепостью. Мы возьмем ее приступом. Начинайте! Отдайте приказ трубачам!

— Но, ваша светлость...

— Не теряйте времени, сударь! Пусть трубят атаку! Раздался военный призыв, и грянул в ответе боевой клич

ратников, и ринулось войско на эту страшную твердыню, очертания которой терялись в дыму ее собственных пушек, извергавших громы и молнии.

Не один раз приходилось нам подаваться назад, но Жанна была и здесь, и там, и повсюду, ободряя солдат и призывая их к дружной работе. В течение трех часов прилив чередовался с отливом. Но наконец подоспел Ла Гир, предпринял последнюю и успешную атаку — и бастилия Сен-Лу была в наших руках. Мы опустошили ее, забрав все припасы и всю артиллерию, а затем разрушили.

Наша доблестная рать на радостях кричала до хрипоты, и когда начали звать предводительницу, потому что войско желало воздать ей почести за победу, — то найти ее было нелегко; мы наконец отыскали ее: она сидела одна, среди груды тел, и плакала, закрыв лицо руками. Ведь она, как вы знаете, была молода, и ее геройское сердце было в то же время сердцем молодой девушки; в этом сердце была обитель сострадания и нежности. Жанна думала о матерях этих мертвых друзей и врагов.

В числе пленников было несколько священников — Жанна взяла их под свое покровительство и спасла им жизнь. Говорили, что, по всей вероятности, это переодетые воины; но она сказала:

— Кто может сказать: да или нет? Они носят Божественное облачение, и если хоть один надел его по праву, то, конечно, лучше простить всех виновных, чем обагрить свои руки кровью одного невинного. Я помещу их в своем жилище, накормлю их и отпущу спокойно на все четыре стороны.

Мы возвращались в город, выставляя напоказ пленников и захваченные нами пушки и развернув знамена. За семь долгих месяцев то были первые военные трофеи, которые довелось увидеть осажденным; то было первое торжество французского оружия. И конечно, горожане оценили это событие. Колокола звонили вовсю. Теперь Жанна была любимицей всего населения, и мы едва могли продвигаться по улицам: так велик был напор толпы, стремившейся взглянуть на нее. Ее новое имя было у всех на устах. О святой Деве из Вокулера забыли: город заявил свои притязания, и теперь она была Орлеанской Девой. Я испытываю блаженство, вспоминая, что услышал это имя, когда оно было произнесено впервые. Между первым провозглашением этого имени и последним земным упоминанием о нем... о, подумайте, сколько тленных веков будут отделять эти два мгновения!

Семейство Буше встретило Жанну так радостно, как будто она была им родная и спаслась от смерти каким-то чудом. Они пожурили ее за то, что она отправилась сражаться и подвергла себя столь великой и продолжительной опасности. Они не могли поверить, что она сама хотела расширить свое военное поприще, и спрашивали, действительно ли она стремилась окунуться в водоворот сражения или же попала туда случайно, увлеченная течением войск? Они просили ее быть в следующий раз осторожнее. Совет, пожалуй, был хорош, но он упал на невосприимчивую почву.

ГЛАВА XIX

Утомленные долгой битвой, мы проспали весь остальной день и даже часть ночи. Встали мы со свежими силами и поужинали. Я, признаться, вовсе не был расположен возобновлять разговор о привидениях; остальные, по-видимому, держались того же мнения, потому что они весьма прилежно беседовали о подробностях сражения и ни словечка не говорили о призраках. И действительно, приятны и увлекательны были рассказы Паладина о том, как он нагромоздил мертвецов: то он уложил пятнадцать зараз, то восемнадцать, то тридцать пять. Однако это могло лишь отсрочить беду: всему есть предел. Не вечно же он будет рассказывать. Вот он возьмет бастилию приступом, истребит весь гарнизон, и придется-таки ему остановиться, если только Катерина не подзадорит его и не попросит начать все сначала, как мы надеялись на этот раз. Но она была настроена иначе. Как только воцарилась пауза, она воспользовалась благоприятным случаем и затронула нежеланный вопрос; и мы должны были покориться, стараясь скрыть свою тревогу.

В одиннадцать часов вечера она и ее родители проводили нас в комнату с привидениями; мы захватили с собой свечи и факелы, чтобы вставить их в стенные шандалы. Дом был большой, с очень толстыми стенами, и эта комната находилась в самой отдаленной части здания, которая пустовала бог знает сколько лет, потому что пользовалась дурной славой.

Комната была просторна, вроде залы; в ней стоял прочный, хорошо сохранившийся дубовый стол; но кресла были изъедены червоточиной, а обивка стен подгнила и выцвела от действия времени. Пыльная паутина, висевшая по углам и на карнизах потолка, имела такой вид, как будто зала пустует уже целое столетие.

Катерина сказала:

— Предание гласит, что этих призраков никто не видел: их только слышали. Очевидно, комната эта была в прежние времена обширнее, чем теперь, и стена вон в том конце была когда-то выстроена, чтобы отгородить там узкую комнатку. Эта тесная комната нигде не сообщается с внешним миром, да если бы и сообщалась, все равно она представляет собой совершенную темницу: ни света, ни воздуха. Ждите здесь и примечайте, что произойдет.

Вот и все. На этом она и ее родители покинули нас. Когда замолкли их шаги в пустых каменных коридорах, то воцарилась жуткая и торжественная тишина, которая показалась мне страшнее немого шествия мимо бастилий. Мы смотрели друг на друга с недоумением, и ясно было, что каждому из нас было как-то не по себе. Чем дольше сидели мы, тем мертвеннее и безмолвнее становилась эта тишина; а когда кругом дома начал завывать ветер, то я почувствовал себя больным и несчастным и пожалел, что не осмелился на сей раз показать себя трусом, ибо поистине нечего стыдиться своего страха перед призраками: ведь в их руках смертные совершенно беспомощны. Вдобавок привидения эти были невидимы, что усугубляло беду, как мне казалось. Быть может, они находились с нами в одной комнате — как могли мы знать? Я ощущал какие-то таинственные прикосновения к своим волосам и плечам; я вздрагивал и ежился и не стыдился показывать свой страх, ибо я видел, что и остальные делают то же самое, и знал, что и они ощущают те же легкие прикосновения. Время тянулось так тоскливо и медленно, что, казалось, проходили целые века, и понемногу все лица покрылись восковой бледностью; я сидел словно среди мертвецов.

Наконец издалека донеслось зловещее и медленное: дон!.. дон!.. дон!.. — где-то пробило полночь. Замер последний удар колокола, и снова воцарилась гнетущая тишина, и, как прежде, смотрел я на восковые лица, и опять словно колыхание воздуха коснулось моих плеч и волос.

Так прошла одна минута... две... три... И вдруг мы услышали глубокий протяжный стон. Все вскочили. Колени наши подгибались. Стон доносился из тесной темницы. Наступило короткое безмолвие. Вскоре мы услышали глухие рыдания, прерываемые жалобными восклицаниями. Потом присоединился второй голос, он как бы старался утешить первый. И оба голоса продолжали стонать и тихо рыдать... О, сколько сострадания, и скорби, и отчаяния было в этих звуках! Наши сердца сжимались от тоски.

Но голоса эти были столь естественны, человечны и трогательны, что мы сразу забыли о привидениях и сьер Жан де Мец сказал:

— Давайте разрушим эту стену и освободим несчастных пленников! Поди-ка сюда с твоим топором!

Карлик бросился вперед, размахивая огромной секирой, остальные тоже подбежали, схватив факелы. Бум! трах! трах! трах! Разлетелись в куски старые кирпичи, и образовался пролом, через который впору было пройти хоть быку. Мы нырнули туда и высоко подняли факелы.

Ничего, кроме пустоты! На полу валялся ржавый меч и рядом — полуистлевший веер.

Теперь вы знаете все, что знаю я. Возьмите сии трогательные останки и сотките вокруг них, как умеете, таинственную повесть о давно исчезнувших узниках.

ГЛАВА XX

На следующий день Жанна хотела опять сразиться с врагом, но это был праздник Вознесения, и святой совет полководцев-разбойников оказался слишком благочестив, чтобы осквернить этот день кровопролитием. Зато втихомолку они осквернили его кознями — по этой части они ведь были настоящие мастера. Они решили совершить единственное, что можно было осуществить теперь, при изменившихся обстоятельствах дела: притворно напасть на самую важную из находившихся на орлеанском берегу бастилий, а затем, если англичане присылкой подкреплений ослабят гарнизоны гораздо более важных крепостей по ту сторону реки, — переправиться всем войском и завладеть теми крепостями. Таким образом они отвоевали бы мост и открыли бы свободный путь в Солонью — область, находившуюся в руках французов. Они сговорились утаить от Жанны последнюю часть своего плана.

Жанна вошла к ним и застала их врасплох. Она спросила, что они затевают и к какому решению пришли. Они сказали, что решили следующим утром сделать нападение на наиболее важные английские бастилии, находящиеся на орлеанском берегу. Тут говоривший от их лица замолчал. Жанна сказала:

— Что же? Продолжайте.

— Больше ничего. Я все сказал.

— Неужели я этому поверю? Или же я должна поверить, что вы все сошли с ума? — Она повернулась к Дюнуа: — Бастард, у вас есть здравый смысл. Объясните мне: если мы произведем эту атаку и возьмем бастилию, то какую пользу это принесет нам — не останется ли все по-старому?

Бастард не знал, что ответить; он заговорил о чем-то, сбивчиво и уклоняясь от вопроса. Жанна прервала его:

— Достаточно, добрый Бастард, вы ответили. Если Бастард не может указать, какую выгоду мы получим, взяв бастилию и остановившись на этом, то едва ли кто-нибудь другой из вас способен помочь ему. Вы понапрасну тратите время, придумывая планы, которые ни к чему не ведут, и устраивая проволочки, которые опасны для нас. Что вы скрываете от меня? Бастард, я уверена, что этот совет пришел к какому-то общему решению; не входя в подробности, скажите мне, в чем дело?

— Как вначале, семь месяцев назад, так и теперь: надо запастись провиантом для долговременной осады и переупрямить англичан.

— Господи боже мой! Как будто мало вам семи месяцев: вы хотите запастись на целый год. Оставьте-ка эти трусливые затеи — англичане уйдут отсюда через три дня!

Послышались восклицания:

— Ваше сиятельство, будьте осторожны!

— Соблюдать осторожность и — голодать? Это вы называете войной? Вот что скажу вам, коли вы еще не знаете этого: новые обстоятельства совершенно изменили положение вещей. Истинный центр атаки переместился: он теперь по ту сторону реки. Необходимо взять укрепления, стоящие у моста. Англичане знают, что если мы не трусы и не дураки, то мы попытаемся осуществить это. Они радуются вашему благочестию, побудившему вас пропустить нынешний день. Нынче ночью они усилят крепости на мосту, переведя туда часть сил с нашего берега: они знают, чего надо ждать завтра. Вы добились только того, что потеряли целый день и что задача наша сделалась труднее; мы во что бы то ни стало должны переправиться и взять мостовые бастилии. Бастард, скажите мне правду: знает ли этот совет, что для нас нет иного пути, кроме названного мной?

Дюнуа признался, что совет считает этот путь наиболее желательным, но трудноисполнимым. И он постарался оправдать совет, заметив, что поскольку не было разумных оснований надеяться на что-либо иное, кроме продления осады и изнурения англичан измором, то естественно было со стороны всех военачальников побаиваться воинственных замыслов Жанны.

— Видите ли, — говорил он, — мы уверены, что выжидательный образ действий является наилучшим, а между тем вы желали бы всего добиться натиском.

— Желала бы — и желаю! Извольте получить мои распоряжения: завтра, на рассвете, мы двинемся к крепостям на южном берегу.

— И возьмем их приступом?

— Да, возьмем их приступом.

В этот момент вошел, побрякивая шпорами, Ла Гир и услышал последние слова.

— Клянусь моим *baton Жезл(фр.)*. ! — воскликнул он. — Вот это песня на верный лад, и отличные слова: мы возьмем их приступом!

Он размашисто отдал честь, подошел к Жанне и пожал ей руку. Кто-то из членов совета пробормотал:

— Значит, мы должны будем начать с бастилии Сен-Жан, а тем временем англичане успеют...

Жанна повернулась в сторону говорившего и возразила:

— Не беспокойтесь о бастилии Сен-Жан. Англичане будут настолько догадливы, что освободят ее и отступят к бастилиям на мосту, лишь только заметят наше приближение. — И она добавила с оттенком сарказма: — Даже военному совету надлежало бы догадаться и поступить так же точно.

После того она попрощалась, Ла Гир, обратившись к собранию, обрисовал Жанну в общих чертах:

— Она — ребенок, и больше вы ничего в ней не видите. Оставайтесь при этом предубеждении, если не можете иначе; но вы ведь заметили, что это дитя понимает сложную игру войны не хуже любого из вас; и если вы желаете узнать мое мнение, не трудясь о нем спрашивать, то вот оно, без всяких прикрас и приправ: по-моему, она, ей-богу, самого опытного среди вас сумела бы научить, как надо вести эту игру!

Жанна сказала правду: догадливые англичане увидели, что в стратегии французов произошел переворот; что стратегии хитростей и переливания из пустого в порожнее настал конец; что теперь начнут сыпать удары те, которые до сих пор только получали их. А потому они поспешили приспособиться к новому положению вещей и перевели значительные отряды войск из бастилий северного берега в бастилию южного.

Город узнал великую новость: как в былые годы нашей истории, Франция, после стольких лет унижения, снова перейдет к наступательным действиям; Франция, привыкшая отступать, снова пойдет вперед; Франция, научившаяся пресмыкаться, повернется лицом к врагу и первой нанесет удар. Народный восторг был безграничен. Городские стены почернели: там собралась толпа людей, желавших посмотреть на утреннее выступление войска, столь чудесно преображенного — обращенного фронтом к английскому лагерю, а не тылом. Представьте же себе, как велико было возбуждение и как шумно выражался народный восторг, когда во главе армии появилась Жанна и знамя развевалось над ее головой.

Наша огромная армия переправилась через реку: задача скучная и долгая, потому что лодки были малы и немногочисленны. Мы беспрепятственно высадились на острове Сент-Эньян. При помощи нескольких лодок мы перебросили через узкий пролив мост к южному берегу и в полном порядке, не встречая никаких затруднений, возобновили путь. Правда, там была крепость — Сен-Жан; но англичане покинули ее и разрушили, отступив вниз к крепостям у моста, лишь только наши первые лодки отчалили от орлеанского берега. Случилось именно то, что предсказывала Жанна, когда оспаривала мнение совета.

Мы направились вдоль берега по течению, и Жанна водрузила свое знамя против бастилии Августинцы — первой из грозных крепостей, охранявших конец моста. Трубы возвестили наступление, и мы провели подряд две доблестные атаки; но мы пока были недостаточно сильны: главная часть войска еще не подспела. Прежде чем мы успели приготовиться к третьей атаке, показался гарнизон из Сен-Привэ,

спешивший на подмогу к большой бастилии. Они прибежали, а Августинцы сделали вылазку; оба отряда соединились, обратили нашу маленькую рать в бегство и погнались за нами, рубя нас и крича нам вслед оскорбительные и бранные слова.

Жанна всеми силами старалась ободрить своих солдат, но они растерялись: на минуту в их сердцах воскрес укоренившийся страх перед англичанами. Жанна загорелась гневом; остановившись, она приказала трубить наступление; затем, круто повернув коня, она крикнула:

— Если среди вас найдется хоть дюжина мужчин, то этого достаточно — пусть следуют за мной!

И она поскакала, а за ней — несколько десятков людей, которые слышали ее слова и воодушевились ими. Преследователи были поражены, когда увидели, что она несется на них с горсткой воинов; настала и их очередь испытать смертельный ужас: несомненно, что она — действительно ведьма, что она — дитя сатаны! Такова была их общая мысль, и, не дав себе времени призадуматься над этим вопросом, они показали спину и побежали в паническом страхе.

Наши беглецы услышали трубный призыв и обернулись; и когда они увидели, что знамя Девы мчится в противоположную сторону и что неприятель бежит врассыпную, то их мужество воскресло, и они поспешили вдогонку за нами.

Услышал и Ла Гир звук трубы; он поторопил свой отряд и подоспел к нам как раз в ту минуту, когда мы водружали знамя на прежнем месте — против окопов Августинцев. Теперь у нас было достаточно сильное войско. Нам предстояла тяжелая и долгая работа, но мы справились с ней до наступления вечера. Жанна все время поощряла нас и в один голос с Л а Гиrom говорила, что мы не только способны, но и должны взять эту огромную бастилию. Англичане сражались, как... можно сказать, сражались, как англичане, — этим все сказано. Атака следовала за атакой, мы прокладывали себе путь сквозь дым и огонь, среди оглушительных пушечных выстрелов; солнце склонялось уже к закату, когда мы наконец дружным натиском взяли крепость и на ее стенах водрузили свое знамя.

Августинцы были в наших руках. Турелли тоже будут наши, если мы освободим мост и снимем осаду. Мы довели до конца один великий замысел, а Жанна решила осуществить и другой. Мы должны были переночевать здесь, не снимая вооружения, крепко держать то, что было в наших руках, и быть наготове утром снова приняться за работу. Поэтому Жанна не могла позволить солдатам предаваться разгулу, грабежу и пьянству: она приказала сжечь Августинцев со всеми их припасами, за исключением артиллерии и склада оружия.

Все были утомлены тяжелой работой, доставшейся нам в этот день; разумеется, утомлена была и Жанна. И тем не менее она желала остаться вместе с армией против Туреллей, чтобы поутру быть готовой к приступу. Военачальники отговаривали ее и, наконец, упростили отправиться домой и надлежащим отдыхом приготовить себя к великим трудам; к тому же она была ранена в ногу и нуждалась в помощи лекаря. Итак, мы переправились назад и пошли по квартирам.

Как и прежде, город был охвачен неистовой радостью: колокола звонили, люди кричали, а некоторые были пьяны. Ни разу не случилось нам уходить или возвращаться, не давая основательного повода к этим милым неистовствам, а потому буря всегда была наготове. В течение последних семи месяцев ни разу не было причины шумных ликований, и население с тем большим восторгом ликовало теперь.

ГЛАВА XXI

Желая избавиться от обычной толпы посетителей и отдохнуть, Жанна прошла с Катериной прямо в их общую комнату; там они поужинали, там же была перевязана рана. Однако она не легла спать, хотя и была страшно утомлена, а послала Карлика за мной, не вникая в просьбам и увещаниям Катерины. Она сказала, что ее тревожит какая-то мысль и что она должна отправить в Домреми гонца с письмом к нашему старому патеру Фронту, чтобы тот прочел послание ее матери. Как только я пришел, она начала диктовать. После ласковых слов и приветствий матери и родным письмо продолжалось так:

«Но вот причина, побуждающая меня писать теперь: я должна предупредить вас, что если вы вскоре услышите, что я ранена, то не беспокойтесь обо мне и не верьте тому, кто сказал бы вам, что рана моя опасна».

Она хотела продолжать, но Катерина прервала ее, сказав:

— Ах, она так испугается, прочитав эти слова. Вычеркни их, Жанна, вычеркни их непременно и подожди только один день — ну, два дня, самое большее, а только напиши, что ты была ранена в ногу, но теперь поправилась: ведь, конечно, к тому времени твоя нога заживет или почти заживет. Не тревожь свою мать, Жанна, поступи, как я советую.

Ответом Жанны был смех, подобный смеху минувших дней; то был задушевный, свободный смех безмятежной души, похожий на звон серебряных колокольчиков. Она сказала:

— Моя нога? Чего ради стала бы я писать об этой ничтожной царапине? Я не о том думала, дорогая.

— Дитя мое, неужели ты получила и другую рану, более опасную, и ничего не сказала? Чем же были заняты твои мысли, если ты...

Она вскочила, готовая залиться слезами, и хотела тотчас позвать назад лекаря, но Жанна остановила ее за руку, заставила сестру на прежнее место и промолвила:

— Полно же, успокойся, у меня пока нет других ран. Я пишу о той ране, которую получу завтра, когда мы будем брать приступом эту бастилию.

Катерина смотрела так, как будто она старалась разобраться в какой-то замысловатой задаче, но не могла с ней справиться. Она спросила растерянно:

— Рана, которую ты получишь? Но... но зачем же беспокоить мать, если... если это может и не случиться?

— Может и не случиться? Должно случиться.

Загадка оставалась загадкой. Катерина продолжала тем же недоумевающим тоном:

— «Должно случиться»? Сильно сказано. Мне кажется, я не могу... мой разум не в состоянии разобраться в этом. О Жанна! Сколь страшно такое предчувствие — оно способно лишить человека спокойствия и надломить его отвагу. Выкинь это из головы! Забудь об этом! Иначе ты будешь мучиться целую ночь, и — совершенно понапрасну, так как мы надеемся...

— Но это же не предчувствие, это — действительность. И я не буду мучиться из-за этого. Мучительна бывает лишь неизвестность, а здесь нет неизвестности.

— Жанна, ты точно знаешь, что это должно случиться?

— Да. Мне поведали мои Голоса.

— Ах! — произнесла Катерина со смирением. — Если они сказали... Но уверена ли ты, что это они? Вполне ли уверена?

— Вполне. Это случится — в этом нет сомнения.

— Это ужасно! С каких пор ты знаешь про рану?

— С каких пор? Кажется, несколько недель тому назад. — Жанна повернулась ко мне: — Луи, ты, вероятно, помнишь. Как давно было это?

— В первый раз, превосходительная госпожа, ты сказала об этом королю, в Шиноне, — ответил я, — а с тех пор прошло семь недель. Вторично ты упомянула об этом двадцатого апреля и еще раз — двадцать второго, то есть две недели назад; так у меня записано.

Эти чудеса глубоко поразили Катерину, но я давно перестал удивляться: ко всему привыкаешь на белом свете. Катерина спросила:

— И это должно случиться завтра? Непременно завтра? Определено ли тебе известное число? Не было ли ошибки, не спутала ли ты?

— Нет, — возразила Жанна, — мне указано седьмое мая, именно этот день.

— В таком случае ты останешься у нас в доме, пока не минует этот страшный день! Не думай об этом, Жанна, слышишь? Обещай остаться с нами!

Но Жанну нельзя было уговорить, она сказала:

— Этим не поможешь делу, дорогая моя подруга. Я получу рану, и непременно завтра. Если я не буду искать раны, то она отыщет меня. Мой долг призывает меня быть с солдатами. Неужели я могу не пойти из-за одной только раны? О нет, будем честнее!

— Так ты решила пойти во что бы то ни стало?

— Конечно. Для Франции я могу сделать только одно: воодушевить ее солдат и пробудить в них стремление к победе. — Она немного задумалась и добавила: — Однако не следует быть безрассудной: я хотела бы сделать все, что тебе приятно, ведь ты такая добрая. Любишь ли ты Францию?

Я старалась угадать, что у нее на уме, но не находил ответа. Катерина сказала тоном упрёка:

— Ах, чем я заслужила такой вопрос!

— Значит, ты любишь Францию. Я и не сомневалась в том, дорогая. Не обижайся, но ответь мне: случилось ли тебе лгать?

— Ни разу в жизни я не лгала преднамеренно; случилось прихвастнуть, но не лгать.

— Этого довольно. Ты любишь Францию, ты не лжешь, а потому я доверюсь тебе. Я пойду или останусь в зависимости от твоего решения!

— Ах, благодарю тебя от всего сердца, Жанна! Как ты добра, что делаешь это ради меня! О, ты останешься с нами, ты не пойдешь!

В порыве восторга она обвила руками шею Жанны и осыпала Жанну бесчисленными ласками, малейшая доля которых превратила бы меня в богача; в действительности же я только острее чувствовал, как я беден... как я бесконечно беден тем, что почитал бы величайшим благом мира. Жанна сказала:

— В таком случае ты уведомишь военачальников, что я не отправлюсь сражаться?

— С великой радостью. Предоставь это мне.

— Ты очень добра. В каких же выражениях ты известишь их? Ведь извещение должно быть составлено по форме, как должностная бумага. Не составить ли мне самой?

— Ах, пожалуйста, ты ведь знаешь все эти торжественные слова и государственные формальности, а я совершенно неопытна.

— Тогда напиши так: «Начальнику штаба вменяется в обязанность оповестить королевские войска гарнизонов и лагеря, что главнокомандующий войсками Франции не покажется завтра на глаза англичанам из опасения быть раненной. Подписала за Жанну д'Арк Катерина Буше, которая любит Францию».

Наступила пауза; это была одна из тех молчаливых минут, когда нестерпимо хочется украдкой подсмотреть, как обстоят дела, — и я взглянул. Ласковая улыбка озаряла лицо Жанны, а щеки Катерины залились густым румянцем; губы ее дрожали, на глазах были слезы. Наконец она сказала:

— О, мне так стыдно! Ты — благородная, отважная, мудрая, а я — такая жалкая и глупая!

Она не выдержала и разрыдалась, и мне страстно хотелось обнять ее и утешить, но это было исполнено Жанной, а я, конечно, промолчал. Жанна обошлась с ней крайне ласково и нежно, но мне думается, что и я сумел бы сделать это не хуже, хотя я и знал, что это было бы глупо и неуместно и что это могло бы привести всех нас в замешательство и смущение; а потому я не решился выступить с предложением своих услуг, и, надеюсь, поступил правильно и избрал наилучший путь. Однако я не знал, так ли надо поступить, и впоследствии меня мучили сомнения: не упустил ли я случая, который мог бы изменить всю мою жизнь и сделать ее счастливее и прекраснее, чем она, увы! оказалась... Вот по какой причине я и теперь скорблю, вспоминая эту сцену; я не люблю извлекать ее из хранилищ моих воспоминаний, так как вместе с нею воскресает страдание.

Поистине хороша и отрадна бывает безобидная шутка; она оживляет тело, поддерживает добрые чувства и предотвращает угрюмость. Устройством маленькой ловушки для Катерины Жанна как нельзя лучше доказала ей, сколь несурозна была ее просьба. Не правда ли, то была презабавная шутка, если взглядеться в нее хорошенько? Даже Катерина осушила свои слезы и расхохоталась при мысли о том, что сказали бы англичане, если бы проведали, какие причины удерживают французского главнокомандующего от участия в битве. Она согласилась, что им тогда было бы над чем посмеяться.

Мы снова принялись за письмо, и, конечно, нам не пришлось вычеркивать то место, где говорилось о ране. Жанна была в отличном расположении духа; но когда дело дошло до составления приветствий различным подругам и друзьям детства, то явились перед ней и наша деревня, и Древо Фей, и цветущий луг, и пасущиеся стада овец; воскресла вся безмятежная красота нашей скромной отчизны, и дорогие имена начали дрожать на устах Жанны. Упомянула она об Ометте и маленькой Менжетте; тут силы ей изменили, и она не могла продолжать. Помолчав немного, она сказала:

— Скажи им, что я их люблю, люблю горячо, глубоко. Люблю их всем сердцем! О, никогда я не увижу нашей родины!

В это время вошел Пакерел, духовник Жанны, и привел с собой изящного рыцаря, сьера де Рэ, который был прислан с поручением. Рыцарь сказал, что ему приказано сообщить следующее: военный совет, принимая во внимание, что достигнутых до сих пор успехов вполне достаточно; что всего безопаснее и лучше было бы удовлетвориться тем, что уже даровано Богом; что город в настоящее время хорошо снабжен припасами и способен выдержать долгую осаду; и что голос благоразумия повелевает немедленно отозвать войска с другого берега реки и снова принять оборонительное положение, — вынес соответствующее решение.

— Неисправимые трусы! — вскричала Жанна. — Так вот почему они притворялись, будто озабочены моим здоровьем: им нужно было отдалить меня от солдат. Передайте же мой ответ, только не членам совета, ибо я вовсе не желаю разговаривать с переодетыми горничными, но Бастарду и Ла Гиру; они — мужчины. Скажите им, чтоб войско не снималось с лагеря; на них я возлагаю ответственность за твердое исполнение этого приказа. Скажите также, что завтра же утром возобновятся наступательные действия. Можете идти, добрый рыцарь.

Затем она обратилась к священнику:

— Встаньте завтра пораньше и будьте при мне целый день. Мне много предстоит работы, и я буду ранена между шеей и плечом.

ГЛАВА XXII

Встали мы на рассвете и после обедни собрались в путь. В зале мы встретили хозяина дома; он, добрая душа, был опечален, что Жанна отказывается позавтракать в начале такого трудового дня, и просил ее подождать и откусать; но у нее не было времени — или, вернее, не было терпения: она так и рвалась поскорее напасть на последнюю оставшуюся бастилию, которая стояла на ее пути к завершению первого

великого подвига, направленного к освобождению и возвеличению Франции. Буше пустил в дело новый довод:

— Подумайте же: мы, бедные осажденные горожане, почти не вкушавшие рыбы в течение стольких месяцев, снова имеем это лакомство — и благодаря вам! Есть у нас на завтрак чудные свежие сельди — подождите, не упорствуйте.

Жанна возразила:

— О, рыбы скоро будет вдоволь: лишь только закончится сегодняшняя работа, весь речной берег будет в вашем полном распоряжении.

— О, конечно, я не сомневаюсь, что вы отлично выполните эту задачу, превосходительная госпожа. Но мы даже от вас не смеем ждать столь многого: не день на это потребуется, а целый месяц. А потому уступите — повремените и откушайте. Есть поговорка, что если человеку предстоит в один и тот же день два раза переплыть через реку в лодке, то он должен поесть рыбы во избежание несчастья.

— Ну, ко мне это не подходит, так как я собираюсь сегодня сесть в лодку только один раз.

— О, не говорите этого! Разве вы к нам не вернетесь?

— Вернусь, только не в лодке.

— Как же тогда?

— По мосту.

— Скажите пожалуйста, по мосту! Перестаньте-ка шутить, милый полководец, и лучше последуйте моему совету. Рыба отличная.

— В таком случае будьте столь добры и оставьте мне немного к ужину; а я приведу с собой одного из англичан и поделюсь с ним.

— Ну, поезжайте, если нельзя иначе. Однако тот, кто постится, не может браться за многое и скоро устает. Когда вы вернетесь?

— Когда освобожу Орлеан. Вперед!

Мы отправились. На улицах толпились горожане, пестрели отряды солдат, но на всем была печать уныния. Нигде не видно было улыбки — повсюду угрюмые лица. Словно какая-то непоправимая беда умертвила всякую радость и надежду. Мы не привыкли к этому и были удивлены. Однако народ оживился, лишь только показалась Дева; и из уст в уста начал передаваться трепетный вопрос:

— Куда она идет? Какова ее цель? Жанна услышала и сказала, повысив голос:

— Как вы думаете, куда я иду? Я отправляюсь брать Турелли!

Невозможно описать, с какой быстротой эти слова превратили всеобщую скорбь в ликование, восторг, в неистовую радость; невозможно описать, как стихийно разнеслось «ура» по всем улицам и переулкам, мгновенно пробуждая эту бездушную толпу к деятельной кипучей жизни. Солдаты побежали под наши знамена, а многие из горожан спешили раздобыть пики и алебарды, чтобы присоединиться к нам. По мере того как мы продвигались вперед, наше войско непрерывно росло, а буря ликований усиливалась; мы ехали, окруженные как бы облаком шума, и этому немало способствовали открытые окна домов, откуда неслись восторженные приветствия.

Дело в том, что совет приказал запереть Бургундские ворота, приставив к ним значительный отряд под начальством очень дюжего воина, Рауля де Гокура, орлеанского бальи; ему было приказано воспрепятствовать Жанне выехать и предпринять нападение на Турелли; этот позорный поступок и поверг город в отчаяние и печаль. Но теперь настроение это рассеялось. Они верили, что Жанна сумеет справиться с советом, — и они были правы.

Когда мы подъехали к воротам, Жанна приказала Гокуру отворить их и пропустить ее.

Он возразил, что не может сделать этого, потому что получил приказ от совета, и приказ строго определенный. Жанна сказала.

— Только власть короля выше моей. Если у вас есть приказ короля, то извольте его представить.

— Я не говорю, что у меня есть королевский приказ, ваша светлость.

— Тогда пропустите меня, иначе вам придется взять на себя ответственность за превышение полномочий.

Он начал оспаривать ее требование, потому что он, как и вся остальная шайка, всегда был готов сражаться на словах, а не на деле. Однако Жанна прервала его на полуслове, кратко скомандовав:

— В атаку!

Дружно устремившись вперед, мы быстро исполнили все, что нужно. Забавно было видеть изумление бальи. Он не привык к такой незатейливой расторопности. Впоследствии он говорил, что его перебили на середине фразы — на середине довода, которым он доказал бы, что ему действительно нельзя пропустить Жанну и на этот довод Жанна не сумела бы ничего ответить.

— Тем не менее она, кажется, ответила, — возразил на это собеседник бальи.

Мы молодецвато проскочили через ворота, не стесняя себя соблюдением тишины — было над чем похотеть; и вскоре наш авангард, переправившись через реку, подходил к Туреллям.

Сначала нам надо было взять вспомогательное укрепление, так называемый больверк — другого имени ему не было; не выполнив этого, нельзя было напасть на главную бастилию. Задняя часть укрепления сообщалась с бастилией посредством подъемного моста, перекинутого через быстрый и глубокий приток Луары. Больверк был прочно сооружен, и Дюнуа сомневался, хватит ли у нас сил взять его. Но Жанна была чужда подобных сомнений. Все утро она обстреливала больверк из орудий, а около полудня приказала наступать и сама возглавила атаку. Сквозь дым и тучи метательных снарядов мы бросились в ров, а Жанна, ободряя солдат восклицаниями, начала взбираться по штурмовой лестнице; вот тут-то и случилось то несчастье, о котором мы знали заранее: стрела, пущенная арбалетом, вонзилась ей в шею, около плеча, пробив насквозь ее кольчугу. Когда она почувствовала острую боль и увидела струю крови, залившую ей грудь, то она испугалась, бедняжка, и, упав на землю, принялась горько плакать.

Англичане возликовали, и их отряд хлынул вниз, чтобы захватить Жанну; на несколько минут вся борьба сосредоточилась на этом месте. Не на живот, а на смерть сражались англичане и французы над ее телом: ведь для тех и других она была все равно, что Франция; кто завоевал бы Францию и оставил бы ее за собою навеки. На этом маленьком клочке земли в течение десяти минут решалась и была решена окончательно судьба Франции.

Если бы англичане взяли тогда Жанну в плен, то Карл VII обратился бы в бегство, договор, заключенный в Труа, не был бы расторгнут, и Франция, и без того уже находившаяся во власти англичан, неоспоримо превратилась бы в английскую провинцию, чтобы остаться таковой до дня Страшного Суда. Тут ставкой служили народность и королевство, и на это дано было столько же времени, сколько нужно, чтобы сварить яйцо вкрутую. Для Франции то были самые знаменитые десять минут, какие были или будут когда-либо отмечены стрелкой часов. Если вам случится читать в исторических книгах о часах, о днях, о неделях, в течение которых решалась судьба какого-нибудь народа, то вспомните — и пусть при этой мысли быстрее забьется ваше французское сердце! — вспомните о тех десяти минутах, в продолжение которых Франция, иначе именуемая Жанной д'Арк, лежала во рву, истекая кровью, между тем как два народа сражались за обладание ею.

Не забудьте и о Карлике. Он стоял над ней и работал за шестерых. Обеими руками заносил он свой топор и, опуская его, неизменно произносил два слова: «За Францию!» — и шлем разлетался в куски, словно яичная скорлупа, а заключенная в нем голова, познав премудрость, навеки проникалась уважением к французам. Перед собой он нагромоздил целую стену из закованных в железо мертвецов и продолжал сражаться, стоя за этими укреплениями. Наконец, когда победа осталась за нами, мы сплотились вокруг него, чтобы не подпустить врага. Он взбежал по лестнице, подхватив Жанну на руки словно ребенка, и вынес ее за пределы свалки. Большая толпа последовала за ним, тревожась, так как Жанна была с ног до головы залита кровью — не только своей, но и кровью англичан: ведь тела убитых врагов падали прямо на нее.

Железная стрела все еще не была вынута из раны; по словам иных, она торчала сзади, у плеча. Возможно — я не мог смотреть, и не пытался. Стрелу вытащили, и снова бедная Жанна закричала от боли. Иные говорили, что она сама вытащила стрелу, так как все отказывались сделать это, не смея причинить Жанне боль. На этот счет мне ничего не известно; знаю только, что стрела была извлечена и что рану, смазав маслом, тщательно перевязали.

Жанна, ослабевшая, страждущая, лежала на траве несколько часов подряд, но все время настаивала, чтобы битва продолжалась. Мы старались, но проку было мало, потому что только на ее глазах воины из трусов превращались в героев. Они были подобны Паладину: он, кажется, боялся собственной тени — я имею в виду время после полудня, когда тень его сильно удлинилась: а между тем, ободряемый взором Жанны, воодушевляемый ее великим мужеством, на что бы он не отважился? На все что угодно — могу сказать без преувеличения.

К вечеру Дюнуа решил отступить. Жанна услышала звук труб.

— Как! — вскричала она. — Трубят отступление?

О своей ране она мгновенно забыла. Отменив приказ, она послала начальнику батареи другое распоряжение: приготовиться произвести подряд пять пушечных выстрелов. То был условный знак находившемуся на орлеанском берегу отряду Ла Гира, который, вопреки утверждению некоторых историков, не был с нами в течение дня. Было заранее решено дать этот знак, лишь только Жанна почувствует, что больверк вот-вот перейдет в наши руки; и тогда отряд Ла Гира должен, подъехав по мосту, повести на Турелли контратаку.

Жанна, сев на лошадь, созвала свою свиту, и когда наши солдаты завидели ее приближение, то единодушный крик радости пронесся по их рядам, и они тотчас загорелись желанием возобновить наступление. Жанна подъехала как раз к тому месту окопов, где она получила рану, и, стоя под градом

каменной и стрел, приказала Паладину развернуть по ветру длинное знамя и следить, когда бахрама его коснется крепостной стены. Вот он сказал:

— Коснулась!

— Ну, значит, крепость наша! — сказала Жанна, обращаясь к смотревшим на эту сцену солдатам. — Трубить наступление! Ну, дружно, разом — вперед!

И мы ринулись вперед. Никогда не видать вам ничего подобного! Мы, как волна прибоя, вскарабкались по лестницам на стены — и крепость была в наших руках. Можно прожить тысячу лет и не дожидаться такой стихийной картины. Мы, как дикие звери, сражались врукопашную: англичане были упрямы — ни одного из них нельзя было убедить иначе, как положив его на месте, — да и то он продолжал еще сомневаться; по крайней мере, в те времена так думали и утверждали многие.

Мы были так заняты работой, что и не слыхали пяти пушечных выстрелов, а между тем они были произведены тотчас после отдания Жанной приказа идти на приступ. И вот, пока мы с врагом рубили друг друга, резервный отряд перешел через мост и напал на Турелли со стороны реки. К подъемному мосту, соединявшему Турелли с нашим больверком, подвели горящую лодку, и когда теснимые нами англичане бросились на этот мост, чтобы соединиться со своими друзьями в Туреллях, то горящие балки не выдержали их тяжести и увлекли беглецов в реку вместе с их тяжеловесными латами. Горько было видеть храбрецов, погибающих такой смертью!

— Ах, да сжалится над ними Господь! — сказала Жанна, взглянув на эту ужасную картину. Она произнесла эти кроткие слова и пролила милосердные слезы, хотя один из погибавших оскорбил ее бранным словом три дня назад, когда она послала ему предложение сдаться. То был их начальник, сэр Уильям Гласдэл, рыцарь отменной доблести. Он с ног до головы был закован в стальную броню и, конечно, сразу пошел ко дну.

Наскоро сколотили мы временный мост и ворвались в последний оплот англичан, мешавший орлеанцам сносятся с друзьями и получать припасы. Солнце не успело еще скрыться за горизонтом, когда был завершен приснопамятный подвиг Жанны; знамя ее развевалось над стенами Туреллей — она положила конец осаде Орлеана!

Прошли семь месяцев осады, осуществилось то, что французские полководцы считали невозможным; не взирая на все препятствия со стороны министров и военных советников короля, эта крестьяночка семнадцати лет выполнила свой бессмертный труд — выполнила в каких-нибудь четыре дня!

Добрые вести разносятся быстро, как и дурные. К тому времени как мы собрались вернуться домой через мост, весь Орлеан озарился радостными огнями, и небеса, видя это, зарделись от удовольствия. Гром пушек и гул колоколов превзошли все прежние проявления шумного восторга орлеанцев.

С нашим прибытием началось нечто неопишное! Мы продвигались среди бесконечной толпы людей, и народ проливал разлитое море радостных слез. Не было видно ни одного лица, по которому не струились бы слезы; и если бы ноги Жанны не были защищены броней, то горожане зацеловали бы их вконец. «Привет! Привет Орлеанской Деве!» — тысячу раз слышал я этот возглас. Другие кричали: «Привет нашей Деве!»

Ни одна девушка не снискала себе такой исторической славы, как Жанна д'Арк в этот день. И что же — вы думаете, у нее вскружилась голова, и она нарочно не легла спать, чтобы насладиться этим гимном славы и торжества? Нет. Другая девушка поступила бы так, но не она. У нее было великое и простое сердце, как ни у кого из людей. Она тотчас улеглась в постель и крепко заснула, словно утомившийся ребенок. А когда народ узнал, что она ранена и нуждается в отдыхе, то вокруг дома было сейчас же прекращено всякое движение и сутолока; устроили добровольную ночную стражу, охранявшую ее сон. Горожане говорили друг другу: «Она дала нам спокойствие: пусть ей самой будет спокойно!»

Все были уверены, что на следующий день англичане покинут окрестности, и все говорили, что ни живущие ныне граждане, ни их потомки не перестанут чтить этот день, в память Жанны д'Арк. Больше шестидесяти лет это обещание исполнялось — и будет исполняться во веки веков. Орлеан никогда не забудет 8 мая и никогда не перестанет справлять в этот день торжество. Это — день Жанны д'Арк, день священный. *Он до сих пор празднуется из года в год: в этот день устраиваются военные и гражданские торжества.* — М. Т. .

ГЛАВА XXIII

На следующее утро, чуть свет, Гальбот и его войска покинули свои бастилии и ушли, даже не удосужившись хотя бы сжечь или разрушить укрепления или прихватить кое-какое добро: они оставили крепости в полной неприкосновенности — со всеми складами провианта и оружия, со всем, что было запасено для продолжительной осады. Население с трудом верило, что действительно совершилось это великое дело; что они вновь получили свободу и могут выходить и возвращаться через любые ворота города

беспрепятственно и спокойно; что грозный Тальбот, этот бич французов, этот человек, одно имя которого могло привести в оцепенение французскую армию, — что он ушел, побежденный, вытесненный, прогнанный девушкой.

Город опустел. Изо всех ворот потянулись толпы народу. Точно муравьи копошились они вокруг английских бастилий, но шумели, не в пример этим созданиям; унеся припасы и орудия, они обратили все двенадцать крепостей в чудовищные костры, в подобие вулканов, над которыми поднимались огромные столбы густого дыма, словно подпиравшие небосвод.

Восторг детей проявлялся иначе. Для иных малышей семь месяцев — все равно, что целая жизнь. Они успели забыть, какова с виду трава, и зеленый бархат лугов был раем в их изумленных и счастливых глазах, так давно не выдавших ничего, кроме грязных улиц и дворов. Они не могли надивиться на этот простор широких полей, где им можно было вдоволь бегать, плясать, кувыркаться, резвиться после долгого, безотрадного сидения взаперти. И вот они отправились блуждать по живописным окрестностям, в ту и в другую сторону от реки, и вернулись только к вечеру, насобирав кучи цветов и раскрасневшись от свежего сельского воздуха и благотворных подвижных развлечений.

После сожжения укреплений взрослый люд начал ходить с Жанной из церкви в церковь, посвятив остальную часть дня благодарственным молитвам по случаю освобождения города. А вечером в честь Жанны и ее полководцев было устроено торжество, улицы расцвели огнями, и началось всеобщее веселье. Незадолго до рассвета, когда население уже давно разбрелось по домам, мы оседлали лошадей и двинулись в Тур — с докладом к королю.

Обстановка нашего путешествия могла бы вскружить голову кому угодно — только не Жанне. Все время нам приходилось ехать среди восторженных, благодарных поселян. Они толпились вокруг Жанны, чтобы прикоснуться к ее ногам, к ее доспехам, к ее коню; они становились на колени посреди дороги и целовали отпечатки подков ее коня.

Вся страна боготворила ее. Знаменитейшие сановники Церкви отправили королю послание, в котором превозносили Деву, сравнивали ее с библейскими героями и святыми и предостерегали короля, чтоб он не позволял «неверию, неблагодарности или иным несправедливостям» замедлять или пресекать Божественную помощь, ниспосланную через нее. Можно подумать, что слова эти были пророческими, — не станем оспаривать. Но, на мой взгляд, они были подсказаны сим великим мужам не чем иным, как точным знанием суетной и предательской души короля.

Король выехал в Тур для встречи с Жанной. Этого жалкого человека и поныне называют Карлом Победоносцем, во внимание к победам, которые были одержаны за него другими; но тогда у нас в ходу было для него иное прозвище, которое гораздо вернее отражало его облик и вполне соответствовало его личным заслугам: Карл Подлый. Когда мы вошли в приемную залу, он восседал на троне, окруженный своими мишурными выскочками щеголями. Начиная с талии и до низу платье на нем было так затянуто, что он напоминал собой морковь с раздвоенным концом; его башмаки отличались непомерно длинными, гибкими, похожими на веревки носками, которые надо было пристегивать у колен, чтобы не споткнуться во время ходьбы; накинутый на плечи бархатный малиновый плащ едва доходил до локтей; на голове у него была высокая войлочная шляпа в форме наперстка, повязанная вышитой жемчугом лентой, за которую было заткнуто перо, торчавшее словно из огромной чернильницы; а из-под этого наперстка ниспадали пряди жестких, кончавшихся завитками волос, так что голова вместе с убором была похожа на ракетку для игры в волан. Весь наряд его был из богатых и ярких тканей. На коленях у него лежала, свернувшись калачиком, крохотная левретка, которая рычала и скалила белые зубы при малейшем беспокоившем ее движении. Королевские щеголи были одеты столь же пышно, и когда я вспомнил, что Жанна назвала военный совет Орлеана «собранием переодетых горничных», то я невольно подумал о тех людях, которые все свои деньги тратят на пустяки, ничего не сохраняя для приобретения полезного; вот для таких-то людей следовало бы приберечь это прозвище.

Жанна упала на колени перед его королевским величеством и перед другим, столь же ничтожным животным, покоившимся у него на руках. Мне мучительно было видеть это. Что сделал этот человек для своей страны или для кого-нибудь из живущих в ней? За что она и другие преклоняют колени перед ним? Другое дело — она. Ведь она совершила великий подвиг, единственный во Франции за пятьдесят лет, и освятила его своей кровью. Им бы надлежало поменяться местами.

Впрочем, говоря по правде, Карл на сей раз в общем поступил очень хорошо — гораздо лучше, чем он привык поступать. Передав собачонку одному из придворных, он снял шляпу перед Жанной, как будто она была королева. Затем он сошел по ступенькам престола и поднял Жанну, проявив самую искреннюю и благородную радость, приветствуя ее и благодаря за ее необычайные подвиги на его службе. Мои предубеждения возникли позднее, и если б он остался таким же, каким он был в ту минуту, то я составил бы о нем другое мнение.

Да, он поступил хорошо. Он сказал:

— Вам не подобает преклонять предо мною колена, мой несравненный полководец. Вы сражались по-королевски, и да воздадутся вам за это королевские почести. — Заметив ее бледность, он продолжал: — Но вы не должны стоять; вы проливали кровь за Францию, и ваша рана еще свежа. Пойдемте же! — Он подвел ее к креслу и сел рядом с ней. — Теперь скажите мне прямо, как человеку, который вам многим обязан и открыто в этом признается, в присутствии собравшихся придворных: чем мне вознаградить вас?

Мне было стыдно за него. А между тем я был несправедлив, потому что не мог же он за несколько недель узнать эту дивную девушку, когда даже мы, воображавшие, что нам известна вся ее жизнь, ежедневно видели выплывающие из облаков новые высоты ее души, о существовании которых мы до того времени и не подозревали. Но так уж мы все устроены: если мы что-нибудь знаем, то мы презираем тех людей, которым не случилось узнать того же. И мне стыдно было за этих придворных, которые облизывались, завидуя счастью Жанны; но ведь и они знали ее не лучше, чем сам король. Краска залила щеки Жанны при мысли, что она трудилась на пользу отечества якобы ради награды; и она опустила голову, стараясь скрыть лицо, как бывает со всеми девушками в минуту смущения. Никто не знает, почему это так, но чем более они краснеют, тем труднее им побороть свое замешательство и тем тягостнее для них взоры окружающих. Король значительно ухудшил дело тем, что обратил на Жанну всеобщее внимание, а ведь для вспыхнувшей от смущения девушки нет ничего мучительнее; этим можно довести девушку даже до слез, если она так же молода, как была молода Жанна, и если кругом стоит толпа незнакомых людей. Причина этого известна лишь Богу, от людей она скрыта. Я бы на ее месте, кажется, скорее чихнул, чем покраснел. Впрочем, рассуждения эти несущественны; буду продолжать, о чем начал. Король сказал какую-то шутку по поводу ее внезапного румянца, и тут уж лицо ее окончательно запыхало. Он тогда раскаялся в своем поступке и, желая успокоить ее, сказал, что румянец ей очень к лицу и что ей нечего смущаться; конечно, после этих слов она зарделась еще пуще, и теперь даже собачонка могла заметить, как она покраснела; слезы брызнули у Жанны из глаз. Я заранее был уверен, что это случится. Король пришел в замешательство и, видя, что дело можно поправить лишь переменной разговора, повел изысканно-любезные речи о взятии Жанны Туреллей; и когда она несколько успокоилась, он снова упомянул о награде и настойчиво просил, чтобы она сама сделала выбор. Все прислушивались с напряженным любопытством, желая узнать, чего она потребует, но когда раздался ее ответ, то по их лицам было видно, что они не того ожидали.

— О дорогой и благородный дофин, у меня есть одно желание, только одно! Если бы...

— Не бойтесь, дитя мое, назовите, какое именно.

— Я желаю, чтоб вы не медлили больше ни единого дня. Моя армия велика и отважна и горячо стремится довести свое дело о конца. Идите со мною в Реймс и примите свой венец.

Видно было, как король съезжился в своем мишурном наряде.

— В Реймс? О, это невозможно, мой полководец! Нам не пройти через средоточие английских сил.

Неужели то были лица французов? Ни одно из них не озарилось сочувствием смелым намерениям девушки; напротив, было видно, что отказ короля весьма одобрялся. Променять эту шелковую праздность на суровую обстановку войны? Ни один из ленивых щеголей не согласился бы на это. Они предлагали друг другу драгоценные бонбоньерки *В старину у французских придворных были в моде карманные бонбоньерки с засахаренными фруктами или иными сладостями впоследствии вытесненные табакерками.* (Примеч. авт.) и шепотом восхваляли житейскую мудрость главного празднолюбца. Жанна продолжала уговаривать короля:

— Ах, прошу вас, не пренебрегайте столь удобной минутой. Все благоприятствует нам — все решительно. Обстоятельства как будто нарочно сложились в нашу пользу. Победа воодушевила наши войска, тогда как англичане удручены неудачей. Настроение изменится, если затянуть дело. Видя, что мы не решаемся воспользоваться выгодой положения, наши солдаты начнут недоумевать, сомневаться и робеть, англичане тоже начнут недоумевать, но при этом приобретать уверенность и воспрянут духом. Теперь самая пора; умоляю, соберемся в путь!

Король покачал головою, а ла Тремуйль, будучи спрошен, не замедлил преподать совет:

— Государь, голос благоразумия должен предостеречь вас от этого. Вспомните об английских крепостях на Луаре; вспомните о тех укреплениях, которые лежат между нами и Реймсом!

Он хотел продолжать, но Жанна, повернувшись к нему, прервала его речь:

— Если мы промедлим, то англичане успеют оправиться и прислать новые войска на подмогу. Послужит ли это нам на пользу?

— Ну... нет.

— В таком случае что предложите вы? Как, по вашему мнению, надлежит нам действовать?

— Мой совет — ждать.

— Ждать — чего?

Министр пришел в замешательство, так как он не мог привести ни одного разумного довода. К тому же он не привык отвечать на такие вопросы в присутствии толпы людей. И он произнес с раздражением:

— Государственные дела не должны служить предметом всенародного обсуждения.

Жанна сказала невозмутимо:

— Прошу извинить меня. Я вторглась в эту область по неведению. Я ведь не знала, что дела, связанные с вашей правительственной должностью, являются делами государственными.

Министр поднял брови в знак комического удивления и сказал с оттенком сарказма:

— Я — главный министр короля, и, несмотря на это, вам показалось, что связанные с моей должностью дела не принадлежат к делам государственным? Объясните, пожалуйста, каким же образом?

Жанна ответила равнодушно:

— Ведь нет государства.

— Нет государства!

— Да, сударь: государства нет и нет обязанностей министра. От Франции осталось лишь несколько акров земли, и для присмотра за нею достаточно было бы одного полицейского сторожа; ее дела не являются делами государственными. Слишком громко сказано.

Король не покраснел, а разразился сердечным, беззаботным смехом; придворные тоже смеялись, но втихомолку, благоразумно отвернувшись в сторону. Ла Тремуиль был разгневан и только открыл рот, чтобы ответить, как король поднял руку и сказал:

— Довольно — я беру ее под свое королевское покровительство. Она высказала правду, неприукрашенную правду, которую мне так редко приходится слышать! Ведь среди всей этой мишуры я, в конце концов, не более как жалкий, обтрепанный управитель, надзирающий за клочком земли, а вы — мой сторож! — И он опять от души рассмеялся. — Жанна, мой прямодушный, честный полководец, скажите же, наконец, какой вы хотите награды? Я желал бы дать вам дворянство. На вашем гербовом щите будут французские лилии, и корона, и их защитник — ваш меч. Скажите, что вы согласны.

Шепот удивления и зависти пронесся по рядам присутствующих, но Жанна покачала головой и возразила:

— Ах, не могу, возлюбленный и благородный дофин. Иметь возможность трудиться ради Франции, жертвовать собою ради Франции — ведь это само по себе награда столь высокая, что к ней ничего нельзя прибавить. Лишь об одном смею просить я вас: даруйте мне самое дорогое, самое высокое, что в вашей власти, — идите со мною в Реймс и примите ваш венец. Я на коленях буду умолять вас.

Но король удержал ее за руку, и голос его зазвучал отвагой, и глаза его загорелись мужеством, когда он ответил:

— Не надо, сидите. Вы победили меня. Да исполнится ваше...

Однако предостерегающий знак министра остановил его, и он добавил, к удивлению всех придворных:

— Хорошо, хорошо, мы об этом подумаем; обсудим все, а там видно будет. Доволен ли мой нетерпеливый маленький воин?

Первая часть ответа озарила радостью лицо Жанны, но заключительные слова погасили эту радость. Жанна опечалилась, и слезы сверкнули на ее глазах. Помолчав немного, она проговорила, словно побуждаемая страхом:

— О, воспользуйтесь мною! Молю вас, воспользуйтесь мною... Времени осталось немного!

— Неужели мало времени?

— Только год... Я не протяну больше года...

— Что вы, дитя мое, ваших сил хватит еще на добрых пятьдесят лет.

— О, вы ошибаетесь. Через какой-нибудь год наступит конец. Ах, время летит так быстро, так быстро. Минуты бегут мимо, а сделать надо многое. Воспользуйтесь же мною как можно скорее: для Франции это — вопрос жизни и смерти.

Даже эти суетные насекомые поддались обаянию ее страстной мольбы. Король был задумчив; и видно было, что он сильно потрясен. Вдруг глаза его загорелись красноречивым огнем, он встал и, обнажив свой меч, поднял его кверху; затем он медленно опустил меч на плечо Жанны и сказал:

— Ах, ты так проста и правдива, так велика и благородна! Сим рыцарским обрядом я приобщаю тебя к французскому дворянству, как ты того заслужила! И в честь тебя я возвожу в дворянство всю твою семью, всех твоих родных, всех их законнорожденных потомков как по мужской, так и по женской линии. Больше того! Дабы отличить твой дом и почтить его выше всех, я дарую тебе преимущество, до сих пор беспримерное в летописях нашей страны: женщины, принадлежащие к твоей семье, получают право возводить в дворянство своих мужей, если те по своему происхождению будут ниже их.

Зависть и изумление изобразились на всех лицах, когда были произнесены эти слова, обещавшие столь необычайную милость. Король остановился и, посмотрев кругом, очевидно, остался доволен впечатлением.

— Встаньте, Жанна д'Арк, — заключил он, — отныне именуемая дю Лис (Лилейная), в благодарное воспоминание о том доблестном ударе, которым вы защитили французские лилии; и эти лилии вместе с королевским венцом и с вашим победоносным мечом да будут украшать ваш гербовый щит и да послужат вековым символом вашего высокого благородства.

Госпожа дю Лис встала, и позолоченные наследники сословных преимуществ обступили ее, поздравляя с приобщением к их священной касте и повторяя ее новое имя; но она была смущена и говорила, что эти почести не соответствуют ее низкому происхождению и званию: она хотела бы, с их милостивого разрешения, оставаться просто Жанной д'Арк, и больше никем; пусть ее так и зовут.

Больше никем! Как будто могло быть имя более высокое, более знаменитое! Госпожа дю Лис — какое суетное, ничтожное, недолговечное имя! Но Жанна д'Арк! Один звук этого имени заставляет сердца биться сильнее.

ГЛАВА XXIV

Досадно было смотреть, как всполошился весь город, а там — и вся окрестная сторона, когда разнеслась великая весть: король даровал Жанне д'Арк дворянство! Народ очумел от изумления и радости. Вы не можете себе представить, как на Жанну таращили глаза, как ей завидовали. Можно было подумать, что в ее жизни действительно произошло какое-то великое и счастливое событие. Но мы в этом не видели ничего великого. Мы знали, что увеличить славу Жанны не во власти человека. Для нас она была солнце, парящее в небесах, а ее дворянство — не более как свеча, поставленная на его фоне; свеча растопилась и исчезла в собственных лучах светила. И она была так же равнодушна к своему дворянскому званию, как солнце — к свече.

Братья Жанны — другое дело. Они гордились и были счастливы своей новоиспеченной знатностью; это было вполне естественно. И Жанна тоже порадовалась, увидев, сколько удовольствия доставил им этот почет. Король умно придумал: победить ее скромность, воспользовавшись ее любовью к семье и родным.

Жан и Пьер тотчас начали щеголять своим гербом; теперь все — и знатный и простолюдин — искали их общества. Знаменосец говорил с оттенком горечи, что они, упоенные блаженством величия, стараются теперь жить как можно больше и готовы совсем не спать, потому что во сне они могли бы забыть о своем дворянстве и, значит, сон для них был бы чистой потерей времени. Затем он добавил:

— В военном строю и на государственных торжествах они не могут оспаривать место первенства; но когда дело коснется гражданских церемоний и общественных дел, то они, чего доброго, преспокойно займут место после дворянства и рыцарей, а нам с Ноэлем придется идти позади, а?

— Именно, — сказал я. — Мне кажется, ты прав.

— Я так и чувствовал, я этого боялся, — произнес знаменосец, вздохнув. — Боялся? Я говорю, как дурак: конечно, я знал, что это будет. Да, я говорил, как дурак.

Ноэль Рэнгесон заметил задумчиво:

— Действительно, у тебя это вышло так естественно. Мы рассмеялись.

— Ты находишь? Ты думаешь, что ты так уж умен? Послушай-ка, Ноэль Рэнгесон, я когда-нибудь, наконец, сверну тебе шею.

— Паладин, — сказал сьер де Мец, — опасения ваши еще слишком недостаточны: они многого не предвидят. Неужели вы не подумали, что во время гражданских и общественных церемоний братья Жанны будут идти впереди всех особ свиты, впереди всех нас?

— Полно, что вы говорите!

— Вот увидите. Взгляните на их герб. На первом месте — французские лилии. Ведь это символ королевского дома, милейший, королевского. Вникните в это хорошенько! Лилии дарованы им властью самого короля, вникаете? Не во всех подробностях, не всецело, но все же герб их в существенных чертах является гербом Франции. Вообразите себе! Вдумайтесь в это! Поймите, какое всеобъемлющее величие! Нам ли идти впереди этих мальчишек? Бог с вами — этому больше не бывать. Во всей стране, я думаю, нет ни одного светского пэра, который мог бы идти впереди них, кроме герцога д'Алансона, принца крови.

Паладина теперь можно было пригнуть к земле, как былинку. Он даже побледнел. С минуту он беззвучно шевелил губами и наконец произнес:

— Я не знал этого, не знал и половины того, что вы сказали. Как мог я знать? Я был болван. Вижу теперь — я был болван. Нынче утром я, встретившись с ними, окликнул их «го-ла!», как окликнул бы всякого другого. Я вовсе не желал быть неучтивым: я ведь не знал и половины того, что услышал от вас. Я был осел. Да, этим все сказано: я был осел.

Ноэль Рэнгесон проговорил как бы невзначай:

— Да, это похоже на правду; однако чего же ты удивляешься?

— А ты не удивлен? Ну-с, почему же это?

— Потому что я тут не вижу ничего нового. Есть люди, вечно пребывающие в этом состоянии. Рассматривая такое никогда не прекращающееся умственное состояние, мы будем получать одни и те же выводы, повторение которых становится однообразным; а однообразие, по закону своей сущности, утомительно. Вот если б ты, признавая себя ослом, чувствовал усталость, то это было бы логично и разумно.

Но высказывать по этому поводу свое удивление, на мой взгляд, все равно, что снова превратиться в осла, ибо умственное состояние, под влиянием которого человек способен удивляться и суетиться из-за мертвящего однообразия, есть не что иное как...

— Будет с тебя, Ноэль Рэнгесон, остановись-ка, пока не попал в беду. И пожалуйста, оставь меня в покое на несколько дней или недель, потому что я не выношу твоей болтовни.

— Вот это мне нравится! Мне вовсе не хотелось ввязываться в разговор. Напротив, я старался быть в стороне. Если ты не желаешь слушать мою болтовню, то чего ради ты ко мне приставал, вовлекая меня в разговор?

— Я приставал к тебе? И не думал вовсе.

— А все-таки приставал. И я вправе считать себя обиженным; да, ты обидел меня своим поступком. Ведь если ты надоедал человеку, дразнил его и прилагал все усилия, чтобы заставить его говорить, то разве с твоей стороны справедливо и благопристойно будет называть его слова «болтовней»?

— Что гнусавишь? Будет тебе! Прикинулся несчастеньким! Дайте сахару этой хнычущей кукле. Послушайте, сьер Жан де Мец, вполне ли вы уверены в этом?

— В чем?

— Да в том, что Жан и Пьер займут среди светской знати первое место после герцога д'Алансона?

— Я думаю, что это не подлежит сомнению. Знаменосец несколько минут был глубоко задумчив и сосредоточен; наконец тяжелый вздох вырвался из его богатырской груди, заставив всколыхнуться шелково-бархатный жилет, и он проговорил:

— Боже, боже, на какую высоту они взлетели! Вот пример всемогущества счастья. Впрочем, мне все равно. Я не согласился бы быть вывеской случайной удачи. Я это не ставлю ни во что. Скорей я могу гордиться тем, что достиг теперешнего своего положения исключительно благодаря личным заслугам; подумаешь, какая честь — парить в зените, сидя на верхушке солнца, и сознавать, что ты лишь жалкий, ничтожный выскочка, заброшенный туда какой-то катапульты. По-моему, главное — личные заслуги; в этом вся суть. Все прочее — вздор.

Тут затрубили сбор, и разговор наш прервался.

ГЛАВА XXV

Потянулись однообразные дни. Дни нерешительности и бездействия. Войска рвались в бой; но, с другой стороны, они голодали. Жалованье не выдавалось, казна была пуста, людей нечем было кормить. Под гнетом лишений солдаты начали унывать и разбегаться, что чрезвычайно нравилось праздному двору. Жанна скорбела — на нее жалко было смотреть. Она должна была стоять беспомощно, в то время как редели ряды ее победоносной армии, от которой наконец остался почти что один скелет.

Однажды она отправилась в замок Лош, где в это время бездельничал король. Она застала его на совещании с тремя его советчиками: Робертом ле Мансоном, бывшим французским канцлером, Кристофом д'Аркуром и Жераром Машэ. Присутствовал еще Бастард Орлеанский: от него-то мы и узнали о том, что там происходило. Жанна бросилась к ногам короля и обняла его колени, сказав:

— Благородный дофин, прошу вас, не устраивайте больше этих длинных и многочисленных совещаний, но отправляйтесь — и отправляйтесь немедленно — в Реймс, чтобы возложить на себя корону. Кристоф д'Аркур спросил:

— Не Голоса ли ваши повелели вам сказать это королю?

— Да. И приказание их было настойчиво.

— В таком случае не скажете ли вы нам в присутствии короля, каким образом Голоса сносятся с вами?

Это была новая хитрая попытка вовлечь Жанну в область неосторожных признаний и опасных притязаний. Однако ничего из этого не вышло. Ответ Жанны был прост и прямодушен, и сладкоречивый епископ не нашел, к чему придаться. Она сказала, что когда она встречает людей, не верящих в ее призвание, то она уединяется и начинает молиться, сокрушаясь о людском недоверии; и вскоре над ее ухом раздается нежный шепот угнетающих Голосов: «Иди вперед, дочь Божия, и я помогу тебе!» Затем Жанна добавила: «И когда я слышу это, то неизреченная радость наполняет мое сердце».

Бастард говорил, что при этих словах лицо ее озарилось точно пламенем и что она была как в экстазе.

Жанна упрашивала, уговаривала, убеждала; она шаг за шагом отвоевывала себе землю, но все время встречала отпор со стороны совета. Она просила, умоляла, чтобы король отправился в путь. Когда они уже исчерпали все свои отговорки, то они согласились, что, пожалуй, неблагоприятно было распускать войска; но как же помочь горю теперь? Как можем мы отправиться в поход, не имея армии?

— Созовите новую, — ответила Жанна.

— Но на это уйдет шесть недель.

— Все равно — надо начать! Начнем же!

— Слишком поздно. Герцог Бедфорд, без сомнения, уже собрал солдат, чтобы усилить свои укрепления на Луаре.

— Да, а мы, к сожалению, тем временем разоружались. Но мы больше не должны терять времени. Нам надо встрепенуться.

Король возразил, что он не решился ехать в Реймс, поскольку на его пути расположены эти сильные крепости. Но Жанна сказала:

— Мы их разрушим, и ваш путь будет свободен.

На такое предложение король готов был согласиться. Он ничего не имел против этого: сиди себе в безопасном месте, пока для тебя расчищают дорогу.

Жанна вернулась в отличном настроении. Тотчас же всюду закипела жизнь. Были выпущены воззвания, устроили лагерь для приема новобранцев в Селле, в округе Берри, и со всех сторон потянулись туда и знатные рыцари, и простые солдаты.

Значительная часть мая месяца пропала попусту; и тем не менее Жанна к 6 июня собрала новую армию и была готова выступить в поход. У нее было восемь тысяч солдат. Подумайте только! Подумайте, легко ли было собрать такое войско в столь маленькой области. И притом это все были ветераны. В сущности, большинство французов были в то время солдатами: ведь войны длились уже несколько поколений. Да, большинство французов были солдатами и, надо отметить, весьма резвыми: умение бегать привилось им и личным опытом, и наследственностью; в течение почти целого столетия им то и дело приходилось бегать. Однако нельзя их за это винить. У них не было честных и умелых вождей, или, по крайней мере, таких вождей, которые находились бы в благоприятных условиях. С давних пор король и придворные привыкли вероломно поступать с полководцами; благодаря этому полководцы легко усвоили привычку пренебрегать приказами короля и идти своим путем: каждый за себя. Привести к победам это никак не могло. И вот способность к бегству стала всеобщей привычкой французских войск, что и не удивительно. Однако, чтобы превратиться в хороших воинов, этим солдатам недоставало лишь одного: вождя, который хорошо взялся бы за дело; вождя, который получил бы всю полноту власти, а не десятую долю ее, наравне с девятью другими полководцами. Теперь у них был такой вождь — полновластный, умом и сердцем готовый вести грозную и настойчивую войну; и эта война должна была принести плоды. В том не было сомнения. У них была Жанна д'Арк; и под ее предводительством они позабудут это многосложное искусство бегства.

Да, Жанна была воодушевлена. Днем и ночью она хлопотала, заглядывая во все уголки лагеря. И радовалось сердце, когда она мчалась на коне, обозревая войска, встречавшие ее восторженными криками. Всем хотелось кричать «ура», когда являлось это чудное видение молодости, красоты и грации, это воплощение отваги, энергии и решимости! Все видели, что она с каждым днем приближается к идеалу красоты — то были дни расцвета; ведь теперь ей было уже за семнадцать; почти семнадцать с половиной, а это уже, так сказать, возраст молодой женщины.

Приехали два молодых графа де Лаваль: изящные, молодые люди, имевшие родственные связи с самыми именитыми и знатными домами Франции; и они не могли успокоиться, не повидавшись с Жанной д'Арк. Король послал за ними и представил их ей; и разумеется, она не обманула их ожиданий. Ее звучный голос показался им мелодичнее флейты; а когда они увидели ее глубокие глаза и ее лицо — зеркало души, то были очарованы, как поэмой, как вдохновенной речью, как воинственным гимном. Один из них отправил домой письмо к своим родным и выразился так: «Что-то божественное есть в ее голосе и во всей ее внешности».

Как это было верно сказано; я не знаю более подходящих слов.

Увидел он ее как раз в то время, когда она готовилась выступить в поход и начать кампанию; вот что он об этом рассказывал:

«Она была вся закована в белые латы, только на голове ее был берет вместо шлема; в руке она держала небольшую боевую секиру. Когда она хотела сесть на своего рослого вороного коня, тот встал на дыбы, заметался и не подпускал ее. Она сказала: «Подведите его к кресту». Крест находился против церкви, неподалеку. И коня повели туда. Она вскочила в седло, и конь стоял теперь совершенно неподвижно, точно связанный. Затем она повернулась к дверям церкви и произнесла нежным женственным голосом: «Вы, священники и сыны Церкви! Устраивайте крестные ходы и молитесь за нас!» После того она прищипорила коня и умчалась; знамя развевалось над ней, когда она взмахнула секирой и воскликнула: «Вперед — марш!» Один из ее братьев, прибывший восемь дней назад, отправился с ней; на нем тоже были белые латы».

Я также был там и видел это; видел все, точь-в-точь как он описал. Вижу и сейчас маленькую боевую секиру, изящную шапочку с султаном из перьев, белые доспехи, и все это озарено мягкими лучами июньского вечера. Вижу так ясно, как будто это происходило вчера. И я ехал вместе со свитой — с личной свитой — со свитой Жанны д'Арк.

Молодому графу смертельно хотелось принять участие в походе, но король на этот раз не пустил его. Однако Жанна дала ему обещание. В своем письме он говорил: «Она обещала, что когда король двинется в

Реймс, то и я буду сопровождать его. Но, бог даст, мне не придется ждать так долго, и я успею побывать в сражениях».

Она дала ему это обещание, когда прощалась с герцогиней Алансонской. Герцогиня, со своей стороны, тоже просила Жанну пообещать ей кое-что, и поэтому он счел своевременным воспользоваться ее примером. Герцогиня тревожилась за своего супруга, так как она предвидела возможность ожесточенных битв; и она прижала Жанну к своему сердцу, и любовно гладила ее волосы, и говорила:

— Вы должны смотреть за ним, дорогая, и охранять его, и вернуть его мне здоровым и невредимым. Я этого требую. Я не отпущу вас, пока вы мне не обещаете.

Жанна сказала:

— Обещаю вам это от всего сердца. Это не праздные слова: я действительно обещаю вам — он вернется без единой раны. Верите ли вы? Довольны ли вы мной?

Герцогиня не была в силах ответить: она лишь поцеловала Жанну в лоб, и они расстались.

Отправились мы шестого, и первый привал сделали в Роморантене, а 9 июня Жанна торжественно вступила в Орлеан; она проезжала под триумфальными арками, встречаемая громом приветственных залпов и колыханьем бесчисленных флагов. Весь штаб сопровождал ее, поражая зрителей роскошью и блеском своих костюмов; тут были: герцог д'Алансон, Бастард Орлеанский, сьер де Буссак — маршал Франции, монсьеор де Гравиль — начальник стрелков, сьер де Кулан — адмирал Франции, Амбруаз де Лорэ, Этьен де Виньоль по прозванию Ла Гир, Готье де Брюсак и многие другие.

То был великий день: обычные возгласы приветствий, многолюдные толпы, стремление горожан взглянуть на Жанну. Но, наконец, мы пробрались к нашему прежнему жилищу, и я видел, как старый Буше, и его жена, и милая Катерина обнимали Жанну и целовали ее, — а мое сердце болело! Ведь я сумел бы лучше и дольше всех целовать Катерину, однако я, так страстно желавший этого, остался непризнанным. Ах, как она была прекрасна и мила! Я полюбил ее с первого же дня нашей встречи, и с тех пор она — моя святыня. Шестьдесят три года я ношу в своем сердце ее образ — одинокий образ, никем не замененный; и я теперь так стар, так стар! Но этот образ по-прежнему молод, свеж и весел, по-прежнему мил, очарователен, чист и божественен, как и в тот день, когда он поселился в моем сердце, принеся с собой мир и благословение, ибо он не постарел ни на один день!

ГЛАВА XXVI

На этот раз, как и раньше, король, расставаясь с полководцами, отдал им приказание: «Смотрите же, ничего не предпринимайте без согласия Девы». И на этот раз приказание было исполнено и не нарушалось ни разу во все время великой луарской кампании.

Это была перемена! Это было нечто новое, идущее вразрез с традицией! Вы видите, что в какие-нибудь десять дней эта девочка заставила уважать себя как главнокомандующего. То была победа над людским сомнением и подозрительностью, завоевание всеобщего доверия, чего на протяжении тридцати лет не мог добиться ни один из ветеранов, составлявших теперь ее штаб. Помните, когда ей было шестнадцать лет и она сама выступила в качестве своего защитника на грозном судилище, то старый судья отозвался о ней как о «дивном ребенке»? И, как видите, он не ошибся.

Эти старые воины уже не собирались сеять рознь и действовали сообща. Но в то же время среди них были еще такие, которых пугала новая, смелая тактика Жанны и которые желали бы идти иным путем. Вот почему 10 числа, пока Жанна, не щадя своих сил, строила планы и отдавала приказ за приказом, среди некоторой части полководцев опять начались те же совещания, козни и заговоры.

После полудня они собрались на свой военный совет и, поджидая Жанну, обсуждали положение. Совещание это не попало в историю; но я был там и расскажу вам все; я знаю, что вы поверите мне, так как я пишу не для того, чтобы развлекать вас праздным вымыслом.

Готье де Брюсак выступил от лица трусливой партии; а Жанну решительно поддерживали д'Алансон, Бастард, Ла Гир, адмирал Франции, маршал де Буссак и, в сущности, все остальные главные полководцы.

Де Брюсак сослался на то, что создались крайне тяжелые для нас условия; что Жаржо — первая из лежащих на нашем пути крепостей — представляет собой неприступную твердыню; что ее могучие стены покрыты щетиной копий; что там засели 7000 наилучших английских ветеранов, во главе которых стоят великий граф Суффолк и его грозные братья — Александр и Джон де ла Поль. По его мнению, намерение Жанны взять приступом подобную крепость неосуществимо по своей крайней опрометчивости и чрезмерной смелости, и Жанну необходимо убедить отказаться от этой мысли, объяснив ей все преимущества и безопасность правильной осады. Он находит, что этот новый, неистовый способ швырянья людьми в непроницаемые каменные стены, идущий вразрез с установленными законами и обычаями войны, есть не что иное...

Но он не договорил. Ла Гир тряхнул султаном своего шлема и вскричал:

— Ей-богу, она свое ремесло знает, и нечего ее учить!

И прежде чем он успел сказать еще что-нибудь, д'Алансон, Бастард Орлеанский и человек пять других вскочили со своих мест и заговорили разом, громогласно негодуя на тех людей, которые тайно или явно продолжают не доверять мудрости главнокомандующего. После того как они высказали весь свой гнев, Ла Гир улучил минуту и снова заговорил:

— Есть люди, не способные к переменам. Обстоятельства меняются, но они, эти люди, и не подозревают, что им тоже надо перемениться, приспособиваясь к обстоятельствам. Они зная себе идут по той проторенной дороге, по которой шли их отцы и деды. Пусть наступит хоть землетрясение и исковеркает всю землю; пусть дорога эта будет теперь вести к обрывам и топким болотам — эти люди так и не поймут, что им надо искать новых путей. Нет! Они с тупым упорством будут тащиться по старой дороге, где их ждет смерть и погибель. Взгляните: ведь теперь создались совершенно новые обстоятельства, они замечены оком несравненного военного гения. Нам нужна новая дорога, она найдена тем же ясным оком и указана нам. Не жив человек, не жил он и не будет жить, если он не способен этого уразуметь! Прежний порядок вещей был — поражение за поражением; а потому и войска наши были без отваги, без надежды, без страсти. Разве с ними вы решились бы напасть на каменные стены? Конечно, нет; имея таких солдат, можно было сделать только одно: засесть перед крепостью и ждать, ждать — морить врага измором. Новый порядок вещей представляет полную противоположность: воодушевленное войско, богатое рвением и отвагой, — настоящий огонь, готовый разгореться в огромный пожар! Что хотите вы сделать с ним? Сдержатъ его, укротить, погасить! Что хочет сделать с ним Жанна д'Арк? Дать ему полный простор, чтобы он поглотил врага своим пламенным вихрем! Ни в чем так не проявились великолепие и мудрость ее военного гения, как в этом быстром понимании происшедшей великой перемены и в этом быстром отыскании правильного, единственного правильного пути к успеху. С тех пор как явилась она, надо отказаться от всевозможных осад и измор-ров; надо отказаться от разных переливаний из пустого в порожнее и хождений вокруг да около; надо стряхнуть с себя леность, праздность и спячку! Нет, отныне наш военный клич — вперед, вперед, вперед! В атаку, в атаку, в атаку! Загоним врага в его логовище, дадим простор французской буре и приступом возьмем их берлогу! И мне это по душе! Жаржо? Что такое Жаржо с его стенами и башнями, с опустошительными орудиями, с семью тысячами отборных ветеранов? Жанна д'Арк во главе наших сил, и крепость обречена — Бог тому свидетель!

О! Он уничтожил их. Никто больше не предлагал доказывать Жанне, что она должна переменить образ действий. Все разногласия прекратились.

Вот пришла, наконец, сама Жанна; все встали, отсалютовали ей мечами, и она осведомилась, какое они соблаговолили вынести решение. Ла Гир сказал:

— Дело улажено. Совещались насчет Жаржо. Иные думали, что мы не справимся с этой крепостью.

Жанна засмеялась; это был тот приятный, веселый, беззаботный смех, который так непринужденно звенел и который преображал стариков в молодых. И она сказала, обращаясь ко всем:

— Не бойтесь; нечего бояться — и зачем? Смелым наступлением мы поразим англичан, вот увидите. — Затем глаза ее как будто устремились куда-то вдаль, и, вероятно, перед ее мысленным взором промелькнула родная картина, потому что она добавила тихо, словно в забытьи: — Если бы я не знала, что нас ведет Господь и что Он дарует нам победу, то я предпочла бы скорей пасти овец, чем жить среди таких опасностей.

Вечером в тот же день у нас состоялся уютный прощальный ужин — присутствовали все члены личной свиты и семья Буше. Жанны с нами не было: город устроил в ее честь торжественный вечер, и она в сопровождении полководцев отправилась туда под звон колоколов, по млечному пути потешных огней.

После ужина пришли кое-кто из знакомой нам жизнерадостной молодежи, и мы на время позабыли, что мы — воины; мы помнили только, что мы составляем общество юношей и молодых девушек и что нам можно вволю шутить и резвиться. А потому у нас были и танцы, и игры, и забавы, и взрывы веселого смеха; дурачились шумно, мило и беззаботно. Боже, Боже, как давно это было! И я тогда был молод. А по улицам все время размеренным шагом проходили солдаты: то спешили сплотиться запоздалые отряды французских сил, чтобы завтра начать трагедию на угрюмых подмостках войны. Да, в то время подобные контрасты могли уживаться бок о бок. А когда я отправлялся спать, то увидел еще один контраст: огромный Карлик, олицетворение сурового Духа войны, стоял на часах у дверей Жанны, а на его просторном плече лежал, свернувшись калачиком, спящий котенок.

ГЛАВА XXVII

Молодцевато выехали мы на следующий день из угрюмых ворот Орлеана, наши знамена развевались, а Жанна д'Арк с полководцами ехала во главе длинной колонны. Подоспели и оба молодых де Лавалья; они были прикомандированы к штабу военачальников. И они получили надлежащее место: ведь они, как внуки знаменитого рыцаря Бертраана Дюгесклена, прежнего коннетабля Франции, были воины по призванию.

Присоединились также Луи де Бурбон, маршал де Рец и видам де Шартр. Мы имели право чувствовать некоторую тревогу, так как знали, что пять тысяч солдат под командой сэра Джона Фастольфа спешат на подмогу к Жаржо, но, кажется, мы тем не менее были спокойны. В действительности армия эта была еще далеко. Сэр Джон медлил; не знаю, по каким соображениям, но только он не торопился. Он терял драгоценное время. Четыре дня он потратил в Этампе и еще четыре — в Жанвиле.

Приблизившись к Жаржо, мы сразу принялись за дело. Жанна выслала вперед отряд латников, который доблестно ринулся на передовые укрепления, закрепился там и принялся жарко отстаивать занятое место; но вскоре англичане сделали вылазку, и нашим пришлось отступать. Видя это, Жанна обратилась к солдатам с воинственным призывом и сама возглавила новую атаку, несмотря на опустошительный огонь артиллерии. Паладин, шедший рядом, был свален с ног — его ранили; но она выхватила знамя из его слабеющей руки и устремилась вперед, сквозь тучи летящих стрел и камней, крича французам, чтоб они мужались. И на некоторое время воцарился хаос — бряцала сталь, толпы людей сталкивались и боролись врукопашную, хрипло ревели пушки. Затем все это скрылось под дымным небосводом, в котором временами на мгновение открывались туманные просветы, дававшие возможность мельком увидеть происходящую трагедию; и всякий раз при этом бросалась в глаза стройная фигура в белых доспехах; она была средоточием и душой нашей надежды и веры, и, видя ее обращенной к нам спиной, а лицом к врагу, мы знали, что дело идет хорошо. Наконец, грянул могучий крик — целый хор ликующих голосов: то был верный знак, что предместья в наших руках.

Да, они принадлежали нам; неприятель был вынужден укрыться за городскими стенами. Мы расположились лагерем на завоеванной Жанной земле. Уже надвигалась ночь.

Жанна обратилась к англичанам с воззванием, обещая, что она позволит им спокойно уйти и взять своих лошадей, если они сдадутся. Многие сомневались, что она возьмет эту сильную крепость, но она знала — она была уверена; и тем не менее она предложила им эту великую милость; а ведь то была пора, когда на войне люди были беспощадны, когда обычай повелевал истреблять без всякого сострадания гарнизон и жителей взятых в плен городов — иной раз от гибели не ускользали даже невинные женщины и дети. Многие из наших соседей еще помнят о страшных жестокостях, которые Карл Смелый не так давно учинил над женщинами и детьми при взятии города Динана. Милосердие Жанны по отношению к защитникам крепости было беспримерно; но таков уж был ее обычай, такова была ее любящая и сострадательная душа: Жанна всегда старалась спасти жизнь и воинскую честь врага, если тот оказывался в ее власти.

Англичане потребовали перемирия на пятнадцать дней, чтобы обсудить ее предложение. А Фастольф между тем приближался с пятидесятысячным войском! Жанна не согласилась. Но она предложила им новую милость: пусть они удалятся через час, и тогда они могут взять не только коней, но и холодное оружие.

Но загорелые английские ветераны были упрямы. Они и от этого отказались. Тогда Жанна приказала армии приготовиться к приступу, который начнется завтра, в девять часов утра. Приняв во внимание утомительный переход и только что закончившуюся жаркую битву, Алансон сказал, что, пожалуй, час назначен слишком ранний; но Жанна возразила, что она выбрала наилучшее время и что всем следует повиноваться. И тут ее охватил порыв того восторга, который всегда был присущ ей накануне сражения, и она воскликнула:

— Трудись! Трудись! Тогда и Господь потрудится с тобой!

Да, можно было сказать, что девиз ее заключался в словах: «Трудись, не покладая рук! Вечно трудись!»; ибо во время войны она не знала, что такое праздность. И кто изберет эту заповедь и будет жить по ней, тот достигнет успеха. Много есть путей к успеху в нашем мире, но из них только один праведный — путь непрестанного труда.

Вероятно, мы в тот день лишились бы своего огромного знаменосца, если бы не наш, более огромный Карлик, который как раз подоспел, чтобы вынести его, раненного, из гущи боя. Он потерял сознание, и наша же конница затоптала бы его насмерть; однако Карлик проворно подхватил его и оттащил в тыл, где было безопасно. Через два или три часа он оправился и снова стал самим собой; и он был счастлив, и горд, он хвалился своей раной и щеголял повязкой, кичась, как наивный огромный ребенок, каковым он и был на самом деле. Своей раной он гордился гораздо больше, чем любой скромный человек гордился бы почетной смертью. Однако тщеславие его было безобидно, и никто не думал его укорять. Он говорил, что его задел камень из катапульты — камень величиной с человеческую голову. Но, конечно, камень этот постепенно увеличивался. Не успел он довести рассказ до конца, как оказалось, что враги швырнули в него целый дом.

— Предоставьте ему полную свободу, — заметил Ноэль Рэнгесон. — Не прерывайте его творчества. Завтра камень превратится в собор.

Он сказал это между прочим. И действительно, на следующий день Паладин рассказывал, как в него полетел собор. Я никогда не встречал человека с такой невероятной фантазией.

Жанна поднялась чуть свет и галопом разъезжала на своем коне туда и сюда, тщательно обзорева местность и выбирая наиболее выгодную позицию для нашей артиллерии. И она так безукоризненно верно расположила пушки, что герцог Алансонский с восторгом вспоминал об этом, когда давал показания перед Судом Восстановления, четверть века спустя.

В своих показаниях герцог Алансонский заявил, что в это утро, 12 июня, она делала распоряжения не как новичок, но «проявила уверенность и здравость суждений, словно опытный полководец, прошедший в походах лет двадцать или тридцать».

Старые французские военачальники говорили, что на войне она во всем проявляла свое величие, но что ее гений больше всего проявлялся в умении располагать артиллерию и пользоваться ею.

Кто посвятил в такие чудеса эту молодую пастушку, которая не знала грамоты и не имела случая изучить многосложную науку войны? Я не в состоянии решить эту головоломную загадку, ибо в истории прошлого нет подобных примеров — нет пробного камня. Ведь полководцы всех времен, как бы они ни были даровиты, достигали успеха только благодаря обширным познаниям, тщательному изучению дела и некоторой доли везенья. Загадка эта не будет решена во веки веков. Я думаю, что эти огромные дарования и способности были присущи ей от рождения и что она применяла их по какому-то безошибочному наитию.

В восемь часов замерло всякое движение, а вместе с ним все звуки и шумы. Воцарилось немое ожидание. От тишины этой становилось даже жутко, потому что она предвещала многое. В воздухе — ни ветерка. Флаги на башнях и траншеях повисли, словно бахрома. Все люди, которых мы видели, прервали свою работу и стояли неподвижно: чего-то ждали, к чему-то прислушивались. Мы, окружавшие Жанну, находились на возвышенности. Неподалеку от нас, по обе стороны, простирались переулки, образованные жалкими жилищами предместий. Там было видно много народу — все прислушивались, и никто не шевелился. Какой-то торговец собирался вбить гвоздь около двери своей лавки; но он остановился. Одной рукой он придерживал гвоздь, другой — занес молоток; но он забыл обо всем: он смотрел в другую сторону, прислушиваясь. Даже дети, сами того не замечая, побросали свои игры; я видел, как один мальчуган направил тросточку наклонно к земле, чтобы заставить катящийся обруч обогнуть угол дома; он тоже остановился и начал прислушиваться, а обруч покатился дальше уже по своей воле; я видел у открытого окна милостивую девочку, которая поливала из лейки красные цветы, стоявшие на подоконнике, — но вода перестала литься: девочка прислушивалась. Повсюду виднелись выразительные окаменевшие образы; повсюду было прерванное движение и царил эта грозная тишина.

Жанна д'Арк подняла свой меч. При этом знаке безмолвие было разорвано в клочья; пушки дружно извергли огонь и дым и потрясли воздух раскатистым громом. С башен и стен города сверкнули ответные стрелы огня, грянул ответный гром, и через минуту скрылись из виду и стены и башни: на их месте появились огромные пирамиды и горы белоснежного дыма, неподвижно застывшего в мертвом воздухе. Девочка вздрогнула, уронила лейку и ударила в ладоши; в то же мгновение каменное ядро растерзало ее прелестное тело.

Великий артиллерийский поединок продолжался; каждая сторона грохотала с неослабевающим усердием. Была стихийная красота в этом дыме и грохоте, внушавшая высокий подъем чувств. Несчастный городок жестоко страдал. Ядра прорывались сквозь его непрочные строения, разрушая их как карточные домики; чуть не каждую секунду можно было наблюдать, как огромная глыба летит над облаками дыма и, приближаясь к земле, проламывает крышу. Кое-где начался пожар, и вскоре к небу поднялись столбы огня и гари.

Сила артиллерии вызвала перемену погоды. Сделалось пасмурно, и поднялся сильный ветер, разогнавший дым, который скрывал английские укрепления.

Картина, представившаяся нашему взору, была чрезвычайно красива: зубчатые серые стены и башни, развевающиеся яркие флаги, длинные вереницы огненных вспышек и облачков белого дыма — все это с резкой отчетливостью вырисовывалось на фоне темно-свинцового неба. Но тут метательные снаряды начали с жужжаньем разбрызгивать грязь вокруг нас, и я не чувствовал больше желания любоваться зрелищем. Ядра одной из английских пушек все чаще и чаще падали на нашу позицию. Вдруг Жанна указала на пушку и произнесла:

— Дорогой герцог, перейдите на другое место, иначе это орудие убьет вас.

Герцог Алансонский исполнил ее просьбу; но на его место тотчас перешел мосье де Люд, и через мгновение ядро оторвало ему голову.

Все время Жанна выжидала удобную минуту для начала наступления. Наконец, в девять часов она воскликнула:

— Пора — идите на приступ! — И рога затрубили атаку. Тотчас мы увидели, как отряд солдат двинулся вперед к

тому месту, где огнем наших пушек была на значительном протяжении разрушена верхняя половина стены; на наших глазах этот отряд спустился в ров и начал приставлять штурмовые лестницы. Алансон полагал, что для приступа время еще не созрело. Жанна возразила:

— Дорогой герцог, неужели вы боитесь? Разве я не обещала вернуть вас домой невредимым?

Во рву началась жаркая работа. Наверху стен толпилось множество солдат, и они осыпали нас тучами камней. Какой-то великан-англичанин один причинял нам больше вреда, чем дюжина его собратьев. Он все норовил стоять над местами, наиболее для нас достижимыми, и швырял вниз огромные смертоносные камни, которые сокрушали и лестницы и людей; и всякий раз он чуть не надрывался от хохота, радуясь своей удаче. Но герцог свел с ним счеты: он отошел и, разыскав знаменитого пушкаря Жана из Лотарингии, сказал ему:

— Наведи хорошенько пушку и убей мне вон того дьявола. Тот сделал это с первого выстрела. Он угодил англичанину прямо в грудь и сбросил его со стены в город.

Враг сопротивлялся столь успешно и упорно, что наши солдаты начали проявлять признаки сомнения и беспокойства. Заметив это, Жанна возгласила свой вдохновляющий боевой клич и сама спустилась в ров, причем Карлик ей помогал, а Паладин отважно сопровождал, неся знамя. Она бросилась вверх по лестнице, но увесистый камень ударил по ее шлему и сбросил на землю, раненную и оглушенную. Но лишь на одно мгновение. Карлик поставил ее на ноги, и тотчас она снова устремилась вверх по лестнице, крича:

— На приступ, друзья, на приступ! Англичане побеждены! Пробил назначенный час!

Войско хлынуло на крепость, грянул гром боевых кликов, и мы, словно муравьи, начали взбираться на стены. Гарнизон обратился в бегство. Мы преследовали. Жаржо в наших руках!

Граф Суффолк был зажат и окружен со всех сторон. Герцог д'Алансон и Бастард Орлеанский потребовали, чтобы он сдался. Но он был настоящий воин и представитель гордого народа. Он отказался вручить свой меч людям, занимающим подчиненное положение.

— Скорее умру, — сказал он, — но не сдамся никому, кроме Орлеанской Девы.

И он сдался ей. Она отнеслась к нему учтиво и встретила на правах почетного пленника.

Оба его брата отступали, не переставая сражаться, шаг за шагом; мы теснили их отчаявшийся отряд, истребляя англичан десятками. Так мы добрались до моста, но бойня продолжалась. Александр де ла Поль упал через перила и утонул. Тысяча сто людей пали в этой схватке. Джон де ла Поль решил прекратить борьбу. Но он был так же горд, как его брат, Суффолк, и почти так же щепетилен в выборе лица, которому он должен сдаться. Ближе всех стоял французский офицер Гильом Рено, упорно на него наседавший. Сэр Джон спросил у него:

— Вы дворянин?

— Да.

— Рыцарь?

— Нет.

Тогда сэр Джон тут же, на мосту, посвятил его в рыцари, прочитав обычную в этих случаях формулу с присущим англичанам хладнокровием и невозмутимостью, между тем как кругом них люди убивали и калечили друг друга. По окончании обряда он поклонился с изысканной учтивостью и, взяв свой меч за лезвие, вложил рукоять его в руку француза в знак того, что он сдается. Да, гордое племя эти де ла Поли.

То был день великий и достопамятный, день блестящей победы. Нами было захвачено множество пленных, но Жанна не позволила бы причинить им какой-либо вред. Взяв их с собой, мы на следующий день вернулись в Орлеан, встреченные обычной бурей приветствий и ликования.

И на этот раз на долю нашей предводительницы выпали новые проявления любви: во время проезда по улицам города к ней со всех сторон протискивались новобранцы, желавшие прикоснуться к мечу Жанны д'Арк и воспринять хоть частицу тех таинственных свойств, которые делали этот меч непобедимым.

ГЛАВА XXVIII

Войскам необходим отдых. На это было дано два дня.

Утром, 14 числа, я писал под диктовку Жанны в маленькой комнате, которую она иногда превращала в частный свой кабинет, если желала уединиться от официальных посетителей, отнимавших у нее время. Вошла Катерина Буше, присела на скамью и сказала:

— Жанна, дорогая моя, я хотела бы поговорить с тобой.

— Это меня несколько не огорчает, напротив, я рада. Что у тебя на уме?

— А вот что: я почти целую ночь не могла заснуть, размышляя об опасностях, которым ты себя подвергаешь. Паладин рассказал мне, как ты попросила герцога посторониться, когда кругом летали пушечные ядра, и этим спасла ему жизнь.

— И я поступила правильно, не правда ли?

— Правильно ли? Конечно. Но ты сама осталась на месте. К чему ты это делаешь? Только случайно ты спаслась от гибели.

— О, вовсе нет. Мне не грозила никакая опасность.

— Жанна, как ты можешь так говорить! Ведь смертоносные снаряды все время летели вокруг тебя, и тебе постоянно грозила гибель.

Катерина не унималась. Она сказала:

— Опасность была ужасная, и я не вижу, чтобы тебе было необходимо там оставаться. И опять-таки ты повела войска на приступ. Жанна, не значит ли это искушать Промысел Божий? Я хочу взять с тебя слово. Я хочу, чтоб ты обещала мне предоставлять другим вести солдат на приступ, сама же ты должна беречь себя во время этих страшных сражений. Обещаешь?

Но Жанна отговаривалась и обещания не давала. Некоторое время Катерина сидела взволнованная и встревоженная и наконец сказала:

— Жанна, неужели ты навсегда останешься солдатом? Эти войны все длятся и длятся. Им конца не видно.

В глазах Жанны вспыхнул радостный огонь, и она воскликнула:

— Настоящий поход в четыре дня выполнит самую тяжелую часть предстоящей работы. А остальное будет не столь жестоко, крови будет пролито гораздо меньше! Да, через четыре дня Франция завоюет новый трофей, подобный спасению Орлеана, и сделает второй великий шаг на пути к свободе!

Катерина вздрогнула (я тоже); затем она устремила на Жанну долгий, как бы зачарованный взгляд и бессознательно пробормотала: «Четыре дня, четыре дня». Наконец она спросила тихо и с оттенком боязни:

— Скажи мне, Жанна, откуда ты это знаешь? По-видимому, ты что-то знаешь.

— Да, — ответила Жанна задумчиво, — я знаю. Я знаю. Я нанесу еще один удар, и еще один. И прежде чем закончится четвертый день, я нанесу третий удар.

Она замолчала. Мы сидели изумленные и бессловесные. Это продолжалось целую минуту: она смотрела на землю, и губы ее беззвучно шевелились. Потом раздалась следующая, едва слышная фраза: «И могущество англичан не возродится во Франции и через тысячу лет после этого удара».

Мурашки забегали у меня по спине. Была какая-то тайна в словах Жанны. Она опять находилась в состоянии ясновидения (для меня это было очевидно), как в тот день, когда среди пастбищ Домреми предсказала нам, мальчикам, нашу судьбу, а сама и не знала этого. Она и теперь говорила бессознательно, но Катерина, не догадываясь об этом, сказала, захлебываясь от счастья:

— О, я верю этому, верю! И я так рада! Ты тогда вернешься к нам и останешься у нас на всю жизнь, и мы будем тебя так любить и ласкать!

Едва заметная судорога пробежала по лицу Жанны, и задумчивый голос промолвил:

— Не пройдет и двух лет, как я умру жестокой смертью!

Я вскочил и предостерегающе поднял руку, иначе Катерина закричала бы. Я видел, что она вот-вот вскрикнет. Я прошептал ей, чтобы она вышла из комнаты и никому не говорила о происшедшем. Я сказал, что Жанна спит и бредит сквозь сон. Катерина ответила мне шепотом:

— Ах, я так рада, что это был лишь сон! Это так походило на пророчество. — И с этими словами она ушла.

Походило на пророчество! Я-то знал, что это было действительно пророчество. И я сидел, заливаясь слезами, так как теперь я знал, что скоро мы лишимся Жанны. Немного погодя она вздрогнула, пришла в себя и, осмотревшись, увидела меня в слезах; она вскочила с кресла и подбежала ко мне в порыве участия и сострадания; она положила руку мне на голову и сказала:

— Бедный мой мальчик! Что с тобой? Взгляни же на меня и объясни.

Мне пришлось солгать. Я решил на это не без борьбы, но другого выхода не было. Взяв со стола какое-то старое письмо, бог знает кем присланное и не помню что заключавшее, я сказал, что сейчас получил его от отца Фронта, который сообщает, что наше возлюбленное Древо Фей срублено каким-то извергом и что...

Мне не пришлось договорить. Она выхватила письмо из моей руки, просмотрела его сверху донизу, поворачивая его так и сяк, и зарыдала; слезы текли по ее щекам, она все время восклицала: «Ах, жестокий, жестокий! Нашелся же такой бессердечный человек! Ах, прощай наше L'Arbre Fee Bourlemont — мы, дети, так любили тебя! Покажи мне то место, где он об этом говорит!»

И я, доводя ложь до конца, показал ей мнимо роковые слова на мнимо роковой странице, и она глядела на эти буквы сквозь слезы и говорила, что она «по одному виду» узнала бы их: такие они злые и противные.

Тут в коридоре раздался громкий голос, возвестивший:

— Гонец от его величества короля с письмами к превосходительной госпоже, главнокомандующему французской армией!

ГЛАВА XXIX

Я знал, что ей явилось видение Древа. Но когда? Этого я не мог знать. Без сомнения, еще до того, как она просила короля воспользоваться ее помощью и сказала, что ей осталось потрудиться только один год. Тогда я не догадался, теперь же я был убежден, что она говорила с королем уже после видения Древа. Очевидно, она получила тогда счастливое предзнаменование, иначе она не была бы столь весела и жизнерадостна, как в последние дни. Напоминание о смерти не показалось ей горестным; нет — то было лишь знамение, что близок конец изгнания и что ей позволено вернуться домой.

Да, она видела Древо. Никто не принял к сердцу то предсказание, которое она возвестила королю; и причина понятна — никто не хотел принять его к сердцу; все желали, напротив, забыть об этом порицании, отречься от него. И всем удалось — все, до самого конца, будут спокойны и безмятежны. Все, кроме меня одного. Я должен носить с собой эту страшную тайну, не делаясь ни с кем своим бременем. Тяжелое бремя, горький удел; каждый день будет приносить мне новые сердечные муки. Она обречена на смерть; и ждать осталось недолго. А я и не предвидел этого. Да и как мог я предугадать, когда Жанна была так сильна, бодр и молода и с каждым днем приобретала все большее право на спокойную и почетную старость? Должен сказать, что в то же время долголетие казалось мне благоденствием. Не знаю почему, но я держался такого мнения. Вероятно, молодежь по своему невежеству и суеверию всегда так думает. Жанна видела Древо. В ту мучительную ночь меня неотступно преследовал отрывок старинной песни:

И если мы, в чужих краях,
Будем звать тебя с мольбой,
Со словами скорби на устах, —
То осени ты нас собой!..

Но на рассвете звуки труб и барабанный бой нарушили дремотную тишину утра. Подъем! На коней, и в путь! Жаркая работа предстояла нам.

Не останавливаясь, мы дошли до Менга. Там мы приступом взяли мост и оставили для его защиты отряд солдат; остальное войско на другое утро отправилось дальше, к Божанси, где властвовал лев Тальбот, гроза французов. Когда мы подошли к этой крепости, то англичане отступили, а мы расположились в покинутом городе.

Жанна расставила пушки и обстреливала замок до самого вечера. Тут подоспело известие: Ришмон, коннетабль Франции (потерявший милость короля главным образом вследствие злых происков ла Тремуиля и его единомышленников), спешил с большим войском на помощь к Жанне, а в помощи она весьма нуждалась, ибо Фастольф был теперь недалеко. Ришмон еще раньше хотел присоединиться к нам — во время нашего первого орлеанского похода. Но скудоумный король, послушный раб своих низменных советчиков, приказал ему держаться подальше и заявил, что мириться с ним не станет.

Я говорю об этих подробностях, ибо считаю их важными. Значение их в том, что они проясняют еще одно, дотоле не проявлявшееся свойство замечательного разума Жанны — прозорливость государственного человека. Никто не ожидал открыть это дарование у необразованной деревенской девушки семнадцати с половиной лет. Но она обладала им.

Жанна предпочитала встретить Ришмона как можно сердечнее; того же мнения держались и Ла Гир, и молодые де Лавали, и остальные военачальники. Но герцог Алансонский решительно и упорно восстал против этого. Он говорил, что, имея от короля безусловный приказ отстранять Ришмона и отвергать его услуги, он будет принужден покинуть армию, если приказ этот окажется нарушенным. А это поистине было бы тяжелое и великое бедствие. Однако Жанна взялась убеждать герцога, что спасение Франции должно стоять выше всех мелочей — даже выше приказаний венценосцев. И она достигла успеха. Она убедила его нарушить повеление короля ради блага отечества, помириться с графом Ришмоном и встретить его доброжелательно. Это была государственная заслуга — высочайшая и непогрешимая. В характере Жанны д'Арк можно найти все черты того, что люди называют великим, — стоит только присмотреться.

Рано утром 17 июня разведчики донесли о приближении Тальбота и Фастольфа, вспомогательное войско которого успело соединиться с англичанами. Забили барабаны, призывая к оружию. Мы выступили навстречу неприятелю, а Ришмон со своим войском остался в Божанси, охраняя замок и заменяя его гарнизон. Постепенно перед нами начали развертываться силы неприятеля. Фастольф пытался убедить Тальбота, что благоразумнее всего было бы на этот раз отступить, распределив новобранцев по английским крепостям на берегах Луары, чтобы усилить их гарнизоны, а затем — ждать; ждать подкреплений из Парижа; утомить армию Жанны ежедневными безрезультатными стычками; и наконец, выбрав удобную минуту, напасть внезапно на ее войско и уничтожить французов. Мудрый и опытный полководец был этот Фастольф. Но неистовый Тальбот и слышать не хотел ни о каких промедлениях. Он не мог без бешенства вспомнить о

своим поражением под Орлеаном и о дальнейших победах Девы, и он поклялся Богом и святым Георгием покончить с нею, хотя бы ему пришлось сражаться одному. И Фастольф был вынужден уступить; однако он сказал, что они теперь рискуют потерять все то, что англичане завоевали многолетним трудом и многократными победами.

Неприятель занял сильную позицию и выстроился в боевом порядке, расположив впереди себя лучников, защищенных частоколом.

Надвигалась ночь. От англичан прислан был гонец с дерзким вызовом и предложением вступить в бой. Но Жанна вполне сохранила свое достоинство и не проявила ни малейшего раздражения. Она сказала герольду:

— Иди назад и скажи, что нынче слишком поздно начинать сражение; но завтра, если будет на то воля Господа и Царицы Небесной, мы сойдемся лицом к лицу в битве.

Ночь была темная и дождливая. Начался тот мелкий упрямый дождь, который бесшумно стелется по земле и поселяет в душе человека настроение безмятежного спокойствия. Около десяти часов д'Алансон, Бастард Орлеанский, Ла Гир, Потон де Сентрайль и еще два или три полководца явились в палатку главнокомандующего и принялись обсуждать с Жанной положение дел. Иные сожалели, что Жанна отказалась от сражения, другие — нет. Потон спросил, почему она отказалась. Она ответила:

— Причин было несколько. Англичане все равно наши; они от нас не ускользнут. Значит, нам незачем было рисковать, как случалось при иных обстоятельствах. День уже почти закончился. Нам нужен и отдых и свет, потому что силы наши на исходе: не забывайте, что девятьсот наших солдат с маршалом де Рецем остались сторожить в Менге мост, а тысяча пятьсот под командой коннетабля Франции охраняют мост и замок в Божанси.

Дюнуа сказал:

— Я скорблю об этой убыли наших сил, превосходительная госпожа, но тут ничего не поделаешь. И в этом отношении дело завтра ничуть не переменится.

Жанна ходила взад и вперед. Она мило, по-товарищески засмеялась и, остановившись перед этим старым боевым тигром, положила руку ему на голову и прикоснулась к одному из перьев его султана.

— Скажите, к которому перу я прикоснулась?

— Никак не могу, превосходительная госпожа.

— Во имя Господа! Бастард, Бастард, вы не в состоянии разъяснить мне этот пустяк, а в то же время отваживаетесь предрекать нечто великое: вы рассуждаете о том, что сокрыто в чреве еще не народившегося утра, вы говорите, что войска эти не соединятся с нами. А я думаю, что они успеют к нам примкнуть.

Эти слова поразили военачальников. Всем хотелось узнать, почему она так думает. Но вмешался Ла Гир и сказал:

— Оставьте. Она так думает, и этого довольно. Значит, так и будет.

Тогда Потон де Сентрайль спросил:

— Вы сказали, превосходительная госпожа, что были и другие причины, побудившие вас отказаться от битвы, не так ли?

— Да. Одна из причин заключается в том, что ввиду недостаточности наших сил и близости вечера битва могла бы окончиться вничью. А чтобы начать сражение, надо иметь уверенность, что сражение это должно быть выиграно. В завтрашней победе я уверена.

— Дай-то бог, аминь. Нет ли еще каких-нибудь причин?

— Да, еще одна. — И после минутного колебания Жанна промолвила: — Нынче не тот день. Назначено на завтра. Так предначертано.

Они собирались осыпать ее жадными вопросами, но она, подняв руку, остановила их. Затем она сказала:

— Это будет самая доблестная и благодетельная победа, какую Господь когда-либо даровал Франции. Прошу вас, не допытывайтесь, откуда и как я узнала об этом, но довольствуйтесь сознанием, что это правда.

На всех лицах можно было прочесть выражение радости, убежденности и безграничного доверия. Началась непринужденная беседа, вскоре, однако, прерванная гонцом с передовых постов; он принес известие, что уже в течение часа в английском лагере происходит какое-то суетливое движение, несвойственное такому позднему времени и необычное среди отдыхающего войска. Послали разведчиков, чтобы, пользуясь покровом дождя и ночи, узнать, в чем дело. И вот они только что вернулись, сообщая, что им удалось заметить многочисленные отряды солдат, осторожно крадущиеся по направлению к Менгу.

Полководцы крайне удивились, как легко было заметить при взгляде на их лица.

— Они отступают, — сказала Жанна.

— Похоже на то, — отозвался д'Алансон.

— Очевидно, — заметили Бастард и Ла Гир.

— Этого нельзя было ожидать, — сказал Луи де Бурбон, — но цель их поступка легко угадать.

— Да, — ответила Жанна. — Тальбот образумился. Его горячность охладилась. Он замышляет воспользоваться мостом в Менге и спастись на тот берег реки. Он знает, что при этом он оставляет свой гарнизон в Божанси на произвол судьбы — пусть, мол, отбиваются от нас как умеют; у него нет иного способа избежать сражения, и это он тоже знает. Однако он моста не получит. Мы об этом позаботимся.

— Да, — сказал д'Алансон, — мы должны последовать за ним и воспрепятствовать ему. Но как же Божанси?

— Относительно Божанси положитесь на меня, милый герцог. Я возьму крепость в какие-нибудь два часа и притом без кровопролития.

— Вы правы, превосходительная госпожа. Вам придется только передать им эту новость, и они сдадутся.

— Да. На рассвете я подоспею к вам в Менг вместе с коннетаблем и его полуторатысячным войском; а когда Тальбот узнает о взятии Божанси, то он будет изрядно ошеломлен.

— О, еще бы! Клянусь обедней! — вскричал Ла Гир. — Он соединится с гарнизоном Менга и двинется к Парижу. А тогда мы получим назад не только тот отряд, что стоит у моста, но и нашу стражу из Божанси. Таким образом, мы получим к началу тяжелого трудового дня подкрепление в две тысячи четыреста отличных солдат, как это и было нам здесь обещано меньше чем час тому назад. Поистине этот англичанин сам предупреждает наши желания и избавляет нас от излишнего кровопролития и тревоги. Приказывайте, превосходительная госпожа, мы ждем ваших приказаний!

— Они несложны. Предоставьте солдатам отдыхать еще три часа. В час пополудни должен выступить под вашей командой авангард; Потон де Сентрайль пусть будет вашим помощником. Второй отряд двинется в два часа, под командованием герцога Алансонского. Держитесь в тылу врага и старайтесь избегать боя. Я поеду в Божанси в сопровождении стражи и покончу там дела настолько быстро, что еще до рассвета догоню вас вместе с коннетаблем Франции, и его войско соединится с вашим.

Она сдержала свое слово. Ее стража оседлала лошадей, и мы поехали под проливным дождем, взяв с собой пленного английского офицера, который мог бы подтвердить правдивость сообщения Жанны. Путь был недолог, и вскоре мы остановились против замка, требуя сдачи. Ришар Гетэн, лейтенант Тальбота, удостоверившись, что он и его пятьсот солдат оставлены на произвол судьбы, признал сопротивление бесполезным. Он не мог ожидать легких условий, однако Жанна была великодушна. Гарнизону было позволено взять с собой лошадей и оружие, и каждый человек мог унести имущества на одну серебряную марку. Они могли отправляться, куда им угодно, но обязывались не братья за оружие до истечения десятидневного срока.

До рассвета мы успели снова соединиться с нашей армией; с нами был и коннетабль и почти весь его отряд, ибо в замке Божанси мы оставили лишь незначительный гарнизон. Впереди слышны были далекие раскаты пушечных выстрелов: Тальбот начал атаковать мост. Но еще прежде чем рассвело, звуки эти прекратились и более не повторялись.

Гетэн послал гонца, которому Жанна дала пропуск для беспрепятственного проезда через наши войска; он должен был известить Тальбота о сдаче крепости. Он, конечно, опередил нас. Тальбот теперь счел за лучшее повернуть в другую сторону и отступить к Парижу. Когда наступил день, то он уже исчез; вместе с ними ушли лорд Скэльс и гарнизон Менга.

В эти три дня мы поживились на славу, прибрав к рукам великолепные крепости англичан, те крепости, которые столь уверенно и столь давно грозили Франции — вплоть до нашего прибытия.

ГЛАВА XXX

Когда наконец наступило утро этого приснопамятного дня — 18 июня, то, как я уже сказал, мы не могли нигде обнаружить присутствие врага. Но это меня нимало не тревожило. Я знал, что мы найдем его и что мы нанесем ему обещанный удар — тот удар, после которого владычество англичан во Франции не возродится и через тысячу лет, как предсказала Жанна в минуту ясновидения.

Враг устремился в необъятные равнины Ла-Босы — бездорожной пустыни, поросшей кустарником и кое-где затененной кучками деревьев; в этой местности войско могло очень быстро скрыться из глаз. Мы напали на следы, отпечатавшиеся на мягкой и влажной земле, и направили по ним свой путь. По этим следам было видно, что отступление происходило в полном порядке: ничто не указывало на смятение или панику.

Однако нам надлежало соблюдать осторожность. Местность была такова, что мы очень легко могли попасть в засаду. Поэтому Жанна отправила вперед отряды конницы под начальством Ла Гира, Потона и еще некоторых полководцев; они должны были разведать дорогу. Некоторые из вождей начали проявлять беспокойство: такая игра в прятки тревожила их, и они несколько утратили свою уверенность. Жанна отгадала их настроение и воскликнула с нетерпением:

— Во имя Господа! Чего вы хотите? Мы должны разбить этих англичан — и разобьем их. Они не ускользнут от нас. Мы доберемся до них, хотя бы они спрятались под облака.

Мы понемногу приближались к Патэ: до города оставалось около одного лье. Вдруг наши разведчики, осторожно пробиравшиеся через кусты, спугнули оленя, который, помчавшись прочь, в одно мгновение скрылся из виду. А через какую-нибудь минуту вдалеке, со стороны Патэ, раздался дружный крик многих голосов. Кричали английские солдаты. Они столько времени просидели в крепости, питаясь затхлыми припасами, что были не в состоянии сдержать свой восторг, когда увидели бегущую к ним лакомую дичину. Бедный олень — он причинил зло тому народу, который горячо его любил. Ибо теперь французы знали, где находятся англичане, но англичане и не подозревали о присутствии французов.

Ла Гир остановил свой отряд и послал нам известие. Жанна сияла от радости. Герцог Алансонский сказал ей:

— Отлично. Мы нашли их. Не начать ли нам сражения?

— Хороши ли ваши шпоры, герцог?

— К чему это? Разве они обратят нас в бегство?

— *Nenni, en nom de Dieu!* Никогда, с нами Бог! (*фр.*) Англичане в наших руках; они погибли. Они побегут. Чтобы догнать их, нужно иметь хорошие шпоры. Вперед! Сомкнись!

К тому времени, как мы соединились с Ла Гиrom, англичане заметили нас. Войско Тальбота шло, разбившись на три отряда. Впереди его авангард; затем артиллерия; и наконец, основные силы, значительно отставшие. Тальбот уже покинул заросли и находился на открытом месте. Он тотчас расставил артиллерию, авангард и пятьсот отборных лучников вдоль нескольких живых изгородей, мимо которых французам пришлось бы идти; он надеялся удержать за собой эту позицию, пока подоспеет его основной отряд. Сэр Джон Фастольф гнал отставший отряд галопом. Жанна, осознав благоприятность минуты, приказала Ла Гиру атаковать с ходу. Тот не заставил себя долго ждать и, как всегда, вихрем полетел со своей бешеной конницей.

Герцог Алансонский и Бастард хотели устремиться вслед за ним, но Жанна сказала:

— Пока рано. Подождите.

И они ждали, нетерпеливо ерзая в своих седлах. Но она была спокойна: она смотрела вперед, обдумывая, взвешивая, вычисляя — с точностью до минут, до доли минуты, до секунд. В ее глазах, в повороте головы, в благородной осанке — во всем сказывалось присутствие ее великой души; но она была терпелива, спокойна, она владела собой и — была хозяином положения.

А впереди, все удаляясь и удаляясь, мчалась грозная орда безбожников Ла Гиры; колыхались султаны на шлемах, и ясно выделялась его высокая фигура с поднятым, как древко знамени, мечом.

Кто-то пробормотал в порыве восторга:

— Взгляните на сатану, несущегося со своими полчищами!

Вот он приблизился, приблизился вплотную к стремящемуся вперед отряду Фастольфа.

Вот он нанес удар, могучий удар, породивший смятение среди неприятеля. Герцог и Бастард привстали на стременах, чтобы видеть происходящее; они повернулись к Жанне и сказали, задрожав от волнения:

— Пора!

Но она подняла руку, продолжая присматриваться, взвешивать и обдумывать, и возразила снова:

— Нет еще, подождите.

Боевой отряд Фастольфа бешено стремился, точно лавина, к ожидавшему его авангарду. Но стоявшие солдаты вдруг вообразили, что войско Фастольфа в панике бежит от Жанны; ряды их дрогнули, и в одно мгновение они сами побежали, охваченные безумным страхом, а Тальбот, ругаясь и проклиная, полетел за ними.

Наступил долгожданный миг. Жанна пришпорила коня и мечом дала знак наступать. «За мной!» — воскликнула она и, пригнувшись к шее лошади, помчалась быстрее ветра.

Мы ринулись вслед за этой беспорядочно бегущей толпой и в течение трех часов резали, кололи, рубили. Наконец рога протрубили «стой!».

Битва при Патэ закончилась нашей победой.

Жанна д'Арк сошла с коня и остановилась, задумчиво обозревая страшное поле сражения. Потом она сказала:

— Благодарение Господу: могуч был сегодня удар Его десницы.

Немного погодя она подняла лицо и, устремив глаза вдаль, произнесла, как будто размышляя вслух:

— Тысячу лет, тысячу лет после этого удара не воспрянет во Франции английская мощь.

И снова она замолчала, погрузившись в думы; наконец, она повернулась к своим полководцам, стоявшим поодаль; лицо ее просветлело, в глазах загорелся благородный огонь, и она промолвила:

— О друзья, друзья! Сознаете ли вы? Франция находится на пути к свободе!

— И только благодаря Жанне д'Арк! — сказал Ла Гир, шествуя мимо нее и отвешивая ей глубокий поклон; остальные полководцы последовали его примеру. Я слышал, как он пробормотал на ходу: «Я не

отказался бы от своих слов, хотя бы меня грозили спровадить за это ко всем чертям!» Затем мимо Жанны прошли, один за другим, отряды нашей победоносной армии, неистово крича: «Ура! Да здравствует Орлеанская Дева!» А Жанна улыбалась и салютовала им своим мечом.

Мне еще раз довелось увидеть в тот день Жанну на кровавом поле сражения при Патэ. Под вечер я встретил ее в том месте, где грудями и кучами лежали мертвые и умирающие; наши солдаты смертельно ранили одного из английских пленников, который был слишком беден, чтобы заплатить выкуп. Она издали видела, как совершилось это жестокое дело; она поскакала к тому месту и тотчас послала за священником. Теперь она положила голову умирающего врага к себе на колени и утешала его в минуту смерти словами участия и ласки, как будто она была его родная сестра; и женские слезы все время текли по ее щекам *Лорд Рональд Гоуэр («Joan of Arc», стр. 82) говорит: «Мишле нашел этот рассказ среди показаний оруженосца Жанны д'Арк, Луи де Конта, который, вероятно, был очевидцем этой сцены». Это верно. Настоящий эпизод был приведен автором «Личных воспоминаний о Жанне д'Арк», когда он выступил в качестве свидетеля на Суде Восстановления в 1456 году. — М. Т. .*

ГЛАВА XXXI

Жанна сказала правду: Франция была на пути к свободе.

Война, именуемая Столетней, была теперь опасно больна; недуг начался с английской стороны — в первый раз со времени рождения этой распри, начавшейся девяносто один год тому назад.

Надлежит ли нам оценивать сражения числом убитых и размерами причиненных бедствий? Или же мы должны судить о них по вытекающим из них следствиям? Всякий скажет, что величие или ничтожество сражения определяется только его последствиями. И с этим согласится каждый, потому что это — истина.

Если судить по результатам, то битву при Патэ надо отнести к немногим наиболее великим и знаменательным сражениям, какие происходили с тех самых пор, как люди впервые начали прибегать к оружию для решения своих споров. При такой оценке возможно даже, что битва при Патэ не имеет себе равной в числе этих немногих, а стоит особняком, как величайшее из исторических столкновений. Ведь когда она началась, то Франция лежала измученная, при последнем издыхании; положение ее было безнадежно, по мнению всех политических врачей. Через три часа битва кончилась — и Франция выздоравливала. Здоровье ее пошло на поправку, и полное восстановление сил зависело только от времени и от обычного ухода. Самый плохой врач должен был это заметить; и никто не мог этого отрицать.

Многие смертельно больные народы достигали выздоровления путем целого ряда сражений, утомительной стезей опустошительных войн, тянувшихся многие годы. Но только один народ исцелился в один день, после одной битвы. Народ этот — французы, битва — Патэ.

Не забывайте этого и гордитесь, ибо вы — французы, а это событие — наиболее достопамятная запись в длинных летописях вашего отечества. Вот стоит оно, головой достигая облаков! Когда вы вырастите, то совершите паломничество на поле сражения при Патэ и, остановившись, обнажите голову. Перед чем? Перед памятником, вознесшимся главой до облаков? Да. Ибо все народы во все времена воздвигали мавзолеи на полях своих сражений, чтобы увековечить память о происшедшем здесь деянии и оградить от забвения имя героя. А Франция — забудет ли она Патэ и Жанну д'Арк? Ненадолго. И соорудит ли она достойный памятник, который находился бы в соответствии с памятниками других сражений и героев мира? Может быть, если хватит места под небосводом.

Взглянем же назад и присмотримся к некоторым необычным и знаменательным событиям. Столетняя война началась в 1337 году. Она бушевала долго, из года в год; и наконец, после страшного бедствия при Креси, Англия повалила обессиленную Францию. Но Франция поднялась и продолжала бороться, год за годом, пока не пала снова под страшным ударом — при Пуатье. Еще раз собрала она остаток своих сил, и война опять бушевала и бушевала, год за годом, десятилетие за десятилетием. Дети рождались, вырастали, женились, умирали — а война продолжалась; их дети в свою очередь вырастали, женились и умирали — а война продолжалась. Народилось третье поколение и, возмужав, опять увидело Францию поверженной, на этот раз после беспримерно бедственного сражения при Азенкуре, а война все продолжалась из года в год, и с течением времени эти дети тоже женились.

Франция представляла собой обломок, руину, пустыню. Половина ее принадлежала Англии, и с этим никто не решался спорить; другая половина не принадлежала никому — через три месяца там развевалось бы английское знамя, ибо король французов был готов бросить свою корону и бежать в заморские страны.

И вот из далекой деревни явилась невежественная крестьянская девушка и бросила вызов этой беспощадной войне, этому всепожирающему огню, который опустошал страну в течение трех поколений. И тогда начался самый быстротечный и удивительный поход, какой только записан на страницах истории. Он закончился в семь недель. В семь недель Жанна смертельно изувечила эту ужасную войну, это

девяностолетнее чудовище. Под Орлеаном она ошеломила его могучим ударом, а при Патэ раздробила ему спинной хребет.

Подумайте об этом! Да, подумать можно, но понять? Это — другое дело: никто и никогда не будет в силах объяснить это поразительное чудо.

Семь недель, и лишь изредка — кровопролитие, да и то небольшое. Сражение при Патэ было, пожалуй, самое кровопролитное за все время похода: из шести тысяч англичан две тысячи погибли в бою. Говорят, что во время только трех битв — при Креси, Пуатье и Азенкуре — было убито сто тысяч французов, не считая тысячи остальных сражений этой долгой войны. Печален список мертвецов Столетней войны — их перечень бесконечен. Десятками тысяч приходится считать погибших в сражениях. От беспощадных жестокостей и от голода жертвы исчисляются — страшно сказать — миллионами.

Эта война была словно людоед, который около столетия бродил по стране, пожирая людей, и кровь их капала из его пасти. И девочка семнадцати лет своей слабой рукой повергла его ниц; и вот он лежит, распростертый, на поле сражения при Патэ и никогда не поднимется снова, пока жива наша старушка Франция.

ГЛАВА XXXII

Великое известие о Патэ, говорят, в каких-нибудь двадцать часов разнеслось по всей Франции. Об этом я ничего не знаю; но одно несомненно: лишь только человек узнавал эту новость, он бежал сообщить ее соседу, крича и прославляя Бога; сосед в свою очередь бежал к ближайшему дому; и так, от одного к другому, от второго к третьему, неумоимо передавалась летящая новость. А если кто узнавал ее среди ночи, то вскакивал с постели и разносил дальше эти благие слова. И радость, сопутствовавшая им, была подобна тому свету, который озаряет землю, когда солнечный лик освобождается от затмения. И действительно, Франция все это долгое время была омрачена как бы затмением; она была окутана глубоким мраком, который теперь разгонялся этим благодатным известием, долженствовавшим вскоре превратиться в ослепительный свет.

Весть о нашей победе заставила бегущего врага устремиться в Иевиль; но город восстал против англичан, своих властелинов, и закрыл ворота перед их собратьями. Неприятель бежал в Мон-Пипо, в Сен-Симон, во всевозможные английские крепости; и гарнизон сейчас же поджигал укрепления и рассеивался по полям и лесам. Отряд нашей армии занял Менг и разграбил город.

Когда мы приехали в Орлеан, то население обезумело от радости раз в пятьдесят больше прежнего, а это много значило. Только что стемнело, и так великолепны и многочисленны были зажженные огни, будто мы плыли по морю пламени. А сколько шума: толпа, кричащая до хрипоты, грохотание пушек и звон колоколов!.. Никогда еще не было ничего подобного. И со всех сторон доносился новый возглас, который при вступлении отряда в городские ворота превратился в настоящую бурю: «Привет Жанне д'Арк!.. Дорогу Спасительнице Франции!» Были и другие крики: «Отмщение за Креси! Отмщение за Пуатье! Отмщение за Азенкур! Вечная слава Патэ!»

Они чуть не обезумели. Вы не можете себе и представить, как они шумели. Пленники ехали в середине нашей колонны. Когда народ увидел своего непобедимого старого врага, так долго заставлявшего его плясать под свою мрачную боевую музыку, то началось нечто невероятное — я не в состоянии описать этот оглушительный рев. Они были так рады видеть англичан, что хотели тут же схватить их и повесить. Поэтому Жанна приказала подвести их к передовой части отряда, чтобы они могли ехать под ее защитой. То было поразительное зрелище.

ГЛАВА XXXIII

Да, Орлеан был в чадю блаженства. Жанна пригласила короля и делала приготовления к торжественной встрече, но он не приехал. Он тогда был еще рабом, а ла Тремуйль — повелителем. Повелитель и раб оба жили в это время в замке повелителя, в Сюлли-на-Луаре.

В Божанси Жанна дала обет примирить коннетабля Ришмона с королем. Она повезла Ришмона в Сюлли-на-Луаре и выполнила свое обещание.

Пять великих подвигов совершила Жанна д'Арк:

- 1) Снятие осады.
- 2) Победа при Патэ.
- 3) Примирение в Сюлли-на-Луаре.
- 4) Венчание короля.
- 5) Бескровный поход.

Обратимся же теперь к бескровному походу (и к коронации). Жанна победоносно прошла через вражескую область от Жьена до Реймса, и оттуда — до ворот Парижа; с начала похода и до самого конца его она брала все английские города и крепости, стоявшие на пути. И осуществила она это исключительно могуществом своего имени, не пролив ни единой капли крови; в этом отношении ее поход является, быть может, самым таинственным в истории человечества. Это был самый славный из ее военных подвигов.

Наиболее важным деянием Жанны было примирение. Никто другой не осуществил бы этого, и, по правде говоря, никто из власть имущих не желал пытаться. По своему уму, по обширности военных знаний, по государственному опыту коннетабль Ришмон был даровитейший человек во всей Франции. Его преданность была выше подозрений (и этим он резко отличался от прочих представителей суетного и недобросовестного французского двора).

Возвратив Ришмона Франции, Жанна тем самым безусловно обеспечила успешное окончание предпринятого ею великого дела. В первый раз она увидела Ришмона, когда тот явился к ней со своим маленьким войском. Неудивительно ли, что она с первого взгляда угадала в нем именно того человека, который был способен довести до конца ее труды, завершить их и упрочить навеки? Почти ребенок — каким образом она сумела это сделать? Объяснить это можно тем, что у нее был «зрячий глаз», как выразился один из наших рыцарей. Да, у нее был этот великий дар — пожалуй, самый возвышенный и редчайший дар среди людей. То, что оставалось теперь совершить, уже не представляло каких-либо необычайных трудностей; однако нельзя было предоставить заключительную работу окружавшим короля идиотам. Ибо для этого нужно было проявить государственную мудрость, и предстояла упорная, терпеливая борьба с врагом. В течение четверти века время от времени еще должны были происходить небольшие сражения, и смысленный предводитель мог бы с этим справиться без ущерба спокойствию всей страны. И мало-помалу, приобретая с каждым днем все большую уверенность, французы окончательно изгнали бы англичан.

И это сбылось. Под влиянием Ришмона король со временем превратился в человека: в человека, в короля, в отважного, способного и решительного воина. Через шесть лет после Патэ он сам руководил атакой, сам сражался во рвах перед крепостными стенами, стоя по пояс в воде, сам взбирался по штурмовым лестницам под жесточайшим огнем, и своим бесстрашием он мог бы заслужить похвалу самой Жанны. Понемногу он и Ришмон совершенно спровадили англичан, изгнав их даже из тех областей, где народ был покорен ими лет триста назад. В этих областях нужно было действовать мудро и осторожно, так как англичане были честными и справедливыми правителями, а население, привыкшее к разумным порядкам, не всегда стремится к переменам.

Какое из пяти великих деяний Жанны надлежит признать главным? Я думаю, что каждое из них поочередно было таковым. Другими словами, взятые в совокупности, они равносильны одно другому, и ни одно из них не было важнее остальных.

Понимаете? Каждое ее деяние было восходящей ступенью. Исключить одно — значило бы сделать восхождение невозможным; несвоевременное совершение одного из деяний тоже привело бы к неудаче. Вспомните коронацию. Где вы найдете в истории другой такой же перл дипломатического искусства? Понимал ли король огромную важность сего события? Нет. А его министры? Нет. А прозорливый Бедфорд, представитель английской короны? Нет. Неисчислимо драгоценное преимущество было перед глазами короля и Бетфорда; король мог смелым ударом завоевать преимущество; Бетфорд мог завладеть им без малейшего труда; но они не оценили этой возможности, и никто из них не протянул руки. Из всех мудрых и высоких сановников Франции только одному была известна неизмеримая ценность этой незамеченной награды — тем сановником была необразованная семнадцатилетняя девушка, Жанна д'Арк; и она оценила ее сразу и заговорила о ней с самого начала как о существенной цели своего посланничества.

Как узнала она? Ответ простой: она была крестьянка. Этим объясняется вся суть дела. Она вышла из народа и знала народ; те, остальные, вращались в сферах более высоких и об окружающем знали немного. Мы не привыкли считаться с этой неопределенной, бесформенной, недвижимой массой, с этой могучей силой низов, которую мы называем народом — почти презрительное имя. Странно такое отношение: ибо мы, в сущности, знаем, что прочен только тот престол, который поддерживается своими подданными; стоит устранить эту опору — и ничто в мире не предохранит трон от падения.

Вдумайтесь теперь в то, что я вам скажу, и поймите, насколько это важно. Во что верит поп, в то верит и приход; приходжане любят своего священника и чтут его; он — их неизменный друг, их бесстрашный защитник, их утешитель, их помощник в годину бедствий; он пользуется их неограниченным доверием; что бы он ни приказал им, они исполняют слепо и беспрекословно, не останавливаясь ни перед какими жертвами. Подведите теперь внимательный итог всему этому: что получится? А вот что: приходский священник правит народом. Что станет с королем, если приходский священник откажет ему в поддержке и перестанет признавать его власть? Он будет только тенью, а не королем; ему придется отречься от престола.

Уловили вы мою мысль? В таком случае идем дальше. Священник рукополагается грозной десницей Господа, возлагаемой на будущего пастыря Его избранным представителем на земле. Это посвящение в сан

неотъемлемо: ничто не может его отменить, никакая сила не может отнять то, что дано. Ни Папа и никакая другая власть не может лишить священника его сана; этот сан дарован Богом, он свят и незыблем навеки. Все это известно неторопливому уму прихожан. Для священника и для прихожан помазанный Божий является носителем сана, значение которого неоспоримо и несокрушимо. В глазах приходского священника и в глазах его подданных, народа, некоронованный король — лишь подобие избранника, несущего священные обязанности, но в них не утвержденного; он не имеет должности, он не рукоположен, и на его место могут назначить другого. Одним словом, невенчанный король — сомнительный король; но если Господь избрал его, а служитель Господа, епископ, помазал его на царство, то все сомнения исчезают: священник и паства с этих пор становятся его верноподданными и всю свою жизнь будут признавать королем только его.

В глазах Жанны д'Арк, крестьянской девушки, Карл VII до своего коронования не был королем; для нее он был только дофин, то есть наследник. Если я где-нибудь написал, будто она называла его королем, то это была ошибка: она до самой коронации иначе не величала его, как дофин. Благодаря этому вы можете видеть как в зеркале (а Жанна именно была зеркалом, в котором ясно отражались низы французского населения), что для всей этой огромной, незамечаемой силы, которую мы называем народом, он до коронования своего был не король, а только дофин; а после венчания он сделался королем бесспорно и бесповоротно.

Теперь вы поймете, каким исполинским ходом на политической шахматной доске была коронация. Бедфорд со временем понял это и попытался исправить ошибку, короновав своего короля; но какую пользу это могло бы принести? Никакой решительно.

Кстати, раз я заговорил о шахматах: все великие деяния Жанны могут быть уподоблены этой игре. Каждый ход был сделан своевременно, и каждый ход был велик и плодотворен именно потому, что был сделан в надлежащее время. Каждый ход в отдельности казался важнейшим; но конечный итог показал, что все они были в равной степени необходимы и важны. Вот порядок всей игры:

1. Первый ход Жанны: Орлеан и Патэ — шах.
2. Следующий ход: примирение, но она не объявляет шаха, потому что это был ход для занятий позиций, и его выгода должна была проявиться впоследствии.
3. Следующий ход: коронация — шах.
4. Затем поход без кровопролития — шах.
5. Последний ход (после ее смерти): примиренный коннетабль Ришмон становится ближайшим сподвижником французского короля — шах и мат.

ГЛАВА XXXIV

Луарский поход как бы открыл дорогу в Реймс. Теперь уже не было достаточных причин, чтобы откладывать коронацию. Коронация довершила бы то дело, которое было возложено на Жанну самим Небом; а затем она навсегда отказалась бы от войны, умчалась бы домой, к своей матери, к своим стадам овец и на всю жизнь осталась бы у домашнего очага, в обители счастья. Об этом она мечтала: не зная ни минуты покоя, она нетерпеливо ждала, когда же сбудутся ее грезы. Она так всецело отдалась этому настроению, что я начал сомневаться в ее дважды повторенном пророчестве об ожидающей ее преждевременной смерти; и конечно, почувствовав эти сомнения, я с радостью за них ухватился и предоставил им полную свободу.

Король боялся двинуться в Реймс, потому что дорога была усеяна английскими укреплениями, как верстовыми столбами. Жанна относилась к этим крепостям пренебрежительно, считая, что теперь, при изменившихся условиях, когда англичане утратили всякую самоуверенность, опасаться решительно нечего.

И она была права. Поход в Реймс оказался подобен праздничной поездке. Жанна не взяла с собой даже пушек, ибо была слишком уверена, что их не пришлось бы пустить в дело. Из Жиана мы выступили в количестве двенадцати тысяч. Это было 29 июня. Дева ехала рядом с королем; по другую сторону короля сопровождал герцог Алансонский. За герцогом следовали три других принца крови. За ними ехали Бастард Орлеанский, маршал де Буссак и адмирал Франции. Затем Ла Гир, Сентрайль, Тремуиль и длинная вереница рыцарей и дворян.

Мы остановились на три дня перед Оксером. Горожане снабдили наше войско припасами, и к королю являлась депутация, но мы не вошли в сам город.

Сен-Флорентен открыл королю свои ворота.

4 июля мы прибыли в Сен-Фаль; а по ту сторону раскинулся перед нами Труа — город, наполнивший жгучим любопытством нас, молодежь, ибо мы помнили, как семь лет назад, на пастбищах Домреми, явился к нам Подсолнечник с черным флагом и принес позорную весть о заключенном в Труа договоре, о том договоре, который предавал Францию во власть англичан и отдавал замуж за «азенкурского мясника» дочь нашего королевского дома. Конечно, бедный город не был виноват; тем не менее воспоминание о прошлом разожгло нашу досаду, и мы надеялись, что здесь произойдут какие-нибудь столкновения — нам страстно хотелось пойти на город приступом и сжечь его дотла. Там был сильный гарнизон, состоявший из

английских и бургундских солдат; кроме того, они ждали подкреплений из Парижа. До наступления вечера мы расположились лагерем против городских ворот, и устроенная неприятелем вылазка доставила нам кое-какую работу.

Жанна предложила городу Труа сдаться. Комендант, видя, что у нее нет артиллерии, осмелел ее требование и прислал ей грубо оскорбительный ответ. Пять дней продолжались совещания и переговоры. Никакого решения. Король готов был повернуть назад и махнуть рукой. Он боялся идти дальше, оставив позади себя столь сильную крепость. Но тут заговорил Ла Гир, и его слова наделили щелчком некоторых советников его величества:

— Орлеанская Дева предприняла этот поход по собственному побуждению; и мне думается, что в этом деле надо прислушиваться только к ее мнению, а не к словам других лиц, хотя бы и самых высокопоставленных и знатных.

Это было сказано мудро и справедливо. И вот король послал за Девой и спросил ее, как она видит будущее. Она ответила без малейшего оттенка сомнения или нерешимости в голосе:

— Через три дня город будет нашим.

Тут нарядный канцлер вставил свое словечко:

— Имей мы в этом уверенность, мы бы готовы прождать здесь хоть шесть дней.

— Шесть дней — отлично! Во имя Господа, сударь мой, завтра же мы войдем в город.

Затем она села на коня и поскакала вдоль рядов, восклицая:

— Готовьтесь! За работу, друзья, за работу! На рассвете пойдем на приступ!

В эту ночь она трудилась без устали, не щадя своих рук, как простой солдат. Она приказала забросать ров фашинами и связками хвороста, чтобы образовать подобие моста; и в этой тяжелой работе она приняла участие наравне с мужчинами.

На рассвете она заняла место во главе войска, идущего на приступ, и рога затрубили атаку. В то же мгновение на городской стене затрепетал под дуновением ветра флаг перемирия, и Труа сдался без выстрела.

На следующий день король, имея рядом с собой Жанну и сопровождаемый Паладином, который нес ее знамя, торжественно вступил в город во главе своей армии. И армия эта была превосходна, ибо она с каждым днем разрасталась все больше и больше.

Но вот случилось нечто странное. По условиям заключенного с городом договора гарнизон из английских и бургундских солдат получил разрешение унести с собою свою «собственность». И это было вполне справедливо, потому что иначе как бы они могли достать себе необходимое пропитание? Прекрасно. Солдаты эти должны были все пройти через одни и те же ворота, и в назначенный для их ухода час мы, молодые парни, отправились туда посмотреть; Карлик присоединился к нам. Вот потянулись они нескончаемой вереницей; впереди шли пехотинцы. При их приближении мы заметили, что каждый из них несет на своей спине тяжесть, непомерно объемистую и увесистую для сил одного человека; и мы говорили друг другу, что люди эти, видимо, нажились не в пример бедным, простым солдатам. Но что же оказалось, когда они подошли еще ближе? Каждый из этих негодяев тащил на спине пленного француза! Они, видите ли, уносили свои «вещи», свою «собственность», в точности воспользовавшись разрешением, которое было дано договором.

Подумайте только, как это было хитро, как находчиво! Что могла возразить, что могла поделаться стража? Ведь эти люди, без сомнения, пользовались своим правом. Пленники составляли их собственность: этого никто не мог отрицать. Дорогие мои, если бы то были пленные англичане, то какая получилась бы богатая добыча! Ибо в течение столетия пленники-англичане составляли большую редкость и ценились высоко; а пленные французы — другое дело: они встречались в изобилии на протяжении целого века. Обладатель пленного француза вообще недолго берег его как источник выкупа, но чаще всего убивал, чтобы не тратиться на его содержание. Это показывает вам, как невысоко тогда ценилась такая добыча. Когда мы взяли Труа, то теленок стоил тридцать франков, баран — шестнадцать, а пленный француз — восемь. За животных платили огромные деньги — неудивительно, если цена эта вам покажется невероятной. Но помните, что тогда была война. Влияние войны сказывалось двояко: мясо становилось дороже, пленники — дешевле.

Итак, несчастных французов уносили прочь. Что мы могли поделаться? Едва ли мы могли добиться чего-нибудь путного, но мы исполнили все, что было в наших силах. Снарядили гонца, и он помчался к Жанне с известием, а мы вместе с французской стражей остановили шествие и начали переговоры — вы понимаете, надо было выиграть время. Какой-то рослый бургундец потерял терпение и, издав проклятие, сказал, что его никто не посмеет остановить: он таки пойдет и возьмет с собою пленника. Однако мы загородили ему дорогу, и он убедился в своей ошибке: уйти было невозможно. Тогда он разразился самой безумной и кощунственной руганью и, сняв пленника со спины, поставил его на землю, связанного и беспомощного; затем он вынул свой нож и сказал нам с торжествующей злобой во взгляде:

— Вы говорите, я не имею права его унести? Однако он принадлежит мне, и с этим никто не будет спорить. Раз я не могу унести его отсюда — эту принадлежащую мне вещь, — то можно распорядиться иначе. Да, я могу ведь убить его: величайший олух среди вас и тот не станет отрицать этого права. Об этом вы и не подумали. Паршивцы!

Бедный, изможденный пленник глазами молил нас о спасении; потом он заговорил и сказал, что дома у него остались жена и маленькие дети. Подумайте, как обливались кровью наши сердца. Но что мы могли поделать? Бургундец был прав. Мы могли только просить и заступаться за пленника. Так мы и поступили. А бургундец злорадствовал. Он остановил руку с занесенным ножом, чтобы упиваться нашими мольбами и издеваться над ними. Этим он задел нас за живое. Тогда Карлик сказал:

— Позвольте-ка, господа молодые, я потолкую с ним; уж если что кому нужно растолковать, так я на этот счет мастер — всякий так скажет, кто имел со мной дело. Усмехаетесь? Так и надо за мое хвастовство, поделом. Однако я все-таки побалуясь немного — самую малость.

С этими словами он подошел к бургундцу и повел тихую, спокойную речь, отменно доброжелательную и незлобивую; между прочим, упомянул он о Деве и только что начал говорить о том, как она по доброте своего сердца оценила бы и восхвалила бы тот милосердный поступок, который он...

Он не договорил. Бургундец перебил его гладкую речь оскорблением, направленным против Жанны д'Арк. Мы бросились вперед, но Карлик с побагровевшим лицом отстранил нас и сказал важно и торжественно:

— Прошу вас воздержаться. Кто ее почетный телохранитель? Предоставьте это дело мне.

И, сказав так, он внезапно протянул правую руку и схватил огромного бургундца за горло, так что тот повис во весь рост.

— Ты оскорбил Деву, — сказал Карлик, — а Дева — это Франция. Язык, дерзнувший на это, должен умолкнуть навсегда.

Слышно было, как затрещали кости. Глаза бургундца вылезли из орбит и вперили в пространство свинцовый, бессмысленный взгляд. Лицо его потемнело и сделалось густо-багровым. Его руки безжизненно повисли, все тело вздрогнуло и стало дряблым; мускулы утратили свою упругость и замерли. Карлик разжал руку, и неподвижное мертвое тело грузно повалилось на землю.

Мы развязали пленника и сказали ему, что он свободен. В одно мгновение его жалкая приниженность сменилась безумной радостью, а безысходный ужас уступил место ребяческой ярости. Он подбежал к мертвецу и принялся пинать его ногами, плевать ему в лицо; он плясал на нем, набивал рот его грязью, хохотал, издевался, проклинал, выкрикивал проклятия и всевозможные низости, словно опьяневший слуга сатаны. Это можно было ожидать: солдатская жизнь не приучает к святости. Многие зрители хохотали, иные были равнодушны, но никто не удивлялся. Но вот, увлекшись своей безумной пляской, освобожденный узник подпрыгнул слишком близко к остановившейся веренице, и второй бургундец проворно всадил нож ему в шею; с предсмертным криком он полетел наземь, и ярко-алая струя крови брызнула вверх на целых десять футов, сверкнув, точно луч света. И враги и друзья разразились веселым хохотом. На этом и закончилось одно из самых «приятных» приключений моего многоцветного военного поприща.

Тут подоспела Жанна, запыхавшаяся, взволнованная. Услышав о притязаниях гарнизонов, она сказала:

— Право на вашей стороне. Это ясно. Неосторожно было включать в договор условие, толкование которого слишком обширно. Но вы не должны уводить этих бедных людей. Они — французы, и я этого не допущу. Король их выкупит, всех до единого. Подождите, пока я пришлю от него извещение; и не смейте тронуть ни единого волоса на их голове, ибо я говорю вам: за это вы заплатите очень дорого.

Дело уладилось. Пленники хоть на некоторое время были теперь в безопасности. А Жанна поспешно поехала назад и предъявила королю решительное требование, не обращая внимания ни на какие отговорки или уловки. Король наконец сказал, что пусть она поступает, как ей угодно; и она тотчас вернулась и, выкупив пленников от имени короля, отпустила их на свободу.

ГЛАВА XXXV

Именно здесь нам привелось снова увидеть великого королевского дворецкого, в замке которого гостила Жанна, когда она, едва придя из деревни, вынуждена была терять время в Шиноне. Теперь она с разрешения короля дала ему в Труа должность городского бальи.

Вскоре мы двинулись в дальнейший поход; Шалон сдался нам. Здесь, недалеко от Шалона, случилось, что во время беседы Жанне задали вопрос: не боится ли она за будущее? Да, отвечала она: надо опасаться одного — предательства. Кто поверил бы этому? Кому могла бы пригрезиться подобная нелепость? А между тем ее слова отчасти оказались пророческими. Поистине человек есть жалкое животное.

Мы шли вперед, шли без остановки; и наконец 16 июля мы увидели нашу цель: далеко впереди высились большие башни Реймского собора! Многократное «ура» пронеслось по рядам нашего войска.

Жанна д'Арк остановила свою лошадь и, с ног до головы закованная в белые латы, смотрела вперед, мечтательная, прекрасная, и на лице ее изобразилась глубокая-глубокая радость; то не была земная радость — о нет! Жанна была во власти Небес, она уподобилась бесплотному духу! Как посланница Небес, она почти исполнила свою задачу — исполнила ее безупречно. Завтра она могла бы сказать: «Кончено — и теперь отпустите меня на свободу».

Мы расположились лагерем, и начались хлопотливые, шумные, суетливые приготовления к торжествам. Прибыл архиепископ во главе многочисленной депутации, а за ним потянулись толпами горожане и жители сел: они кричали «ура», несли знамена, привели с собой музыкантов, и море восторга, волна за волной, влилось в наш лагерь; люди опьянели от счастья. И Реймс неустанно работал всю ночь, стуча молотками, украшая город, сооружая триумфальные арки и одевая старинный собор внутри и снаружи великолепием богатейшего убранства.

На другое утро мы двинулись спозаранку; коронационные торжества должны были начаться в девять и продолжаться пять часов подряд. Мы знали, что английские и бургундские солдаты гарнизона окончательно отказались от мысли сопротивляться Деве, и что ворота гостеприимно откроются перед нами, и весь город встретит нас восторженными приветствиями.

Утро было восхитительное, ярко-солнечное, но в то же время прохладное, освежающее и бодрящее. Войско было в парадной форме, и на него любо было смотреть, когда оно, покинув лагерь, начало развертываться, как змея, и выступило в свой последний мирный коронационный поход.

Жанна, красовавшаяся на своем черном коне и окруженная личной свитой во главе с герцогом Алансонским, остановилась, чтобы в последний раз сделать смотр войскам и проститься с ними, ибо она не собиралась снова сделаться когда-нибудь воином или состоять на службе с этими солдатами или с другими. Этот день она считала последним. Войска знали об этом и были уверены, что они в последний раз созерцают девственное чело своего непобедимого маленького вождя, своей любимицы, которой они так гордились и которую в глубине сердца возвели в высокое звание «дщери Господа», «Спасительницы Франции», «Любимицы Победы», «Оруженосца Христа»; они наделяли ее и другими еще более нежными прозвищами, которые были подобны проявлениям наивной и щедрой ласки, знакомой лишь детям любвеобильных родителей. И вот теперь мы увидели нечто новое, что было порождено волнением, которое разделялось и Жанной, и ее воинством. Во время прежних парадов воодушевленные солдаты, отряд за отрядом, шли мимо главнокомандующего, оглашая воздух громом ликующих приветствий; никто не шел с поникшей головой, глаза у всех сверкали, а барабанщики и музыканты исполняли победоносный гимн; но на этот раз не было ничего подобного. Можно было бы, закрыв глаза, почувствовать себя в обители мертвецов, если бы не один только звук. Кроме звука этого, ничто не нарушало тишины летнего воздуха: то был глухой топот марширующего войска. Солдаты, проходя мимо Жанны сомкнутыми рядами, прикладывали правую руку к виску, ладонью наружу (такова была форма отдания чести), и в их взглядах, устремленных на Жанну, можно было прочесть немое: «Да благословит тебя Бог» и «Прощай»; и каждый старался подольше не терять ее из виду. Пройдя мимо Жанны, они долго еще не опускали рук — в знак благоговейного уважения. Каждый раз, как Жанна подносила к глазам платок, на лица солдат набегала скорбная тень.

Смотр войскам, одержавшим победу, обыкновенно поселяет в сердце безумную радость; но на этот раз сердце готово было надорваться от тоски.

Вскоре мы поехали к жилищу короля: он поселился во дворце архиепископа. Вот он кончил свои сборы, и мы помчались галопом, чтобы занять место во главе армии. К этому времени со всех сторон начали стекаться жители окрестных сел: они запрудили дорогу с обеих сторон, желая взглянуть на Жанну, — повторилось то же самое, что мы привыкли видеть с первого же дня нашего первого похода. Путь наш лежал через луг, и крестьяне разделили этот луг двойными шпалерами. Они стояли вдоль всей дороги, образовав с обеих сторон широкую многоцветную кайму; все крестьянские девушки и женщины были в белых кофтах и в ярко-красных юбках. Создавалось такое впечатление, как будто перед нашими глазами тянулись две бесконечные гирлянды из лилий и маков. И вот через такие шпалеры нам приходилось проезжать все эти дни. То не была дорога, окаймленная гордо стоящими цветами, — нет: цветы эти всегда были коленопреклоненны; эти люди-цветы стояли на коленях, обратившись лицом к Жанне д'Арк, простирая к ней руки и проливая благодарные слезы. И те, что стояли в передних рядах, непрестанно обнимали ее ноги, целовали их и припадали к ним орошенным слезами лицом. Ни разу в течение тех дней я не видел, чтобы кто-нибудь — мужчина или женщина — не стал на колени при ее проезде или забыл обнажить голову. Впоследствии, во время Великого суда, эти трогательные проявления народных чувств были положены в основу обвинения. Она была предметом народного обожания, а это доказывало, что она — еретичка; вот в чем обвинил ее этот несправедливый суд.

Приблизившись к городу, мы увидели весело развевающиеся флаги и черные толпы народу на башнях и на длинных извилинах городских стен. Воздух дрожал от пушечных выстрелов и застилался клубами белого дыма. Торжественно вступили мы в ворота и двинулись шествием по улицам города; позади нас шли в

праздничных костюмах все гильдии и цехи, неся свои значки; ликующий народ теснился повсюду; люди собирались у окон, взбирались на крыши; балконы были увешаны дорогими многоцветными тканями. Со всех сторон нам махали белыми платками, казалось, вокруг снежная буря!

Имя Жанны было введено в церковные молитвы — почет, до сих пор принадлежавший только королевскому дому. Но на ее долю выпала и другая почеть, хотя и скромная, но более близкая ее сердцу и более достойная гордости: простой народ выбил в ее честь свинцовые медали с ее изображением и гербом и носил их как священный талисман. Эти медали можно было видеть повсюду.

Из архиепископского дворца, против которого мы остановились и где должны были жить король и Жанна, послали в церковь аббатства Сен-Реми (Святого Ремигия), расположенного недалеко от ворот, через которые мы вошли в город; надо было принести оттуда святую ампулу, то есть сосуд со священным миром. Это миро было не из земного масла: оно было приготовлено на Небе, как и самый сосуд. Сосуд с заключенным в нем миром был принесен с Неба голубем. Он был прислан святому Ремигию, когда тот собирался крестить короля Хлодвига, пожелавшего принять христианство. Я знаю, что это — правда. Я еще давно знал об этом по рассказам отца Фронта, в Домреми. Я не в состоянии описать вам, какое неизведанное, боязливое чувство охватило меня, когда я смотрел на этот сосуд и знал, что я собственными глазами вижу вещь, действительно побывавшую на Небе; вещь, которую, быть может, созерцали ангелы и, конечно, Сам Господь, ибо Он послал ее. И я видел эту вещь — *я!* Я мог бы даже прикоснуться к ней. Но я боялся, ибо я не мог быть уверенным, что Господь не прикасался к сосуду. По всей вероятности, Он к нему прикоснулся.

Из этого сосуда Хлодвиг был помазан на царство; и с тех пор все короли Франции принимали от него миропомазание. Да, со времен самого Хлодвига; а этому уже будет девятьсот лет. Итак, я уже сказал, что послали за сосудом со священным миром. Мы остались ждать. Я верил, что без этого сосуда коронация не была бы коронацией.

Но чтобы получить сосуд, надо было совершить унаследованный от глубокой старины обряд: в противном случае аббат Сен-Реми, преемственный и бессменный хранитель святого мира, не отдал бы его. И вот, исполняя обычай, король отрядил пятерых знатных дворян: они должны были, надев великолепные доспехи и украсив своих коней богатой упряжью, поехать в церковь аббатства в качестве почетной свиты архиепископа Реймского и его каноников, которым предстояло спросить от имени короля священный сосуд. Пятеро знатных рыцарей снарядились в путь; но прежде чем отправиться, они стали рядом на колени и, молитвенно сложив руки, поклялись своей жизнью, что они в полной сохранности привезут священный сосуд и что после помазания короля на царство они в сохранности вернут святыню в церковь Сен-Реми. Архиепископ и его подчиненные отправились к аббатству, сопровождаемые этой рыцарской свитой. Архиепископ был в торжественном облачении, в митре и с крестом в руке. У входа в Сен-Реми они остановились и приготовились принять святой сосуд. Вскоре раздались тихие звуки органа и хорового пения. В сумраке церкви показалась длинная вереница зажженных свечей. Появился аббат в священном ризах, неся фиал; за ним шли его прислужники. Он вручил сосуд архиепископу, соблюдая различные церемонии; затем началось обратное шествие. Впечатление было величественное, ибо все время они продвигались среди мужчин и женщин, которые лежали ниц по обе стороны дороги и молчаливо молились, страшась присутствия грозной святыни, побывавшей на Небе.

Высокоторжественное посольство прибыло к большим западным вратам собора; и при входе архиепископа благоуханный дым фимиама разнесся под сводами огромной церкви. Храм был битком набит — народу было несколько тысяч. Только вдоль всей середины был оставлен широкий проход. Архиепископ и его каноники шествовали среди расступившегося народа, а за ними следовали пятеро рыцарей в роскошных доспехах, держа знамена со своими гербами, и все на конях!

Да, это было величавое зрелище! Всадники, едущие под огромными сводами храма, где длинные лучи света, проходя сквозь расписные окна, создают богатую игру красок. Где еще можно увидеть картину столь торжественную!

Они подъехали к самому клиросу — на четыреста футов от двери, как мне говорили. Тут архиепископ отпустил их, и они ответили глубоким поклоном, так что перья их султанов прикоснулись к шеям лошадей; затем они заставили своих гордых, гарцующих и нетерпеливых животных пятиться к выходу — это вышло торжественно и грациозно; у самых дверей они подняли коней на дыбы, повернули их, пришпорили и умчались.

На несколько минут воцарилась тишина — молчаливое ожидание; такое глубокое водворилось безмолвие, что, казалось, все эти тысячи людей вдруг погрузились в непробудный сон — ухо могло уловить малейшие звуки вроде жужжания мух. Затем сразу хлынула могучая волна созвучий: четыреста серебряных труб слились в богатой мелодии. И вот под стрельчатым сводом высоких западных дверей показались Жанна и король. Медленно продвигались они среди бури приветствий. Взрывы ликующих возгласов смешивались с густым ревом органа и с перекатными волнами торжественного песнопения, доносившегося с хор. Сзади Жанны и короля шествовал Паладин, развернув знамя; он был великолепен: держался надменно и

молодцевато, ибо он знал, что народ глядит на него и подмечает пышное парадное облачение, надетое поверх его лат.

Рядом с ним шел сьер д'Альбре, наместник коннетабля Франции, и нес королевский меч.

Вслед за ними шли по порядку старшинства, одетые с королевской роскошью, представители светских пэров Франции; тут были три принца крови, Ла Тремуйль и молодые братья де Лаваль.

Затем следовали представители духовных пэров: архиепископ Реймский, епископы Лаонский, Шалонский, Орлеанский и еще один.

Дальше шествовал великий штаб военачальников: тут были все наши знаменитые полководцы, и каждому хотелось на них взглянуть. Среди оглушительного шума можно было все-таки расслышать возгласы, по которым легко было бы найти двоих из них: «Да здравствует Бастард Орлеанский! Сатане Ла Гиру вечная слава!»

Торжественная процессия дошла до назначенного места, и начались таинства коронования. Долги были они и внушительны: молитвы, фимиамы, проповеди — словом, не забыли ни о чем, что приличествовало случаю; и Жанна все время стояла рядом с королем, держа свое знамя. Наконец, наступила торжественная минута: король прочитал присягу и принял помазание святым миром; подошел пышно одетый сановник, сопровождаемый пажами и служителями; он нес на подушке корону Франции и, преклонив колена, предложил ее королю. Карл, по-видимому, колебался, в том не было сомнения: он протянул руку и остановился — пальцы его, готовые взять корону, застыли в воздухе. Но это продолжалось только одно мгновение, хотя и одно мгновение кое-что значит, когда из-за него останавливаются сердца двадцати тысяч людей и замирает их дыхание. Да, только одно мгновение, а затем он встретил взгляд Жанны и увидел в ее глазах всю радость ее великой, благодарной души; и он улыбнулся ей, и взял корону Франции, и движением, полным изящества и королевского величия, поднял ее и возложил себе на голову.

Как вдруг все загудело! Крики ликования и задранные возгласы, хоровые гимны и гул органа. А за пределами храма — колокольный звон и грохот пушек!

Исполнилась фантастическая мечта девочки-крестьянки — невероятная мечта, несбыточная: свергнуто английское владычество, и коронован наследник Франции.

Жанна словно преобразилась: Божественной радостью светилось ее лицо, когда она пала на колени у ног короля и смотрела на него сквозь слезы. Губы ее дрожали, и нежной, тихой, прерывистой речью зазвучали ее слова:

— Теперь, о милостивый король, сбылось повеление Господа, чтобы вы пришли в Реймс и приняли ту корону, которая по праву принадлежит только вам, и никому другому. Свершилось то, что было на меня возложено; окажите мне милость — отпустите меня домой, к моей матери.

Король поднял ее и тут же, в присутствии многолюдной толпы, с подобающим благородством воздал хвалу ее великим подвигам; и он утвердил ее в дворянском звании и во всех ее титулах, поставив ее наравне с носителями графского достоинства; он назначил ей свиту и определил состав ее подчиненных соответственно ее сану. После того он сказал:

— Вы спасли корону. Говорите, требуйте, назначайте. Какова бы ни была ваша просьба, она будет исполнена, хотя бы для этого пришлось разорить королевство.

Это было сказано благородно, по-королевски. Жанна тотчас опустила снова на колени и сказала:

— В таком случае, милостивый король мой, изреките милосердное слово: молю вас, отдайте приказ, чтобы деревня моя, обедневшая и перенесшая столько невзгод в продолжение войны, была освобождена от податей.

— Быть по сему. Продолжайте.

— Это все.

— Все? Ничего, кроме этого?

— Это все. Других желаний нет у меня.

— Но ведь это все равно что ничего, это даже меньше того! Просите — не бойтесь.

— Поистине ни о чем не могу просить, милостивый король. Не принуждайте меня. Я ничего не желаю, кроме этого одного.

Король, видимо, недоумевал и на некоторое время замолчал, как бы стараясь всецело понять и почувствовать причину такого странного бескорыстия. Потом он поднял голову и сказал:

— Она завоевала королевство и венчала короля; и то, о чем она просит, то, что она согласна принять, предназначено другим, а не ей. И она права: ее поступок соразмерен с душевным величием того, чей ум и чье сердце является сокровищницей, которая своими богатствами далеко превосходит все дары короля, всю казну его. Да сбудется так, как желает она. И я предписываю, чтобы отныне Домреми, родное село Жанны д'Арк, Освободительницы Франции, по прозванию Орлеанской Девы, отныне и вовеки веков освобождалось от всех податей.

И ответом на его слова была торжествующая песнь серебряных труб.

Вы теперь видите, что Жанна, вероятно, предчувствовала эту сцену, когда среди пастбищ Домреми на нее нашло вдохновение; мы еще спросили ее, чего она потребовала бы у короля, если бы он когда-либо предложил ей назначить свою награду. Было ей тогда видение или нет — неизвестно, но событие это показывает, что и среди головокружительных почестей, которые теперь выпали на ее долю, она осталась той же простодушной, бескорыстной девочкой, какой она была в тот день.

Да, Карл VII навсегда отменил подати. Часто благодарность королей и народов остывает, их обещания забываются или преднамеренно нарушаются. Но вы, как сыны Франции, должны вспоминать с гордостью, что Франция осталась верна хоть одному этому обещанию. С того дня прошло целых шестьдесят три года. Шестьдесят три раза с тех пор взыскивались налоги в той местности, где лежит Домреми, и все деревни этой области должны были платить, кроме одной, — Домреми. Сборщик податей никогда не заглядывает в Домреми. В Домреми все давно забыли, каков с виду этот страшный, зловещий гость. За это время внесены записи в шестьдесят три податных книги; книги эти хранятся с остальными архивными отчетами, и всякий желающий может их просмотреть. В этих шестидесяти трех книгах в заголовке каждой страницы стоит название деревни, а под ним следует перечень тяжкого бремени налогов; на всех страницах, кроме одной. Я говорю вам истинную правду. В каждой из шестидесяти трех книг есть страница, озаглавленная «Домреми»; и под этим названием вы не найдете ни одной цифры. Вместо цифр вписаны три слова; и в течение всех этих лет слова эти вписывались неизменно, из года в год. Да, всякий раз перед вами пустая страница, где выведены эти благодарственные слова — трогательное напоминание. Вот оно:

DOMREMI RIEN — LA PUCELLE

«Домреми. Ничего — Орлеанская Дева». Как кратко — и в то же время значительно! Это голос народа. Воображению рисуется величественная сцена. Правительство благоговейно преклоняется перед этим именем и говорит своему служителю: «Обнажи голову и пройди мимо, так повелела Франция». Да, обещание было соблюдено; оно будет соблюдаться вечно; король сказал: навсегда Оно свято соблюдалось в течение более трехсот шестидесяти лет; но затем пророчество не в меру доверчивого восьмидесятилетнего старца нарушилось. Среди смуты французской революции обещание было забыто и привилегия отнята. И она с тех пор так и осталась невосстановленной. Жанна не просила, чтобы имя ее жило в памяти людей; однако Франция с неослабной любовью и благоговением чтит ее память. Жанна не просила себе статуй, однако Франция не покупила на бесчисленные памятники. Жанна не просила церкви для Домреми однако Франция сооружает там храм. Жанна не просила о причислении себя к лику святых однако готовятся даже к этому. С благородной щедростью давали Жанне все, чего она не просила; а единственный ею выпрошенный скромный дар у нее отняли. В этом есть что-то бесконечно трогательное. Франция задолжала Домреми подати за сто лет и едва ли в пределах ее найдется хоть один гражданин который не подал бы свой голос за уплату долга. -М. Т. .

В два часа пополудни коронационные обряды закончились; опять образовалась процессия с Жанной и королем во главе и торжественно двинулась вдоль середины храма, направляясь к выходу; а народ предавался такой шумной радости, так гремела музыка, и колокола, и пушки, что воистину получалось нечто неслыханное. Так окончился третий из величайших дней жизни Жанны д'Арк. И как быстро следуют они один за другим: 8 мая, 18 июня, 17 июля!

ГЛАВА XXXVI

Мы сели на лошадей; наша кавалькада представляла собой незабвенное зрелище: богатые наряды и колыхающиеся султаны головных уборов ласкали взоры своей живописностью. И по мере того как мы продвигались среди расступившейся толпы, народ с обеих сторон падал ниц, как колосья ржи перед жнецом, и воодушевленно приветствовал помазанника-короля и его спутницу, освободительницу Франции. Но вот наша торжественная процессия, миновав главную часть города, начала приближаться к цели путешествия: мы подъезжали к дворцу архиепископа. Вдруг мы заметили справа, как раз около трактира под вывескою «Зебры», нечто странное — двоих мужчин, не коленопреклоненных, а стоявших. Они стояли впереди коленопреклоненной толпы, ошеломленные, окаменевшие, и пялились во все глаза. И одежда на них была грубая, крестьянская. Два алебардщика яростно кинулись к ним, желая проучить невежд; но только они схватили их, как Жанна вскричала: «Оставьте!» — и, соскочив с седла, подбежала к крестьянам и обняла одного из них, осыпая ласковыми словами и рыдая. Это был ее отец, а другой — ее дядя, Лаксар.

Новость быстро разнеслась, раздались крики приветствий, и в мгновение ока эти два презренных и неизвестных плебея сделались знаменитыми; они превратились в общих любимцев, и им теперь завидовали. Каждый нетерпеливо проталкивался вперед, желая взглянуть на них, чтобы потом всю жизнь хвастаться, что

он видел отца Жанны д'Арк и брата ее матери. Как легко ей было творить подобные чудеса! Она была подобна солнцу: как бы ни был невзрачен и убог озаряемый ее лучами предмет, он тотчас окружался сияньем.

Король милостиво сказал:

— Приведите их ко мне.

И Жанна привела. Она сияла от счастья и от избытка любви; а они, перепуганные и дрожащие, стояли, комкая трясущимися руками свои шапки. И король перед всем народом позволил им приложиться к своей руке; а люди смотрели с завистью и дивились. Король сказал старому д'Арку:

— Благодарение Господу, что Он сподобил тебя быть отцом этого ребенка, этого зиждителя неувыдаемой славы. Ты, носящий имя, которое будет еще жить в устах людей, когда забудется весь род королевский, — не подобает тебе с обнаженной головой стоять перед скоротечной славой и мимолетным величием. Покрой голову! — И при этих словах в осанке его чувствовалось благородство настоящего короля.

Затем он приказал позвать реймского бальи; когда тот пришел и, отвесив глубокий поклон, остановился с непокрытой головой, король сказал ему: «Вот эти двое — гости Франции» — и повелел оказать им подобающее гостеприимство.

Заодно теперь же скажу, что папаша д'Арк и Лаксар накануне остановились в этой маленькой харчевне под вывеской «Зебры» и что они не пожелали оттуда перебраться. Бальи предлагал им более удобное помещение, хотел окружить их почетом и доставить им приятные развлечения. Но все эти предложения пугали их: они ведь были робкие и темные крестьяне. И пришлось оставить их в покое. Они не сумели бы насладиться всеми этими благами. Бедняги, они даже не знали, куда им девать свои руки, и все внимание сосредоточивали на том, чтобы как-нибудь не прищемить их. Бальи сделал все, что от него зависело. Он приказал трактирщику предоставить в их распоряжение целый этаж и исполнять все их требования, а счет предъявить городским властям. Кроме того, бальи подарил каждому из них лошадь и сбрую, чем привел их в такой восторг и удивление, что они не могли вымолвить ни слова; ни разу в жизни им не грезились подобное богатство, и сначала они даже не верили, что лошади настоящие и что они не растают, как туман. Мысли их были неразлучны с этим великолепным подарком, и они теперь постоянно сводили разговор на животных, чтобы иметь возможность поминутно повторять: «моя лошадь», «моя лошадь»; они смаковали эти слова, прищелкивали языком, расставляли ноги и подбочивались и испытывали такое же приятное чувство, какое испытывает Господь, когда Он смотрит на полчища Своих созвездий, плывущих через таинственные глубины пространства, и с самодовольством вспоминает, что все это принадлежит Ему, все Ему. Да, они были самые счастливые и самые простодушные старые дети, каких я когда-либо видел.

Под вечер состоялось устроенное городом в честь короля и Жанны празднество; был приглашен и двор, и штаб военачальников. В самый разгар торжества послали за отцом Жанны и за Лаксаром, но они согласились пойти лишь после того, как получили обещание, что им позволят сидеть где-нибудь на хорах, откуда они, никем не потревоженные, могли бы видеть все происходящее. И вот они уселись там, глядя с высоты на великолепное зрелище; и они были растроганы до слез, когда увидели, каким невероятным почетом окружена их маленькая любимица и с каким наивным, безбоязненным спокойствием сидит она среди этого ослепительного блеска.

Но наконец и ее невозмутимость была потревожена. Да, она совладала и с милостивой речью короля, и с хвалебным словом д'Алансона и Бастарда, и даже с перлами красноречия Ла Гира, от которых содрогнулось все здание; но все-таки они, наконец, нашли нечто могучее, что оказалось ей не по силам. Торжество подходило к концу; король поднял руку, призывая к молчанию, и ждал так, пока не замерли все звуки; и воцарилась столь глубокая тишина, что ее можно было почти осязать. И вот где-то в отдаленном уголке огромной палаты раздалась заунывная мелодия; зачарованную тишину всколыхнула волна мягких, богатых и нежных созвучий. То была наша бедная, старая, простенькая песня о d'Arbre Fee de Bourlemont! Жанна не выдержала: она закрыла лицо руками и разрыдалась. Да, вы видите: в одно мгновение растаяла вся пышность, вся торжественность праздника, и Жанна снова превратилась в ребенка: она пасла свои стада среди спокойствия полей, а война с ее ужасами, кровопролитная, смертоносная война, и безумная ярость, и хаос сражений — все это вдруг сделалось сном. Вот вам доказательство могущества музыки, этой волшебницы из волшебниц: стоит ей взмахнуть жезлом — и куда девалась действительность?

Этот милый и любезный сюрприз был устроен по желанию короля. Поистине в душе его таились многие добрые качества, хотя они лишь изредка становились заметны, потому что их заслоняли неусыпные козни ла Тремуйля и присных его, и ленивый король был рад предоставить им свободу действий, лишь бы избавиться от хлопот и от ведения государственных дел.

С наступлением вечера мы, домремийские представители личной свиты, пришли в харчевню, собрались в комнате отца и дяди и начали попивать вино да беседовать запросто о Домреми и о деревенских соседях. В это время привезли от Жанны большой пакет с приказанием не вскрывать его до ее прихода; а вскоре явилась и она сама и, отослав свою стражу, сказала, что она хочет занять одну из комнат отца, переночевать в ней и,

таким образом, снова почувствовать себя под родным кровом. Мы, члены свиты, поднялись при ее входе и, как подобало, продолжали стоять, пока она не разрешила нам сесть. Тут она повернулась и заметила, что оба старика тоже встали и смущенно топчутся, совсем не по-военному; ей было смешно, но она сдержалась, не желая их обидеть. Она усадила их, уселась сама между ними, положила руку каждого себе на колени, вложила свои пальцы в кисти их рук, и сказала:

— Ну, отбросим теперь все эти церемонии и превратимся опять в родных и в друзей, как в былые времена; ведь я с этого дня покидаю войну, и вы возьмете меня с собой, и я увижу... — Она остановилась, и счастливое лицо ее омрачилось на мгновение, как будто в ее уме промелькнуло сомнение или предчувствие; но тотчас она опять повеселела и произнесла тоном страстного стремления: — О, поскорей бы настал день, поскорей бы нам двинуться в путь!

Отец удивился и сказал:

— Неужели, детка, ты не шутишь? Неужели ты готова отказаться от совершения этих чудес, за которые все восхваляют тебя, — и как раз в такое время, когда ты имеешь возможность завоевать еще большую славу? И ты готова прекратить завидную дружбу с принцами и полководцами, чтобы снова нести тяжелую работу и сделаться незаметной крестьянкой? Это неразумно.

— Еще бы! — сказал дядя Лаксар. — Ты ведешь странные и непонятные речи. Уж и тогда она нас удивила, когда затеяла идти в солдаты; а теперь удивила еще больше — хочет покинуть войско. Поверь мне, коли я скажу, что до нынешнего дня и часа я еще не слыхивал таких странных речей. Хотелось бы мне знать, в чем тут дело.

— Объяснить легко, — сказала Жанна. — Я никогда не стремилась к страданию и увечьям, да и по своей природе я не способна служить их причиной; ссоры всегда меня тревожили, шум и смятение мне не по душе; я предпочитаю мир и спокойствие, люблю все живое. И если я так создана, то как же я могла бы мечтать о войнах, о кровопролитии, о сопровождающих их страданиях, об остающихся после них горючих слезах? Но Господь, через ангелов Своих, возложил на меня великое дело, и могла ли я не повиноваться? Что Он повелел, то я исполнила. Много ли дел возложил Он на меня? Нет, только два — освобождение осажденного Орлеана и венчание короля в Реймсе. Поручение исполнено, и я свободна. Когда на моих глазах погибал какой-нибудь бедный солдат — друг или враг, все равно, — то разве я сама не чувствовала телесной боли, разве скорбь его близких не находила отзвука в моем сердце? О, никогда я не была безучастна. И сколь благодатно сознание, что я добилась своей свободы и что я больше ни разу не увижу этих жестокостей, не буду испытывать этих душевных страданий! Почему же мне в таком случае не вернуться в деревню и не начать прежнюю жизнь? Ведь это — рай! А вы удивляетесь, что я туда стремлюсь. О! Вы — мужчины, настоящие мужчины. Моя мать поняла бы сразу.

Они не знали, что ответить, и некоторое время сидели молча, с растерянным видом. Наконец старый д'Арк сказал:

— Про свою мать — это ты верно. Такую женщину надо еще поискать. Все-то она тоскует и тоскует; по ночам не спит, знай лежит себе да раздумывает — тоскует то есть. По тебе тоскует. Воеет на дворе буря, а она тяжело вздыхает и говорит: «Да поможет ей Бог: она небось сейчас в дороге с бедными промокшими солдатиками». А коли блеснет молния да загрохочет гром, то она начнет ломать руки и скажет: «Вот этак-то грохочут пушки да сверкают пороховые огни; она где-нибудь несется сейчас среди пушечных ядер, и нет меня, чтобы ее защитить».

— Ах, бедная мама; мне так ее жалко, так жалко.

— Да, чудная баба; на нее сплошь и рядом такое находит. Когда привозят известие о победе и вся деревня начинает бесноваться с радости да с гордости, то твоя мать принимается бегать туда и сюда среди безумно ликующей толпы, пока не узнает того, в чем вся ее забота, — что ты здорова и невредима; а тогда она бросается на колени — прямо в самую грязь — и восхваляет Господа, и не перестает молиться, покуда хватает сил; и все за тебя; о сражении не скажет и словечка. И всякий раз она говорит: «Теперь конец. Теперь Франция спасена. Теперь-то Жанна вернется к нам». Но всякий раз ей приходится разочаровываться, и конца нет ее горю.

— Довольно, батюшка, у меня сердце так и надрывается. Я с ней буду так добра, когда вернусь. Я буду работать за нее, буду ее утешать, и ей больше не придется страдать из-за меня.

Разговор еще некоторое время продолжался в этом же роде. Потом дядя Лаксар сказал:

— Ты, милая, исполнила волю Господа, и вы с ним квиты; это так, и никто с этим не станет спорить; но как же с королем? Ведь ты у него лучший воин; что, если он прикажет тебе остаться на службе?

Это был тяжелый удар и — неожиданный! Жанна была потрясена и не сразу оправилась. Затем она сказала просто и покорно:

— Король — мой господин; я — его служанка.

Некоторое время она молчала, задумавшись; потом лицо ее прояснилось, и она весело сказала:

— Отгоним прочь эти мысли — они не ко времени. Лучше расскажите мне про родные места.

И оба старых болтуна принялись говорить и говорить; они рассказывали обо всех и обо всем, что относилось к деревне. И любо было их слушать. Жанна, по доброте своего сердца, пыталась вовлечь и нас в беседу, но, конечно, это не удалось. Ведь она была главнокомандующим, а мы — никем; ее имя было во Франции самым могущественным, а мы представляли собой незримые атомы; она была сотоварищем принцев и героев, тогда как мы несли удел смирения и неизвестности. Она была превознесена выше всех деятелей и властелинов целого мира, ибо ее уполномочил непосредственно Сам Господь. Короче, она была Жанна д'Арк; и этим все сказано. В наших глазах она была Божественна. Между нею и нами лежала непреодолимая пропасть, которую знаменует это слово. С ней мы не могли говорить как с равной. Нет; вы сами видите, что это было невозможно.

И в то же время она была так человечна, так добра и снисходительна, так мила и любвеобильна, так весела, обаятельна, неизбалованна, чистосердечна! Вот те слова, которые сейчас пришли мне на ум, но они не исчерпывают всего; их слишком мало, они чересчур бесцветны и убоги, чтобы пересказать все, пересказать хоть половину. А эти простодушные старички не сознавали, какова она; им было не понять. Ведь они не знавали никого, кроме заурядных людей, а потому у них не было и мерила, чтобы оценить ее по достоинству. Когда они оправились от первого легкого смущения, то они увидели в ней молодую девушку, и никого больше. Это было поразительно. Иной раз нельзя было без трепета видеть, как непринужденно, как спокойно и запросто они держатся в ее присутствии, и слышать, что они разговаривают с ней совершенно так же, как стали бы разговаривать с любой другой французской девушкой.

Простодушный старый Лаксар как ни в чем не бывало сидел на своем месте и тянул скучнейший, бессодержательный рассказ; ни он, ни папаша д'Арк ни разу не подумали о том, насколько это противоречит этикету, — они даже не подозревали, что этот глупый рассказ не имеет ничего общего с благопристойным и мудрым повествованием. В рассказе не было и крупинки чего-нибудь ценного, и хоть он казался им грустным и трогательным, однако он вовсе не был трогателен, а попросту смешон. По крайней мере, таково было мое мнение, и этого мнения я не изменил до сих пор. Я могу даже с уверенностью сказать, что рассказ был смехотворен, так как он заставил Жанну рассмеяться; и чем он становился печальнее, тем сильнее она смеялась. Паладин говорил потом, что он сам расхохотался бы, будь это в отсутствие Жанны; то же самое сказал Ноэль Рэнгесон. Старый Лаксар рассказывал, как две или три недели назад ему случилось быть на похоронах. Лицо и руки у него были в красных пятнах, и он попросил Жанну смазать их какой-нибудь целебной мазью; а пока она занялась этим, и утешала его, и старалась всячески проявить свое сострадание, он рассказывал, как это произошло. Сначала он спросил, помнит ли она того черного теленка, который остался в деревне, когда она ушла на чужбину; она сказала, что помнит его отлично — он был такой милый, и она очень его любила, и как он теперь поживает? — словом, осыпала его вопросами об этом животном. Дядя отвечал, что теленок уже превратился в молодого быка; он очень шустрый; и ему пришлось принимать видное участие в похоронном шествии. «Быку?» — спросила Жанна. «Нет, мне», — ответил он; впрочем, быку тоже пришлось участвовать, но не потому, что его пригласили, вовсе нет; во всяком случае, он, дядя, шел в тех местах, за Древом Фей, и прилег соснуть на траве в своем воскресном траурном наряде и в шляпе с длинным куском черного крепа; а когда он проснулся, то по солнцу увидел, что уже поздно и что нельзя терять ни минуты; он вскочил, перепуганный, и увидел пасущегося неподалеку молодого быка и подумал: отчего бы ему не поехать на быке верхом, чтобы выиграть время? И вот обвязал он быка веревкой, на манер подпруги, чтобы было за что держаться, накинул поводья, чтобы править, вскочил и поехал; но быку это было непривычно, он рассердился и давай метаться, мычать, брыкаться, становиться на дыбы; дяде Лаксару этого было довольно, он хотел слезть и приехать на другом быке или вообще избрать более спокойный путь, но он не смел шевельнуться; ему уже становилось жарко, он устал и запарился, совсем не по-воскресному; а бык наконец потерял всякое терпение и понесся под гору, задрал хвост и мыча страшным голосом, и на краю деревни он опрокинул несколько пчелиных ульев — пчелы вылетели и черной тучей погнались за ними обоими, скрыв их из глаз, и давай их щипать, жалить, колотить, так что они оба визжали и мычали, мычали и визжали; и вот они ураганом налетели на похоронное шествие, в самую середину, — одних сшибли с ног, других заставили разбежаться врассыпную; крику-то, крику было! Всех бежавших облепили пчелы, а от похоронного шествия остался только покойник; и наконец, бык бросился к реке и прыгнул в воду, а когда вытащили дядю Лаксара, то он был еле жив и лицо его было как лепешка с изюмом. Закончив рассказ, этот простоватый старичок повернулся и долго с изумлением смотрел на Жанну, припавшую лицом к подушке и, казалось, охваченную смертельными судорогами; потом он сказал:

— Как ты думаешь, чего она смеется?

Старый д'Арк тоже постоял над ней, с недоумением почесывая затылок; но в конце концов, не будучи в силах понять, сказал, что он не знает, — «вероятно, случилось что-нибудь, а мы и не заметили».

Да, эти старички воображали, что рассказ их весьма трогателен; а по моему мнению, он был только смешон и совершенно бесполезен. Таким он показался мне тогда, таким кажется и теперь. На повествование он вовсе не походил, потому что цель всякого повествования — поучать путем рассказа о чем-либо важном и

содержательном; а это нелепое и ненужное приключение не может научить ничему; по крайней мере, я вижу здесь, пожалуй, только одну мораль: не следует ехать на похороны верхом на быке. Но, конечно, ни один здравомыслящий человек не нуждается в таком поучении.

ГЛАВА XXXVII

И вот этим-то король даровал дворянство! Этим бесподобным старым младенцам. Впрочем, они этого не чувствовали; нельзя сказать, что они это сознавали; это было что-то отвлеченное, призрачное, невещественное; они не могли объять этого умом. Нет, дворянством своим они не кичились: все их помыслы были сосредоточены на лошадях. Лошади были телесны; и они представляли собой нечто видимое и несомненное, и в Домреми их появление составит целое событие. Разговор коснулся коронации, и старый д'Арк сказал, что приятно будет, вернувшись домой, похвастать, что они были в самом Реймсе как раз в то время, когда происходило такое торжество. Жанна вдруг опечалилась и сказала:

— Кстати, я вспомнила: вы были здесь и не известили меня. В самом городе! Да ведь вы могли бы сидеть среди других дворян как желанные гости; вы могли бы видеть коронацию собственными глазами и рассказать дома об этом. Ах, почему вы так со мной поступили, почему не прислали мне весточки?

Ее старый отец был смущен, и смущен очень заметно; он имел вид человека, который не знает, что сказать. Однако Жанна смотрела ему в лицо, положив руки ему на плечи; она ждала. Он должен был отвечать; и вот он привлек ее к своей трепетавшей от волнения груди и промолвил, с трудом выговаривая слова:

— Ну, детка, спрячь лицо и выслушай смиренную исповедь твоего старого отца. Я... я... неужели ты не видишь сама, не догадываешься? Я не был уверен, что все это великолепие не вскружило твоей юной головки — это было бы вполне естественно. Я мог бы осрамить тебя в присутствии разных знатных гос..

— Батюшка!

— Кроме того, я боялся, потому что вспомнились мне те жестокие слова, которые я когда-то произнес в минуту греховного гнева. Сам Господь велел тебе быть воином, быть величайшим героем нашей страны! А я-то, поддавшись слепому гневу, обещал утопить тебя собственными руками, если ты забудешь девичий стыд и опозоришь свое имя и своих родных. Ах, как мог я это сказать, когда ты была такая добрая, милая и невинная! Я боялся, ибо я был виноват. Поняла теперь, дитя мое, и простила ли мне?

Видите? Даже у этого жалкого, старого паука, с его месивом вместо мозгов, была все-таки гордость. Неудивительно ли? Мало того: у него была совесть; он умел распознавать, что было справедливо, что — нет; он был способен чувствовать угрызения совести. Это кажется невозможным, невероятным, но только — кажется. Я уверен, что когда-нибудь, впоследствии, крестьян тоже станут причислять к людям. Да, они во многих отношениях похожи на нас. И я уверен, что они сами тоже убедятся в этом, и тогда... Тогда, должно быть, они восстанут и потребуют, чтобы на них смотрели как на составную часть рода человеческого, и из-за этого начнутся волнения. Всякий раз, когда мы встречаем в какой-нибудь книге или в королевском воззвании слово «нация», мы думаем о высших сословиях, только о высших; другой нации мы не знаем; другой нации нет ни для нас, ни для королей. Но с того дня, как я увидел, что старый д'Арк способен поступать и чувствовать совершенно так же, как поступал бы и чувствовал я, с того дня я ношу в своем сердце убеждение, что крестьяне наши вовсе не являются простыми бессловесными, вьючными животными, созданными всеблагим Богом для того, чтобы заботиться о пище и пропитании нации; я уверовал, что они призваны для чего-то более высокого и благородного. Вы, кажется, недоумеваете? Впрочем, таково уж ваше воспитание; всем смолоду внушают такие воззрения. Что же касается меня, то я бесконечно благодарен этому случаю, открывшему мне глаза; и я этого никогда не забуду.

Посмотрим же, на чем я остановился? На старости лет мысли так и норовят разбредись в разные стороны. Кажется, я сказал, что Жанна утешала его. Конечно, можно было бы заранее знать, что она так поступит, — нечего и говорить об этом. Она принялась его холить, лелеять, ласкать и заставила его забыть об этих давнишних жестоких словах. Заставила его забыть о них, но только пока она жила. А после ее смерти он должен был снова помянуть слова свои — снова, снова! Боже, сколько жгучей, острой, грызущей боли причиняет нам сознание, что мы были не правы перед невинно умершими! И мы восклицаем в безысходной тоске: «Ах, если бы они вернулись к нам!» Однако, что ни говорите, а дела, на мой взгляд, этим не поправишь. Я думаю, что лучше всего — остерегаться ошибок с самого начала. И не один только я держусь такого мнения: я слышал то же самое от наших двух рыцарей; и еще от одного человека, там, в Орлеане, нет, это было, кажется, в Божанси или еще где-то — скорей всего, в Божанси — человек этот высказал точь-в-точь такое же мнение, почти дословно; смуглый такой человек, с косым взглядом, и одна нога у него была короче другой. Его звали... звали... странно, что я не могу вспомнить его имени; с минуту назад я еще помнил его — оно начинается с буквы... нет, забыл, с какой буквы; вспомню — тогда скажу вам.

Ну вот — вскоре старик отец пожелал узнать, что чувствует Жанна во время сражений, когда кругом сверкают и рубят мечи, и удары сыплются на ее щит, и льется на нее кровь из рассеченных лиц и разбитых челюстей рядом стоящих солдат, и когда, внезапно подавшись перед тяжким натиском врага, шарахнется назад конница передовых отрядов, и стонущие люди начинают валиться с седел, и боевые знамена выпадают из мертвеющих рук, покрывая лица сражающихся и на минуту пряча от их взора сутолоку битвы, и когда среди круговоротного, колыхающегося, неистового хаоса лошадиные копыта разрывают мягкое, живое тело, вызывая крики страдания, и вдруг — паника! Трепет! Смятение! Бегство! И смерть, и она гонится по пятам! Старик воодушевлялся все больше и больше; он ходил взад и вперед, и язык его работал, как мельница, и он задавал вопрос за вопросом, так что Жанна не успевала ответить; наконец он заставил ее стать посередине комнаты, отступил на несколько шагов, окинул ее критическим взглядом и сказал:

— Нет, никак не возьму в толк. Ты такая маленькая. Маленькая и тонкая. Когда ты сегодня была в полном вооружении, то все-таки было на что поглядеть; но в этих красивых шелках да в бархате ты кажешься хорошеньким маленьким пажом, а вовсе не военным гигантом в семимильных сапогах, который движется среди черных туч и чье дыхание подобно грому и молнии. Сподобил бы Господь меня увидеть тебя за этой работой, чтобы я мог рассказать твоей матери. После этого она, бедняжка, наверно, спала бы спокойнее! Ну-ка, возьмишь преподавать мне солдатскую науку, чтобы я мог ей все это объяснить.

И Жанна исполнила его просьбу. Она дала ему копьё и стала обучать различным приемам, заставила его ходить по-военному. Маршировал он до безобразия неуклюже и неумело; с копьём справлялся не лучше. Но он этого не замечал и был бесконечно доволен собой и приходил в трепетный восторг, слушая звучные, отрывистые слова команды. Я должен сказать, что если бы во время маршировки было достаточно иметь гордый и счастливый вид, то старый д'Арк был бы безукоризненным солдатом.

Он пожелал также научиться владеть мечом, и начался урок фехтования. Но, разумеется, это оказалось ему не по силам; он был слишком стар. Жанна фехтовала великолепно, и старик потерпел полную неудачу. Рапиры его пугали, и он отскакивал, метался и отмахивался, как женщина, смертельно напуганная летучей мышью. Тут уж он решительно не мог ничем похвастаться. Вот если бы пришел Ла Гир — получилась бы совсем иная картина. Они часто состязались в фехтовании; я много раз при этом присутствовал. Правда, Жанна легко одерживала над ним победу, но зрелище все-таки получалось очень красивое, так как Ла Гир превосходно владел мечом. Как проворна была Жанна! Как сейчас вижу: стоит она во весь рост; ноги вместе; над головой — изогнутая в дугу рапира: в одной руке эфес, в другой — острое, защищенное пуговкой; против нее — старый полководец; она слегка нагнулась вперед, левая рука заложена за спину, в правой — направленная вперед рапира, которая слегка колышется и дрожит, как струна; своим насторожившимся взглядом он впился в ее глаза. И вдруг она прыгает вперед и в то же мгновение стоит на прежнем месте и снова держит над головой изогнутую дугой рапиру. Ла Гир получил удар, но зритель успел заметить только какой-то тонкий луч света, сверкнувший в воздухе, и не увидел ничего явственного, определенного.

Мы старались, чтобы чаши с живительной влагой непрестанно переходили из рук в руки, ибо это должно было понравиться и бальи, и хозяину харчевни; и старики Лаксар и д'Арк понемногу оживились, хотя вовсе не были, что называется, пьяны. Они развернули подарки, купленные ими для деревни, то были все скромные и дешевые вещицы, которые, однако, там покажутся великолепными и будут встречены радостно. Они передали Жанне два подарка: один от отца Фронта — маленькое свинцовое изображение Пресвятой Девы; другой от ее матери — длинный кусок синей шелковой ленты. Она была восхищена, как ребенок, и заметно растрогана. Да, она без конца целовала эти убогие подарки, как какие-нибудь дивные драгоценности; она пришила изображение Богородицы к своему кафтану и, послав за своим шлемом, повязала его лентой; сначала сделала бант на один лад, потом — на другой; развязала и перевела лентой заново, затем переделала опять; и всякий раз она, надев шлем на руку, осматривала его со всех сторон, наклоня голову то на один бок, то на другой, как птичка, когда она разглядывает что-нибудь незнакомое. И она готова была пожалеть, что ей больше не придется быть на войне, потому что теперь она могла бы сражаться с большей отвагой: у нее ведь была вещь, освященная прикосновением матери.

Старый Лаксар высказал надежду, что она еще успеет побывать и на войне, но что сначала она навестит свою родину, где все мечтают о встрече с ней; и он продолжал:

— Они гордятся тобой, дорогая. Да, ни одна деревня еще никем так не гордилась. И это правильно и разумно с их стороны, так как до сих пор ни одна деревня не могла похвастать такой землячкой, как ты. Просто диву даешься и любишься, как посмотришь, что они стараются окрестить твоим именем всякую живую подходящую тварь. Каких-нибудь полгода прошло с тех пор, как ты покинула нас, и о тебе заговорили; а между тем у нас уже развелось без конца ребятишек, носящих твое имя. Сначала при крещении давали одно имя: Жанна; потом — Жанна-Орлеан; потом — Жанна-Орлеан-Божанси-Патэ; а в следующую очередь будет добавлена еще уйма городов и, конечно, коронация. Да и с животными то же самое. Они умеют только ухаживать за животными, а потому, стараясь оказать тебе честь и проявить свою любовь к тебе, дают всем этим тварям твое имя; так что, если б кто вышел на улицу и крикнул: «Жанна д'Арк! Поди

сюда!» — то хлынуло бы целое нашествие кошек и тому подобных существ; каждое приписало бы зов именно себе, и все они пожелали бы извлечь выгоду из этого недоразумения, воспользовавшись ожидаемой подачкой. Заблудившийся котенок, которого ты оставила дома, — последний из спасенных тобой, — носит теперь твое имя и принадлежит патеру Фронту; он — любимец и слава нашей деревни; случалось, люди приходили издалека, чтобы взглянуть на него, приласкать его и подивиться ему, потому что это был кот Жанны д'Арк. Всякий подтвердит тебе это; а однажды, когда какой-то чужестранец бросил в него камнем, не зная, что это твой кот, вся деревня, как один человек, кинулась на него, и его бы повесили, не вмешайся тут патер Фронт.

Рассказ его был прерван. Прибыл королевский гонец с письмом Жанне, которое я прочел ей; король сообщал, что после некоторого размышления и после совещания с прочими полководцами он вынужден просить ее остаться во главе армии и не покидать своей должности. А потому не соблаговолит ли она явиться немедленно, чтобы принять участие в заседании военного совета? И в ту же минуту невдалеке раздалась команда и загрели среди ночной тишины барабаны: приближалась ее стража.

На одно мгновение — не более — лицо Жанны омрачилось глубоким разочарованием; исчезло мимолетное облачко, а вместе с ним — стосковавшаяся по родине девушка; она снова превратилась в Жанну д'Арк, в главнокомандующего, и была готова приступить к исполнению долга.

ГЛАВА XXXVIII

Исполняя при Жанне двойную обязанность — оруженосца и писца, — я должен был последовать за нею на заседание совета. Она вошла в залу с величием опечаленной богини. Куда девалась резвая девочка, которая только что восторгалась цветной лентой и до слез хохотала над злостью придурковатого крестьянина, разогнавшего погребальное шествие верхом на разъяренном пчелиными жалами быке? Это останется неразгаданным. Она исчезла бесследно. Жанна подошла прямо к столу заседаний и остановилась. Взгляд ее скользил по лицам собравшихся; и на ком останавливались ее глаза, тот либо вспыхивал, как от факела, либо корчился, как от раскаленного клейма. Она знала, кому нанести удар. Кивком головы она приветствовала военачальников и сказала:

— Не с вами я имею дело. Не вы добивались военного совета. — Затем она повернулась к тайному королевскому совету и продолжала: — Нет, я пришла к вам. Военный совет! Это непостижимо. Один путь нам открыт; только один; а вы созываете военный совет! Военные советы имеют смысл, когда надо разрешить сомнения и выбрать один из двух или из многих путей. Но к чему военный совет, когда путь только один? Представьте себе человека, который плывет в лодке в то время, как тонет его семья: неужели он высадится, чтобы спросить у друзей, как ему надлежит поступить? Военный совет! Боже мой! О чем совещаться?

Она замолчала и, медленно повернувшись, остановила взор на лице ла Тремулья; и так стояла она, смотря на него с молчаливым презрением, и загорались краской волнения лица советников, и учащенно бились сердца. Наконец она произнесла с расстановкой:

— Каждый здравомыслящий человек, чья преданность королю не есть предлог или показное прикрытие, знает, что перед нами только одна разумная цель: поход на Париж.

Ла Гир одобрительно трахнул кулаком по столу. Побледнев от злости, ла Тремуль, однако, собрал все свои силы и промолчал. Ленивая кровь короля потекла быстрее, и его глаза загорелись доблестью, потому что где-то в нем все же таилась воинственная душа, и смелая, открытая речь всегда умела найти эту отвагу и вызвать в ней радостный отклик. Жанна ждала, не пожелает ли главный министр отстаивать свое мнение; но он был опытен и умен, он не стал бы попусту тратить свои силы, когда течение против него. Он подождет: рано или поздно он улучит минуту, чтобы шепнуть королю словечко.

Тут заговорила эта благочестивая лисица — канцлер Франции. Потирая выхолненные руки и вкрадчиво улыбаясь, он сказал Жанне:

— Учтиво ли поступили бы мы, превосходительная госпожа, если бы внезапно двинулись отсюда, не дожидая ответа от герцога Бургундского? Вы, быть может, не знаете, что мы ведем переговоры с его светлостью и что между нами, вероятно, будет заключено двухнедельное перемирие; он, со своей стороны, обязывается передать нам Париж без пролития крови, и это избавит нас от необходимости совершить утомительный поход.

Жанна обернулась к нему и сказала с важностью:

— Здесь не исповедальня, монсеньор. Вам незачем было разоблачать тут этот позор.

Краска залила лицо канцлера, и он возразил:

— Позор? Что позорного в этом?

Жанна отвечала ровным, бесстрастным голосом:

— Изложить дело легко: для этого не придется гоняться за словами. Я знала об этой жалкой комедии, монсиньор, хотя, по вашим планам, я должна была остаться непосвященной. Хвала изобретателям, что они старались скрыть это дело — эту скоморошью затею, смысл и источник коей могут быть выражены двумя словами.

Канцлер произнес с оттенком утонченной иронии:

— В самом деле? И не соблаговолит ли превосходительная госпожа произнести их?

— Трусость и предательство!

На этот раз ударили кулаками по столу все полководцы, и снова в глазах короля сверкнуло удовольствие. Канцлер вскочил с места и воззвал к королю:

— Государь, прошу вашей защиты.

Но король движением руки приказал ему сесть, говоря:

— Молчите. Она имела право принять участие в предварительном обсуждении этого вопроса, потому что переговоры эти в такой же мере затрагивают войну, как и политику. А поэтому, во имя простейшей справедливости, мы хоть теперь должны ее выслушать.

Канцлер опустил на свое место, дрожа от негодования, и заметил Жанне:

— Из сострадания я предпочту думать, что вы не знали, кем придумана эта мера, которую вы осуждаете столь невоздержанным языком.

— Сберегите сострадание ваше до другого раза, монсиньор, — ответила Жанна с прежней невозмутимостью, — когда совершается какое бы то ни было дело, нарушающее интересы Франции и позорящее ее честь, то все, кроме мертвых, могут назвать по имени двух главных заговорщиков.

— Государь, государь! Такое злословие.

— Это не злословие, монсиньор, — сказала Жанна спокойно, — это обвинение. Я обвиняю главного министра короля и его канцлера.

Тут уже они оба вскочили на ноги, требуя, чтобы король обуздал откровенность Жанны; но он не был склонен к этому. Обычно заседания совета были как затхлая вода; а теперь его разум упивался вином, вкус которого был превосходен. Он сказал:

— Сидите и — будьте терпеливы. Что предоставлено одному, то мы обязаны предоставить и другому. Подумайте и — будьте справедливы. Когда вы щадили ее? Каких только обвинений вы не возводили на нее, какими не наделяли ее беспощадными именами, когда начинали о ней говорить? — Потом он добавил, и в глазах его сверкнул затаенный огонь: — Если она вас оскорбила, то я не вижу разницы, кроме той, что она говорит неприятные слова вам в лицо, тогда как вы злословите за ее спиной.

Он остался доволен меткостью своего удара, под действием которого оба сановника так и съежились; Ла Гир захохотал, а остальные военачальники тихо рассмеялись. Жанна невозмутимо продолжила:

— С самого начала нам ставились препятствия этой политикой переливания из пустого в порожнее, этим вечным устройством совещаний, совещаний и совещаний, когда надо не совещаться, а — сражаться. Мы взяли Орлеан 8 мая и могли бы очистить страну в каких-нибудь три дня, избежав кровопролития при Патэ. В Реймсе мы были бы шесть недель назад, а в Париже — теперь: и через полгода последний из англичан покинул бы пределы Франции. Однако после Орлеана мы не нанесли удара, а отступили внутрь страны — чего ради? С виду — для того, чтобы совещаться; а в действительности, чтобы дать Бедфорду время на присылку вспомогательного войска Тальботу; Бедфорд не преминул это исполнить, и битва при Патэ стала неизбежной. После Патэ — снова совещания, снова трата драгоценного времени. О король мой: не пренебрегайте моими увещаниями!

Теперь она начала пламенеть.

— Обстоятельства снова нам благоприятствуют. Нам надо не медлить, а нанести удар — и все будет спасено. Прикажите мне идти на Париж. Через двадцать дней Париж будет вашим, а через шесть месяцев вы вернете себе всю Францию. Работы всего на полгода; если же мы упустим случай, то вам придется потратить двадцать лет на исправление ошибки. Скажите слово, милостивый король, скажите одно только...

— Помилосердствуйте! — прервал ее канцлер, заметивший, что лицо короля загорается опасным энтузиазмом. — Поход на Париж? Неужели превосходительная госпожа забыла, что дорога преграждена неприступными английскими крепостями?

— Вот чего стоят ваши английские крепости! — воскликнула Жанна, презрительно щелкнув пальцами. — Откуда пришли мы на днях? Из Жиана. Куда? В Реймс. Чем был заставлен наш путь? Английскими крепостями. Что с ними случилось теперь? Они перешли к французам — и без единого удара!

Тут кучка полководцев начала шумно рукоплескать, и Жанна вынуждена была умолкнуть, пока снова не водворилась тишина.

— Да, впереди нас высились английские крепости. Теперь высятся позади — французские. Каков же вывод? Ребенок и тот сумеет сказать. Крепости, находящиеся между нами и Парижем, имеют защитниками не новое поколение английских солдат, а поколение, нам знакомое, — с теми же слабостями и страхами, с

той же недоверчивостью, с той же склонностью видеть грозную десницу Господа. Нам стоит выступить в поход — сейчас же! — и крепости буду наши, Париж будет наш, Франция наша! Скажите слово, король мой, прикажите слуге вашей...

— Стойте! — крикнул канцлер. — Безумно было бы наносить столь тяжкое оскорбление его светлости герцогу Бургундскому. В силу договора, который мы надеемся с ним заключить...

— Договор, который вы надеетесь с ним заключить! Из года в год он презирал вас и вами пренебрегал. Ваши ли хитроумные увещания поубавили его спесь и убедили его идти на уступки? Нет! На него подействовали удары; удары, полученные им от нас. Иного урока и не понял бы этот неугомонный бунтовщик. Что ему до остального? Договор, который мы надеемся с ним заключить, — полно! Он отдаст нам Париж! Ах, это заставило бы великого Бедфорда улыбнуться! О, жалкая отговорка! Слепой может видеть, что это скудное пятнадцатидневное перемирие устраивается с единственной целью: дать Бедфорду время двинуть против нас свои войска. Новое предательство — вечное предательство! Мы созываем военный совет, когда совещаться решительно не о чем; Бедфорд не нуждается в военных советах, чтобы увидеть единственный путь, который нам открыт. И он знает, как он поступил бы на нашем месте. Он повесил бы изменников и двинулся бы на Париж! О милостивый король, воспряньте! Дорога свободна, Париж зовет нас, Франция умоляет. Скажите слово, и мы...

— Государь, это безумие, чистое безумие! Превосходительная госпожа, мы не можем, мы не должны отступать от того, что нами предпринято: мы предложили начать переговоры с герцогом Бургундским, и должны начать.

— И начнем! — сказала Жанна.

— Да? Как же?

— Острием копья!

Все встали, как один человек, — все, в чьей груди билось французское сердце, — и разразились долго несмолкавшими рукоплесканиями. И среди этого шума можно было расслышать, как Ла Гир проворчал: «Острием копья! Ей-богу, эта музыка мне по душе!» Король тоже поднялся, и, обнажив свой меч, взял его за лезвие, и подошел к Жанне, и вложил эфес в ее руку, сказав:

— Довольно — король сдается. Отправляйтесь с этим в Париж.

И снова раздались рукоплескания. Так закончилось историческое заседание военного совета, породившее столько легенд.

ГЛАВА XXXIX

Было уже за полночь, и редко приходилось Жанне переживать такой беспокойный и утомительный день, каким был минувший, но ничто не могло остановить ее, когда надо было работать. Ей было не до сна. Полководцы последовали за ней в штаб-квартиру, и она отдавала им свои приказания настолько быстро, насколько она могла говорить; и с такою же быстротой они посылали эти распоряжения в подчиненные им части войска: гонцы скакали во все стороны, и безмолвие улиц было нарушено конским топотом и звоном копыт; а вскоре к этим звукам присоединилась музыка далеких трубачей и бой барабанов — признаки спешных приготовлений. Ибо авангард должен был на рассвете сняться с лагеря.

Полководцы вскоре получили разрешение удалиться, но я остался вместе с Жанной: теперь была моя очередь работать. Жанна ходила по комнате и диктовала воззвание к герцогу Бургундскому, предлагая ему сложить оружие и, помирившись, заслужить прощение короля; если же он не может не воевать, то пусть идет сражаться с сарацинами: «*Pardonnez-vous l'un a l'autre de bon coeur, entierement, ainsi, que doivent faire loyaux chretiens, et, s'il vous plait de guerroyer, allez contre les Sarrasins*» «Простите друг другу от всего сердца, как подобает добрым христианам а коли есть охота воевать идите на сарацинов». (*фр.*) . Послание было длинное, но исполненное доброты, и звучало оно искренно. По моему мнению, оно принадлежит к самым лучшим, безыскусственным, прямодушным и красноречивым из составленных ею государственных грамот.

Оно было вручено гонцу, который поскакал с ним во весь опор. Затем Жанна отпустила меня, приказав отправляться в харчевню и там переночевать; а утром я должен был передать ее отцу оставленный ею пакет. Там были подарки домремийским родным и друзьям, а также крестьянское платье, которое она купила для себя. Она сказала, что желает проститься с ними утром, если они не оставили своего намерения уехать, вместо того чтобы пожить здесь еще несколько дней и осмотреть город.

Конечно, я ничего не возражал; но я мог бы сказать ей, что даже дикие лошади не были бы в состоянии удержать этих людей в городе хоть на полдня. Мыслимое ли дело, чтобы они упустили возможность явиться в Домреми раньше всех с великой вестью: «Подати отменены навсегда!» — и слышать, как начнут звонить и трезвонить колокола и как народ станет ликовать и кричать «ура»? Нет, не такие они. Патэ, Орлеан, коронация — все это были события, огромное значение которых смутно понималось ими; но все-таки то

были какие-то гигантские туманы, призраки, отвлеченности, тогда как отмена податей — вот грандиозная действительность!

Вы думаете, я застал их в постели? Ничуть не бывало. Они, как и остальная компания, были оживлены, насколько это возможно; и Паладин лихо описывал свои битвы, а старые крестьяне так шумно выражали свой восторг, что весь дом грозил рухнуть. В ту минуту он рассказывал про Патэ: склонившись вперед дюжим туловищем, он царапал по полу своим тяжеловесным мечом, показывая размещение и движения войск, а крестьяне стояли, сгорбившись и опираясь руками на раздвинутые колени, следили восхищенными глазами за его объяснениями и поминутно издавали возгласы удивления и восторга.

— Да, мы были вот здесь. Мы ждали. Ждали приказа наступать. Лошади наши топтались, ерзали и фыркали, стремясь ринуться вперед. Нам приходилось изо всех сил тянуть за поводья, так что мы изрядно откинулись назад. Наконец раздалась команда: «Вперед!» — и мы двинулись.

Куда там! Никто не видал ничего подобного! Когда мы налетали на отряды бегущих англичан, то они как подкошенные валились даже от ветра, который поднялся благодаря скорости наших коней. Вот мы врезались в беспорядочную толпу обезумевших солдат Фастольфа и прорвались через нее как ураган, оставив за собой бесконечную просеку из мертвецов. Не мешкая, не сдерживая коней, мчались мы все вперед! Вперед! Вдали мы увидели нашу добычу: Тальбота с его полчищами — черной громадой высились они в туманной дали, словно грозовая туча, нависшая над морем. Мы низринулись на них, затмевая весь небосклон трепетным саваном из мертвых листьев, взметаемых стихийным полетом нашей конницы. Еще одно мгновение — и мы столкнулись бы с ними, как сталкиваются миры, когда сошедшие со своего пути созвездия ударяются о Млечный Путь, но, к несчастью, по неисповедимому предначертанию Господа, я был узан! Тальбот побледнел и, воскликнув: «Спасайтесь, ведь это — знаменосец Жанны д'Арк!» — глубоко вонзил шпоры в бока своего коня, так что они сошлись концами в чреве несчастного животного, и помчался прочь, а за ним — колышущееся море его полчищ! Я был готов проклинать себя, что не догадался нарядиться кем-нибудь другим. В глазах нашей превосходительной госпожи я прочитал упрек, и мне было до горечи стыдно. Казалось, по моей вине произошла непоправимая беда. Другой на моем месте пал бы духом и, не видя способа поправить дело, начал бы горевать; но я не таков, слава богу. Великие затруднения словно трубным призывом пробуждают дремлющие силы моего разума. В одно мгновение я учел благоприятную возможность, а в следующее — помчался прочь! Я исчез среди дремучего леса — фюить! — как погашенный огонь! Я спешил в обход под сводами нависших ветвей, летел как окрыленный, и никто не знал, куда я девался, никто не догадывался о моем замысле. Минута проходила за минутой, а я мчался вперед и вперед, вперед и вперед; и наконец, с криком торжества развернул я свое знамя и понесся из чащи навстречу Тальботу! О, то была великая мысль! Трепетный хаос обезумевших людей всколыхнулся и отпрянул назад, как волна прилива, ударившаяся о крутой берег. Победа была наша! Бедные, беспомощные — они попались в ловушку, они были окружены; они не могли бежать назад, потому что там была наша армия; они не могли бежать вперед, потому что там был я. Сердца их сжались, руки повисли как плети. Они стояли неподвижно, и мы не торопясь перебили их всех до единого, за исключением, впрочем, Тальбота и Фастольфа: я спас их и утащил прочь, взяв каждого под мышку.

Я должен сознаться, что Паладин в ту ночь был в ударе. Какой слог! Сколько благородной грации в жестах, какая величественная осанка, какая мощь рассказа! С какой уверенностью открывал он новые горизонты, как точно соразмерял оттенки голоса с ходом повествования, как искусно подходил к своим неожиданностям и катастрофам! Сколько убедительной искренности было в его тоне и в движениях, с каким возрастающим воодушевлением гремели его бронзовые легкие; и как молниеносно жива была эта картина, когда он, одетый в кольчугу, с развернутым знаменем, вдруг появился перед уstraшенным войском! А тонкое мастерство заключительных слов его последней фразы — слов, произнесенных небрежным, ленивым тоном, как будто человек, рассказав то, что действительно было, добавил еще одну неяркую и незначительную подробность, о которой он вспомнил как бы невзначай!

Нельзя было не подивиться, глядя на этих наивных крестьян. Они чуть не надрывались от восторга и так орали в знак одобрения, что могли бы, казалось, разрушить крышу и пробудить мертвецов. Когда их пыл наконец несколько охладился и наступила тишина, нарушавшаяся только их прерывистым, взволнованным дыханием, то старый Лаксар произнес с восхищением:

— Мне кажется, что в тебе одном сидит целая армия.

— Да, он именно таков, — уверенно подхватил Ноэль Рэнгесон. — Он прямо-таки ужасен; и не только в здешних местах. Его имя приводит в трепет жителей далеких стран — одно его имя. А когда он хмурится, то тень его чела доходит до самого Рима, и куры усаживаются на насест часом раньше предписанного времени. Да. Иные даже говорят...

— Ноэль Рэнгесон, ты так и норовишь нажать себе неприятности. Я скажу тебе одно словечко, и ты убедишься, что ради твоей безопасности...

Видя, что начинается обычная ссора, которая могла продолжаться без конца, я передал поручение Жанны и отправился спать.

На следующее утро Жанна простилась со старичками, горячо обнимая их и проливая обильные слезы; кругом собралась соболезнующая толпа. Простившись, они гордо поехали на своих пресловутых лошадях, везя домой великую новость. Я должен сказать, что видывал более ловких наездников: верховая езда была им непривычна.

Авангард еще на рассвете двинулся под музыку в поход, развернув знамена; второй отряд отправился в восемь часов утра. Затем подоспели бургундские посланцы и отняли у нас остальную часть дня, равно как и весь следующий. Однако Жанна была тут же, и им пришлось уйти ни с чем. Остальное войско выступило в путь 20 июля, на рассвете. Но много ли мы прошли? Шесть лье. Вы понимаете — Тремуйль снова опутывал нерешительного короля своими хитросплетениями. Король остановился в Сен-Маркуле и три дня посвятил молитве. Драгоценное время, потерянное нами; выигранное Бедфордом. Он, конечно, сумел им воспользоваться.

Без короля мы не могли идти дальше; это значило бы оставить его в гнезде заговорщиков. Жанна упрашивала, увещевала, умоляла — и наконец мы снова двинулись в путь.

Предсказание Жанны оправдалось. То был не военный поход, но вторая праздничная поездка. Английские крепости, стоявшие вдоль нашего пути, сдавались без сопротивления — мы оставляли там французский гарнизон и шли дальше. Бедфорд уже выступил против нас со своим новым войском, 25 июля противоборствующие силы встретились и приготовились к битве; но Бедфорд образумился, повернул назад и отступил к Парижу. Обстоятельства нам благоприятствовали. Настроение наших солдат было отличное.

Поверите ли? Наш бедный тростниковый король вял увещаниям своих бесчестных советников — отступить к Жиану, откуда мы недавно начали поход в Реймс, на коронацию! И мы отступили. Только что было заключено перемирие на пятнадцать дней с герцогом Бургундским, и мы должны были отправляться к Жиану, чтобы сидеть там без дела, пока он не вздумает уступить нам без боя Париж.

Мы отправились в Брэ; затем король снова передумал и повернулся лицом к Парижу. Жанна продиктовала воззвание к гражданам Реймса, прося их не унывать, хоть и заключено перемирие, и обещая помочь им. Она сама известила их о том, что король заключил перемирие; и, говоря об этом, она проявила свое обычное прямотушие. Она заявила, что недовольна перемирием и что она не знает, удастся ли ей избежать нарушения его; но если она не нарушит, то исключительно из уважения к чести короля. Все дети Франции знают наизусть эти знаменитые слова. Сколько в них наивности!» *De cette trave qui a ete faite, je ne suis pas contente, et je ne sais, si je la tiendrai. Si je la tiens, ce sera seulement pour garder l'honneur du roi.* Но, во всяком случае, она не допустит оскорбления королевской крови; и она обещала наблюдать за порядком в армии, чтобы по истечении срока перемирия сразу приняться за работу.

Бедная девочка: ей приходилось одновременно воевать и с Англией, и с Бургундией, и с французскими заговорщиками — не слишком ли это много? С первыми двумя она еще могла потягаться, но заговор! Да, с этим никто не в силах бороться, если тот, кого хотят погубить, бессилен и уступчив. В те тревожные дни она немало сокрушалась из-за этих помех, проволочек и разочарований, и по временам она готова была плакать. Однажды, беседуя со своим добрым, старинным и верным другом и слугою Бастардом Орлеанским, она сказала:

— Ах, если бы Господь разрешил мне сбросить это стальное одеяние, и вернуться к моим отцу и матери, и снова пасти овец, и свидеться с сестрой и братьями, которые так обрадовались бы мне!..

К 12 августа мы расположились лагерем близ Даммарте-на. Вечером у нас была стычка с арьергардом Бедфорда, и мы надеялись начать поутру настоящее сражение, но ночью Бедфорд со всем своим отрядом успел удалиться в сторону Парижа.

Карл послал герольдов, и город Бовэ сдался. Епископ Пьер Кошон — этот преданный друг и раб англичан — не мог этому воспрепятствовать, несмотря на все свои усилия. Тогда он был еще неизвестен, а между тем его имени суждено было обойти весь земной шар и вечно жить в проклятиях французов! Не осуждайте же меня, если я мысленно плюну на его могилу.

Компъен сдался и спустил английский флаг. 14-го мы расположились лагерем на расстоянии двух лье от Санли. Бедфорд вернулся и, приблизившись, занял сильную позицию. Мы приступили к нему, но все наши старания вытащить его из лагеря остались безуспешны, хотя он обещал сразиться с нами в открытом поле. Надвигалась ночь. Пусть-ка подождет до утра! Но к утру он опять исчез.

18 августа мы вступили в Компъен, вытеснили английский гарнизон и водрузили там наш флаг.

23 августа Жанна приказала идти к Парижу. Король и окружавшая его шайка остались этим недовольны и угрюмо удалились в только что сдавшийся город Санли. В течение немногих дней нам подчинилось значительное число укрепленных мест: Крейль, Пон-Сен-Максанс, Шуази, Гурнэ-сюр-Аронд, Реми, Ла-Нефвиль-ан-Эц, Монэ, Шантильи, Сентин. Рушилась английская мощь! А король по-прежнему хмурился, осуждал и боялся нашего выступления против столицы.

26 августа 1429 года Жанна расположилась лагерем в Сен-Дени, в сущности — под стенами Парижа.

А король все еще пятился назад и боялся. Если б только он был тогда с нами и скрепил наши действия своей властью! Бедфорд пал духом и решил отказаться от сопротивления, сосредоточив свои силы в наилучшей и наиболее преданной из оставшихся у него провинций — в Нормандии. Ах, если б нам удалось убедить короля, чтобы он пришел и ободрил нас в ту знаменательную минуту своим присутствием и согласием!

ГЛАВА XL

Гонца за гонцом слали мы к королю: он обещал прийти, но не приходил. Герцог Алансонский отправился к нему, и он снова подтвердил свое обещание и снова его нарушил. Так пропало девять дней; наконец он явился, прибыв в Сен-Дени 7 сентября.

Между тем враг становился все смелее: трусливое поведение короля не могло иметь иного следствия. Были уже сделаны приготовления к защите города. Обстоятельства теперь менее благоприятствовали Жанне, однако она и ее полководцы полагали, что успех еще в достаточной мере обеспечен. Жанна приказала начать атаку в восемь часов поутру, и наши войска были готовы в назначенное время.

Выбрав место для своей артиллерии, Жанна начала обстреливать сильный редут, прикрывавший ворота Сент-Оноре. Около полудня, когда укрепление было уже в значительной степени разрушено, затрубили атаку, и крепость была взята штурмом. Тогда мы двинулись дальше, чтобы захватить ворота, и несколько раз устремлялись к ним сомкнутыми рядами. Жанна, сопровождаемая знаменем, вела атаку. Облака удушливого дыма окутывали нас со всех сторон. На нас падали метательные снаряды, как град.

В разгаре последней атаки, которая наверняка открыла бы нам ворота Парижа и вместе с тем всей Франции, Жанна была ранена стрелой из арбалета, и солдаты наши мгновенно подались назад, охваченные почти паническим страхом, — ибо что могли они делать без нее? Она ведь олицетворяла собой армию.

Лишившись возможности сражаться, она тем не менее отказалась отступить и просила опять идти на приступ, говоря, что теперь мы непременно победим; и боевой огонь загорелся в ее глазах, когда она добавила: «Я возьму Париж теперь же или умру!» Ее пришлось увести насильно, и это было выполнено Гокуром и герцогом Алансонским.

Но настроение ее было на высоте. Беспредельный восторг воодушевлял ее. Она сказала, чтобы ее на другое утро принесли к воротам, и через полчаса Париж будет принадлежать нам бесспорно. Она сдержала бы свое слово. В этом нельзя сомневаться. Но она забыла об одном — о существовании короля, который был тенью презренного ла Тремуйля. Король запретил идти на приступ.

Дело в том, что как раз в это время прибыл новый посол герцога Бургундского; опять затевались преступные тайные плутни.

Надо ли мне говорить вам, что сердце Жанны разрывалось? Страдая от раны и от сердечной боли, она мало спала в эту ночь. Несколько раз часовые слышали глухие рыдания, доносившиеся из темной комнаты, где она лежала, и многократно раздавались там скорбные слова: «Победа была возможна!.. Победа была возможна!» — больше она ни о чем не говорила.

Через день она с трудом поднялась с постели, окрыленная новой надеждой. Д'Алансон перебросил мост через Сену, вблизи Сен-Дени. Быть может, ей удалось бы перейти по этому мосту и напасть на Париж с другой стороны? Но король, узнав о том, приказал разрушить мост! Мало того: он объявил, что поход окончен! Не остановившись и на этом, он заключил новое — и весьма продолжительное — перемирие, по условиям которого он покидал Париж непотревоженным и невредимым и удалялся к берегам Луары, откуда пришел!

Жанна д'Арк, ни разу не побежденная врагом, потерпела поражение со стороны своего же короля. Однажды она сказала, что в своем деле она ничего не боится, кроме предательства. Теперь предательство нанесло первый удар. Она повесила свои белые доспехи в королевской базилике в Сен-Дени и, явившись к королю, попросила освободить ее от служебных обязанностей и отпустить домой. Она поступила мудро, как всегда. Ибо кончилось время великих задач и широких военных замыслов; по истечении срока перемирия война должна была смениться рядом случайных и незначительных стычек; такая работа была по плечу и второстепенным военачальникам и не нуждалась в руководящих указаниях великого военного гения. Но король не соглашался отпустить ее. Перемирие не распространялось на всю Францию; некоторые французские крепости нуждались в надзоре и охране; королю могла понадобиться помощь Жанны. В действительности же ла Тремуйль желал удержать ее там, где он мог ей мешать и досаждать.

Но вот снова явились Голоса. Они говорили: «Останься в Сен-Дени». Объяснения не было. Они не сказали почему. То был глас Божий, и он заглушил приказ короля. Жанна решила остаться. Однако ла Тремуйль испугался этого. Нельзя было предоставить самой себе такую грозную силу, как она. Она наверняка разрушит все его планы. Он убедил короля прибегнуть к насилию. Жанна должна была

покориться, потому что она была ранена и беспомощна. На Великом суде она показала, что ее удалили против ее воли и что, если бы она не была ранена, этого не привели бы в исполнение. Как она была сильна душой — эта слабая девушка! Она могла бы бросить вызов всем сильным мира и вступить с ними в бой. Мы никогда не узнаем, почему Голоса повелевали ей остаться. Мы знаем только, что если бы она имела возможность повиниться им, то история Франции сложилась бы не так, как она теперь записана в книгах. Да, мы это знаем.

13 сентября наша опечаленная, приунывшая армия повернулась к Луаре и двинулась в путь — без музыки! Подробность эта была замечена всеми. То было похоронное шествие; именно так. Продолжительное, тоскливое похоронное шествие, не сопровождавшееся ни единым радостным возгласом. Во время пути друзья смотрели на нас сквозь слезы, враги встречали нас смехом. Наконец, дошли мы до Жиана — до того места, откуда меньше трех месяцев назад начался наш блестящий поход на Реймс; тогда развевались знамена, играла музыка, и наши лица светились гордым воспоминанием о Патэ, а народные толпы ликовали, встречали нас приветствиями и провожали благочестивым напутствием. Теперь же шел унылый, осенний дождь, день был сумрачен, небеса печальны, зрителей было немного, и единственным приветствием были слезы, молчание и скорбь.

Потом король распустил это благородное героическое воинство; знамена были свернуты, оружие сложено: позор Франции был довершен. Ла Тремуйль получил венец победителя; непобедимая Жанна д'Арк была побеждена.

ГЛАВА ХLI

Да, я сказал правду: Жанна держала в руках Париж и Францию и попирала пятой Столетнюю войну, но король заставил ее разжать пальцы и сдвинуть стопу.

После того месяцев восемь ушло на скитания с королем, с его советом и с его веселым, щегольским, пляшущим, любезным, шутливым, поющим серенады и развлекающимся двором, — скитания из города в город и из замка в замок; такая жизнь нравилась нам, членам личной свиты, но Жанне была не по душе. Впрочем, она только наблюдала эту жизнь, не принимая в ней участия. Король искренно старался сделать Жанну счастливой и проявлял в этом случае очень ласковую и неизменную заботливость. Все остальные должны были нести на себе тяжелые цепи строгого придворного этикета, но она была свободна, она пользовалась особыми правами. Один раз в день она должна была принести дань учтивости, сказав королю любезное слово, — и больше от нее ничего не требовали. Само собой разумеется, что она постепенно сделалась отшельницей и целыми днями скучала в отведенных ей палатах; размышления и молитвы составляли ее общество, а составление отныне несбыточных военных планов служило ей развлечением. В своем воображении она отправляла отряды войск из разных пунктов с таким расчетом предположенных расстояний, сроков, даваемых каждому отряду, и условий местности, чтобы все части войск встретились в заранее заданный день или час и немедленно соединились для начала сражения. То было ее единственное занятие, единственная отрада, облегчавшая ей бремя печали и бездействия. Она занималась этой игрой целыми часами, как иные занимаются игрой в шахматы; она незаметно увлеклась и таким образом отдыхала умом и исцелялась сердцем.

Конечно, она не жаловалась. Это было не в ее привычке. Она принадлежала к тем, кто умеет страдать безмолвно. Но все-таки она томилась, как запертый в клетку орел, и тосковала по вольному воздуху, по горным высотам, по диким красотам мятежной стихии.

Франция в это время изобиловала бродягами: то были солдаты распущенных войск, готовые ухватиться за любое дело, которое будет им предложено. Неоднократно, когда унылый плен становился для Жанны невыносим, она получала разрешение набрать отряд кавалерии и почерпнуть новые силы в бодрящей стычке с врагом. Эти поездки действовали на ее настроение как освежающее купанье.

Дело было при Сен-Пьер-ле-Мутье. Вспомнились нам прежние времена, когда она вела атаку за атакой и, будучи несколько раз отражена, снова шла на приступ, горя усердием и восторгом; но, наконец, метательные снаряды начали падать столь невыносимо часто, что старый д'Олон, который был уже ранен, затрубил отбой (король сказал ему, что он головой отвечает за безопасность Жанны); и все ринулись вслед за ним, как он предполагал. Но когда он обернулся, то увидел, что мы, члены свиты, продолжаем рубиться вовсю. Он поехал назад и уговаривал Жанну вернуться; «Не безумие ли — оставаться здесь, имея какую-нибудь дюжину людей?» — сказал он. Ее глаза сверкнули веселостью, и она повернулась к нему, воскликнув:

— Дюжина? Во имя Господа, у меня пятьдесят тысяч солдат, и я не тронусь с места, пока мы не возьмем это укрепление! Трубить атаку!

Он повиновался, мы перемахнули через стены, и крепость была наша. Старик д'Олон вообразил, что она бредит; в действительности же она хотела лишь сказать, что чувствует в своей груди мощь пятидесяти тысяч воинов. То было фантастическое сражение; а между тем, на мой взгляд, она сказала сущую правду.

Затем было дело близ Ланьи, где мы четыре раза подряд атаковали с открытого поля окопавшихся бургундцев; четвертый приступ принес нам победу. При этом наиболее ценной добычей был взятый нами в плен Франкэ д'Аррас, беспощадный хищник и грабитель всех окрестных мест.

Было еще несколько подобных же стычек; и наконец, в последних числах мая 1430 года попали мы в место, находившееся недалеко от Компьена. Жанна решила идти на помощь этому городу, который был тогда осажден герцогом Бургундским.

Незадолго перед тем я был ранен, а потому не мог без посторонней помощи ехать верхом; но добрый Карлик усадил меня за своей спиной, и, держась за него, я был в сравнительной безопасности. Мы выступили в полночь; моросил теплый дождь, и мы продвигались медленно и осторожно, соблюдая мертвую тишину, так как нам предстояло проскользнуть через вражеские войска. Нас окликнули только один раз; мы не ответили, но, сдержав дыхание, продолжали упорно и тихо пробираться дальше и беспрепятственно миновали опасные места. Часа в три или в половине четвертого мы подошли к Компьену. На востоке только что начал пробиваться серый рассвет.

Жанна сейчас же принялась за работу и совместно с Гильомом де Флави, городским военачальником, составила план действий: решено было под вечер устроить вылазку и напасть на врага, расположившегося на другом берегу Уазы, на равнине. Одни из городских ворот имели сообщение с мостом, конец которого, на том берегу, был защищен укреплением, так называемым больверком; этот больверк в то же время господствовал над дорогой, которая тянулась в виде насыпи к деревне Маргюи, пересекая всю долину. В Маргюи стоял отряд бургундцев; другой отряд расположился в Клеруа, милях в двух вверх по течению; а в полутора милях вниз по течению, в Венетте, стояли англичане. Таким образом, расположение войск можно было сравнить с луком, готовым выпустить стрелу: дорога эта — стрела, на оперенном конце которой находился больверк, а около острия — Маргюи; Венетта — на одном конце дуги, Клеруа — на другом.

Жанна решила двинуться по дороге прямо к Маргюи, взять деревню приступом, затем быстро свернуть направо, в Клеруа, овладеть и этим лагерем, и наконец, переменить фронт и приготовиться к решительной битве, так как позади Клеруа находился герцог Бургундский с резервными войсками. Лучники и артиллерия под начальством заместителя Флави должны были находиться в больверке, чтобы английские войска не могли подойти снизу, захватить дорогу и отрезать Жанне путь к отступлению, в случае, если это представится ей необходимым. Кроме того, вблизи больверка предполагалось поместить флотилию вооруженных судов в качестве вспомогательного прикрытия на случай отступления.

Было 24 мая. В четыре часа пополудни Жанна выступила из города во главе отряда из шестисот всадников — то был последний в ее жизни поход.

Сердце мое надрывается. Мне помогли взобраться на городскую стену, и я видел оттуда значительную часть того, что произошло; остальное мне рассказали много времени спустя наши рыцари и другие очевидцы. Жанна переехала мост и вскоре оставила больверк за собой; она мчалась по дорожной насыпи, и в воздухе звонко отдавался топот ее конницы. Поверх своих лат она накинула сверкающий, шитый серебром и золотом короткий плащ, и я видел, как он блестел, развевался и трепетал, словно белое пламя.

День был ясный, и можно было далеко обозреть всю долину. Вскоре мы увидели быстро и в полном порядке приближавшийся отряд англичан; их латы так и сверкали на солнце.

Жанна обрушилась на бургундцев в Маргюи, но была отражена. Между тем из Клеруа подходили новые силы бургундцев. Жанна собрала своих солдат и опять произвела нападение, но опять получила отпор. Две атаки подряд отняли немало времени, а время было тут очень дорого. Англичане из Венетты уже приближались к дороге; однако больверк начал палить из пушек, и это их задержало. Вдохновенной речью Жанна ободрила своих людей и отважно повела их снова на приступ. На этот раз она взяла Маргюи, и грянуло «ура». После того она сразу повернула вправо, помчалась по равнине и наскочила на отряд, который только что подходил из Клеруа. Закипел жаркий продолжительный бой. Два войска сталкивались, теснили друг друга назад, и победа склонялась то в одну сторону, то в другую. Но вдруг в наших рядах произошло смятение. Рассказывают об этом различно. По словам одних, пальба из орудий поселила в передовых рядах мысль, что англичане успели отрезать путь к отступлению; по словам других, задние ряды почему-то вообразили, что Жанна убита. Как бы то ни было, солдаты наши растерялись и беспорядочной толпой побежали к дороге. Жанна пыталась их ободрить и заставить повернуться лицом к врагу, крича, что победа нам обеспечена, но — все напрасно: они расступились и пронеслись мимо нее, точно морская волна. Старый д'Олон умолял ее отступать, пока была еще возможность спасения; но она отказалась. Тогда он схватил поводья ее лошади и насильно умчал ее вслед за смятенным войском. И эта дикая толпа обезумевших людей и лошадей добежала до самой дороги. Пальбу из пушек пришлось, конечно, прекратить; а это дало англичанам и бургундцам возможность благополучно сплотиться: одни стояли спереди, другие надвигались с

тыла. Французы были оттеснены этим потоком под самые стены бойверка; и там, загнанные в угол, который был образован его боковой стеной и скатом дорожной насыпи, они вступили в последний отважный бой и пали один за другим.

Флави, наблюдавший с городской стены, приказал запереть ворота и поднять мост. Жанна была отрезана от города.

Быстро редела окружавшая ее личная стража. Оба наши рыцаря пали, раненные; та же судьба постигла обоих ее братьев; за ними — Ноэль Рэнгесон: все они были ранены, когда защищали Жанну от направленных на нее ударов. Остались наконец только Карлик и Паладин; но они не хотели сдаваться: непоколебимо стояли они, как две стальные башни, забрызганные кровью; и где опускался топор одного и меч другого, там становилось одним врагом меньше. И, так сражаясь и до конца храня преданность долгу, они нашли свою почетную смерть — добрые, незатейливые души! Да покоятся они с миром! Они были мне очень дороги.

Враг возликовал, кинулся вперед, и Жанну, все еще упорствовавшую, все еще оборонявшуюся мечом, схватили за край плаща и стащили с лошади. Она была увезена в качестве пленницы в лагерь герцога Бургундского, и туда же поспешило победоносное войско, оглашая воздух криками радости.

Страшная новость быстро разнеслась кругом; она передавалась из уст в уста, и куда доходила она, там народ был поражен будто столбняком; и люди бормотали, словно говоря с собой или сквозь сон: «Взяли Орлеанскую Деву!.. Жанна д'Арк в плену!.. Мы потеряли Спасительницу Франции!» — и продолжали повторять эти слова, словно они не могли понять, как это случилось, как Господь допустил до этого!

Знаете ли вы, на что похож город, где стены домов от карнизов до мостовой завешаны шелестящей черной тканью? Если да, то вы знаете, каков был с виду Тур и некоторые другие города. Но может ли кто рассказать вам, как велика была печаль в сердцах французских крестьян? Нет, этого вам никто не расскажет; и сами они, бедные бессловесные создания, не сумели бы вам рассказать. Но в их сердцах, несомненно, царил печаль. Душа целого народа окутана трауром!

24 мая. Теперь мы опустим завесу над самой беспримерной, трогательной и удивительной военной драмой, какая была когда-либо исполнена на мировых подмостках. Жанна д'Арк больше не выступит в поход.

КНИГА ТРЕТЬЯ Суд и мученичество

ГЛАВА I

Я не в состоянии долго останавливаться на позорных подробностях лета и зимы, последовавших за ее пленением. Некоторое время я был сравнительно спокоен, ожидая со дня на день, что за Жанну назначат выкуп и что король — нет, не король, но Франция — поспешит заплатить за ее свободу. По военным законам она не могла быть лишена права выкупа. Она не была бунтовщицей; она была правомерно избранным воином; королевский указ сделал ее главнокомандующим войсками Франции, и ее нельзя было обвинить ни в одном нарушении законов войны. Поэтому ее нельзя было держать в плену под каким бы то ни было предлогом, раз за нее предложен выкуп.

Но день проходил за днем, а выкупа не предлагали! Может показаться неправдоподобным, а между тем это правда. Не внимал ли король шепоту предателя — Тремуиля? Нам известно лишь, что король хранил молчание и ничего не предпринимал ради спасения этой бедной девушки, которой он был столь многим обязан.

А у врагов, напротив, царил оживление. Известие о пленении Жанны на другой же день долетело до Парижа, и ликующие англичане и бургундцы денно и ночью оглушали жителей радостным звоном колоколов и благодарственным громом пушек. На следующий день наместник генерал-инквизитора послал к герцогу Бургундскому гонца с требованием передачи пленницы в руки духовенства, чтобы предать ее суду как язычницу.

Англичане осознавали благоприятность момента, и в действительности всем руководила английская власть, а вовсе не духовенство. Церковью воспользовались как прикрытием, как уловкой. И причина тому была уважительная: Церковь не только могла лишить Жанну жизни, но и искоренить влияние ее имени; светский суд лишь способствовал бы его возвеличиванию и бессмертию. Жанна д'Арк являлась во Франции единственной силой, которую англичане не презирали, а считали реальной угрозой. Они рассчитывали, что если только явить ее богоотступницей, еретичкой, ведьмой, посланницей Сатаны, а не Неба, то владычество Англии будет сразу восстановлено.

Герцог Бургундский гонца выслушал, но действовать не торопился. Он не сомневался, что вскоре выступит французский король — или французский народ — и заплатит за нее более высокую цену, чем

англичане. Он бдительно сторожил Жанну, заключенную в замке, и ждал неделю за неделей. Он был принц французской крови и в глубине души стыдился продать пленницу англичанам. Но сколько он ни ждал, со стороны французов предложений не поступало.

Однажды Жанна хитро обманула тюремщика и не только ускользнула из тюрьмы, но заперла его самого. Однако бегство ее было замечено часовым: ее поймали и привели назад.

Тогда ее поместили в другой, более надежный замок — Бореуар. Произошло это в начале августа; она пробыла в заточении уже два с лишним месяца. Здесь ее заперли в верхней камере башни, имевшей шестьдесят футов высоты. Тут она протомилась тоже немало: около трех с половиной месяцев. И в течение этих пяти тоскливых месяцев плена она знала, что англичане, прикрываясь религией, торгуются из-за нее, как торгуются при покупке раба или лошади, — и что Франция молчит, молчит король, молчат ее друзья. Да, это было позорно.

И однако, услышав наконец, что Компьен осажден врагом и, вероятно, будет взят и что неприятель грозит беспощадным истреблением всем его жителям, даже малолетним детям, — она тотчас загорелась желанием поспешить к нам на помощь. Она разорвала свои простыни на полосы, связала их и ночью спустилась из окна по этому непрочному канату. Он оборвался; она упала и жестоко расшиблась и три дня пролежала без памяти, не принимая ни пищи, ни питья.

Но вот к нам подоспело подкрепление с графом Вандомским во главе. Компьен был спасен, осада снята. Для герцога Бургундского это явилось большим несчастьем. Он остро нуждался в деньгах — и был как раз подходящий момент для возобновления торга. Англичане тотчас снарядили французского епископа — навеки заклеймившего себя Пьера Кошона из Бовэ. Ему в случае успеха обещали незанятое тогда епископство руанское. Он предъявил требование, чтобы его назначили председателем церковного суда над Жанной, — на том основании, что поле сражения, где она была взята в плен, находилось в пределах его епархии.

По военным обычаям того времени, за принца королевской крови назначался выкуп в 10 тысяч ливров золотом, то есть 61 125 франков — вполне определенная сумма, как видите. Раз выкуп предлагался, его следовало принять; отказаться не имели права.

Кошон явился от англичан с предложением выкупа именно в этом размере — за бедную крестьянскую девушку предложили как за принца королевского дома. Вот неоспоримое доказательство, что англичане считали ее влияние крайне опасным. Выкуп был принят. За эту сумму и была продана Жанна д'Арк, спасительница Франции; продана своим врагам; продана врагам своего отечества; врагам, которые бичевали, терзали, разрывали Францию в течение столетия и превратили это глумление в воскресную забаву; врагам, которые давным-давно забыли, каково лицо француза, — так привыкли они видеть только его спину; врагам, которых она отхлестала, которых она укротила, которых она научила уважать французскую отвагу, воскресшую в ее народе могуществом ее вдохновения; врагам, которые жаждали ее крови, считая ее жизнь единственным препятствием между триумфом англичан и унижением французов. Продана французским принцем французскому попу, между тем как французский король и французский народ стояли, неблагодарные, в стороне и ничего не говорили.

А она, что говорила она? Ничего. Ни единого упрека не сорвалось с ее уст. Для этого она была слишком велика — она была Жанна д'Арк. И этим было все сказано.

Как воин, она была безупречна. По этой статье ее ни в чем нельзя было обвинить. Надо было придумать какую-либо уловку — и, как мы знаем, они придумали. Ее должна судить Церковь за преступления против религии. Если нельзя ни в чем уличить, то необходимо обвинение построить на вымысле. Пусть же предатель Кошон займется этим один.

Местом суда избрали Руан. Там было средоточие английского могущества; там население пережило уже столько поколений британского ига, что потеряло связь с Францией: сохранился только лишь французский язык. Город охранялся сильным гарнизоном. Жанну отправили туда в декабре 1430 года и бросили в тюрьму. В тюрьме эту свободолюбивую душу заковали в цепи.

А Франция по-прежнему была неподвижна. Как объяснить это? Мне кажется, ответ можно дать только один. Вы помните, что всякий раз, когда Жанны не было во главе войска, французы медлили и оставались в нерешительности; что всякий раз, когда она предводительствовала, они сметали все на своем пути, пока могли видеть ее белые доспехи или ее знамя; что всякий раз, когда она падала раненая или когда разносился слух, что она убита (как это было под Компьеном), они в панике бросались врассыпную и обращались в трусливое бегство. Это дает мне повод думать, что они, в сущности, остались такими же, какими были; что в действительности они все еще не избавились от чар той боязливости, которая была порождена многолетием неудач, и того недостатка доверия друг к другу и к своим начальникам, который явился вследствие горького знакомства с вероломством во всех его видах, — ибо их короли предательски поступали с их великими вассалами и полководцами, а эти в свою очередь платили предательством и главе государства, и самой Франции. Войско поняло, что оно может всецело довериться Жанне, и только ей. Пропала она — пропало все. Она была тем солнцем, которое способно растопить замерзшие потоки и заставить их кипеть. Их лишили

солнца — и они снова замерзли; войско и вся Франция превратились в то, чем были прежде: в мертвые тела, и ни во что больше; в мертвые тела, которым чужды мысли, надежда, гордость и движение.

ГЛАВА II

До первых чисел октября моя рана изрядно меня беспокоила; но с наступлением более свежей погоды я почувствовал прилив жизни и бодрости. Все это время носились слухи, что король собирается предложить выкуп за Жанну. Я принимал на веру эту молву, потому что я был молод и еще не познал мелочности и изменности человеческого рода, который так превозносит себя и гордится своим воображаемым превосходством над остальными животными.

В октябре я поправился настолько, что мог принять участие в двух вылазках, и во время второй — 23 числа — снова был ранен. Как видите, меня начали преследовать неудачи. В ночь на 25 осаждавшие снялись с лагеря, и среди суматохи и беспорядка улизнул один из пленников, благополучно пробрался в Компьен и, прихрамывая, вбежал в мою комнату, бледный и взволнованный.

— Неужели? Жив еще! Ноэль Рэнгесон!

Да, это был он. Вы легко поймете, как обрадовался я нашей встрече; но она была столь же печальна, сколь радостна. Мы не смели произносить имя Жанны. Голос прерывался. Мы знали, о ком идет речь, когда говорили о ней; мы могли говорить «она» и «ее», но не были в состоянии назвать ее по имени.

Разговор прежде всего коснулся ее свиты. Старый д'Олон, которого раненым взяли в плен, по-прежнему находился при Жанне и служил ей с разрешения герцога Бургундского. К Жанне относились с почтительным вниманием, как того требовали ее сан полководца и положение военнопленного, взятого в честном бою. И так продолжалось (об этом мы узнали впоследствии) до тех пор, пока она не попала в руки этого отпрыска сатаны, Пьера Кошона, епископа Бовэ.

Ноэль осыпал благородными и любвеобильными похвалами нашего хвастливого великорослого знаменосца, который ныне умолк навсегда; он, побывав во всех своих настоящих и мнимых сражениях, завершил свое ратное поприще и нашел почетную смерть.

— Подумай только, какое ему выпало счастье! — воскликнул Ноэль со слезами на глазах. — Он всегда был баловнем судьбы! Вспомни, как она ему непрестанно сопутствовала с первого шага, на полях сражений или среди мирной жизни; всегда толпа боготворила его, все за ним ухаживали, все ему завидовали; ему всегда представлялся случай совершить великие подвиги — и он совершал их; вначале ему в шутку дали прозвище Паладина, а потом это имя сделалось его истинным достоянием, потому что он блестяще его оправдал; и наконец, высшее счастье — он умер на поле брани! Умер с оружием в руках; умер — подумай только! — на глазах Жанны д'Арк! Он испил чашу славы до конца и, торжествующий, нашел вечный покой; блаженна его судьба: он был избавлен от нагрянувшего бедствия. О счастливец, счастливец! А мы? За какие прегрешения оставлены мы здесь? Разве не заслужили мы блаженства смерти?

Немного погодя он сказал:

— Они выхватили из его окоченевшей руки священное знамя и унесли его как драгоценный трофей вслед за взятой в плен героиней. Но они его потеряли: месяц тому назад мы — наши два добрых рыцаря, разделившие со мной участь пленников, и я — с опасностью для жизни похитили знамя, переслали его в Орлеан с помощью надежных людей, и оно отныне будет вечно храниться там в сокровищнице.

С чувством радости и признательности узнал я об этом. Я с тех пор много раз видел там знамя, когда навещал Орлеан 8 мая в качестве любимого старого гостя, которому на городских торжествах и процессиях отводилось первое место, — то есть с тех пор, как братья Жанны покинули наш мир. И через тысячу лет оно по-прежнему будет там, оберегаемое любовью французского народа, — будет там, доколе не истлеют последние остатки ткани *Знамя пролежало в сокровищнице Орлеана триста шестьдесят лет, но затем было уничтожено на костре вместе с двумя мечами, шапочкой, украшенной пером несколькими придворными нарядами и иными реликвиями Орлеанской Девы, — уничтожено чернью в эпоху Революции. Из предметов к которым прикасалась Жанна д'Арк не осталось ничего кроме бережно хранимых военных и государственных документов с ее подписью: ее рукой водил секретарь или писец ее, Луи де Конт. Существует также камень, с которого она однажды садилась на лошадь, отправляясь в поход. Не далее как четверть века тому назад еще существовал волос с ее головы; он был продернут через восковую печать на пергаментном свитке одного из государственных документов. Печать эта была предательски вырезана и унесена вместе с волосом каким-то вандалом-коллекционером. Нет сомнения что она цела до сих пор но только вору известно где она спрятана. — М. Т. .*

Недели через две или три после этой беседы пришла потрясающая весть. Ужас охватил нас: Жанна д'Арк продана англичанам!

Ни на минуту не допускали мы возможности этого. Ведь мы были молоды и, как я сказал, не знали людей. Мы так гордились своим отечеством, так были уверены в его благородстве, великодушии,

благодарности. От короля мы ждали немногого, но от Франции — всего. Каждому было известно, что во всех городах патриотическое духовенство устраивает процессии и убеждает народ жертвовать деньгами, имуществом, всем своим достоянием, чтобы купить свободу ниспосланной Небом спасительнице. Нам и в голову не приходило сомневаться, что деньги будут собраны.

Но теперь все погибло. Горькое время пришлось нам пережить. Небеса словно вдруг омрачились; радость покинула наши сердца. Неужели этот соратник, сидящий подле моей постели, действительно Ноэль Рэнгесон, тот самый легкомысленный юноша, чья жизнь была непрерывной шуткой и кому воздух был нужен не столько для дыхания, сколько для смеха? Нет, нет, того Ноэля я больше не увижу. Сердце его разбито. Он бродил в какой-то тоске, безучастный, словно спросонок. Поток его смеха иссяк в самом источнике.

Да оно и лучше: я сам был в таком же состоянии. Наши сердца были в Руане, нам хотелось бы перенестись туда всецело. Все, что было нам дорого в здешнем мире, находилось в этой крепости под замком. Мы были бессильны помочь ей, но все-таки мы почувствовали бы некоторое утешение, находясь вблизи нее, дыша одним и тем же воздухом и ежедневно созерцая скрывающие ее стены. Что, если бы нас взяли там в плен? Сделаем же все от нас зависящее, а там пусть счастье и судьба решат исход нашей затеи.

Итак, мы пустились в путь. Мы с трудом верили происшедшей повсеместно перемене. По-видимому, мы могли выбирать любую дорогу и идти куда нам угодно: никто нас не останавливал, не спрашивал. Пока Жанна сражалась, повсюду царил какой-то панический страх; но теперь, когда ее удалось устранить, страх рассеялся. Никто больше из-за тебя не тревожился, не боялся, никто не допытывался, кто ты такой и по каким делам путешествуешь, — все были равнодушны.

Мы сообразили, что можно отправиться по Сене вместо того, чтобы утомлять себя сухопутной дорогой. Так и поступили; наняв лодку, мы доехали почти до Руана. На расстоянии одного лье от города мы вышли на берег — не на холмистой стороне, а на низменной, где земля гладка, точно скатерть. Никто не мог проникнуть в город или уйти из него, не предъявив удовлетворительных объяснений. Происходило это оттого, что там опасались попыток освободить Жанну.

Мы обошлись без хлопот. Остановившись на неделю в семье крестьян, живших в долине, мы помогали им по хозяйству, получая за это пищу и пристанище, и завязали с ними дружбу. Мы обзавелись такой же одеждой, какую носили они. Мало-помалу они делались менее скрытными, относились к нам с большим доверием, и мы узнали, что в их груди таились сердца французов. Тогда мы открылись им во всем, посвятили их в свой замысел и встретили в них полное сочувствие и готовность помочь нам. Наш план составил быстро и отличался простотой. Мы решили нарядиться пастухами и погнать на городской рынок стадо баранов. Однажды ранним утром, под тоскливо моросившим дождем, мы осуществили эту попытку и беспрепятственно прошли через нахмурившиеся ворота города. У наших друзей были приятели, жившие сзади скромной винной лавки, в красивом высоком здании, которое находилось в одном из тех узких переулков, что идут от собора к реке; у них-то они и пристроили нас. А на другой день они потихоньку привезли нам наши настоящие платья и остальные пожитки. Семья Пьерона, приютившая нас, сочувствовала делу Франции, и нам нечего было таиться от хозяев.

Мне необходимо было добыть кусок хлеба себе и Ноэлю; и когда семья Пьеронов узнала, что я умею писать, то они обратились к своему духовнику с ходатайством за меня, а тот выхлопотал мне место у доброго священника Маншо-на, главного регистратора приближавшегося Великого суда над Жанной д'Арк. Странная для меня должность — быть писцом у регистратора суда — и к тому же опасная, если вдруг станет известным мой образ мыслей и мое недавнее прошлое. Впрочем, опасность была невелика. Маншон, в сущности, сочувствовал Жанне и не выдал бы меня; имя тоже не могло бы меня погубить, потому что я откинул признак дворянской фамилии, оставив себе только имя, данное при крещении, как человек низкого происхождения.

С января по февраль я постоянно сопутствовал Маншо-ну и несколько раз был с ним в цитадели — в той самой крепости, где была заточена Жанна, но, конечно, ни разу ее не видел, так как мне не пришлось посетить ту башню, в которой находилась ее темница.

Маншон рассказал мне обо всем, что произошло до моего появления. С тех самых пор как продали Жанну, Кошон деятельно подбирал судей для гибели Девы — много недель потратил он на это подлое дело. Парижский университет прислал нескольких сведущих, ловких и надежных богословов нужного ему образа мыслей; вдобавок он вербовал в разных местах многочисленных духовных лиц, принадлежащих к той же шайке и пользовавшихся большим влиянием, так что, в конце концов, ему удалось составить грозное судилище, насчитывавшее около полусотни знаменитых имен. То были французские имена, но сочувствовавшие и помогавшие Англии.

Из Парижа был также прислан уполномоченный сановник инквизиции, потому что обвиняемую надо было предать инквизиционному суду. Но он оказался человеком смелым и справедливым и категорично заявил, что дело ее неподсудно созванному суду, и на этом основании отказался от участия в

разбирательстве. Тот же благородный ответ был получен от двух или трех других представителей инквизиции.

Инквизитор был прав. Дело, вновь возбужденное против Жанны, давно уже было рассмотрено судом в Пуатье и решено в ее пользу. Оно было рассмотрено высшим судом, чем этот, так как там председательствовал архиепископ Реймский — епархиальный начальник самого Кошона. Таким образом, низший суд нагло вознамерился пересмотреть и перерешить дело, по которому уже был вынесен приговор судом высшим — судом, имевшим более широкие полномочия. Вообразите себе только это! Нет, вторичный пересмотр дела не мог быть правомерным. Кошон по многим причинам не имел права председательствовать в новом суде: Руан не принадлежал к его епархии; Жанна была взята под стражу не в Домреми, по-прежнему считавшемся ее местожительством; и наконец, этот предполагаемый судья был явным врагом пленницы, а следовательно, не имел права судить ее. И тем не менее все эти великие препятствия были сведены на нет. Областное Руанское собрание каноников дало, наконец, Кошону оправдательные грамоты, хотя не без борьбы и не без давления сверху. Подобное же воздействие оказали на инквизитора, так что ему пришлось подчиниться.

Вот тогда-то ничтожный английский король через своего уполномоченного передал Жанну во власть трибунала, но с такой оговоркой: если суду не удастся вынести ей обвинительный приговор, то она должна быть возвращена ему!

О боже мой, на что могла теперь надеяться эта забытая, одинокая девочка! Одинокая — в полном значении слова. Ведь она была одна, в темной башне, с полудюжиной звероподобных, грубых солдат, стороживших днем и ночью ту комнату, где помещалась ее клетка, — ее засадили в железную клетку, и ее шея, ее руки и ноги были цепью прикованы к кровати. Вблизи нее — никого из знакомых; не позаботились даже приставить к ней женщину. Да, это было настоящее одиночество.

Жанну взял в плен под Компьеном некий вассал Жана Люксембургского, и не кто иной, как сам Жан, продал ее герцогу Бургундскому. И однако, этот же герцог Люксембургский имел наглость явиться перед Жанной в ее клетке. Он пришел в сопровождении двух английских графов — Варвика и Стаффорда. Он был жалким, низменным существом. Ей он сказал, что готов выпустить ее на свободу, если она даст обещание никогда больше не сражаться против англичан. Она уже долго пробыла в этой клетке, однако не настолько долго, чтобы пасть духом. Она ответила с презрением:

— Бог свидетель — вы только издеваетесь надо мной. Я знаю, что у вас нет ни власти, ни желания сделать это.

Он настаивал. Тогда в Жанне возгорелось достоинство и гордость воина, и, подняв закованные руки, она опустила их так, что зазвенели цепи, и сказала:

— Взгляните! Эти руки знают больше вашего и умеют лучше пророчествовать. Я знаю, что англичане убьют меня, потому что они воображают, будто им после моей смерти легко будет завладеть французским королевством. Но они ошибаются. Будь их хоть сотни тысяч — они ничего не добьются.

Гордая речь разъярила Стаффорда, и он — каково это вам покажется! — он, свободный и сильный мужчина, выхватил свой кинжал и бросился вперед, чтобы заколоть ее — закованную в цепи, беспомощную девушку. Но Варвик схватил его за руку и удержал. Варвик поступил разумно. Лишить ее жизни при таких обстоятельствах? Отправить ее на Небо, чистую и неопороченную? Ведь это значило бы обоготворить ее в глазах Франции, и весь народ восстал бы и, вдохновляемый ее героизмом, начал бы победоносное отвоёвывание своей свободы. Нет, ее надо пока пощадить, так как ей уготована иная судьба.

Итак, приближалось время Великого суда. Больше двух месяцев Кошон повсюду выискивал и вылавливал разные обрывки улики, подозрений и догадок, которыми можно было бы воспользоваться во вред Жанне, и тщательно устранял все благоприятные для нее показания. В его распоряжении были бесчисленные пути, средства и орудия, чтобы подготовить и усилить обвинение, и все это он пустил в ход.

У Жанны же не было никого, кто позаботился бы о ее защите; запертая в каменных стенах, она не имела вблизи ни единого друга, к которому можно было бы обратиться за помощью. И из свидетелей она не могла вызвать ни одного: все они находились далеко, под знаменем Франции; здесь же был суд англичан. Они не смели приблизиться к воротам Руана, иначе их всех схватили бы и повесили. Нет, пленница должна быть единственным свидетелем — свидетелем защиты и обвинения; и смертный приговор был вынесен гораздо раньше, чем двери суда открылись для первого заседания.

Узнав, что в состав суда вошли только богословы из приверженцев Англии, она просила во имя справедливости допустить такое же число духовных лиц французской партии. Кошон встретил ее просьбу насмешками и даже не соблаговолил прислать ответ.

По законам Церкви она, как несовершеннолетняя, имела право выбрать себе ходатая, который руководил бы ее делом, указывал бы, как надо отвечать на предлагаемые вопросы, и предостерегал бы от ловушек, расставляемых хитрыми обвинителями. Быть может, она не знала, что это — ее право, осуществления которого она может требовать: ведь некому было ей разъяснить. Во всяком случае, она об

этом просила. Кошон отказал. Она настаивала и умоляла, ссылаясь на свою молодость и незнакомство со сложностью и хитросплетениями законов и судопроизводства. Кошон снова отказал и заявил, что она должна будет сама осуществлять защиту, как умеет. О, его сердце было из камня!

Кошон составил так называемый *proces verbal*. Скажу проще: «перечень мелочей». Это был подробный список выставленных против нее обвинений, служивших основой всего суда. Обвинений? Перечень подозрений и народных слухов — таковы подлинные слова самого документа. Ее обвиняли только в лежавшем на ней подозрении в ереси, в колдовстве и тому подобных преступлениях против религии.

Но по церковным законам подобное дело может стать предметом судопроизводства не иначе, как после тщательного ознакомления с личностью и прошлым подсудимого; и все, что добыто этим следствием, обязательно должно быть включено в *proces verbal* как его нераздельная часть. Как вы помните, накануне суда в Пуатье первым делом позаботились о соблюдении этого условия. Так поступили и теперь. Послали священника в Домреми. Там и во всей округе он пытливо расспрашивал о Жанне, о ее прошлой жизни и вернулся с готовым суждением. Легко было предугадать его отзыв. Следователь на основании собранных сведений доложил, что нравственность Жанны во всех отношениях безупречна и он «собственной сестре не мог бы указать лучшего примера добродетели». Видите: тот же отзыв, что был получен в Пуатье. Самое суровое испытание не могло опорочить личность Жанны.

Вы скажете: отзыв этот дал Жанне сильную опору. Да, мог бы дать, если бы не остался под спудом. Но Кошон не дремал, и отзыв еще до начала суда исчез из *proces verbal*. Люди были благоразумны — никто не допытывался, какая судьба его постигла.

Можно было ожидать, что теперь Кошон приступит к суду. Но нет, он придумал еще одну уловку, направленную к гибели Жанны, и этим замыслом надеялся нанести смертельный удар.

В числе знаменитостей, присланных Парижским университетом, был один богослов по имени Николай Луазлер. Высокий и красивый, он отличался важной осанкой, умел говорить плавно и складно и в обращении был вежлив и обаятелен. Никаких внешних признаков лицемера или предателя заметить в нем было нельзя, хотя в действительности он был и тем и другим. Его, переодетого башмачником, впустили ночью в тюрьму Жанны; он выдал себя за ее земляка; он назвал тайным патриотом; он признался ей, что в самом деле он носит сан священника. Она была несказанно обрадована, что ей довелось увидеть человека, знакомого с дорогими ей холмами и полями; еще большее счастье доставила ей возможность встретиться со священником и облегчить свое сердце исповедью, ибо таинства Церкви были для нее источником жизни, были ей необходимы как воздух, и она давно уже тосковала об этом, но тщетно. Она открыла свое непорочное сердце этому чудовищу; а он в знак благодарности дал ей совет относительно предстоящего суда; совет, который сразу погубил бы ее, если бы ее врожденная глубокая мудрость не предостерегла ее от подобного шага.

Вы, пожалуй, спросите: какую пользу можно извлечь из подобной затеи, раз тайна исповеди священна и не может быть нарушена? Конечно. Но вообразите, что кто-нибудь третий подслушивал? Ведь он не обязан хранить тайну. Так и было в этом случае. Кошон накануне приказал просверлить отверстие в стене; он стоял, приложив ухо к этой скважине, и слышал все, до последнего слова. Горько вспоминать об этом. Непостижимо, как они могли подобным образом поступать с бедной девушкой. Ведь она не сделала им никакого зла.

ГЛАВА III

Во вторник, 20 февраля, когда я вечером сидел за письменным столом своего патрона, он с печальным лицом вошел в комнату и сказал, что на завтра, в восемь часов утра, назначено начало суда и что я должен быть к этому времени готов, чтобы сопутствовать ему. Конечно, я уже много дней подряд ждал этого; и все-таки известие настолько потрясло меня, что я начал задыхаться и затрепетал, словно осиновый лист. Вероятно, я, сам того не зная, почти надеялся, что в последнюю минуту случится нечто и отвратит этот роковой суд; быть может, Ла Гир ворвался бы в город во главе своих удальцов; быть может, Господь, сжалившись, простер бы могучую десницу. Но теперь... теперь надежде конец.

Суд должен был начаться в крепостной капелле — и при открытых дверях. Снедаемый скорбью, я пошел сказать об этом Ноэлю, чтобы он пришел пораньше и занял место.

Это дало бы ему возможность взглянуть на тот светлый образ, который был нам столь дорог. В продолжение всего дня, проходя по улицам, я натыкался на радостно болтавшие толпы английских солдат и настроенных в пользу Англии французских горожан. Только и было разговора, что о предстоящем событии. Много раз я слышал замечания, сопровождавшиеся бессердечным хохотом:

— Наш толстый епископ наконец устроил все на свой лад и обещает, что подлая ведьма скоро начнет свою веселую, хотя и недолгую пляску.

Но на иных лицах я подмечал сострадание или беспокойство — и не только на лицах французов. Английские солдаты боялись Жанны, но восторгались ее великими подвигами и непобедимой отвагой.

Утром мы с Маншоном отправились спозаранку, но, приблизившись к огромной крепости, мы уже застали там толпы людей: народ продолжал стекаться. Капелла была битком набита, и вход загородили, прекратив дальнейший доступ посторонним. Мы заняли предназначенные нам места. На председательском возвышении восседал Кошон, епископ Бовэ, а перед ним рядами сидели длиннополые судьи — пятьдесят выдающихся богословов; то были высокие сановники Церкви, люди глубоко образованные, ветераны крючкотворства и казуистики, опытные устроители ловушек для невежественных умов и неосторожных ног. Окинув взглядом это войско искусных законовевов, собравшихся сюда со всей Франции, чтобы вынести предрешенный приговор, и вспомнив, что Жанна должна будет одна-одинешенька защищать свою жизнь и свое доброе имя, я спросил себя, на что может надеяться невежественная крестьянская девушка в столь неравной битве; и сердце мое замерло. А когда я снова взглянул на дородного председателя, пыхтевшего и сопевшего в своем кресле, увидел, как колышется от одышки его живот, и заметил жирные складки его тройного подбородка, его шишковатое и бородавчатое лицо, покрытое багровым и пятнистым румянцем, его отвратительный расплоснутый нос, его холодные и злые глаза (как ни взгляни на него — настоящий зверь!), — то мое сердце сжалось еще больше. И когда я заметил, что все побаиваются этого человека и как-то съеживаются, замечая на себе его взор, то растаял и окончательно исчез последний жалкий луч моей надежды.

Только одно место было не занято. Находилась оно около стены, на виду у всех, осененное балдахинном. Там одиноко стояла на возвышении небольшая деревянная скамья без спинки. Высокие солдаты в шлемах, латах и стальных рукавицах стояли по обе стороны возвышения — такие же неподвижные, как и их алебарды, — но больше никого не было видно. Эта маленькая скамья сразу стала дорога моему сердцу, потому что я знал, для кого она приготовлена; и, глядя на нее, я вспомнил верховный суд в Пуатье, где Жанна сидела на такой же скамье и хладнокровно вела тонкую борьбу с изумленными мудрецами церкви и парламента — борьбу, из которой она вышла победительницей; все ее восхваляли тогда, и она отправилась на подвиги, покрывшие ее имя мировой славой.

Как изящна была она, как нежна и невинна, как обаятельна и прекрасна, в расцвете семнадцати лет! Какие то были хорошие дни! И как недавно — теперь ведь ей было девятнадцать; и сколько ей пришлось с тех пор испытать; и какие чудеса она успела совершить!

Но теперь... Теперь все изменилось. Она томилась в тюрьме — вдали от света, от воздуха, от веселья дружеских лиц, томилась больше девяти месяцев, она, дитя солнца, задушевный товарищ птиц и счастливых, свободных тварей. Как ей не устать, не обессилеть после такого долгого плена; вероятно, она отчаялась, зная, что больше нет надежды. Да, все изменилось.

Все это время слышались приглушенные разговоры, шуршанье мантий, шарканье ног. Смешение глухих звуков наполняло залу. Вдруг раздалось:

— Введите подсудимую!

Я затаил дыхание. Сердце мое заколотилось. Теперь настала тишина — полная тишина. Все шумы исчезли, как будто их раньше и не было. Ни звука; безмолвие, становясь тягостным, начинало давить меня. Все лица повернулись к дверям; этого можно было ожидать заранее, потому что большинство присутствующих вдруг осознали в эту минуту, что сейчас они увидят воплощение того, что до сих пор представлялось им только как олицетворенное чудо, как слово, как имя, известное всему миру.

Тишина продолжается. Но вот где-то далеко, в конце вымощенного каменными плитами коридора, раздается неопределенный звук, который медленно приближается: дзинь, дзинь, дзинь... Жанна д'Арк, освободительница Франции, — в цепях!

У меня закружилась голова; все поплыло у меня перед глазами. Я наконец осознал реальность.

ГЛАВА IV

Даю вам честное слово: я не намерен исказить или приукрашивать события этого злосчастного суда. Нет, я расскажу вам всю правду, упомяну о всех подробностях, ни на йоту не уклонюсь от того порядка изложения, в каком мы с Маншоном ежедневно заносили эти события в протокол; и всякий, кто пожелает, может теперь прочесть все это в печатных историях. Разница будет только в одном: беседуя с вами по душам, я воспользуюсь своим правом вставлять замечания и растолковывать вам некоторые обстоятельства следствия, для лучшего уяснения. Кроме того, я буду упоминать о некоторых мелочах, очевидцем которых я был и которые, представляя некоторый интерес для вас и для меня, тем не менее не вошли в официальный отчет, потому что не были признаны достаточно важными *Он сдержал свое слово. Нетрудно убедиться, что его рассказ о Великом суде строго и во всех подробностях согласуется с подтвержденными присягой историческими фактами.* — М. Т. .

Итак, возвращаюсь к тому месту своего рассказа, где я остановился. Мы услышали в коридоре звон цепей Жанны. Она приближалась.

Вот она появилась. Все вздрогнули; многие тяжело дышали. Двое стражников следовали за ней на небольшом расстоянии. Ее голова была слегка наклонена, шла она медленно, потому что была слаба, а тяжелые оковы обременяли ее. На ней было мужское платье, сплошь черное; с головы до ног — мягкая шерстяная ткань, совсем черная, траурно-черная; не на чем отдохнуть было взору. Широкий воротник из той же черной ткани лучеобразными складками лежал на ее плечах и груди; рукава ее камзола, пышно взбитые от плеч до локтей, тесно обтягивали остальную часть рук, закованных в цепи; на щиколотках ног тоже были оковы.

На полпути к своей скамье она остановилась — как раз на том месте, где из окна падал косой поток солнечного света, — и медленно подняла голову. Снова все вздрогнули. Лицо ее было бледно, как полотно; оно поражало своей белизной на этом мрачном черном фоне. Оно было нежно, целомудренно, девственно, несказанно прекрасно, бесконечно кротко и печально. Но боже мой, боже мой! Когда ее непобедимый взгляд вызывающе остановился на судьбе, и исчезла согбенность ее фигуры, и она выпрямилась с видом воинственным и благородным, то мое сердце радостно затрепетало; и я сказал: как хорошо, как хорошо — они не надломили ее мужества, они не победили ее, она по-прежнему — Жанна д'Арк! Да, для меня было ясно, что ее великую душу не мог покорить или запугать этот грозный судья.

Она подошла к своему месту, поднялась на возвышение и села на скамью, подобрав цепи к себе на колени и положив на них белые маленькие руки. И так ждала она — горделиво спокойная; она одна из всех присутствовавших не казалась взволнованной. Загорелый английский солдат, стоявший «вольно» в переднем ряду зрителей-горожан, поднес могучую руку к виску и весьма любезно и почтительно отдал ей честь по-военному; она, дружески улыбнувшись, ответила ему тем же. Это вызвало сочувственный взрыв рукоплесканий, но судья строго остановил публику.

Начался, наконец, тот достопамятный процесс, который назван в истории Великим судом. Пятьдесят законовевдов против одного новичка, и никого, кто помог бы неопытной девушке!

Судья вкратце изложил обстоятельства дела и перечислил народные слухи и подозрения, на которых было основано подозрение. Затем он приказал Жанне преклонить колени и присягнуть в том, что она с безукоризненной правдивостью будет отвечать на все предлагаемые ей вопросы.

Но ум Жанны бодрствовал. Она заподозрила, что за этим на первый взгляд честным и разумным требованием могут скрываться опасные ловушки. Она ответила с тем простодушием, которое не раз разрушало самые хитроумные затеи ее врагов на суде в Пуатье:

— Нет. Ведь я не знаю, о чем вы будете меня спрашивать; вы можете спросить меня о таких вещах, о которых я не пожелаю говорить.

Это рассердило судей и вызвало ропот гневных восклицаний. Жанна была невозмутима. Кошон возвысил голос и начал говорить среди всего этого шума, но он был так разозлен, что едва выговаривал слова.

— С Божественной помощью Господа нашего, — говорил он, — мы требуем, чтобы ты подчинилась этому предписанию, для блага твоей же совести. Поклянись, возложив руку на Евангелие, что ты будешь правдиво отвечать на все предлагаемые тебе вопросы! — И он с силой ударил жирной рукой по своему судейскому столу.

Жанна спокойно возразила:

— Обо всем, что касается моего отца, матери, веры, о всех моих поступках с тех самых пор, как я пришла во Францию, буду говорить охотно; но что касается откровений, полученных мною от Бога, то мои Голоса запретили мне поверять их кому бы то ни было, кроме моего короля... Тут раздался новый взрыв угроз и беспорядочных возгласов; все собрание зашевелилось, пришло в смятение, и ей пришлось замолчать, пока не затихнет шум. Лицо ее покрылось легким румянцем, она выпрямилась и, устремив глаза на судью, закончила свою фразу голосом, в котором прозвучали прежние струны:

— ...и этого я вам никогда не открою, хотя бы вы положили мою голову на плаху!

Вы знаете, как ведут себя французы, когда соберутся на совещание? Судья и половина всех присутствующих вскочили со своих мест, грозя пленнице кулаками, безумствуя и горланя в один голос так, что ничего нельзя было разобрать. Это продолжалось несколько минут; и, видя невозмутимость и равнодушие Жанны, они бесились и шумели еще более. Она наконец сказала с оттенком прежнего лукавства во взгляде:

— Прошу вас, почтенные господа, говорите по очереди, а не все сразу, тогда я смогу вам ответить.

Целых три часа продолжались яростные споры о присяге, а дело не продвинулось ни на шаг. Епископ по-прежнему требовал принесения присяги в обычной форме, а Жанна отказывалась в двадцатый раз, говоря, что принесет только такую присягу, какую она выбрала сама. Внешне картина суда существенно изменилась; впрочем, это относилось только к членам суда и к председателю: они охрипли, ослабели, выбились из сил от такого долгого неистовства, и на их лицах появилась печать усталости — бедняги! — между тем как Жанна была, как прежде, спокойна, хладнокровна и не казалась утомленной.

Шум затих; наступило мимолетное выжидательное молчание. И судья, уступив подсудимой, с горечью в голосе сказал ей, чтобы она принесла присягу на свой лад. Жанна тотчас упала на колени; и когда она положила руки на Евангелие, тот рослый английский солдат высказал вслух свою мысль:

— Ей-богу, если бы она была англичанка, ее не продержали бы здесь и полсекунды!

В нем заговорил солдат, отозвавшийся ей как солдату. Но какой это был жгучий упрек, какое обвинение было этим брошено французскому народу и французской династии! О, если бы он произнес одну только эту фразу среди орлеанцев! Этот благородный, благоговейный город восстал бы до последнего человека, до последней женщины и пошел бы против Руана. Иные слова — слова, которые обдают человека жгучим стыдом и унижают его, — врезаются в память и навсегда остаются. Вот и его изречение запечатлелось в моей памяти.

После того как Жанна присягнула, Кошон спросил, как ее имя, где она родилась, и задал ей несколько вопросов о ее семье; осведомился также, сколько ей лет. Она ответила на все. Затем он спросил, чему она училась.

— Я заучила со слов матери молитвы «Отче наш», «Богородица» и «Верую». Всему, что я знаю, меня научила мать.

Подобные несущественные вопросы тянулись довольно долго. Все были уже утомлены, за исключением Жанны. Суд готовился закрыть заседание. Тут Кошон заявил Жанне, что она не должна делать попыток к бегству под угрозой, что в противном случае ее признают виновной в ереси (своеобразная логика!). Она ответила простодушно:

— Это запрещение меня ни к чему не обязывает. Если бы я могла убежать, я не стала бы упрекать себя, потому что я не давала такого обещания — и не дам.

После этих слов она сказала, что ее оковы слишком тяжелы, и просила, чтобы их сняли, потому что ее и без того зорко стерегут в башне и незачем прибегать к цепям. Но епископ отказал, напомнив ей, что она уже два раза пыталась бежать из тюрьмы. Жанна д'Арк была слишком горда, чтобы настаивать. Она лишь сказала, когда поднялась, чтобы идти со своей стражей:

— Действительно, я хотела бежать и — хочу бежать. — Затем она добавила таким тоном, который, я думаю, мог бы растрогать всякого: — Это право каждого узника.

И она ушла среди торжественной тишины, которая еще более усугубляла острую боль, возникавшую в моем сердце при звоне ее цепей.

Сколько у нее было присутствия духа! Ее никогда нельзя было застать врасплох. Она сразу заметила меня и Ноэля, как только опустилась на свою скамью; мы покраснели до корней волос от волнения и смущения, но ее лицо не отразило ничего, не обличило ничего. Пятьдесят раз в течение дня ее взор искал нас и скользил мимо, как будто она нас не узнавала. Другой на ее месте вздрогнул бы, увидев нас, и тогда... о, тогда, разумеется, мы попали бы в беду.

Медленно возвращались мы домой; каждый был занят своим горем, и мы не обменялись ни единым словом.

ГЛАВА V

В тот же вечер Маншон сказал мне, что во время всего дневного заседания в амбразуре окна сидели, спрятавшись, несколько писцов, которым Кошон приказал составлять отчет, всячески искажая ответы Жанны и извращая их истинный смысл. О, поистине это был самый жестокий, самый бесчестный человек на свете! Однако его замысел не удался. Те писцы были одарены человеческим сердцем: не будучи в силах совершить такую низость, они отважились записать все достоверно, и Кошон проклял их и прогнал с глаз долой, пригрозив, что он их утопит — это была его излюбленная и наиболее часто повторяемая угроза. Затея эта выплыла на свет Божий, породив множество досадных толков, так что Кошон более не решился возобновить свою грязную игру. Известие это доставило мне некоторое утешение.

Придя на следующее утро в цитадель, мы заметили перемены. Нашли, что часовня слишком мала. Поэтому заседания были перенесены теперь в красивую палату, находившуюся рядом с большим залом. Число судей увеличили до шестидесяти двух — невежественная девушка должна была бороться с этой оравой, и не от кого ей было ждать помощи.

Привели пленницу. Она была так же бледна, как и раньше, но несколько не изменилась к худшему со вчерашнего дня. Не странно ли? Вчера она просидела пять часов на этой жесткой скамье, положив цепи к себе на колени; ее травила, унижала, преследовала вся эта нечестивая шайка, и она ни разу не имела возможности хотя бы смочить водой пересохшие губы. Никто не заботился о ней, а вы уже достаточно узнали ее по моему рассказу, чтобы предугадать (надо ли добавлять это?), что она не стала бы просить милости у этих людей. И ночь она провела в своей холодной клетке, и цепи по-прежнему тяготили ее. А между тем, повторяю, явилась она во всеоружии спокойствия и бодрости, готовая возобновить сражение;

мало того, из всех присутствовавших только она, видимо, не была утомлена вчерашними треволнениями. А ее глаза, о, если б вы увидели ее глаза, сердце ваше надорвалось бы. Видели вы когда-нибудь тот глубокий затуманенный огонь, ту величественную оскорбленную гордость, ту непобедимую отвагу, которая таится и горит в глазах запертого в клетку орла, и вы смиряетесь и робеете под гнетом этого немого упрека? Таковы были и ее глаза. Как они были глубоки и как удивительны! Да, всегда и при всех обстоятельствах они могли выразить, как отчеканенным словом, любой оттенок многочисленной смены ее настроений. В них были скрыты и потоки отрадного солнечного света, и нежный, спокойный вечерний полусумрак, и грозные, неистовые молнии. Не было в этом мире глаз, подобных ее глазам. Таково мое мнение, и со мной согласился бы всякий, кто имел счастье видеть эти глаза.

Заседание началось. И как бы вы думали, с чего оно началось? Точь-в-точь как вчера: с того же назойливого вопроса, который вызвал накануне столько пререканий и, казалось, был решен раз и навсегда. Епископ открыл заседание следующими словами:

— Ты должна теперь принести искреннюю присягу в том, что ты будешь правдиво отвечать на все предлагаемые тебе вопросы.

Жанна возразила невозмутимо:

— Я уже присягнула вчера, господин мой; удовлетворитесь этим.

Епископ продолжал настаивать; раздражение его заметно возрастало. Но Жанна лишь качала головой и молчала. Наконец она произнесла:

— Я уже присягнула вчера; этого достаточно. — Затем она добавила, глубоко вздохнув: — Поистине вы вваливаете на меня непосильное бремя.

Епископ по-прежнему настаивал, по-прежнему приказывал, но ничего не мог с ней поделать. В конце концов он отказался от дальнейших попыток и поручил производство допроса старому мастеру по части ловушек, хитросплетений и лицемерия — Бопэру, доктору богословия. Обратите внимание на внешнюю форму первого заявления этого крючкотворца — его слова были произнесены так непринужденно, так простодушно, что всякий неосторожный человек забыл бы об опасности:

— Ну, Жанна, дело наше совсем несложно: старайся только отвечать без запинки, искренно и правильно на те вопросы, которые я тебе буду предлагать; ведь ты обещала это своей присягой.

Затея его не удалась. Жанна бодрствовала. Она сразу заметила подвох.

— Нет, — сказала она. — Вы, может быть, спросите меня о таких вещах, о которых я не пожелаю и не буду говорить.

Затем, подумав о том, как святотатственна и как несвойственна их сану попытка этих служителей Бога проникнуть в дела Вседержителя, охраненные грозной печатью Его тайны, она добавила с оттенком предостережения в голосе:

— Если б вы лучше знали меня, то вы не решились бы иметь дело со мной. Я не поступала иначе, как по Откровению.

Бопэр переменял атаку и повел наступление с другой стороны. Он хотел, видите ли, подкрасться к ней под прикрытием невинных и малозначащих вопросов.

— Обучилась ли ты дома какому-нибудь ремеслу?

— Да, я умею шить и прясть.

И тут непобедимая воительница, победоносная героиня Патэ, покорительница льва-Гальбота, освободительница Орлеана, спасительница королевской короны, верховная начальница войск целого народа гордо выпрямилась и, слегка встряхнув кудрями, произнесла с наивным самодовольством:

— Если уж пойдет на то дело, я готова состязаться со всеми руанскими женщинами.

Толпа зрителей разразилась рукоплесканиями — это было приятно Жанне; и можно было заметить дружелюбную и ласковую улыбку на многих лицах. Но Кошон гневно обрушился на толпу, требуя соблюдения тишины и благопристойности.

Бопэр продолжал допрос. Между прочим он спросил:

— Занималась ли ты дома еще чем-нибудь?

— Да. Я помогала матери по хозяйству и пасла в поле овец и коров.

Голос ее слегка дрожал, но едва ли многие могли это заметить. Но на меня вдруг повеяло очарованием детских лет, и мои глаза затуманились слезами: некоторое время я не мог видеть того, что писал.

Бопэр, выдвигая различные вопросы, осторожно подбирался к запретной области и наконец повторил один вопрос, на который она незадолго перед тем отказалась ответить: приобщалась ли она тогда в иные праздники, кроме Пасхи? Она сказала кратко:

— Paissez outre.

Это можно понимать так: «Переходите к тому, на чем вам позволено останавливаться».

Я слышал, как один из членов суда сказал своему соседу:

— Свидетели, по большей части, — народ придурковатый; их легко сбить с толку и запугать. Но это дитя поистине невозможно ни утрашить, ни заставить врасплох.

Вот собрание насторожилось и начало прислушиваться с жадным вниманием: Бопэр коснулся вопроса о Голосах Жанны — животрепещущего вопроса, который всех занимал и волновал. Его цель была — завлечь Жанну в область необдуманных слов, в которых можно было бы найти намек, что Голоса иногда давали ей злые советы и, следовательно, что они исходили от Сатаны. Сношения с нечистой силой — да за это Жанну сразу отправили бы на костер, и долгожданная конечная цель суда была бы достигнута быстро.

— Когда ты впервые услышала те Голоса?

— Тринадцати лет я услышала в первый раз Голос, ниспосланный от Бога: то был совет, как мне вести праведную жизнь. Я испугалась. Произошло это в полдень, летом, в саду моего отца.

— Ты тогда постилась?

— Да.

— Накануне этого дня?

— Нет.

— С какой стороны послышался Голос?

— Справа — со стороны церкви.

— Сопровождался ли он ярким светом?

— О да. Свет был ослепителен. С тех пор я часто слышала Голоса.

— Как звучал голос?

— То был благородный Голос, и я думала, что он послан мне от Бога. Услышав его в третий раз, я поняла, что он принадлежал ангелу.

— Был ли он тебе понятен?

— Вполне. Он всегда был слышен отчетливо.

— Какие советы преподал он тебе относительно спасения твоей души?

— Он повелевал мне жить праведно и не пропускать церковных служб. Он также сказал, что я должна отправиться во Францию.

— Какой образ принимал Голос, являясь тебе? Жанна с подозрением посмотрела на священника и ответила невозмутимо:

— Этого я вам не скажу.

— Часто ли посещал тебя Голос?

— Да, два или три раза в неделю; и он говорил: «Покинь деревню свою и отправляйся во Францию».

— Знал ли твой отец, что ты уходишь?

— Нет. Голос говорил: «Иди во Францию», и потому я не могла дольше оставаться дома.

— Что еще говорил он?

— Что мне предстоит снять осаду с Орлеана.

— И это все?

— Нет, я должна была пойти в Вокулер; тогда, дескать, Роберт де Бодрикур даст мне солдат, в сопровождении которых я отправлюсь во Францию; а я сказала в ответ, что я — бедная девушка, не умеющая ни ездить верхом на лошади, ни сражаться.

Затем она рассказала, сколько препятствий она встретила в Вокулере и как она все-таки получила наконец отряд солдат и начала свой поход.

— Как ты была одета?

Суд в Пуатье определенно разъяснил и постановил, что поскольку Господь поручил ей совершить мужское дело, то нет ничего непристойного или оскорбительного для религии, если она будет одеваться, как мужчина; но что толку? — теперешний суд не разбирался в средствах для гибели Жанны; он готов был воспользоваться даже поломанным и негодным оружием, и из вопроса Бопэра предполагалось извлечь весьма многое.

— Я носила мужское платье, и со мной был меч, который я получила от Роберта де Бодрикура, но другого оружия у меня не было.

— Кто дал тебе совет носить мужское платье?

Жанна опять сделалась подозрительна. Она не отвечала. Вопрос был повторен. Она снова отказалась.

— Отвечай! Тебе приказывают.

— *Passez outre Пропускаем (фр.)*, - больше она ничего не сказала.

И Бопэру пришлось до поры до времени оставить этот вопрос в стороне.

— Что сказал тебе Бодрикур при твоём отъезде?

— С моих спутников он взял обещание, что они будут меня охранять, а мне он сказал: «Ступай, а там будь что будет! (*Advienn que pourra !*)»

После целого ряда других вопросов ее опять спросили о ее одежде. Она сказала, что ей было необходимо носить мужское платье.

— Не Голос ли посоветовал тебе это? Жанна ответила спокойно:

— Я думаю, что Голос дал мне добрый совет. Больше ничего нельзя было от нее добиться, и допрос, перейдя на другие предметы, коснулся наконец ее первой встречи с королем — в Шиноне. Она сказала, что сразу узнала короля, которого никогда не видела раньше: ей открыли Голоса. Перебрали все обстоятельства, сопровождавшие эти события. Затем задали Жанне вопрос:

— Продолжаешь ли ты теперь слышать те Голоса?

— Они посещают меня каждый день.

— Что ты спрашиваешь у них?

— Я никогда не просила у них иной награды, кроме спасения моей души.

— Всегда ли Голос поощрял тебя следовать за войском? Опять он расставляет ей сети! Она ответила:

— Он приказывал мне остаться в Сен-Дени. Я повиновалась бы, если б была свободна, но рана меня обессилила, и рыцари увезли меня против моей воли.

— Когда ты получила рану?

— Я была ранена во рву перед Парижем, во время приступа.

Следующий затем вопрос покажет вам, куда метил Бопэр.

— Был ли то праздничный день?

Видите? Его мысль такова: Голос, ниспосланный Богом, едва ли мог советовать или разрешать кровопролитие в священный день.

Жанна смутилась на минуту, но потом ответила:

— Да, то было в праздничный день.

— В таком случае ответь мне: считаешь ли ты праведным делом идти в такой день на приступ?

Это был выстрел, который мог пробить первую брешь в стене, до тех пор стоявшей несокрушимо. В зале мгновенно воцарилась тишина, и на всех лицах отразилось напряженное ожидание. Но Жанна разочаровала судей. Она лишь слегка махнула рукой, как бы отгоняя муху, и произнесла с невозмутимым равнодушием:

— *Passez outre.*

Улыбка на минуту осветила даже наиболее суровые лица, а иные из присутствующих рассмеялись громко. Ловушку готовили долго и тщательно; она захлопнулась и — оказалась пуста.

Судьи встали. Они сидели несколько часов подряд и к концу заседания смертельно устали. Большая часть времени была посвящена на первый взгляд несущественным событиям в Шиноне — спрашивали об изгнаннике, герцоге Орлеанском, о первых воззваниях Жанны и так далее, но вся эта якобы случайная канитель была в действительности заполнена скрытыми ловушками. Однако Жанна всякий раз благополучно выбиралась из беды; то ей приходила на помощь удача, оберегающая неопытность и невинность, то — счастливая случайность, то — ее наилучшие и вернейшие пособники: ясная прозорливость и молниеносная проницательность ее необычайного ума.

Эта ежедневная травля и выслеживание беззащитной девушки, пленницы, закованной в цепи, должна была еще тянуться долго, долго — достойная забава для стаи гончих и ищеек, преследующих котенка! И я, на основании подтвержденных под присягой показаний, могу рассказать вам, как велось дело, с первого дня до последнего. Бедная Жанна двадцать пять лет пролежала в могиле, когда Папа созвал тот великий суд, который должен был пересмотреть ее дело и чей нелицеприятный приговор смыл до последнего пятнышка всю грязь с ее лучезарного имени и заклеил вечным проклятием приговор и деяния нашего руанского трибунала. Маншон и некоторые члены этого суда попали в число свидетелей и предстали пред Судом Восстановления. Вспоминая о тех непристойных ухищрениях, о которых я вам только что рассказывал, Маншон заявил следующее (вы можете найти все это в правительственном отчете):

«Когда Жанна говорила о своих видениях, то ее прерывали почти на каждом слове. Ее мучили длительными повторными допросами, касавшимися самых разнообразных предметов. Почти каждый день утренний допрос длился три или четыре часа; затем они извлекали из этих утренних допросов все наиболее трудные и щекотливые места, которые служили материалом для дневных допросов, длившихся два или три часа. Поминутно они перескакивали с одной темы на другую. Но, несмотря на это, каждый ее ответ был примером поразительной мудрости и памяти. Нередко она поправляла судей, говоря: «Ведь я уже ответила на этот вопрос раньше; справьтесь у регистратора» — и отсылала их ко мне».

А вот показание одного из судей Жанны. Не забудьте, что эти свидетели говорили не о двух или трех днях, а об утомительной, бесконечной веренице дней.

«Они задавали ей глубоко ученые вопросы, но она справлялась с ними как нельзя лучше. По временам судьбы внезапно меняли тему и переходили к совершенно другим предметам, как бы желая узнать, не станет ли она сама себе противоречить. Они изнуряли ее долгими допросами, тянувшимися два или три часа, после

чего они сами уходили крайне усталыми. Из тех сетей, которыми ее окружали, самый сведущий человек в мире не смог бы выпутаться иначе, как с великим трудом. Все ее ответы были в высшей степени благоразумны, так что в течение трех недель я считал ее вдохновенной свыше».

Сказал ли я правду о достоинствах ее ума? Вы слышали, что заявили под присягой эти попы, эти нарочно подобранные люди, призванные ради их учености и опытности, ради их острого и изощренного ума, ради их сильного предубеждения против подсудимой! Они признали, что молодая бедная крестьянка одержала победу над шестьюдесятью двумя испытанными законооведами. Не так ли? Они явились из Парижского университета, а она — из овчарни, из коровника! О, поистине она была велика, удивительна. Понадобились шесть тысячелетий, чтобы произвести ее на свет; но другой, подобной ей, земля не увидит и через пятьдесят тысяч лет. Таково мое убеждение.

ГЛАВА VI

Третье заседание суда состоялось в той же обширной зале на следующий день, 24 февраля.

Как же началось оно? Как и раньше. Когда закончились все приготовления, когда судьи в своих мантиях разместились по креслам, а стражники и приставы заняли свои посты, то Кошон с высоты своей трибуны приказал Жанне положить руки на Евангелие и клятвенно обещать, что она будет правдиво отвечать на все предлагаемые ей вопросы!

Глаза Жанны загорелись, и она встала; гордо и величественно стояла она и, повернувшись лицом к епископу, сказала:

— Остерегитесь, господин мой: ведь вы, мой судья, берете на себя страшную ответственность, и вы можете уйти слишком далеко.

После этих слов поднялся сильный шум, а Кошон бросил ей ужасную угрозу: он пригрозил, что она будет осуждена немедленно, если откажется повиноваться. Кровь застыла у меня в жилах, и я заметил, как вдруг побледнели окружающие меня лица; ведь эта угроза означала: позорный столб и костер! Однако Жанна, продолжая стоять, ответила ему гордо и бесстрашно:

— Все духовенство Парижа и Руана не могло бы осудить меня, потому что не имеет на то право!

Снова шум — и рукоплескания зрителей. Жанна села на скамью. Епископ продолжал настаивать. Жанна сказала:

— Я уже раз присягнула. Этого достаточно. Епископ закричал:

— Отказываясь принести присягу, ты навлекаешь на себя подозрение!

— Пусть. Я уже присягнула. Этого достаточно. Епископ не отступал. Жанна говорила, что «она будет говорить только то, что знает, но не все, что знает».

Епископ так долго мучил ее, что она наконец сказала с усталостью в голосе:

— Я пришла от Бога; здесь мне нечего больше делать. Возвратите же меня к Богу, от Которого я пришла.

Горько было слышать это; она как бы говорила: «Вам нужна только моя жизнь; возьмите же ее и оставьте меня в покое».

Епископ снова забушевал:

— Еще раз приказываю тебе...

Жанна оборвала его своим небрежным «Passez outre», и Кошон прекратил борьбу; но отступил он на этот раз не с совершенно пустыми руками: он предложил взаимную уступку, и Жанна, неизменно сохранявшая ясность ума, увидела тут возможность самозащиты и охотно согласилась. Она должна была присягнуть, что будет говорить правду «относительно всего, что внесено в *procès verbal*». Теперь они уже не могли завлечь ее за известные границы: путь ее был определенно нанесен на карту. Епископ дал больше того, что желал, и больше того, что мог выполнить без ущерба для истины.

По его приказанию Бопэр возобновил допрос подсудимой. Так как дело было во время Великого поста, то они надеялись уличить ее в небрежном исполнении каких-либо религиозных обязанностей. Я мог бы наперед сказать им, что они потерпят в этом неудачу. Ведь в религии был весь смысл ее жизни!

— Когда ты ела и пила в последний раз?

Если бы она вкусила хоть крупинку съестного, то ни ее молодость, ни та голодовка, которую ей приходилось терпеть в тюрьме, — ничто не спасло бы ее от опасного подозрения в пренебрежительном отношении к предписаниям Церкви.

— Я не ела и не пила со вчерашнего полудня. Священник опять перевел вопрос на Голоса.

— Когда ты слышала Голоса?

— Вчера и сегодня.

— В какое время?

— Вчера это было утром.

— Что ты тогда делала?

— Я спала, и Голос пробудил меня.

— Прикоснувшись к твоей руке? Благодарила ли ты его? Стала ли ты на колени?

Понимаете? Он имел в виду сатану и надеялся, что мало-помалу можно будет доказать, что она поклонялась заклятому врагу Бога и человека.

— Да, я его благодарила; и я стала на колени на моей постели, к которой я была прикована, и сложила руки, и молила послать мне помощь Божию, молила просветить меня и научить, какие ответы должна я давать на суде.

— И что же сказал тогда Голос?

— Он сказал мне: отвечай смело, и Господь поможет тебе. Затем она повернулась к Кошону и сказала:

— Вы говорите, что вы — мой судья; повторяю еще раз: остерегитесь, потому что я воистину послана Богом и вы подвергаете себя великой опасности.

Бопэр спросил, не отличались ли советы Голоса двойственностью и непостоянством.

— Нет. Он никогда себе не противоречит. Не далее как сегодня он повторил мне, что я должна отвечать смело.

— Приказал ли он тебе отвечать не на все вопросы?

— Насчет этого я вам ничего не скажу. Я получила откровения, касающиеся моего государя, короля, и этого я не сообщу вам.

Тут сильное волнение овладело ею: слезы показались на ее глазах, и она сказала тоном горячего убеждения:

— Я глубоко верю — так же глубоко, как в учение Христа, как в искупительную жертву Спасителя, — верю, что через этот Голос говорит со мной сам Господь!

Когда ее снова спросили о Голосе, она сказала, что ей не разрешено говорить все, что она знает.

— Не думаешь ли ты, что Господь разгневется, если ты поведаешь всю правду?

— Голос приказал мне передать некоторые слова королю, а не вам; и кое-что было открыто мне совсем недавно — даже в последнюю ночь; ему следовало бы узнать об этом как можно скорее. Он тогда мог бы обедать гораздо спокойнее.

— Почему Голос не заговорит с королем, как говорил с тобой? Почему ты не попросишь его об этом?

— Я не знаю, такова ли воля Господа.

На минуту она задумалась: мысли ее витали где-то далеко. Потом она проронила замечание, в котором Бопэр — неизменно бдительный, неизменно внимательный — увидел новую возможность расставить ловушку. Не думайте только, что он тотчас ухватился за эту возможность, открыто радуясь своей находке, как поступил бы новичок, еще не изощрившийся в крюкотворстве и лукавстве! О нет, глядя на него, вы и не догадались бы, что он запомнил ее слова. Он тотчас равнодушно заговорил о другом и принялся задавать праздные вопросы: он, так сказать, старался обойти кругом, чтобы неожиданно напасть из-за угла. То были докучные и не идущие к делу вопросы о том, не предсказал ли ей Голос освобождение из тюрьмы; не указал ли он ей, какие ответы она должна давать во время сегодняшнего заседания; был ли он окружен ореолом света и есть ли у него глаза — и так далее. А опасное замечание Жанны заключалось в следующем:

— Без Божественной благодати я ничего не могла бы сделать.

Судьи видели, что у попа была какая-то задняя мысль, и они с кровожадным любопытством следили за этой игрой. Бедная Жанна была задумчива и рассеянна; вероятно, она утомилась. Ее жизнь висела на волоске, а она и не замечала этого. Минута была вполне благоприятная, и Бопэр потихоньку, крадучись, подставил свою ловушку:

— Пребываешь ли ты в состоянии благодати?

О, среди судей были все-таки два или три честных человека; один из них был Жан Лефевр. Он вскочил с кресла и воскликнул:

— Это — страшный вопрос! Подсудимая не обязана отвечать!

Лицо Кошона почернело от злости, когда он увидел этот спасительный круг, брошенный утопавшей девочке; и он зарычал:

— Молчать! Садитесь на место! Подсудимая должна ответить на вопрос!

Не было надежды на спасение, не было выбора. Ибо каков бы ни был ее ответ — да или нет, он ее погубил бы: ведь Священное Писание говорит, что человек не может знать этого. Подумайте, какое нужно иметь черствое сердце, чтобы, расставив эту роковую западню, гордиться своей работой и ликовать. Минута ожидания была для меня мучительна; казалось, прошел целый год. Все собрание заметно волновалось, и по преимуществу то было радостное волнение. Жанна обвела невинным, непотревоженным взором все эти жадные лица и затем скромно, смиренно изрекла тот бессмертный ответ, который смахнул ужасную сеть, словно легкую паутину:

— Если я не пребываю в состоянии благодати, то молю Господа сподобить меня; если же пребываю, то молю Господа не отнимать ее у меня.

О, какое впечатление произвели ее слова! Вы никогда не увидите ничего подобного, не увидите за всю вашу жизнь. Сначала воцарилась гробовая тишина; люди изумленно переглядывались, а иные, устранившись, осеняли себя крестным знаменем. Я слышал, как Лефевр пробормотал:

— Придумать такой ответ не под силу человеческой мудрости. Откуда же снизошло столь дивное вдохновение на этого ребенка?

Вот Бопэр снова взялся за свою работу; но он, видимо, был удручен своей позорной неудачей: неохотно и вяло исполнял он свое дело, которому уже не мог отдаться всем сердцем.

Он задал Жанне чуть ли не тысячу вопросов о ее детстве, о дубовом лесе, о феях, о детских играх и забавах под сенью нашего милого *Arbre Fee de Bourlemont*. Проснулись потревоженные тени далекого прошлого, и голос Жанны оборвался; она немного всплакнула. Но по мере сил она сдерживала себя и на все отвечала.

В заключение священник снова коснулся вопроса о ее одежде. То был вопрос, который надо было все время держать на виду в погоне за жизнью этого невинного существа — надо было, чтоб он все время висел над ней, как угроза, в которой скрыта погибель.

— Хотела бы ты носить женское платье?

— О, еще бы! По выходе из этой тюрьмы, но не здесь.

ГЛАВА VII

После того суд собрался в понедельник двадцать пятого. Поверите ли? Епископ, нарушая условие, в силу которого допрос должен был касаться только того, о чем упомянуто в *proces verbal*, опять потребовал от Жанны безусловной присяги. Она возразила:

— Пора бы вам удовлетвориться. Довольно я присягала. Она твердо стояла на своем, и Кошону пришлось уступить.

Возобновился допрос о Голосах Жанны.

— Ты заявила, что в третий раз, как ты услышала их, ты узнала, что это Голоса ангелов. Каких же именно?

— Святой Екатерины и святой Маргариты.

— Откуда ты знаешь, что с тобой говорили именно эти две силы? Как могла ты отличить одну от другой?

— Я знаю, что это были они; и я знаю, как различить их.

— Каков же признак?

— Они по-разному приветствовали меня. Последние семь лет они руководили мной, я знала, кто они, потому что они мне это сказали.

— Кому принадлежал Голос, услышанный тобою впервые, когда тебе было тринадцать лет?

— То был голос святого Михаила. Я видела его воочию; и он был не один, но сонм ангелов сопровождал его.

— Видела ли ты архангела и сопровождавших его ангелов во плоти или же — духовно?

— Я видела их своими телесными очами, как теперь вижу вас. И когда они ушли, я заплакала, оттого что они меня не взяли с собой.

Мне вспомнилась та грозная, ослепительно белая тень, которая однажды спустилась к Жанне у подножия *Arbre Fee de Bourlemont*, и я снова затрепетал, хотя это было очень давно. В действительности это произошло не так уж давно, но казалось — много лет тому назад, потому что с тех пор случилось столько событий.

— В каком образе являлся святой Михаил?

— Мне не разрешено говорить это.

— Что сказал тебе архангел, когда явился в первый раз?

— Сегодня не могу ответить вам.

Вероятно, она давала этим понять, что сначала ей надо получить разрешение Голосов.

Вскоре после того, как ей задали несколько вопросов относительно откровений, переданных через нее королю, она указала на бесполезность всех этих расспросов:

— Повторяю то, что я неоднократно уже говорила во время предыдущих заседаний: я уже ответила на все эти вопросы перед судом в Пуатье; не лучше ли было бы вам заглянуть в отчет этого суда и прочесть там все необходимое. Прошу вас, достаньте эту книгу.

Ответа не было. То был вопрос, который надо было всячески обходить и замалчивать. Книгу эту предусмотрительно запрятали подальше, потому что там заключались такие вещи, которые здесь были бы

крайне нежелательны. Между прочим, там значилось определение суда, гласившее, что Жанну надлежит признать посланницей Бога, тогда как целью теперешнего, низшего, суда было именно доказать, что она послана дьяволом. Было там и разрешение Жанне носить мужское платье, а этот суд старался воспользоваться мужским платьем как тяжким обвинением против нее.

— Что побудило тебя отправиться во Францию? По своей ли воле ты пошла?

— Да, по своей воле и по приказанию Всевышнего. Когда б не воля Господа, я не пошла бы. Скорей я согласилась бы, чтобы лошади разорвали мое тело на части; но не пошла бы вопреки Его воле.

Бопэр опять перевел разговор на мужское платье и повел торжественную речь на эту тему. Терпение Жанны было подвергнуто искусству; наконец она прервала его, сказав:

— Ведь это пустяк, не стоящий внимания. И надела я мужское платье не по совету людскому, а по велению Господа.

— Роберт де Бодрикур не предписал тебе носить его?

— Нет.

— Как ты думаешь: хорошо ли ты поступала, нося мужскую одежду?

— Я всегда поступала хорошо, когда повиновалась приказаниям Господа.

— Ну а в этом частном случае считаешь ли ты, что поступала хорошо, надевая мужскую одежду?

— Я ничего не делала иначе, как по повелению Бога.

Бопэр всячески старался завлечь ее в противоречия самой себе; старался также найти в ее словах и поступках несоответствие со Священным Писанием. Он вернулся к ее видениям, упомянул об окружавшем их свете, о ее встречах с королем и так далее.

— Был ли ангел над головой короля в тот день, когда ты его увидела в первый раз?

— Именем Пресвятой Марии!..

И, сдержав свое нетерпение, она договорила спокойно:

— Если и был ангел, то я его не видела.

— Был ли свет?

— Там было более трехсот солдат и пятисот факелов, не считая света духовного.

— Что заставило короля поверить тем откровениям, которые ты сообщила ему?

— Ему были знамения; кроме того, он посоветовался с духовенством.

— Какие откровения получил король?

— В нынешнем году вы этого от меня не узнаете. Затем она добавила:

— Меня в течение трех недель допрашивало духовенство в Шиноне и в Пуатье. Король получил знамение, прежде чем уверовал, а духовенство пришло к заключению, что в моих поступках заключено добро, а не зло.

На время эту тему оставили, и Бопэр занялся чудотворным мечом из Фьербуа; он надеялся хоть этим способом навлечь на Жанну подозрение в колдовстве.

— Как ты узнала, что в земле зарыт старинный меч — за алтарем церкви Святой Екатерины в Фьербуа?

Жанна не стала этого скрывать:

— Я знала, что там лежит меч, потому что мне сказали Голоса; и я попросила прислать мне его, чтобы я могла носить его на войне. Мне казалось, что меч зарыт в землю неглубоко. Причт церкви отдал распоряжение отыскать его; они вычистили меч, и ржавчина легко отстала.

— Был ли он при тебе во время битвы при Компье?

— Нет. Но я всегда носила его, вплоть до моего ухода из Сен-Дени, после нападения на Париж.

Существовало подозрение, что этот меч, найденный при столь таинственных обстоятельствах и столь неизменно приносящий победу, был наделен колдовскими чарами.

— Благословили ли этот меч? И какое именно благословение было призвано на него?

— Никакое. Я любила его только потому, что он был найден в церкви Святой Екатерины: я очень любила эту церковь.

А церковь эту она любила за то, что она была воздвигнута в честь одной из являвшихся к ней святых.

— Не клала ли ты его на алтарь для того, чтобы он принес тебе счастье (он говорил об алтаре в Сен-Дени)?

— Нет.

— Не молилась ли ты о том, чтобы меч твой был счастливым?

— Поистине нет ничего преступного в пожелании счастья своим доспехам.

— Так не этот ли меч был у тебя во время битвы при Компье? Какой же был тогда при тебе?

— Меч бургундца Франкэ д'Арраса, которого я взяла в плен в битве при Ланьи. Я взяла его себе, потому что это был хороший булатный меч; им хорошо было рубить и наносить удары.

Эти слова были произнесены простодушно; и разительное несоответствие между ее маленькой, хрупкой фигуркой и воинственно-суровой речью, столь непринужденно сорвавшейся у нее с языка, заставило многих зрителей улыбнуться.

— Что стало с другим мечом? Где он теперь?

— Говорится ли об этом в *proces verbal*? Бопэр промолчал.

— Что ты любишь больше: твоё знамя или меч?

При упоминании о знамени глаза ее радостно вспыхнули, и она воскликнула:

— Мое знамя мне дороже, о, в сорок раз дороже, чем меч! Иногда, нападая на врага, я сама несла его, чтобы никого не убить. — И она наивно добавила, снова проявляя забавную противоположность между своей почти детской внешностью и воинственной речью: — Я не убила ни одного человека.

У многих это опять вызвало улыбку; и вполне понятно почему: подумайте, какая она была нежная и невинная с виду девочка. Не верилось даже, что она когда-либо видела, как убивают друг друга люди: слишком не соответствовала этому ее внешность.

— Во время последнего сражения при Орлеане не говорила ли ты солдатам, что стрелы врагов, камни, пущенные из их катапульт, и ядра их пушек ни в кого не попадут, кроме тебя?

— Нет. И вот доказательство: больше сотни моих солдат были ранены. Я сказала им, чтоб они не боялись и не сомневались, что нам удастся снять осаду. Я была ранена стрелой в шею во время взятия той бастилии, которая охраняла мост, но святая Екатерина утешила меня, и я исцелилась в пятнадцать дней; мне не пришлось даже покинуть седло и прервать работу.

— Знала ли ты накануне, что ты будешь ранена?

— Да; и я еще задолго сказала о том королю. Я узнала от Голосов.

— Когда ты взяла Жаржо, то почему не потребовала выкупа за военачальника крепости?

— Я предложила ему беспрепятственно уйти вместе со всем гарнизоном, грозя, что в противном случае я возьму крепость приступом.

— И ты, конечно, так и сделала?

— Да.

— Не получала ли ты от Голосов указаний насчет взятия крепости приступом?

— Не помню.

На этом закончилось утомительное, долгое и бесплодное заседание. Были испытаны все средства, чтобы уличить Жанну в злоумышлении, в злодеянии, в неповиновении Церкви, детских или недавних прегрешениях, но — совершенно безуспешно. Она безупречно выдержала искуc.

Пришел ли суд в уныние? Ничуть. Само собой, судьи были весьма удивлены и поражены, когда увидели, что работа, которая казалась им крайне простой и легкой, встречает на своем пути столько неожиданных затруднений. Однако у них были могущественные союзники, как-то: голод, холод, усталость, травля, обман, предательство; и направлено все это было против беззащитной и простенькой девушки, которая должна же, наконец, будет уступить духовной и телесной усталости и угодить в одну из тысячи расставленных ей ловушек.

Но достиг ли суд каких-нибудь успехов в течение этих якобы бесплодных заседаний? Достиг. Он ощупью отыскивал себе дорогу, присматривался и, наконец, нашел кое-какие следы, по которым можно было бы мало-помалу добраться до желаемой цели. Например, мужской наряд, видения, Голоса. Никто, конечно, не сомневался, что она видела сверхъестественные существа, говорила с ними и получала от них указания. Никто также не сомневался, что с помощью сверхъестественных сил Жанна свершала чудеса; так она узнала в толпе короля, которого ни разу не видела раньше, она отыскала меч, зарытый под алтарем. Безрассудно было бы отрицать такие вещи: ведь мы все знаем, что в воздухе витают бесы и ангелы, которые видимы, с одной стороны, чернокнижникам, с другой — людям безупречной святости. Но вот в чем сомневались многие, а быть может, и большинство: действительно ли видения, Голоса и чудеса Жанны были от Бога? Судьи надеялись, что со временем им удастся доказать, что источником этих явлений был сатана. А потому вы поймете, что упорство, с которым судьи то и дело возвращались к этому вопросу, сновали вокруг него и допытывались, — вовсе не было праздным занятием, а стремлением к строго определенной цели.

ГЛАВА VIII

Следующее заседание происходило в четверг, первого марта. Присутствовало пятьдесят восемь судей — остальные отдыхали.

По обыкновению, от Жанны снова потребовали, чтобы она дала клятву говорить правду, ничего не скрывая. Она не выказала раздражения на этот раз. Она чувствовала себя достаточно защищенной тем соглашением относительно *pro-cès verbal*.

— Я буду отвечать на них свободно, ничего не скрывая, — да, ничего не скрывая, как если бы я стояла перед самим Папой.

Здесь был очень удобный случай для судей! У нас было трое Пап тогда; конечно, только один из них мог быть настоящим. Каждый благоразумно уклонялся от разрешения вопроса, который из Пап был истинным, потому что вмешательство в такие дела было очень опасно. Но здесь представлялся удобный случай завлечь в западню беззащитную девушку, и бесчестный судья не преминул воспользоваться этим. Он спросил притворно беспечным и рассеянным тоном:

— Которого из них ты считаешь настоящим Папой?

Все судьи в глубоком молчании ждали ответа, который должен привести жертву в западню. Но когда раздался ответ, он поверг судей в смущение, и можно было видеть, что многие из присутствующих тайком усмехались. Ибо Жанна спросила тоном, почти обманувшим даже меня, — до того он был невинен:

— Разве их два?

Один из попов, способнейший среди них и отчаянный богохульник, сказал настолько громко, что почти все слышали:

— Клянусь Богом, это был мастерский удар!

Как только судья оправился от смущения, он снова принялся за допрос, благоразумно оставив слова Жанны без ответа:

— Правда ли, что граф д'Арманьяк прислал тебе письмо, спрашивая у тебя, которого из троих Пап он должен признавать?

— Да, и я ответила ему.

Копии обоих писем были представлены и прочитаны перед судом. Жанна заявила, что копия с ее письма была не совсем точна. Она сказала, что получила письмо графа в тот момент, когда садилась на лошадь, и прибавила:

— Я продиктовала несколько слов в ответ, говоря, что на его вопрос постараюсь ответить из Парижа или из какого-нибудь другого места, где остановлюсь на отдых.

Ее снова спросили, которого из Пап она считала настоящим.

— Я не могла сказать графу д'Арманьяку, которому из Пап он должен повиноваться. — И затем добавила с полным бесстрашием, представлявшим особенно яркий контраст с этим скопищем двуличных плутов: — Но что касается меня, то я думаю, что мы должны признавать только нашего святейшего Папу, который находится в Риме.

Этот вопрос был оставлен. Была прочитана копия первого воззвания Жанны — воззвания, которым она убеждала англичан прекратить осаду Орлеана и покинуть Францию, — поистине великое произведение для неопытной семнадцатилетней девушки.

— Признаешь ли ты, что прочитанный документ был написан тобой?

— Да, за исключением того, что в нем есть ошибки — вставлены слова, которые имеют такой смысл, как будто я придавала себе слишком большое значение.

Я знал, что должно последовать; я почувствовал тревогу и смущение.

— Например, — продолжала она, — я не говорила: «Сдайтесь Деве» (*rendez a la Pucelle*); я сказала: «Сдайтесь королю» (*rendez au roi*); и я не называла себя «главнокомандующим» (*chef de guerre*). Все эти слова вставил мой писец; он или не расслышал, или забыл, что я говорила.

Говоря это, она ни разу не взглянула на меня. Она не захотела привести меня в замешательство. Я не ослышался и не забыл ее слов. Я намеренно изменил их смысл, потому что она была действительно главнокомандующим, она имела полное право на этот титул; и следовало именно так называть ее; и кто мог бы сдаться королю? Королю, само имя которого было в то время лишь пустым звуком? Нет, сдаться можно было только благородной Деве из Вокулера, уже знаменитой, уже грозной тогда, хотя она еще не нанесла ни одного удара.

Да, этот эпизод мог бы кончиться для меня очень неприятно, если бы эти безжалостные судьи узнали, что на заседании присутствует тот самый секретарь Жанны д'Арк, который писал под ее диктовку вышеупомянутый документ, и не только присутствует, но и составляет отчет судебного заседания; и что, кроме того, через многие годы ему суждено будет свидетельствовать против лжи и против извращений истины, допущенных Кошоном, и предать действия судей вечному позору!

— Ты признаешь, что диктовала это воззвание?

— Признаю.

— Сожалеешь ли ты об этом? Отказываешься от своих слов?

Тут уж она не смогла сдержать негодования!

— Нет! И даже эти цепи, — она потрясла ими, — и даже эти цепи не могут охладить надежд, которые я тогда питала. И даже более! — Она встала и с минуту стояла, между тем как странный, Божественный свет озарил ее лицо, и затем слова вырвались у нее неудержимо, как поток: — Предостерегаю вас, что не пройдет

и семи лет, как на англичан обрушится бедствие, о, во много раз сильнейшее бедствие, чем то, которое постигло Орлеан. И...

— Молчи! Садись!

— ...И тогда, вскоре после этого, они потеряют всю Францию!

Подумайте теперь вот о чем. Французская армия более не существовала. Французская нация и французский король были одинаково бессильны; никто не мог и предполагать, что с течением времени появится коннетабль Ришмон, возьмет на себя великий труд Жанны д'Арк и доведет его до конца. И среди таких обстоятельств Жанна произносит это пророчество — произносит его с полной уверенностью, — и пророчество ее исполняется!

Потому что через пять лет (в 1436 году) Париж был взят, и наш король вступил в него под знаменем победителя. Таким образом, первая половина пророчества исполнилась в тот год, — в сущности, почти все пророчество; ведь имея Париж в своих руках, мы были обеспечены относительно исполнения остального.

Двадцать лет спустя вся Франция была наша, за исключением только одного города — Кале.

Это должно напомнить вам о другом, более раннем пророчестве Жанны. В то время, когда она старалась взять Париж и могла бы сделать это легко, если бы только наш король согласился, она сказала, что это было золотое время; что если бы Париж был у нас в руках, вся Франция была бы нашей через шесть месяцев. Но если упустить этот неоценимый миг, когда еще есть возможность без труда воссоединить всю Францию, то, сказала она: «Я даю вам двадцать лет, чтобы сделать это».

Она была права. После взятия Парижа в 1436 году потребовалось двадцать лет, чтобы завоевать обратно всю Францию, город за городом, замок за замком.

Да, первого марта 1431 года она стояла там перед лицом судей и произнесла свое изумительное, необъяснимое пророчество. Случается иной раз, что какое-нибудь пророчество сбывается, но если вы поглубже вникните в дело, то почти всегда окажутся значительные основания подозревать, что пророчество было сделано задним числом. Здесь же было совершенно другое дело. Пророчество Жанны, сделанное перед судьями, было занесено в судебные отчеты, в тот самый день и час, когда оно было произнесено, за много лет до его исполнения, и эта запись может быть прочитана каждым, хоть сегодня. Через двадцать пять лет после смерти Жанны запись была представлена великому Суду Восстановления, удостоверена под присягой Маншоном и мною, а также оставшимися в живых судьями, подтвердившими точность записи своим свидетельством.

Поразительное изречение Жанны, сделавшее столь знаменитым день первого марта, возбудило такое волнение среди присутствующих, что тишина водворилась не сразу. Весьма понятно, что все были встревожены, потому что пророчество всегда кажется чем-то ужасным и зловещим, все равно, исходит ли оно из ада или падает с Небес. В одном только были убеждены эти люди — что вдохновение, руководившее словами Жанны, было искренним и могучим. Они бы готовы были отсечь себе правую руку, лишь бы только узнать, каков источник ее пророчества. Наконец снова приступили к допросу.

— Откуда ты узнала, что все это должно случиться?

— Узнала из откровения. И знаю это так же верно, как знаю то, что вы сидите здесь передо мной.

Такой ответ не мог уменьшить распространившуюся тревогу. Поэтому после нескольких незначительных вопросов судья перешел к другому, менее затруднительному предмету.

— На каком языке говорили твои Голоса?

— На французском.

— И святая Маргарита так же?

— Конечно; почему же нет? Она за нас — не за англичан!

Святые и ангелы, которые не желают говорить по-английски! Это тяжкая обида. Их нельзя было привести в суд и наказать за такое пренебрежение, но судьи могли записать ответ Жанны как улику; так они и сделали. Это могло пригодиться им после.

— Носили твои святые и ангелы какие-нибудь драгоценности — короны, кольца, серьги?

Такие вопросы казались Жанне кощунственным пустословием, недостойным ее внимания; она отвечала на них равнодушно. Но последний вопрос напомнил ей одно обстоятельство; и она сказала, обращаясь к Кошону:

— У меня было два кольца. Их взяли у меня во время моего плена. Одно из них у вас. Это подарок моего брата. Возвратите его мне. Если же не хотите возвратить, тогда я прошу передать его Церкви.

У судей мелькнула мысль, что Жанна, быть может, носила эти кольца как орудие наваждения. Нельзя ли с их помощью причинить ей вред?

— Где другое кольцо?

— У бургундцев.

— Откуда ты его получила?

— Это подарок моих родителей.

— Опиши его.

— Оно простое, гладкое, и на нем вырезаны слова: «Иисус и Мария».

Каждый мог видеть, что подобное кольцо не могло служить орудием для колдовства. Таким образом, приходилось отказаться от этой придирки. Но все же один из судей спросил Жанну, не случилось ли ей исцелять больных прикосновением своего кольца. Она сказала, нет.

— Теперь перейдем к феям, которые водились близ Домреми, о чем свидетельствуют многие рассказы и предания. Говорят, что твоя крестная мать в одну летнюю ночь застала этих фей танцующими под деревом, которое называется l'Arbre Fee de Bourlemont. Может быть, твои мнимые Голоса и ангелы были просто эти феи?

— Есть ли это в вашем процес?

Этим ограничился ее ответ.

— Беседовала ты со святой Маргаритой и святой Катериной под этим деревом?

— Не знаю.

— Или у источника, близ дерева?

— Да, иногда.

— Какие обещания давали они тебе?

— Только те, которые позволил им Господь.

— Но какие именно?

— Этого нет в вашем процес; но я могу сказать вам: они обещали мне, что король будет владеть своим королевством, несмотря на усилия врагов.

— И что еще?

Настала пауза; потом Жанна ответила смиренно:

— Они обещали повести меня в рай.

Если человеческое лицо выражает мысли и чувства человека, то многие из присутствующих почувствовали тайный страх при мысли, что, может быть, здесь, перед их глазами, стараются затравить до смерти избранную слугу и посланницу Божию. Внимание усилилось. Движение и шепот прекратились. Тишина стала почти мучительной.

Заметили ли вы, что почти с самого начала заседаний содержание вопросов, предлагаемых Жанне, показывало, что спрашивавший в большинстве случаев уже знал все то, о чем он спрашивал? Заметили ли вы, что вообще все допрашивавшие знали заранее, о каких тайнах и каким способом допытываться у Жанны? Что им была уже известна вся ее жизнь, все ее прошлое — о чем Жанна и не подозревала — и что теперь они только старались завлечь ее в ловушку, так, чтобы она сама призналась во всем?

Помните ли вы Луазлера, этого лицемера и предателя, это орудие Кошона? Помните ли вы, что Жанна, уверенная в неприкосновенности тайны исповеди, чистосердечно и доверчиво рассказала ему обо всем, за исключением лишь немногого, касавшегося ее откровений, говорить о которых кому бы то ни было ей воспретили святые, и что этот несправедливый судья, Кошон, спрятавшись, слышал всю ее исповедь?

Теперь вы поймете, каким образом инквизиторы сумели подобрать всю эту вереницу подробных, пытливых вопросов, которые поражают нас своей меткостью, находчивостью и проницательностью, пока мы не вспомним о комедии, разыгранной Луазлером и послужившей источником их всеведения. Ах, епископ Бовэ, ты уж много лет оплакиваешь в аду свое жестокое вероломство! Да, ты терзаешься и до сих пор, если только не помог тебе кто-нибудь. А в обители праведных есть только одна, которая согласилась бы стать твоим заступником, — Жанна д'Арк! И нечего надеяться, что она не облегчила уже твою судьбу.

Вернемся же к суду и к допросу.

— Давали они тебе еще какое-нибудь обещание?

— Да; но этого нет в вашем процес. Я не скажу вам об этом теперь, но не успеют миновать три месяца, и вы узнаете.

Судья, по-видимому, уже знал то, о чем спрашивал; это можно было заключить из его следующего вопроса:

— Говорили тебе твои Голоса, что ты будешь освобождена раньше, чем через три месяца?

Жанна часто выказывала удивление, когда замечала по вопросам судей, что они угадывают истину; так было и теперь. Между тем я нередко с ужасом чувствовал, что мой разум критически относится к действиям Голосов (противиться этому было не в моей власти) и говорит о них с неодобрением: «Они советуют ей отвечать смело, но она делает это и без их советов; когда же необходимо дать ей какое-нибудь полезное указание, например, объяснить ей, какими хитрыми уловками сумели эти заговорщики узнать все ее тайны, тогда оказывается, что святые заняты другими делами и оставляют ее без всякой помощи». Я благочестив от природы; и когда такие мысли посещали меня, то я холодел от ужаса; и если в подобную минуту бушевала гроза и грохотал гром, то я чувствовал себя больным, и мне стоило больших усилий оставаться на месте и продолжать свою работу.

Жанна отвечала:

— Этого нет в вашем гресе. Я не знаю, когда я буду освобождена, но некоторые из людей, желающих моей смерти, умрут раньше меня.

Эти слова привели в трепет некоторых из них.

— Говорили тебе твои Голоса, что ты будешь освобождена из тюрьмы?

Без сомнения, они говорили, и судья знал это раньше, чем спросил.

— Спросите меня опять через три месяца, и тогда я скажу вам.

Она произнесла это с таким счастливым видом, измученная узница! А я? А Ноэль Рэнгесон? Целый поток радости охватил нас с ног до головы! Мы думали только о том, чтобы усидеть на месте и удержаться от рокового проявления наших чувств.

Она должна была получить освобождение через три месяца. Вот что она хотела сказать; мы поняли это. Так сказали ей Голоса, и сказали правду, вплоть до назначенного дня — 30 мая. Но мы знаем теперь, что они милосердно скрыли от нее, как она будет освобождена, оставив ее в полном неведении насчет этого. Снова домой! Так мы поняли — Ноэль и я; это была наша постоянная мечта; теперь мы будем считать дни, часы, минуты. Они пролетят быстро; они скоро кончатся. Да, и мы увезем наше божество домой. Там, вдали от шума и блеска мирской суеты, мы снова заживем своей прежней, счастливой жизнью на свежем воздухе, под лучами яркого солнца, окруженные привычными стадами овец и дружелюбными людьми, которые будут нашими товарищами; перед нашими глазами будут снова цветущие поля, зеленые леса, сверкающие воды реки, и глубокий покой снизойдет к нам в душу. Да, это была наша мечта, мечта, которая помогала нам терпеливо ждать целых три месяца, пока наконец наступило обещанное освобождение, такое ужасное, что, если бы мы знали об этом заранее, мы умерли бы от ужаса и тоски, не дожив до рокового дня.

Но мы ждали, что освобождение произойдет иначе. Мы были уверены, что король почувствует раскаяние, что он составит план освободить Жанну с помощью ее старых соратников — д'Алансона, Бастарда и Ла Гира, и что это освобождение произойдет через три месяца. Поэтому мы решили быть наготове и принять в этом деле посильное участие.

В этом заседании так же, как в последующих, от Жанны требовали, чтобы она в точности назвала день своего освобождения. Но она не смогла сделать этого. Она не получила на это разрешение Голосов. Кроме того, Голоса не назначили определенного дня. Со времени исполнения пророчества я всегда был уверен, что Жанна ожидала своего освобождения с помощью смерти. Но не такой смерти! Превосходя людей, как ни была она Божественна и неустрашима в битвах, она все же была человеком. Она была не только святая, не только ангел, она была такая же девушка, как и другие, созданная точно так же, наделенная такой же чувствительностью, нежностью и боязливостью. И вдруг такая смерть! Нет, она не смогла бы прожить этих трех месяцев, видя перед собой такой конец. Вспомните, что когда она была ранена в первый раз, она испугалась и заплакала, подобно всякой другой семнадцатилетней девушке, хотя почти за три недели знала, что будет ранена в этот именно день. Нет, она не боялась обыкновенной смерти и такую именно смерть ожидала после того, как ей предсказано было освобождение, потому что лицо ее выражало счастье, а не ужас, когда она говорила об этом.

Теперь я объясню, почему я думаю так. За пять недель до того, как она была взята в плен во время сражения при Компьене, Голоса предсказали ей, что произойдет. Они не назвали ей точно дня или места, но сказали только, что она будет взята в плен и что это случится перед праздником святого Иоанна. Она просила, чтобы ей была послана смерть, верная и быстрая, и чтобы плен ее не был очень долгим; потому что душа ее любила свободу и боялась заключения в темнице. Голоса ничего не обещали, но сказали только, чтобы она терпела все, что будет ей послано. Но так как Голоса не ответили отказом на ее просьбу о быстрой смерти, то становится понятно, что молодая, полная светлых надежд девушка, какой была Жанна, стала укрепляться в своей заветной мысли и с каждым днем получать все большую уверенность, что именно таково будет ее избавление — верная и быстрая смерть. И вот, когда ей было предсказано, что через три месяца она будет освобождена, я думаю, она поняла это так, что через три месяца смерть явится к ней в тюрьму и освободит ее; вот почему она, говоря об этом, казалась такой счастливой: врата рая были раскрыты перед ней, близилось время, когда кончатся все ее тревоги и она получит свою Небесную награду. Да, эта надежда могла сделать ее счастливой, терпеливой и смелой, способной биться до конца, как солдат на поле брани. Она, конечно, стремилась к спасению, она была готова бороться со всеми силами, ибо такова была ее природа; но она смело взглянет в лицо смерти, если смерть неизбежна.

Затем позднее, когда она обвиняла Кошона в намерении отравить ее ядовитой рыбой, ее мысль, что она будет «освобождена» из тюрьмы смертью — если она имела такую мысль, а я в этом уверен, — вполне естественно должна была укрепиться.

Но я уклоняюсь в сторону от рассказа о суде. От Жанны потребовали точного определения времени, когда она будет освобождена из тюрьмы.

— Я всегда говорила, что мне не разрешено сказать вам все. Я буду освобождена, и я хочу просить Голоса, чтобы они позволили мне сказать вам, в какой именно день это произойдет. Вот почему я не могу отвечать теперь.

— Твои Голоса запрещают тебе говорить правду?

— Вы желаете знать то, что касается короля Франции? Повторяю вам еще раз, что он снова будет владеть своим королевством и что это так же верно, как то, что вы сидите здесь передо мной. — Она вздохнула и после краткого молчания добавила: — Я давно бы умерла, если бы не это откровение, которое всегда меня утешает.

Ей было предложено несколько незначительных вопросов относительно одежды и внешности святого Михаила. Она отвечала с достоинством, но было заметно, что такие вопросы причиняют ей боль. Потом она сказала:

— Я смотрела на него с великой радостью, ибо при виде его я чувствую, что освобождаюсь от смертных грехов. — И она добавила: — Иногда святая Маргарита и святая Екатерина позволяют мне исповедоваться им.

Здесь была возможность поставить ловушку, воспользовавшись ее неведением, и судьи, разумеется, воспользовались представившейся возможностью.

— Когда ты исповедовалась, пребывала ты в состоянии смертного греха?

Но ее ответ не повредил ей. Поэтому судьи еще раз перешли к откровениям, сделанным относительно короля, — к тайнам, которые суд постоянно, но безуспешно пытался выудить у Жанны.

— Теперь, возвращаясь к знамению, посланному королю...

— Я уже говорила вам, что ничего не скажу об этом.

— Известно тебе, что это было за знамение?

— Об этом вы не узнаете от меня ничего.

Эти вопросы относились к тайному свиданию Жанны с королем, на котором, впрочем, присутствовали двое или трое других лиц. Судьи знали (конечно, через Луазлера), что королю было послано знамение в виде короны и что знамение это было подтверждением того, что на Жанну действительно возложено великое дело. Но все это остается тайной до сих пор, то есть сущность самой короны, я хочу сказать, — и останется тайной навсегда. Мы никогда не узнаем, настоящая ли корона сошла на голову короля или же то был символ, плод мистической фантазии.

— Ты видела корону на голове короля, когда он получил откровение?

— Не могу сказать вам об этом, не нарушив данную мной клятву.

— Была у короля на голове корона в Реймсе?

— Мне кажется, что король надел на голову корону, которую нашел там, но другая, гораздо более роскошная, была принесена ему потом.

— Видела ты эту корону?

— Я не могу отвечать вам, не нарушив клятвы. Не важно, видела я ее или нет, я слышала, что она была богата и великолепна.

Они продолжали мучить ее утомительными вопросами насчет таинственной короны, но более ничего не узнали. Заседание закончилось. Долгий, тяжелый день для всех нас.

ГЛАВА IX

Отдохнув один день, суд снова принялся за дело в субботу, 3 марта.

Заседание это было из наиболее бурных. Все судьи потеряли терпение, и было из-за чего. Ведь все эти шесть десятков выдающихся богословов, знаменитых крючкотворцев, испытанных гладиаторов законоведения покинули важные должности, где присутствие их было необходимо, и съехались сюда из разных городов, чтобы выполнить задачу, весьма легкую и несложную: вынести смертный приговор крестьянской девятнадцатилетней девушке, не умевшей ни читать, ни писать, не посвященной в замысловатости и хитросплетения судопроизводства, лишенной возможности вызвать свидетелей своей стороны или выбрать себе защитника или руководителя и вынужденной своими силами обороняться от враждебного судьи и от сговорившихся присяжных. Через каких-нибудь два часа удалось бы ее опутать, запугать, разбить все ее доводы, изблечить ее. Это было вне всяких сомнений — как им казалось. Но они ошиблись, часы растянулись в целые дни, и то, что казалось легкой стычкой, превратилось в долгую осаду; дело, на первый взгляд столь несложное, в действительности оказалось невероятно трудным; слабая жертва, которую предполагалось смахнуть прочь, как пушинку, стояла незыблемо, словно скала; и в довершение всего, если кому-нибудь и пришла очередь посмеяться, то, конечно, девушке-крестьянке, а никак не судьям.

Но она не смеялась, потому что не была такова; зато смеялись другие. Весь город исподтишка хохотал, и суд знал об этом, и самолюбие его сильно страдало. Члены суда не были в состоянии скрыть свою досаду.

Заседание, как я уже говорил, было бурное. Легко было видеть, что эти люди решили во что бы то ни стало выудить сегодня у Жанны такие признания, которые сократили бы судебное разбирательство и привели бы его к скорому концу. Это показывает, что, при всей своей опытности, они еще не знали, какова была Жанна. Они затеяли жаркую битву. На этот раз вопросы задавал не один из них: все принимали участие. Со всех сторон на Жанну сыпались вопросы, и по временам сразу было столько голосов, что она просила их выпускать свои выстрелы по очереди, а не залпами. Началось с обычного:

— Еще раз мы требуем от тебя присяги безусловной и неограниченной.

— Я дам ответ на все, что упомянуто в *procès verbal*. В остальном же я буду руководствоваться собственным выбором.

Пять за пястью они оспаривали и старались вырвать у нее из-под ног ту почву, на которой она утвердилась; они озлобленно горячились и осыпали Жанну угрозами. Но Жанна была непреклонна, и допрос волей-неволей пришлось перевести на другие темы. Целых полчаса было потрачено на видения Жанны: каково было их платье, какие у них волосы, какая наружность и так далее? Они надеялись выудить из ее ответов что-нибудь пагубное, но — все напрасно.

После того, как и следовало ожидать, перешли к вопросу о мужской одежде. Задали ей опять несколько изрядно уже затасканных вопросов, а затем и несколько новых.

— Не случилось ли, что король или королева просили тебя оставить мужской наряд?

— Этого нет в вашем *procès*.

— Думаешь ли ты, что принятием одежды, приличествующей твоему полу, ты совершила бы грех?

— Я всеми силами старалась служить и повиноваться моему верховному Господу и Повелителю.

Через некоторое время они повели речь о знамени Жанны, надеясь поставить его в связь с чернокнижием и колдовством.

— Не было ли у твоих солдат штандартов, срисованных с твоего знамени?

— Да — у копьеносцев моей стражи. Это делалось для того, чтобы отличать их от остального войска.

То была их собственная мысль.

— Часто возобновлялись эти значки?

— Да. Если копья ломались, то значки изготавливались заново.

Следующий вопрос покажет, что было целью предыдущих:

— Говорила ты своим солдатам, что значки, разрисованные наподобие твоего знамени, приносят счастье?

Это вздорное предположение оскорбило воинственную душу Жанны. Она выпрямилась и произнесла с величием, с горячностью:

— Вот что я говорила им: «Поезжайте и затопчите этих англичан!» — и поступала так сама.

Всякий раз, когда она кидала презрительные слова этим французским наемникам англичан, они приходили в бешенство. Так случилось и на сей раз. Десять, двадцать, а то и тридцать человек вскочили сразу с мест и начали грозить Жанне, но она была невозмутима.

Мало-помалу водворилась тишина, и допрос продолжался.

Теперь были приложены старания истолковать во вред Жанне те бесчисленные почести, которые ее окружали, когда она освобождала Францию от грязи и позора столетнего рабства и унижения.

— Не приказывала ли ты запечатлевать твой образ в картинах и изваяниях?

— Нет. В Аррасе я видела картину, на которой изобразили меня: стоя перед королем на коленях, в латных доспехах, я протягиваю ему письмо. Но я не заказывала этих вещей.

— Не случилось ли, что в честь тебя служили обедни и читали молитвы?

— Если случилось, то не по моему приказанию. Но если кто и молился за меня, то в этом, я думаю, не было ничего дурного.

— Верил ли французский народ, что ты — посланница Бога?

— Не знаю. Но как бы они ни смотрели на это, я все равно была послана Богом.

— Если они думали, что ты послана Богом, то, по твоему мнению, праведна ли была их мысль?

— Если они в это верили, то вера их не обманута.

— Как ты думаешь, что побуждало народ целовать твои руки и ноги, твою одежду?

— Они были рады видеть меня и потому так поступали; я не могла бы им помешать, если бы и решилась. Эти бедные люди несли мне свою любовь, потому что я не только не причинила им зла, но всеми силами заботилась об их благе.

Видите, какими скромными словами она описывает это трогательное зрелище — путь свой через Францию, когда по обе стороны стояли толпы благодарного народа. «Они были рады видеть меня». Рады?.. Они, видя ее, приходили в безумный восторг! Если им не удавалось поцеловать ее руки или ноги, то они становились на колени среди дороги и целовали следы подков ее коня. Они ее обожали; а попам именно это и хотелось доказать. Они не задумывались над вопросом, можно ли ее упрекнуть за то, что сделано другими,

помимо ее воли. Нет, если ее боготворили, то этого довольно — она, значит, повинна в смертном грехе. Странная, признаться, логика.

— Не была ли ты восприемницей нескольких детей, которых крестили в Реймсе?

— Была — в Труа и в Реймсе; и мальчикам я давала имя Карл, в честь короля, а девочек нарекала Жанной.

— Не случилось ли, что женщины прикасались своими перстнями к тем, которые ты носила?

— Случалось, многие так делали, но я не знаю, для чего это было им нужно.

— Было ли твое знамя внесено в Реймский собор? Стояла ли ты с этим знаменем около алтаря, во время коронации?

— Да.

— Проезжая по стране, исповедовалась ли ты в церквях и приобщалась ли Святых Тайн?

— Да.

— В мужском наряде?

— Да. Но я не помню, было ли на мне вооружение. Это была почти уступка, почти отрешение от приговора

церковного суда в Пуатье, признавшего, что она может носить мужское платье. Крючкотворцы сейчас же перевели разговор на другое: ведь если бы они продолжали распространяться об этом, то Жанна, пожалуй, заметила бы свою ошибку, и ее быстрый от природы ум подсказал бы ей, как загладить промах. Шумное заседание утомило ее и усыпило ее бдительность.

— Говорят, что в Ланьи ты воскресила в церкви мертвого младенца. Было ли это следствием твоих молитв?

— Не знаю. Несколько других молодых девушек молились за ребенка, и я присоединилась к ним и тоже стала молиться; я сделала не больше, чем они.

— Продолжай.

— Во время нашей молитвы младенец ожил и заплакал. Он был мертв три дня и почернел, как мой кафтан. Его сейчас же крестили, и вскоре он опять расстался с жизнью; его тогда похоронили на кладбище, по святому обряду.

— Почему ты выбросилась ночью из окна башни в Боревуаре и пыталась бежать?

— Я хотела идти на помощь в Компьен.

Они хотели доказать, что Жанна покушалась совершить смертный грех — самоубийство, чтобы уйти из рук англичан.

— Не говорила ли ты, что ты готова скорей умереть, чем попасть в плен к англичанам?

Жанна ответила чистосердечно, не замечая ловушки:

— Да. Вот мои слова: лучше возвратить Богу душу свою, чем попасть в руки англичан.

Затем на нее возвели обвинение, будто она, придя в себя после прыжка из башни, начала гневаться и поносить имя Господа; и будто повторилось то же самое, когда она узнала об измене коменданта в Суассоне.

Она была этим оскорблена и приведена в негодование; и она сказала:

— Это неправда. Я никогда не произносила проклятий. И у меня нет привычки богохульствовать.

ГЛАВА X

Объявили перерыв, и это было своевременно. Кошон ведь терпел поражение за поражением, и Жанна выигрывала. Было заметно, что некоторых из судей начинает подкупать смелость Жанны, ее присутствие духа, ее бодрость, ее постоянство, ее простодушие и искренность, ее очевидная честность, ее душевное благородство, ее тонкая проницательность, ее отважная, одинокая, неравная борьба с темными силами; и можно было не на шутку опасаться, что число ее сторонников увеличится еще более и что, таким образом, вся травля, задуманная Кошоном, закончится неудачей.

Надо было что-нибудь предпринять, и это было сделано. Кошон не отличался добротой, но тут он доказал, что и он одарен некоторою кротостью. Он нашел, что было бы уж слишком жестоко томить дальнейшим судебным следствием столько судей, когда для этого за глаза довольно и небольшой их кучки. О милосердный судья! Однако он не вспомнил, что и юной пленнице нужен какой-нибудь отдых.

Он решил отпустить всех судей, кроме нескольких человек, но этих нескольких он выбрал сам. И выбрал тигров. Если попал в их среду ягненок или два, то случилось это исключительно по недосмотру. К тому же он знал, как надлежит поступать с агнцами, если присутствие их обнаружится.

Он устроил малое совещание, и они в течение пяти дней процеживали сквозь сито весь тот огромный запас ответов Жанны, который был собран за это время. Они очищали его от мякины, от всего бесполезного, то есть от всего, что было благоприятно для Жанны; и тщательно отбирали все, что могло ей повредить. Так соорудили они основу нового суда, который якобы являлся продолжением первого. Была и другая перемена.

Всем было ясно, что суд при открытых дверях нанес делу ущерб: заседания суда служили предметом разговоров всего города, и весьма многие относились с состраданием к бедной пленнице. Этому будет положен конец. Заседания отныне должны происходить втайне, и ни один зритель не будет допущен. Итак, Ноэль лишится возможности присутствовать на суде. Я послал ему извещение об этом. Сам я не отважился сообщить ему эту новость. Я хотел, чтобы ко времени нашей вечерней встречи он успел привыкнуть к этому новому горю.

Десятого марта начался тайный суд. Уже неделя прошла с тех пор, как я видел Жанну. Внешность ее мучительно поразила меня. Жанна имела утомленный и слабый вид. Она была невнимательна и задумчива, и ответы ее показывали, что она угнетена и не успевает следить за всем, что происходит и о чем говорят. Другие судьи не стали бы пользоваться ее настроением и, памятуя, что дело идет о ее жизни и смерти, пощадили бы ее и отложили бы разбирательство. А как поступили эти? Целыми часами они травили ее, злорадные и алчно-свирепые, всеми силами старались использовать этот день, который впервые сулил им великую удачу.

Пыткой перекрестных вопросов ее довели до сбивчивых показаний относительно знамения, посланного королю, и на следующий день это продолжалось несколько часов подряд. Кончилось тем, что она отчасти разоблачила подробности, о которых Голоса запретили ей говорить; и по моему мнению, то, что она выдавала за действительность, походило скорей на какие-то видения и аллегории, чередовавшиеся с действительностью.

На третий день она была веселее и не имела столь изнуренного вида. Она почти возродилась и вела свою защиту отлично. Было сделано много попыток поймать ее на неосторожных словах, но она видела, к чему они клонят, и отвечала мудро и рассудительно.

— Известно тебе, ненавидят ли англичан святая Екатерина и святая Маргарита?

— Они любят, кого любит наш Господь, и ненавидят, кого Он ненавидит.

— Ненавидит ли Бог англичан?

— О любви или ненависти Бога к англичанам я ничего не знаю.

В голосе ее зазвенела прежняя воинственная нотка, и слова ее были проникнуты прежней отвагой, когда она добавила:

— Но вот что известно мне: Бог пошлет французам победу, и все англичане, кроме мертвых, будут вышвырнуты из Франции!

— Был ли Господь на стороне англичан, когда они побеждали французов?

— Я не знаю, питает ли Бог ненависть к французам, но думаю, что Он хотел наказать их за грехи.

Наивно объяснила она это тяжкое испытание, длившееся уже девяносто шесть лет. Но никто не счел ее слова ошибочными. Среди судей не было ни одного человека, который не продлил бы казни грешника на девяносто шесть лет, если бы мог; и ни один из них не допускал мысли, что Господь, быть может, не столь беспощаден, как люди.

— Случалось ли тебе когда-нибудь обнимать святую Маргариту или святую Екатерину?

— Да, обеих.

На злом лице Кошона промелькнуло выражение удовольствия, когда она это сказала.

— Не в честь ли твоих видений ты вешала гирлянды на l'Arbre Fee de Bourlemont?

— Нет.

Кошон опять доволен. Без сомнения, он будет утверждать, что она украшала Древо цветами, побуждаемая греховной любовью к феям.

— Когда святые являлись к тебе, то кланялась ли ты, проявляла ли свое благоговение, становилась ли на колени?

— Да, я почитала их и всеми силами старалась проявить свое благоговение.

Это мало пригодится Кошону, если он сумеет представить дело так, как будто она почитала не святых, но дьяволов, принявших чуждый им образ.

Потом начались рассуждения о том, что Жанна скрывала от родителей свои сверхъестественные сношения со святыми. Это могло принести им большую пользу. И действительно, обстоятельство это было подчеркнуто особой сноской на полях одной из страниц протокола: «Ни родителям, ни кому-либо другому она не сообщала о своих видениях». Возможно, что такое неповиновение родителям послужит само по себе доказательством сатанинской основы ее деяний.

— Думаешь ли ты, что поступила правильно, уйдя на войну без родительского соизволения? Написано ведь: чти отца твоего и мать твою.

— Во всем, кроме этого, я оказывала им повиновение. А в этом поступке я письменно покаялась перед ними и получила их прощение.

— А! Ты каялась перед ними? Значит, ты признавала себя виновной в том, что ушла без их позволения! Жанна была возмущена. Глаза ее сверкнули, и она вскричала:

— Мне повелел Господь, и я должна была уйти! Будь у меня сотня отцов и матерей, будь я королевская дочь, я все равно ушла бы.

— Спрашивала ли ты у твоих Голосов, можно ли тебе сказать родителям?

— Они хотели, чтобы я им сказала, но я ни за что не осмелилась бы причинить родителям это страдание.

По мнению судий, такое опрометчивое решение было признаком гордости. А от гордости этого рода один шаг до кощунственного обожествления.

— Твои Голоса называли тебя «дщерью Господа»?

Жанна ответила прямодушно и доверчиво:

— Да. Еще до осады Орлеана — и после того — они называли меня «дщерью Господа».

Они занялись поисками еще каких-нибудь доказательств гордости и суетности.

— На каком коне ты ехала, когда была взята в плен? От кого ты получила его?

— От короля.

— Были у тебя еще какие-либо королевские подарки? Какие-либо богатства?

— У меня были собственные лошади и вооружение; кроме того, мне были даны деньги для уплаты жалованья моим служащим.

— Была ли у тебя казна?

— Да. Десять или двенадцать тысяч крон. — И она добавила с наивностью: — Не слишком большие деньги для ведения войны.

— Не у тебя ли теперь эта казна?

— Нет. Эти деньги принадлежат королю и находятся на сохранении у моих братьев.

— Что это за оружие ты принесла в дар церкви в Сен-Дени?

— Мой набор латных доспехов и меч.

— Не для того ли оставила там оружие, чтобы оно являлось предметом поклонения?

— Нет. То был поступок благочестия. Воины, получившие рану, придерживаются обычая приносить подобный дар этой церкви. А я была ранена под Парижем.

Решительно ничто не могло воздействовать на их каменные сердца, на их заглохшую фантазию. Они остались безучастны даже к этой милой, так просто нарисованной картинке, на которой была изображена раненая девушка-воин, вешающая свои игрушечные доспехи рядом с угрюмыми, запыленными кольчугами исторических защитников Франции. Нет, для них тут ничего не было; они ценили только то, чем можно было так или иначе повредить и нанести обиду этому неповинному созданию.

— Кто кому больше помогал: ты своему знамени или знамя — тебе?

— Кто бы кому ни помогал — это не имеет значения: ведь победы были дарованы Богом.

— Но сама-то ты полагалась больше на себя или же на свое знамя?

— Ни на себя, ни на знамя. Я уповала на Бога, и больше ни на кого.

— Во время коронации не было ли твое знамя обнесено вокруг короля?

— Нет. Не было.

— Почему твоему знамени было отведено место на коронации, предпочтительно перед знаменами других полководцев?

И тогда кротко и тихо прозвучал тот трогательный ответ, который будет жить, пока жива человеческая речь, и будет переводиться на все языки, и будет неизменно, вплоть до последнего дня, волновать все человеческие сердца:

— Оно разделило тяжесть трудов — оно заслужило и радость почета Ее слова переводились много раз, но всегда безуспешно. В подлинной ее речи есть нечто неотъемлемо трогательное что делает тщетными все попытки передать эти слова языком другой страны. Есть в них какое-то тонкое благоухание исчезающее в передаче. Вот что сказала она:

«Il avait ete a la peine, c'etait bien raison q'u'il fut a l'honneur».

Монсеньор Рикар, почетный генерал-викарий архиепископа Экского (Aix), дал весьма меткий отзыв (см. «Jeanne d'Arc la Venerable», стр. 197) об «этом вдохновенном ответе который навеки запечатлен в истории знаменитых изречений как вопль французской и христианской души смертельно раненной в своем патриотизме и в своей вере». -м. Т. .

Как это просто сказано, и как красиво! И как рядом с этим бледнеет заученное красноречие светил ораторского искусства! Красноречие было прирожденным даром Жанны д'Арк, и этот дар проявлялся у нее без принуждения, без подготовки. Ее слова были так же возвышенны, как ее деяния, как ее душа: они зарождались в великом сердце и чеканились великим разумом.

ГЛАВА XI

Дальнейшая деятельность малого тайного суда ознаменовалась поступком столь низменным, что и теперь, дожив до глубокой старости, я не могу хладнокровно об этом вспоминать.

В самом начале своих сношений с Голосами, в Домреми, Жанна, тогда еще ребенок, дала торжественный обет посвятить свое чистое тело и свою чистую душу служению Богу. Как вы помните, родители, желая воспрепятствовать ее воинственным намерениям, потащили ее на суд в Тул, чтобы принудить к браку, на который она никогда не давала согласия, — к браку с нашим бедным, добродушным, хвастливым, огромным, доблестным, и дорогим, и незабвенным товарищем — знаменосцем, который пал в честном бою и спит непробудным сном вот уже шестьдесят лет, — мир его праху! И вы помните, что Жанна, когда ей было шестнадцать лет, предстала перед этим почтенным судом, сама повела свою защиту, изорвала в клочки все притязания бедного Паладина и развеяла их по ветру; вы помните, что пораженный старик судья отозвался о ней как о «дивном ребенке».

Вы помните все это. Представьте же себе, что я почувствовал, когда эти лживые попы, благодаря которым Жанна на протяжении трех лет должна была четыре раза вступать в неравную битву, — когда они начали сознательно извращать все обстоятельства этого дела и выставлять его в таком свете, как будто Жанна привлекла Паладина к суду и, лживо утверждая, что он обещал на ней жениться, хотела его принудить к этому.

Конечно, не было такой низости, за которую не постыдились бы ухватиться эти люди в своем жадном стремлении погубить беззащитную девушку. Им надо было доказать, что она забыла свой обет и пыталась его нарушить.

Жанна в подробностях восстановила истинную картину этой тяжбы, но понемногу потеряла терпение и закончила несколькими словами, обращенными к Кошону; томится ли он теперь в огненном пекле, где ему надлежит пребывать, или же он обманым путем перебрался в иную обитель — все равно: он помнит эти слова до сих пор.

Конец этого заседания и часть следующего были посвящены обсуждению старого вопроса — о мужском наряде. Странно, что такие важные господа занимались столь пустым делом: они ведь хорошо знали одну из причин, побуждавших Жанну оставаться в мужском платье; причина эта заключалась в том, что в ее комнате неотлучно, днем и ночью, находились солдаты охраны, а мужская одежда могла лучше охранить ее скромность, чем женская.

Суду было известно, что Жанна, между прочим, задавалась целью освободить находившегося на чужбине герцога Орлеанского; и они желали бы знать, каким образом она думала осуществить это. Ее план был характерно деловит, и она изложила его с характерным прямотушием и простотой:

— Я захватила бы в плен достаточное число англичан, чтобы выкупить герцога; если бы это не удалось, то я переправилась бы в Англию и освободила его силой.

Таков был образ ее мыслей. На первом месте — любовь, на втором — молот и клещи; но не было переливаний из пустого в порожнее. Она добавила, слегка вздохнув:

— Если бы я пользовалась полной свободой в течение трех лет, то я освободила бы его.

— Получила ли ты разрешение твоих Голосов бежать из тюрьмы при первой возможности?

— Много раз я просила их об этом, но они не давали мне позволения.

Как я уже сказал, она, вероятно, ожидала освобождения путем смерти в стенах тюрьмы до истечения трех месяцев.

— Решилась ли бы ты бежать, если бы перед тобой оказались открытые двери?

Она ответила напрямик:

— Да, ибо в этом я увидела бы соизволение Господа нашего. На Бога надейся, а сам не плошай, гласит пословица. Но если бы я не была уверена, что мне позволено, — я не ушла бы.

И вот этот момент судебного разбирательства ознаменовался одной подробностью, воспоминание о которой неизменно приводит меня к убеждению (и мысль эта поразила меня тогда же), что хоть на одно мгновение надежды Жанны остановились на короле, и в ее уме создался тот же самый план спасения, которым утешали себя мы с Ноэлем, — спасения при помощи ее старых солдат. Я думаю, что ей представилась возможность такого освобождения, но то была лишь мимолетная мысль, которая промелькнула быстро и бесследно.

Одно из выражений епископа из Бовэ побудило Жанну еще раз напомнить ему, что он недобросовестный судья, что он не имеет права здесь председательствовать и что он подвергает себя большой опасности.

— В чем же опасность? — спросил он.

— Не знаю. Святая Екатерина обещала мне помощь, но не знаю — какую. Мне неизвестно, буду ли я освобождена из этой тюрьмы или же, когда вы пошлете меня на казнь, произойдет народная смута, которая вернет мне свободу. Не размышляя об этом, я жду, что случится либо то, либо другое.

Немного помолчав, она добавила следующие слова, вечно незабвенные; слова, смысл которых мог тогда остаться для нее самой загадочным, непонятным, — этого мы не знаем; слова, которые она, быть может, понимала всецело, — этого мы тоже не знаем; но слова, таинственность которых много лет назад рассеялась, и всему миру стал доступен их сокровенный смысл:

— Но Голоса всего яснее говорили мне, что я буду освобождена после великой победы.

Она остановилась. Мое сердце билось как молот, потому что в моих глазах эта великая победа означала не что иное, как прибытие наших старых солдат, — в последнее мгновение они с боевым кличем ворвутся в город, бряцая оружием, и победоносно увезут с собой Жанну д'Арк. Но, боже, сколь кратковременна была эта мысль! Ибо Жанна подняла голову и закончила свою речь теми словами, которые до сих пор живут в памяти людей и часто повторяются ими, — словами, которые прозвучали столь пророчески, что страх обуял меня:

— И всякий раз они говорят: «Покоряйся всему грядущему; не скорби о своем мученичестве, ибо после того ты войдешь в кущи райские».

Думала ли она о костре? Едва ли. Я сам подумал об этом, но я уверен, что она имела в виду лишь эту долгую и жестокую пытку цепей, тюрьмы и оскорблений. И конечно, то было истинное мученичество.

Вопросы теперь задавал Жан де ла Фонтэн. Он старался извлечь из ее слов все, что было можно.

— Голоса сказали тебе, что ты попадешь в рай, и ты, значит, уверена, что так оно и случится и что ты не будешь обречена на муки ада. Не правда ли?

— Я верю тому, что они мне сказали. Я знаю, что буду спасена.

— Этот ответ многозначителен.

— В моих глазах обещание спасения есть великое сокровище.

— Думаешь ли ты, что после этого откровения ты была бы способна совершить смертный грех?

— На этот счет я ничего не знаю. Моя вера в спасение зиждится на соблюдении моей клятвы — сохранить в чистоте мое тело и мою душу.

— Если ты знаешь, что будешь спасена, то считаешь ли ты необходимым являться к исповеди?

Ловушка была придумана хитро, но простой и смиренный ответ Жанны обманул его надежды:

— Никто не может поручиться за безупречность своей совести.

Близился последний день этого нового суда. Жанна мужественно перенесла испытание. То была долгая борьба, утомительная для всех участников. Были испробованы все средства, чтобы обличить обвиняемую, но пока — все напрасно. Инквизиторы были до крайности утомлены и раздосадованы. Тем не менее они решили сделать еще одно усилие, потрудиться еще один день. И это было исполнено 17 марта. Вскоре после начала заседания Жанне снова расставили удачную ловушку:

— Согласна ли ты подчинить решению Церкви все твои слова и поступки, добрые или злые?

Это было хорошо придумано. Теперь Жанне грозила неминуемая опасность. Если она, позабыв осторожность, скажет «да», то она предоставит на суд этих людей уже не только себя, но и то дело, ради которого она пришла; а они быстро сумеют очернить источник и сущность ее вдохновения. Если же она скажет «нет», то на нее можно будет взвести обвинение в ереси.

Однако она справилась с затруднением. Церковную власть над собой, как над единичным членом Церкви, она отделила резкой пограничной чертой от всего, что имело отношение к ее посланничеству. Она заявила о своей любви к Церкви и о своей готовности защищать всеми силами христианскую веру; но поступки свои, совершенные по приказанию свыше, она признала подсудными лишь Богу, Который повелел их совершить.

Судья продолжал настаивать, чтобы она подчинила свои деяния решению Церкви. Она сказала:

— Я подчиню их решению Господа нашего, Который послал меня. Мне кажется, что Он и Его Церковь нераздельны и что тут не может быть разногласий. — Потом она повернулась к судье и сказала: — К чему эти пустые слова?

Тогда Жан де ла Фонтэн указал на ошибочность ее мнения, будто Церковь едина. Есть две Церкви: Церковь Торжествующая, которая есть Бог, святые, ангелы и праведники, пребывающая на Небе; и Церковь Воинствующая, которую олицетворяют наш святой отец, Папа Римский, наместник Божий, прелаты, духовенство и все добрые христиане и католики, — эта Церковь пребывает на земле, руководится Святым Духом и не может заблуждаться.

— Согласна ли ты подчиниться решению Церкви Воинствующей?

— К королю Франции меня послала Церковь Торжествующая, пребывающая на горных высотах, и только этой Церкви я дам отчет в своих делах. Церкви Воинствующей я ничего теперь не могу ответить.

Суд принял к сведению этот смелый отказ, чтобы в свое время извлечь из него пользу; а пока вопрос этот был оставлен, и началась долгая травля с прежними затасканными вопросами — они занялись опять феями, видениями, мужским платьем и тому подобными придирками.

После полудня сатанинский епископ занял председательское кресло и самолично возглавил остальную часть судебного заседания. Под самый конец один из судей задал следующий вопрос:

— Ты сказала монсиньору епископу, что будешь отвечать ему, как самому Папе, нашему святому отцу; а между тем ты упорно оставляешь без ответа многие вопросы. Быть может, Папе ты отвечала бы с большей полнотой, чем мон-синьору из Бовэ? Вероятно, ты сочла бы себя обязанной давать более обстоятельные ответы Папе, наместнику Бога?

И грянул гром среди безоблачного неба:

— Приведите меня к Папе. Я буду говорить ему все, что считаю нужным.

Багровое лицо епископа побледнело от замешательства. Если б Жанна знала! Если б она знала! Она подложила мину под этот мрачный заговор, и ей теперь ничего не стоило бы взорвать затею епископа и развеять их по ветру; но она не знала этого. Она проронила свои слова по наитию, не подозревая, какая страшная сила таится в них, и некому было разъяснить ей, что она сделала. Я знал; знал и Маншон. И если бы она умела читать, мы могли бы надеяться как-нибудь послать ей весточку; но Жанна поняла бы только живую речь, а к ней никого близко не подпускали. И она продолжала сидеть, еще раз увенчанная лаврами победы, — сама того не зная. Она была страшно утомлена долгой борьбой или недугом, иначе она заметила бы впечатление своих слов и отгадала бы причину.

Много удачных ударов нанесла она, но это был самый удачный. Она возвала к Риму. То было ее неоспоримое право. И если бы она продолжала настаивать, затея Кошона развалилась бы, как карточный дом, и он, в конце концов, потерпел бы беспримерно позорное поражение. Он умел дерзать, но у него не хватило бы дерзости противостоять этому требованию, если бы Жанна в нем упорствовала. Однако — нет: она, бедняжка, не знала, насколько этот могучий удар приблизил ее к жизни и к свободе.

Франция не была Церковью. Риму незачем было губить эту посланницу Бога. Рим дал бы ей справедливый суд, а это обеспечило бы ее спасение. Жанна покинула бы этот суд свободная, осыпаемая почестями и благословениями.

Но, видимо, была не судьба. Кошон сразу перевел речь в другое русло и поспешил закончить заседание. Когда Жанна удалялась медленной поступью, волоча тяжелые цепи, я почувствовал себя разбитым, ошеломленным; и я повторял про себя: «Так еще недавно она произнесла спасительное слово; она могла бы получить свободу; а между тем она идет на смерть; да, на смерть: я знаю, я чувствую это. Они удвоят стражу; они отныне никого не подпустят к ней, чтобы она не получила предупреждения и не повторила своих слов». Я пережил самый горький день за все это злосчастное время.

ГЛАВА XII

Итак, закончился и второй суд в тюрьме. Закончился, не дав определенного исхода. Я уже описал вам, каков был этот суд. В одном отношении он был еще низменнее, чем предыдущий, ибо на этот раз Жанне не сообщали выставляемых против нее обвинений и она была вынуждена сражаться в темноте. У нее не было возможности обдумать что-либо заранее; она не могла предвидеть расставленных сетей, не могла к ним подготовиться. Надо было обладать великим бесстыдством, чтобы так злоупотреблять беспомощностью бедной девушки. Случилось во время заседаний, что в Ру-ан заехал некий искусный законовед из Нормандии, мэтр Луайе, и я, кстати, сообщу вам его отзыв об этом суде, чтобы вы не сомневались в правдивости моего рассказа и не думали, что я, увлекшись защитой, преувеличиваю несправедливости и беззакония, жертвой которых была Жанна. Кошон показал Луайе свой процес и попросил его высказаться о суде. И вот какой отзыв он дал Кошону: он сказал, что вся эта затея не стоит выеденного яйца, потому что, во-первых, заседания суда были тайные, и этим исключалась свобода слова и действий обвиняемой стороны; во-вторых, обвинением была затронута честь французского короля, а между тем ему не предложили явиться для своей защиты или прислать своего уполномоченного заместителя; в-третьих, обвиняемой не были сообщаемы статьи обвинения; в-четвертых, обвиняемая, несмотря на свою молодость и неопытность, была вынуждена вести свою защиту без помощи адвоката, между тем как решался вопрос ее жизни и смерти.

Понравился ли Кошону такой отзыв? Нет. Он обрушился на Луайе, осыпал его самой необузданной бранью и поклялся, что утопит его. Луайе бежал из Руана и поспешил покинуть Францию; только этим он спас себе жизнь.

Как я уже сказал, второй суд кончился, не приведя ни к чему определенному. Однако Кошон не сдавался. Ему ничего не стоило созвать третий суд и — четвертый, и пятый, если будет нужно. Ему была почти обещана огромная награда — руанское архиепископство, если увенчаются успехом его старания сжечь тело и обречь на вечные муки душу этой молодой девушки, которая никому не сделала зла; а за такую цену,

как сан архиепископа, такой человек, каким был Кошон, согласился бы сжечь и погубить пятьдесят ни в чем не повинных девушек, а не только одну.

И вот он на другой же день снова принялся за работу; и на этот раз он был уверен в себе и злорадно предвкушал успех. Ему и остальным крючкотворцам пришлось потратить девять дней на то, чтобы нахватать из показаний Жанны достаточное число отдельных мест и, прибавив немалую долю собственных измышлений, соорудить из всего этого новую пирамиду улик. И получилось страшное здание — целых шестьдесят шесть статей!

Этот огромный документ был на следующий день, 27 марта, отвезен в замок; и там началось новое разбирательство в присутствии двенадцати тщательно подобранных судей.

Путем голосования решили на сей раз прочесть Жанне все статьи обвинения. Возможно, что это было сделано под влиянием отзыва Луайе; возможно также, что они надеялись доконать пленницу утомительным чтением, которое, как оказалось, заняло несколько дней. Кроме того, они решили, что Жанна должна прямо отвечать на все вопросы; в случае отказа она будет считаться уличенной. Как видите, Кошон с каждым разом придумывал новые трудности; он затягивал сети все туже и туже.

Жанну привели. Епископ Бовэский обратился к ней с речью, которая могла бы даже его лицо залить краской стыда, — столько было в ней лицемерия и лжи. Он заявил, что в состав настоящего суда входят праведные и благочестивые служители Церкви, сердца коих преисполнены доброжелательства и сочувствия по отношению к ней; и что они вовсе не заботятся о нанесении ей телесных страданий, но желали бы только наставить ее и открыть ей пути истины и спасения.

Этот человек был сущий дьявол; подумайте только, каким ангелом он вдруг прикинулся вместе со своими бессердечными приспешниками.

А между тем худшее было еще впереди. Ибо вслед за тем он, во исполнение другого совета Луайе, имел бесстыдство предложить Жанне нечто такое, что, вероятно, приведет вас в изумление. Он сказал, что нынешний суд, принимая во внимание ее неопытность и неспособность разобраться в многосложных и трудных вопросах, которые подлежат рассмотрению, решил проявить свое милосердие и сострадание и потому предлагает ей выбрать из их среды одного или нескольких судей, которые могли бы помогать ей своими советами и указаниями!

Представьте себе — суд, составленный из Луазлера и подобных ему рептилий! Это было все равно, что разрешить агнцу пользоваться помощью волка. Жанна взглянула на Кошона, желая узнать, не шутит ли он, и, видя, что он, по крайней мере, притворяется искренним, она, конечно, отказалась.

Епископ и не ждал другого ответа. Он проявил свое «беспристрастие», об этом будет упомянуто в отчете, — а больше ему ничего не нужно.

Затем он приказал Жанне давать прямой ответ на каждое обвинение и пригрозил ей отлучением от Церкви, если она не исполнит этого или задержит свой ответ дольше известного времени. Да, он мало-помалу затягивал сети.

Тома де Курсель принялся за постатейное чтение бесконечного документа. Жанна отвечала поочередно на каждую статью; иногда она лишь указывала на несправедливость обвинения, иногда говорила, что ответ ее можно найти в отчетах предыдущих заседаний.

Какой это был странный документ! Какое обличение сердца человека — единственного существа, которому дано право гордиться, что оно создано по образу и подобию Божию! Знать Жанну д'Арк значило знать душу безгранично благородную, чистую, преданную, отважную, кроткую, великую, праведную, самоотверженную, смиренную, целомудренную, как полевые цветы, — олицетворение нежности, красоты, вдохновенного величия. А этот документ учил как раз обратному. Там нельзя найти ничего, что свойственно Жанне; зато в подробностях упомянуто все, что было ей чуждо.

Возьмите несколько обвинений и вспомните, о ком идет речь. Жанну называли колдуньей, лжепророчицей, вызыва-тельницей и пособницей нечистой силы, проповедницей чернокнижия; говорили, что она не знает католического вероучения, что она еретичка, идолопоклонница, отступница, поносительница Бога и святых Его, мятежница, нарушительница тишины и порядка; она призывает людей к войне, к кровопролитию; она пренебрегает женской стыдливостью, надевая на себя платье мужчины и вступая на поприще воина; она обманывает и высшую знать, и народ; она присваивает себе Божественные почести, заставляя боготворить себя, предлагая народу лобзать свои руки и одежду.

Вот оно — мельчайшие события ее жизни искажены, извращены, вывернуты наизнанку. В раннем детстве она любила фей, говорила им слова утешения, когда они подверглись изгнанию, резвилась под их Древом и вокруг их источника, значит, она пособница нечистой силы. Она помогла опозоренной Франции встать и повела ее от победы к победе, значит, она была нарушительница тишины, — и действительно была! Она призывала к войне — и это опять-таки правда! И этим Франция будет гордиться и будет благодарить за это на протяжении грядущих веков! И ее боготворили, как будто она могла, бедняжка, воспрепятствовать этому, как будто ее можно за это осудить! И присмиривший ветеран, и робкий новобранец находили в ее

взоре источник воинственной отваги и, прикоснувшись своими мечами к ее оружию, победоносно сражались, значит, она колдунья.

Так развертывались, одна за другой, все подробности документа, превращавшего в яд эти животворные волны, претворявшего золото в мишуру, безобразившего и искажавшего жизнь высокоблагородную и прекрасную.

Само собой разумеется, что шестьдесят шесть статей обвинения были только переделкой тех вопросов, которые были затронуты во время предшествующих разбирательств, а потому я лишь вкратце коснусь этого нового суда. Да и сама Жанна не входила в подробности; по большей части она лишь говорила: «Это неверно — *passez outre*», или: «Я уже ответила на этот вопрос — прикажите писцу прочесть отчет»; или же давала какой-нибудь краткий ответ.

Она не соглашалась признать свое посланничество подсудным земной Церкви. Отказ ее был внесен в отчет.

Она сказала, что предъявленное к ней обвинение, будто она обожествляла себя и искала людского поклонения, несправедливо.

— Если кто-либо целовал мои руки или одежду, — сказала она, — то это произошло не по моему желанию, и я всеми силами старалась избегать этого.

Она имела смелость заявить этому смертоносному судилищу, что она не считает фей злыми существами. Она знала, сколь опасно такое заявление, но она придерживалась правила говорить только правду, — если уж говорить. Об опасности она в таких случаях не думала. Замечание ее было опять-таки принято к сведению.

Как и раньше, она ответила отказом на вопрос, согласится ли она переменить мужскую одежду на женскую, если ей разрешат исповедаться. И она добавила еще:

— Если человек приобщается Святых Тайн, то вопрос о том, как он одет, является пустяком и не имеет значения в глазах Господа нашего.

Ее обвиняли в ее упрямой привязанности к мужскому платью, доходившей до того, что она не соглашалась переодеться даже ради благодатного допущения к обедне. Она произнесла с воодушевлением:

— Скорей соглашусь умереть, чем нарушу клятву свою, данную Богу.

Ее упрекнули в том, что она на войне исполняла мужские работы и, таким образом, пренебрегала обязанностями женщины. Она ответила с оттенком воинственного презрения:

— Исполнителей женской работы и так слишком много.

Я всегда утешался, замечая в ней возрождение воинственного духа. Пока жива эта отвага, она не перестает быть Жанной д'Арк и способна смело идти навстречу судьбе и опасности.

— По-видимому, то дело, которое, по твоим словам, поручено тебе Богом, заключалось в призыве к войне и к пролитию человеческой крови.

Жанна дала простой ответ, довольствуясь объяснением, что война была не первым ее шагом, но вторым.

— Сначала я просила заключить мир. Получила отказ — и приступила к сражению.

Судья не делал различия между бургундцами и англичанами, говоря о них как о тех врагах, которым Жанна объявила войну. Однако она показала, что и на словах, и на деле она разделяла тех и других, ибо бургундцы были все же французы и в силу этого не заслуживали столь сурового отношения к себе, как англичане. Она сказала:

— Герцогу Бургундскому я письменно и через посланцев предлагала помириться с королем. Что же касается англичан, то они могли заключить мир не иначе, как покинув Францию и вернувшись к себе.

Затем она сказала, что даже к англичанам она относилась миролюбиво, ибо накануне каждого нападения она посылала им воззвания, предлагая им уйти, пока не поздно.

— Если бы они вняли моим советам, — сказала она, — то они поступили бы мудро.

И тут она повторила свое пророчество, произнеся с ударением:

— Меньше чем через семь лет они убедятся в этом сами.

Потом Жанне опять начали досаждать разглагольствованиями о мужском платье и просили ее дать добровольное обещание расстаться с ним навсегда. Я никогда не отличался глубокой проницательностью, и меня несколько не удивляет, что я не мог разгадать, почему они с таким упорством возвращаются к вопросу, на первый взгляд слишком незначительному; я не понимал, чего ради они так стараются. Теперь-то мы все знаем, в чем было дело. Мы знаем, что они затевали новое предательство. Если бы им удалось убедить ее торжественно отказаться от мужской одежды, то они могли бы без труда расставить такую ловушку, которая сразу погубила бы Жанну. Итак, они продолжали свое злое дело, пока она не вспыхнула, сказав:

— Довольно! Без соизволения Господа я не переменю одежды, хотя бы вы отрубили мне голову!

Однажды она указала на неточность *proces verbal*, сказав:

— Тут написано, будто я говорила, что все свои поступки я совершала по указанию Всевышнего. Я не сказала этого. Я говорила: все свои хорошие поступки.

Основываясь на невежестве и простодушии избранницы, они подвергли сомнению подлинность ее Божественных полномочий. Жанна улыбнулась. Она могла бы напомнить этим людям, что наш Господь, Который не отдает предпочтения сановникам, гораздо чаще останавливал Свой выбор на смиренных, чем на епископах и кардиналах; но она выразила свою отповедь проще:

— Господь наш пользуется преимуществом искать избранных, где Он хочет.

Ее спросили, какую молитву она обычно произносила, когда призывала указание свыше. Она ответила, что молитва ее была кратка и проста; затем она подняла бледное лицо свое и повторила эти слова, молитвенно сложив закованные в цепи руки:

— Возлюбленный Бог, в честь святых страданий Твоих, молю Тебя, если Ты меня любишь: вразуми меня, как я должна отвечать сим служителям Церкви. Я знаю, по Чьему повелению я надела это платье, но я не знаю, как мне расстаться с ним. Молю Тебя, скажи, что мне делать.

Ее обвиняли в том, что она, вопреки предписаниям Бога и святых Его, возымела дерзость повелевать людьми и приняла звание главнокомандующего. Этим была затронута ее воинственная струна. Она с глубоким уважением относилась к духовенству, но таившийся в ней воин не мог относиться с большим уважением к вмешательству священника в дела войны; и, отвечая на это обвинение, она не снизошла до каких-либо разъяснений или оправданий, но высказалась спокойно и кратко, по-военному:

— Если я была главнокомандующим, так это для того, чтобы проучить англичан!

Все время на нее веяло дыханием смерти, но что ж из этого? Жанна любила видеть, как корчатся эти французы с сердцами англичан, и всякий раз, когда они подставляли ей уязвимое место, она не упускала случая вонзить свое жало. Подобные мелкие эпизоды действовали на нее освежающим образом. Дни ее были подобны безводной пустыне; а эти минуты заменяли оазисы.

Ее пребывание на войне, среди мужчин, дало возможность обвинить ее в нескромности. Она сказала:

— Когда можно было, я держала при себе женщину — в городах и во время стоянок. В открытом поле я ложилась спать, не снимая оружия.

То обстоятельство, что ей и ее родным король даровал дворянство, послужило основой нового обвинения: будто Жанна была побуждаема корыстными стремлениями. Она ответила, что не просила у короля этой милости. Тот сам назначил эту награду.

Кончился и третий суд. И опять-таки — никакого определенного решения.

Быть может, четвертый суд сумеет сломить эту, по-видимому, непобедимую девушку? И вот злокозненный епископ принимается разрабатывать план будущих действий.

Он назначил особое совещание, чтобы свести шестьдесят шесть статей к двенадцати лживым основоположениям, которые послужили бы опорой новой попытки. Это было исполнено. На эту работу ушло несколько дней.

Между тем Кошон пошел однажды в темницу Жанны в сопровождении Маншона и двух судей — Изамбара де ла Пьера и Мартина Ладвеню; ему хотелось узнать, нельзя ли попытаться уговорить Жанну, чтобы она подчинила сущность своего посланничества решению Воинствующей Церкви, — вернее говоря, той части Воинствующей Церкви, представителем которой был он сам со своими пособниками.

Жанна опять ответила решительным отказом. Изамбар де ла Пьер не был человеком бессердечным, и он почувствовал такое сострадание к этой бедной, затравленной девушке, что отважился на крайне смелый поступок: он спросил, согласна ли она предоставить свое дело суду Базель-ского собора, и добавил, что там духовенство делится на одинаковое число как ее сторонников, так и приверженцев англичан.

Жанна воскликнула, что она с радостью подчинится столь беспристрастному суду; но прежде чем Изамбар успел сказать еще хоть одно слово, Кошон свирепо обернулся к нему и крикнул:

— Именем дьявола, замолчи!

После того и Маншон в свою очередь сделал смелую попытку, хотя этим он подвергал большой опасности свою жизнь. Он спросил у Кошона, можно ли ему отметить в отчете, что Жанна согласилась подчиниться Базельскому собору.

— Нет! Совершенно незачем!

— Ах! — произнесла Жанна с укоризной. — Вы записываете все, что говорит против меня, но не желаете отметить того, что послужило бы мне на пользу.

Грустный упрек. Он растрогал бы сердце зверя. Но Кошон был еще бездушнее.

ГЛАВА XIII

Стояли первые дни апреля. Жанна была больна. Она занемогла 29 марта, через день после окончания третьего суда, и вышеописанная сцена в ее келье произошла как раз в тот день, когда ей стало хуже. Это было похоже на Кошо-на — он хотел воспользоваться ее слабостью.

Рассмотрим некоторые особенности нового обвинительного акта — этих двенадцати тезисов лжи.

Первая ложь гласила, между прочим, что Жанна утверждает, будто ей обеспечено спасение души. Она никогда не говорила ничего подобного. Далее, там говорится, что она отказалась подчиниться Церкви. Это опять-таки неправда. Она согласилась признать все свои поступки подсудными руанскому суду, за исключением тех деяний, которые она совершила по приказанию Господа, во исполнение возложенной на нее задачи. Эти деяния она была готова представить только на суд Божий. Она отказалась отождествить Кошона и его прислужников с Церковью, но она согласна подчиниться Папе или Базельскому собору.

Оговорка другой статьи утверждает, будто Жанна сознавалась, что она грозила смертью тому, кто ей не повиновался. Очевидная ложь. В другом месте говорится, будто все свои поступки она оправдывала повелением Всевышнего. В действительности же она привела это оправдание только относительно хороших своих деяний — как вы видели, она сама ввела эту поправку.

Другая статья говорит, что Жанна выставляет себя совершенно безгрешной. Она ни разу не утверждала этого.

Другая статья считает грехом ношение мужского платья. Если бы это и было грехом, то Жанна имела право совершить его, опираясь на высокий авторитет католического духовенства в лице реймского архиепископа и суда в Пуатье.

Десятая статья негодовала на Жанну за ее «ложное утверждение», будто святая Екатерина и святая Маргарита говорят по-французски и сочувствуют французской политике. Двенадцать статей предполагалось сначала отправить на утверждение ученых докторов богословия, стоявших во главе Парижского университета. Они были переписаны и полностью закончены к вечеру 4 апреля. Тогда Маншон опять отважился на смелый поступок: он написал на полях документа, что многие из этих двенадцати статей совершенно извращают показания Жанны и придают им обратный смысл. Это обстоятельство, конечно, не могло иметь значения для членов Парижского университета, не могло повлиять на их решение или расшевелить их человеческие чувства (которых у них, вероятно, не было вовсе, особенно когда дело шло о политике, как в данном случае), но тем не менее доброго Маншона нельзя не похвалить за его смелость.

На другой день, 5 апреля, двенадцать статей были посланы в Париж. После полудня в Руане началось сильное брожение: возбужденные толпы народу запрудили все главные улицы, ожидая новостей, так как разнесся слух, что Жанна д'Арк смертельно больна. Действительно, все эти бесконечные заседания суда измучили ее окончательно, и она заболела. Главари английской партии были озабочены не на шутку, потому, если Жанна умрет, не дождавшись церковного осуждения, и сойдет в могилу, не получив позорного клейма, то жалость и любовь народа обратят в мученичество ее незаслуженные страдания и смерть и загробная слава ее имени затмит во Франции ту славу, которой Жанна пользовалась при жизни.

Граф Варвик и английский кардинал (Винчестер) поспешили в замок и немедленно отправили за врачами гонцов. Варвик был жестокий, грубый, суровый человек, не знавший жалости. Больная девушка лежала в своей железной клетке, закованная в цепи, — и кто решился бы сказать при ней грубое слово? Однако Варвик, ничуть не стесняясь ее присутствием, заявил врачам напрямик:

— Смотрите же, хорошенько ухаживайте за ней. Король Англии вовсе не желает, чтоб она кончила естественной смертью. Она дорога ему, потому что он дорого за нее заплатил, и он не позволит ей умереть иначе, как на костре. Итак, знайте: вы должны ее вылечить во что бы то ни стало.

Доктора спросили Жанну, от чего она заболела. Она сказала, что епископ Бовэский прислал к ее столу рыбы и что этим, вероятно, объясняется ее недуг.

Тогда Жан д'Этивэ напал на нее, начал ее упрекать и осыпать бранью. Он, видите ли, понял, что Жанна обвиняет епископа в намерении отравить ее; а это ему вовсе не нравилось, так как он был один из самых преданных и бесчестных рабов Кошона, и он пришел в бешенство, когда Жанна оскорбила его повелителя в присутствии этих могущественных английских вельмож, которым ничего не стоило бы погубить Кошона, если бы они убедились, что он замышлял при помощи яда избавить Жанну от костра и, таким образом, обесценить всю ту выгоду, которую они надеялись получить, перекупив пленницу у герцога Бургундского.

Жанна была в сильной лихорадке, и врачи предложили сделать кровопускание. Варвик сказал:

— Будьте только осторожны: она хитра и способна убить себя.

Он намекал, что ради избавления от костра она может сорвать повязки и истечь кровью.

Во всяком случае, врачи сделали ей кровопускание, и после того ей стало легче.

Впрочем, ненадолго. Жан д'Этивэ не мог усидеть на месте: он был слишком раздосадован и разозлен тем подозрением, которое проскользнуло в словах Жанны. Вечером он вернулся и кричал на нее так долго, что жар возобновился.

Варвик, проведав об этом, конечно, пришел в ярость. Еще бы: из-за чрезмерного усердия какого-то дурака добыча того и гляди ускользнет из рук! Варвик наградил Жана д'Этивэ великолепным проклятием — великолепным в смысле силы, а не изящества, если верить отзыву благовоспитанных людей, — этот несносный выскочка моментально притих.

Жанна проболела больше двух недель; потом ей стало лучше. Она была еще очень слаба, но могла все-таки без опасности для жизни вытерпеть легкую травлю. Кошон решил, что время как раз благоприятствует. И вот он, созвав нескольких докторов богословия, навестил ее темницу. Маншон и я отправились вместе с ними, чтобы вести отчет, то есть записывать все, что выгодно Кошону, и опускать остальное.

Внешность Жанны горестно поразила меня. Я увидел какую-то тень! Мне даже не верилось, что это слабенькое создание с грустным личиком была та самая Жанна д'Арк, которая так часто, на моих глазах, неслась во главе своих войск, вдохновенная, страстная, неустрашимая среди пушечных грома и молний, неуязвимая под смертоносным дождем ядер и стрел. При виде ее сердце мое так и заныло.

Однако Кошон был безучастен. Он опять произнес свою бесстыдную речь, проникнутую лицемерием и коварством. Он сказал Жанне, что некоторые из ее ответов, по-видимому, идут вразрез с учением религии; и что, принимая во внимание ее необразованность и незнакомство со Священным Писанием, он привел с собой нескольких мудрых мужей, которые помогут ей своими советами, если она пожелает.

— Мы — служители Церкви, — сказал он, — и наша добрая воля, равно как и наше призвание, повелевает нам позаботиться о спасении твоей души и твоего тела; и мы обязаны приложить к сему все наши силы, как если бы мы трудились на пользу нашего ближайшего родственника или ради нас самих. Поступая так, мы следуем примеру святой Церкви, которая всегда готова воспринять в лоно свое заблудшую овцу.

Жанна поблагодарила его за эти слова и сказала:

— Недуг мой, кажется, грозит мне смертью; если Господу угодно, чтобы я умерла здесь, то прошу дать мне разрешение исповедаться и приобщиться Тела моего Спасителя; и прошу похоронить меня по-христиански.

Кошон подумал, что ему, наконец, есть на что опереться: ослабевшее тело Жанны страшилось непокаянной кончины и мучений ада. Теперь-то будет надломлена эта непокорная душа! И вот он сказал:

— Если ты желаешь причаститься, то ты должна поступить по примеру всех добрых католиков — подчиниться Церкви.

Он с нетерпением ждал ответа Жанны; но оказалось, что она и не думает сдаваться и продолжает стоять около своих пушек. Она отвернулась и произнесла утомленно:

— Мне больше нечего сказать.

Кошон начинал сердиться; он угрожающе возвысил голос и заявил, что чем ближе опасность смерти, тем больше Жанна должна думать об искуплении грехов; и он снова сказал, что просьба ее не будет исполнена, если она не подчинится Церкви. Жанна ответила:

— Если я умру в тюрьме, то прошу вас, не оставьте меня без христианского погребения; если же вы в этом отказываете, то я полагаюсь на милосердие Спасителя.

Некоторое время разговор продолжался в этом же роде; потом Кошон снова и весьма настойчиво потребовал, чтобы она подчинила себя и все свои деяния решению Церкви. Его угрозы и крики не привели ни к чему. В ослабевшем теле была железная душа — душа Жанны д'Арк; и в глубине этой души зародился тот непоколебимый ответ, который был столь знаком и ненавистен этим людям:

— Пусть будет, что будет; но я ни единым поступком или словом не опровергну того, что говорила перед судом.

Тогда добрые богословы переменили образ действий и начали надоедать ей рассуждениями, доказательствами и ссылками на Священное Писание; и все время они показывали ее взыскующей душе Святое причастие, как приманку, которой они хотели ее подкупить, чтобы она подчинила свои деяния суду Церкви, то есть их суду, как будто они олицетворяли Церковь! Однако старания их были безуспешны. Если б они спросили меня, я заранее сказал бы, что труды их будут напрасны. Но они меня не спрашивали ни о чем: я был слишком ничтожен в их глазах.

Окончилось свидание угрозой; то была угроза страшная; угроза, от которой каждому католику показалось бы, что под ним разверзается земля:

— Церковь призывает тебя к повиновению; откажись — и она отречется от тебя, как от язычницы!

Представляете вы себе, что значит быть отвергнутым Церковью? Этой всемогущей державой, в чьей власти судьба всего человечества; чей скипетр простирается за пределы самых далеких созвездий, мерцающих на небе; чьей власти подчинены миллионы живущих и миллиарды тех, что с трепетом ждут в чистилище спасения или гибели; чья улыбка открывает нам врата Царства Небесного и чей гнев предаст нас мукам векового ада; чьи необъятные владения затмевают любое царство земли, как царство земли затмевает убогую роскошь сельского праздника. Если отвергнет тебя твой король — да, это смерть, а смерть ужасна. Но если отвергнет Рим, отвергнет Церковь!.. О, что такое смерть в сравнении с этим изгнанием, которое обрекает человека на бесконечную жизнь — и какую жизнь!

Я уже видел багровые волны, вздымавшиеся над безбрежным морем огня; я уже видел, как всплывают на поверхность черные мириады осужденных, борются, вновь идут ко дну... И я знал, что задумчивая Жанна

видит ту же картину; и я ожидал, что теперь она уступит; ожидал и — надеялся; потому что эти люди были способны исполнить угрозу и предать Жанну вечным страданиям, и я знал, что такая казнь будет им по душе.

Но глуп я был, когда ждал этого и питал эту надежду. Не такова была Жанна д'Арк, как другие. Преданность своим убеждениям, преданность истине, преданность своему слову — вот те качества, которые вошли в ее плоть и кровь. Она не могла переродиться, не могла отрешиться от свойств своей души. Она была гением Преданности, воплощением Постоянства. Где она заняла место, там она и останется: самый ад не принудит ее отойти.

Ее Голоса не дали ей разрешения подчиниться Церкви, так как это требовал Кошон, а потому она будет стоять непоколебимо. Она будет покорно ждать, что бы ни случилось.

Когда я покидал тюрьму, то сердце мое было точно налито свинцом. Но Жанна была спокойна, ее ничего не тревожило. Она поступила, как повелевал ей долг, и этого было достаточно; о последствиях она не думала. Последние ее слова в тот день были исполнены этого безмятежного спокойствия, этой чистоты настроения:

— Доброй христианкой я родилась, доброй христианкой и умру.

ГЛАВА XIV

Прошли две недели. Наступило второе мая. Воздух согрелся, дикие цветы распускались в лесу и на полянах, птицы щебетали среди ветвей, вся природа была залита солнечным светом, все обновлялось и набиралось свежих сил, все сердца веселились, весь мир жил надеждой и радостью. Равнина по ту сторону Сены широко развернула мягкую, сочную зелень полей, река была чиста и прекрасна, зеленеющие островки ласкали взор, и еще милее были их отражения в сверкающей водной глади; а с прибрежных утесов, возвышавшихся за мостом, открывался великолепный вид на Руан, и, казалось, нет другого столь же красивого города под всем небосводом.

Я лишь в общем смысле сказал, что все сердца были исполнены радости и надежды. Исключения были: мы, друзья Жанны д'Арк, и сама Жанна, эта бедная девушка, томившаяся за угрюмой твердью толстых стен и неприступных башен. Она была наедине со своими печальными мыслями, а рядом лились недостижимые потоки солнечных лучей! Она так мечтала хоть разок увидеть этот свет, но безжалостны были те волки в черных сутанах, которые составили заговор против ее жизни и доброго имени.

Кошон приготовился продолжить свое преступное дело. Теперь он собирался испробовать нечто новое. Он посмотрит, как действуют на неисправимую узницу увещания — доказательства, доводы и перлы красноречия. Таков был его план. Но чтение двенадцати статей было оставлено в стороне. Нет, даже Кошон постыдился обнажить перед Жанной эту чудовищную ложь; даже у него, где-то на самом дне его мерзкой души, нашелся остаток стыда, который вдруг заявил о себе и — о, чудо! — победил.

И вот черное братство собралось в этот радостный день, 2 мая, в обширной палате, примыкавшей к главной зале замка; епископ Бовэский занял свой трон, младшие судьи (их было шестьдесят два) расселись перед ним, часовые и писцы заняли свои места, а оратор взошел на кафедру.

Вскоре послышался вдалеке звон цепей, и через некоторое время вошла Жанна д'Арк, сопровождаемая стражей, и села на свою уединенную скамью. Теперь, после двухнедельного отдыха от словесной травли, она выглядела гораздо лучше и была дивно прекрасна.

Окинув взглядом собрание, она заметила оратора. Без сомнения, она отгадала, как обстоит дело.

Оратор записал на всякий случай свою речь, и она находилась у него в руках, но он старался держать ее пониже, чтобы она не была заметна. Тетрадь была настолько толста, что походила на книгу. Начало речи шло как по маслу, но в середине какого-то цветистого оборота оратор немножко запамятовал и украдкой заглянул в свою рукопись, что не могло не испортить впечатления. Случилось это раз, другой, третий. Бедняга краснел от смущения; а все великое собрание смотрело на него с жалостью, благодаря чему положение ухудшалось все более и более. Наконец Жанна вставила замечание, которое окончательно смутило злополучного оратора. Она сказала:

— Читайте вслух по вашей книге — тогда я буду вам отвечать.

Почти жестоким показался мне смех этих буквоедов; а этот бедолага стоял с таким смущенным и беспомощным видом, что почти все готовы были пожалеть его, и даже я с трудом поборол в себе это чувство. Да, Жанна отлично себя чувствовала после отдыха, и ее врожденное лукавство так и прорывалось наружу. Оно не проявилось ничем, когда Жанна произносила свое замечание, но я знаю, что оно таилось в ее словах.

Оправившись от замешательства, оратор поступил вполне благоразумно: он воспользовался советом Жанны и уже не старался выдавать свою речь за экспромт, но читал ее «по книге». Он слил двенадцать статей обвинения в шесть, и они-то были положены в основу его речи.

По временам он прерывал чтение и задавал вопросы, а Жанна отвечала. После того как была изложена сущность Воинствующей Церкви, Жанне снова предъявили требование подчинения.

Она ответила, как и раньше.

Потом ее спросили:

— Думаешь ли ты, что Церковь может заблуждаться?

— Я верю в непогрешимость Церкви; но только одному Господу Богу я дам отчет в тех моих деяниях и словах, которые были совершены и произнесены по Его приказанию.

— Не хочешь ли ты сказать, что никто на земле не может судить тебя? А разве святейший Папа — не судья твой?

— Об этом я вам ничего не скажу. У меня есть добрый Повелитель, наш Господь, и на Его суд я представлю все.

Тогда раздались эти ужасные слова:

— Если ты не подчинишься Церкви, то здесь заседающий суд объявит тебя еретичкой, и ты будешь сожжена на костре!

Услышав такую угрозу, мы с вами, наверно, умерли бы от страха; но она лишь разгорячила львиное сердце Жанны, и в ответе ее прозвучала та воинственная нотка, которая, как трубный призыв, одушевляла ее солдат:

— Я повторяю то же, что говорила до сих пор; и если бы предо мной горел костер — я все равно повторила бы!

Отрадно было услышать, как встарь, ее воинственный голос и увидеть, как глаза ее загораются боевым огнем. Многие вдруг одушевились; каждый мужчина — враг или друг — неожиданно почувствовал прилив отваги; и Маншон, славная душа, еще раз подверг опасности свою жизнь, выведя на полях смелые слова: «*Superba responsio!*» — и слова эти продолжают там красоваться уже целых шестьдесят лет, и вы всегда можете их прочесть.

«*Superba responsio!*» Именно так. Ведь этот «великолепный ответ» был произнесен устами девятнадцатилетней девушки, перед глазами которой были смерть и ад.

Конечно, опять начали копать в вопросе о мужском одеянии и, как всегда, долго возились с этим; не позабыли предложить и прежнюю взятку: если она откажется от ношения мужского платья, то ей позволят выслушать обедню. Но она ответила, как не раз отвечала прежде:

— Если мне будет позволено, я стану ходить в женской одежде на все церковные службы, но, возвратившись в свою келью, я тотчас снова надену мужское платье.

Несколько раз они пытались заманить ее в сети: делали ей мнимые предложения и затем всякими хитростями старались поймать ее на слове, а сами себя ни к чему не обязывали. Но она всегда замечала их игру и оставляла их ни с чем. Вот примерная форма ловушки:

— Поступила ли бы ты так-то и так-то, если бы мы тебе разрешили?

А ее ответ был в такой форме или такого содержания: — Когда дадите разрешение, тогда и узнаете. Да, Жанна была в ударе в этот день — второго мая. Она все время сохраняла ясность ума, и им никак не удавалось ее поймать. Это было долгое-долгое заседание, и в борьбе они успели пройти шаг за шагом всю прежнюю арену, и блестящий оратор успел истощить все свои доводы, все красноречие, но исход был тот же самый — прерванная битва; шестьдесят два судьи возвращаются на прежние позиции; а одинокий воин занимает то самое место, с которого он начал оборону.

ГЛАВА XV

Сверкающая, божественная, чарующая погода наполняла песнопением все сердца; Руан был весел и беззаботен, и всем хотелось дать простор своей радости и смеяться из-за каждого пустяка. И вот, когда разнеслось известие, что молодая дева, томящаяся в башне, снова победила епископа Кошона, то начался неудержимый смех; смеялись граждане обеих партий, потому что все они ненавидели епископа. Правда, сочувствующее Англии большинство населения желало, чтобы Жанна была сожжена, но это не мешало им смеяться над ненавистным человеком. Опасно было бы насмеяться над вождями английской партии или над большинством судей, пособников Кошона. Но никто не донесет, если они будут высмеивать самого Кошона, или д'Этивэ, или Луазлера.

В разговорной речи не было заметной разницы между словами *Cauchon* и *cochon* Свинья., и это давало возможность вышучивать епископа на все лады; этой возможностью не преминули воспользоваться.

Некоторые часто повторяемые шутки успели значительно примелькаться за три месяца; каждый раз, когда Кошон затевал новый суд, в народе говорили: «Свинья опять опоросилась»; а когда суд оканчивался неудачей, то повторяли эти же слова, но уже в другом смысле: «Свинья опять напакостила» *Cochonner* значит: *пороситься метать детенышей; второе значение: пакостить пачкать.* — М. Т. .

И вот третьего мая Ноэль и я, бродя по городу, неоднократно слышали хохот какого-нибудь деревенского остряка, который, гордясь своим глубокомыслием, переходил от одной группы людей к другой и повторял одну и ту же шутку:

— Каково! Пять раз свинья опоросилась и пять раз напакостила!

А иные были столь отважны, что говорили:

— Шестьдесят шесть человек и английское могущество против одной девушки; а между тем она сумела пять раз постоять за себя.

Кошон жил в большом дворце архиепископа, охраняемом английскими солдатами. Но ничто не помогало: каждое утро, после темной ночи, стены обличали проделку нелюбезного шутника, побывавшего здесь с кистью и краской. Да, он приходил сюда, чтобы оскорбить священные стены изображениями свиней во всевозможных (только не лестных) видах; то были свиньи в епископском облачении и в епископских митрах, сдвинутых набекрень.

Целых семь дней Кошон бесновался и проклинал свою беспомощность и свои неудачи; потом он придумал новый план. Я вам скажу, в чем он заключался; сами вы ни за что не догадались бы, потому что нет жестокости в ваших сердцах.

9 мая нас позвали; Маншон и я, забрав письменные принадлежности, отправились в замок. Но на этот раз нам приказали пойти в другую башню — не в ту, где была темница Жанны. Круглая, угрюмая, массивная башня была построена из самого грубого, толстого и прочного камня — мрачное, грозное здание *Нижняя часть этой башни цела до сих пор в неизменном виде. Верхняя часть надстроена в позднейшее время*. -М. Т. .

Мы вошли в круглую залу нижнего этажа, и моим глазам представилось зрелище, от которого мне едва не сделалось дурно: всюду были разложены орудия пытки, около которых стояли палачи, готовые приняться за работу! Вот вам предельный мрак черного сердца Кошона, вот вам доказательство того, что он никогда не знал сострадания. Помнит ли он свою мать? Была ли у него сестра?..

Там находились: Кошон, вице-инквизитор, настоятель Сен-Корнельского аббатства и еще шестеро других — Луазлер в их числе. Часовые были на местах; станок был приготовлен; кругом верстака стояли палач и его помощники, все в красных кафтанах — цвет, вполне подходящий их кровавому ремеслу. Мне вдруг представилась Жанна, распростертая на станке; ноги ее привязаны к одному концу козел, запястья — к другому; и крутят ворот красные великаны, и разрывают ее суставы. И мне уже казалось, что я слышу, как трещат кости, как раздирается живое мясо; и не мог я понять, почему так спокойно сидят эти избранные милосердного Иисуса; и неведом мне был источник их безмятежности, их равнодушия.

Через некоторое время привели Жанну. Увидела она верстак, увидела палачей; и конечно, в ее воображении промелькнула та же картина, которая только что представилась мне. Но не подумайте, что она содрогнулась, что она пала духом! Нет, она ничем не проявила боязни. Она выпрямилась, и вокруг ее губ легла чуть заметная презрительная складка; но страха не было и следа.

То было достопамятное заседание, но самое короткое во всем списке. Когда Жанна заняла свое место, то ей прочли сжатый перечень ее «преступлений». Потом Кошон произнес торжественную речь. Он говорил, что Жанна во время предшествовавших судебных разбирательств многократно отказывалась отвечать на некоторые вопросы, а в других случаях давала лживые ответы; но что теперь он добьется от нее правды во всей полноте.

На этот раз в его тоне слышалась большая самоуверенность; он не сомневался, что наконец найден способ сломить упорство этой девочки и склонить ее к слезам и мольбам. Теперь-то он победит и заткнет глотки руанским шутникам. Как видите, он, несмотря ни на что, был похож на остальных людей: подобно им, он боялся насмешек. Его речь была высокопарна, и пятнистое лицо его озарялось сменой всевозможных оттенков злорадства и предвкушаемого торжества: то оно становилось багровым, то желтым, то красным, то зеленым, а иногда на его пухлых щеках появлялась какая-то неподвижная синева, как у утопленника; и это было страшнее всего.

Неудержимая ярость звучала в его последних словах:

— Вот орудия пытки, вот палачи! Теперь ты должна открыть нам все, иначе тебя начнут пытать. Говори.

И тогда она произнесла тот величественный ответ, который переживет века; произнесла его без всякого хвастовства или рисовки, а между тем сколько в нем было благородной красоты:

— Я ничего не прибавлю к тому, что сказала вам раньше. А если я, в своем страдании, и скажу что-нибудь иное, то впоследствии я всегда буду утверждать, что это сказано пыткой, а не мной.

Никакая сила не могла поколебать ее душу. Посмотрели бы вы на Кошона! Новое поражение — и как неожиданно. На следующий день по городу ходили слухи, что у Кошона в кармане лежало заранее написанное, полное признание — он предполагал дать его Жанне для подписи. Не знаю, верно ли это; возможно, что это правда, потому что пометка, сделанная ее рукою в конце признания, послужила бы своего

рода доказательством, способным произвести впечатление на общество, и весьма ценным в руках Кошона и его сообщников.

Нет, ничем нельзя было поколебать эту могучую душу или затуманить этот ясный ум. Поймите всю глубину, всю мудрость такого ответа в устах невежественной девушки. Право, во всем мире не нашлось бы и шести людей, которые подумали бы хоть один раз, что слова, вырванные у человека путем страшных истязаний, далеко не всегда являются словами истины, а между тем эта неграмотная крестьяночка с безошибочной пронизательностью указала на никем не замеченную трещину. Я предполагал, что путем пытки узнается истина, — все предполагали это; и когда явилась Жанна и произнесла эти простые, проникнутые здравым смыслом слова, то все вдруг словно озарилось светом. Так полуночная молния нежданно открывает перед нашим взором живописную долину, где серебряной лентой струятся потоки и сверкают крыши деревенских жилищ, а перед тем царила беспросветная тьма. Маншон украдкой взглянул на меня, и на его лице была печать изумления; и на остальных лицах можно было прочесть то же самое. Подумайте сами — старики, глубоко образованные люди, они, казалось, могут кое-чему научиться у деревенской девы. Один из них пробормотал:

— Поистине она — удивительное создание. Стоило ей возложить руку на общепризнанную истину, старую как мир, и под ее прикосновение эта истина превратилась в пыль и прах. Откуда же у нее эта чудесная прозорливость?

Судьи столпились вместе и начали говорить вполголоса. По случайно долетавшим словам можно было догадаться, что Кошон и Луазлер настаивают на применении пытки, тогда как почти все остальные противятся этому.

Наконец Кошон нетерпеливо крикнул, чтобы Жанну отвели назад, в ее тюрьму. То была радостная для меня неожиданность. Я не надеялся, что епископ уступит.

Маншон, вернувшись домой вечером, сказал, что он знает, почему пытка не была применена. Было две причины. Во-первых, приходилось опасаться, что Жанна не переживет пытки, а это вовсе не понравилось бы англичанам; во-вторых, пытка была бесполезна, так как Жанна обещала отречься от всего, что она скажет под влиянием истязаний.

Кроме того, судьи были уверены, что даже пытка не заставит ее скрепить своею подписью признание.

Итак, весь Руан опять поднял Кошона на смех и три дня не переставал смеяться, говоря:

— Шесть раз свинья опоросилась и шесть раз напакостила.

А на стенах дворца появилось новое украшение: митрофорная свинья, несущая на плечах отвергнутый станок для пыток, и за ней — Луазлер, проливающий горькие слезы. Много наград было предложено за поимку неизвестных живописцев, но желающих получить эти деньги не нашлось. Даже английская стража не хотела ничего видеть и предоставляла художникам полную свободу действий.

Гнев епископа достиг высшего предела. Он не мог примириться с мыслью, что от пытки надо отказаться. Ведь он лелеял эту мысль больше всех остальных, и ему ужасно не хотелось с ней расстаться. И вот двенадцатого числа он созвал некоторых своих сообщников и снова начал предлагать пытку. Но это ему опять не удалось. По-прежнему на иных произвели сильное впечатление слова Жанны; другие боялись, что она не переживет истязаний; третьи были убеждены, что никакая пытка не заставит ее собственноручно скрепить признание. В совещании участвовали четырнадцать человек, считая и епископа. Из них одиннадцать подали голос против пытки и упорно оставались при своем мнении, несмотря на бешенство Кошона. Двое голосовали заодно с епископом, настаивая на необходимости пытки. Это были Луазлер и тот оратор, которому Жанна предложила «читать по своей книге», Тома де Курсель, знаменитый законовед и мастер красноречия.

Долголетие научило меня милосердию; но не могу я быть милосердным, когда вспоминаю имена этих троих людей: Кошона, Курселя и Луазлера.

ГЛАВА XVI

Снова десятидневное ожидание. Великие богословы Парижского университета, этой сокровищницы всех ценных знаний и всей мировой мудрости, продолжали взвешивать, обдумывать и обсуждать двенадцать живых статей обвинения.

В течение этих десяти дней у меня почти не было работы, и я проводил время в прогулках по городу вместе с Ноэлем. Однако мы не находили удовольствия в этих прогулках, потому что слишком тревожно было наше настроение и слишком сгущались тучи над Жанной. И мы невольно задумывались над противоположностью ее и нашего положения; сравнивали эту свободу, этот солнечный свет с ее темницей и оковами; наше сотоварищество — с ее одиночеством; наши удобства — с ее лишениями. Она привыкла к свободе, а свобода теперь у нее отнята; она всегда жила на вольном воздухе, а теперь ее как зверя днем и ночью держат в железной клетке; она привыкла к свету, а теперь проводит все свое время в унылом сумраке,

который придает окружающим предметам расплывчатый, призрачный вид; она привыкла к тысячам звуков, которые составляют радость и поэзию деятельной жизни, а теперь ей слышны только мерные шаги часового, расхаживающего взад и вперед; она так любила разговаривать со своими друзьями, а теперь ей не с кем перекинуться словечком; она прежде смеялась так задушевно, а теперь ее смех навсегда замолк; она была рождена для товарищеской, бодрой, трудолюбивой жизни, исполненной подвижности, веселья, а тут — щемящая тоска, гнетущее бездействие, тишина мрачных дум, которые ночь и день, день и ночь вращаются в одном и том же кругу, утомляя мозг и надрывая сердце. То была смерть при жизни. И этим еще не исчерпывались ее страдания. В трудных обстоятельствах молодой девушке нужно участие, поддержка и сочувствие женщины, нужна та нежная заботливость, которую умеют проявлять только женщины. А между тем в продолжение нескольких месяцев своего безотрадного плена Жанна ни разу не видела лица женщины или девушки. Подумайте, как взыграло бы ее сердце, если бы она увидела женский лик.

Примите все это во внимание. Чтобы понять величие Жанны д'Арк, вы должны вспомнить, что при этих-то тяжелых обстоятельствах она, неделя за неделей, месяц за месяцем, вступала в неравную борьбу с прославленными мудрецами Франции, разрушала их хитроумнейшие планы, расстраивала их удачнейшие затеи, угадывала их затаеннейшие подкопы и ловушки, вносила смятение в их ряды, отражала их нападения и после каждой стычки оставляла за собой поле сражения; неутомимо отважная, она никогда не отрекалась от своей веры и от своих идеалов; не страшась пытки, не страшась позорного столба, она отвечала на все угрозы вечной смерти и адских мучений простыми словами: «Пусть будет, что будет; вы знаете мое мнение, и я при нем останусь».

Да, если вы хотите понять, как велика была душа Жанны д'Арк, как глубока ее мудрость, как светел ее разум, то вы должны наблюдать ее там, где она вела эту долгую борьбу, одна против всех; не только против тончайшей мудрости и глубочайшей учености Франции, но и против позорнейшего обмана, бесстыднейшего предательства и жесточайших сердец, каких не видала еще ни одна страна, христианская или языческая.

Велика была Жанна своей боевой отвагой — мы все знаем это; велика своим предвидением; велика своей преданностью и патриотизмом; велика умением убеждать строптивых полководцев и примирять соревнование страстей и стремлений; велика искусством открывать незримые заслуги и доблести; велика своей способностью зажигать благородным восторгом сердца оробевших людей, превращать зайцев в героев, рабов и трусов — в воинов, которые с улыбкой на устах идут на смерть. Но ведь все это — области активной деятельности; тут и руки, и ум, и сердце находятся в непрестанной работе; есть и радость достижения цели и бодрящее движение, суетливость и ликование, награждающее успех; в душе избыток жизни и энергии, все способности напряжены до крайности; утомление, отчаяние, бездействие не существуют.

Да, величие Жанны д'Арк проявлялось во всем и повсюду; но наивысшее величие сказалось во время руанского суда. Там Жанна вознеслась выше людской ограниченности и свойственных нам слабостей; и при самых враждебных, невозможных, отчаянных условиях она выполнила все то, что могло быть выполнено единством ее чудесных нравственных и умственных сил, если бы они опирались на могучую помощь надежды, радости, света и присутствия дружеских лиц и если бы борьба была равная, справедливая, на глазах пораженного мира.

ГЛАВА XVII

К концу десятидневного перерыва Парижский университет высказал свое суждение о двенадцати статьях. Жанну признали виновной по всем пунктам; она должна отречься от своих заблуждений и доказать свое раскаяние, в противном случае ее предадут светской власти для наложения кары.

По всей вероятности, университет заранее составил свое мнение, еще до присылки двенадцати статей, тем не менее богословы провозились над вынесением приговора от пятого до восемнадцатого числа. Я думаю, что задержка произошла вследствие временных затруднений, связанных с двумя вопросами:

1. Кто были те бесы, которые скрывались в Голосах Жанны?
2. Действительно ли ее святые говорили только по-французски?

Как видите, университет твердо решил, что эти Голоса принадлежали бесам; надо было это доказать. Он доискался, что это были за бесы, и в своем приговоре назвал их поименно: Велиал, Сатана и Бегемот *Злые духи упоминаемые в Библии. Велиал значит «разрушитель». О Бегемоте см. книгу Иова, XL, 10–27. (Примеч. пер.)*. Это суждение всегда казалось мне сомнительным, не внушающим доверия. И вот почему я так думаю: если университет действительно знал, что тут замешаны эти три дьявола, то во имя последовательности он должен был сказать, как он о том узнал, а не ограничиваться голословным утверждением. Ведь Жанне было приказано объяснить, почему она знает, что ее Голоса — не бесовское наваждение. Верно ли я говорю? По моему мнению, университет опирался на слишком непрочную почву. Дело вот в чем: он заявил, что ангелы Жанны суть переодетые дьяволы, а мы все знаем, что дьяволы часто являются в образе ангелов; до этого места отзыв университета обоснован прочно. Но вы легко можете заметить, что университет противоречит

собственному доводу, когда принимается утверждать, что он способен судить о свойствах подобных явлений, а в то же время отказывает в этой способности человеку с самым ясным умом, каким не может похвастать ни одна коллегия богословов.

Доктора университета должны были видеть этих призраков, чтобы судить, и если Жанна обманулась, то почему же не могли обмануться и они в свою очередь? Ведь, разумеется, они не превосходили Жанну ясностью разума и пронизательностью.

Что касается другого вопроса, затруднившего университет и вызвавшего задержку, то я лишь на одно мгновение остановлюсь на нем и пойду дальше. Университет признал кощунством утверждение Жанны, что ее святые говорят по-французски, а не по-английски и сочувствуют французской политике. Мне думается, что затруднение, тревожившее докторов богословия, заключалось в следующем: они решили, что Голоса исходили от сатаны и двух других бесов; но в то же время они решили, что Голоса эти не сочувствуют французам, а это являлось молчаливым утверждением, что они на стороне англичан. Но если Голоса — на стороне англичан, то они должны быть ангелы, а не дьяволы. Положение было безвыходное. Вы понимаете, что университет, как самая мудрая, глубокомысленная и ученая коллегия в мире, желал бы, по мере возможности, действовать логично и тем поддержать свое доброе имя, а потому он день за днем ломал себе голову, стараясь найти какое-нибудь здравое доказательство того, что Голоса, по первой статье, суть дьяволы, а по десятой — ангелы. Однако богословам пришлось от этого отказаться. Выхода не было. И приговор университета остался до сих пор в том же виде: дьяволы — по статье первой, ангелы — по статье десятой, и нет возможности примирить это противоречие.

Гонцы привезли в Руан приговор вместе с письмом к Кошону, состоявшим из пламенных славословий. Университет восхвалял ревностное усердие, с каким епископ преследовал эту женщину, «которая заразила верующих всего Запада», а в качестве награды ему был почти обещан «венец неувядаемой славы на Небесах». Только это! Небесная слава, обещание будущих благ и — ничего существенного; ни словечка о руанском архиепископстве, ради которого Кошон губил свою душу. Небесный венец — какой язвительной насмешкой должно было ему показаться обещание этой награды за все его труды. Он-то что будет делать на Небе? Он там никого не знает!

19 мая в архиепископском дворце собрались судьи, в количестве пятидесяти человек, чтобы решить судьбу Жанны. Некоторые требовали, чтобы ее сейчас же предали светским властям для совершения казни, но остальные говорили, что необходимо еще раз попытаться «воздействовать на нее милосердными увещеваниями».

Итак, тот же самый суд собрался в замке 24 мая, и Жанну опять посадили на скамью подсудимых. Пьер Морис, руанский каноник, обратился к Жанне с речью, уговаривая ее спасти свою жизнь и душу, — отречься от своих заблуждений и подчиниться Церкви. Закончил он суровой угрозой: если она будет еще упорствовать, то душа ее погибнет несомненно, а ее тело будет, вероятно, предано казни. Но Жанна была непоколебима. Она сказала:

— Если б я была приговорена и видела перед собой костер и палача, готового подложить огонь, если б я была даже охвачена пламенем, то я повторила бы только то, что говорила здесь, на суде, и до самой смерти я не отреклась бы от своих слов.

Воцарилось глубокое молчание. То была гнетущая тишина. Я увидел в ней предзнаменование. Наконец Кошон, важный и торжественный, повернулся к Пьеру Морису:

— Имеете ли вы еще что-нибудь сказать? Священник низко поклонился и ответил:

— Ничего, монсеньор.

— Подсудимая, имеешь ли ты еще что-нибудь сказать?

— Ничего.

— В таком случае заседание окончено. Завтра будет объявлен приговор. Уведите подсудимую.

Когда Жанна уходила, то осанка ее, кажется, была горделива и благородна. Впрочем, я не разглядел: мои глаза затуманились слезами.

Завтра — двадцать четвертого мая! Ровно год назад я видел Жанну, когда она неслась по равнине во главе своих войск; сверкал ее серебряный шлем Выше М. Твен говорил что Жанна носила шапочку вместо шлема. (*Примеч. пер.*) , и серебристый плащ развевался по ветру, и колыхались белые перья султана, и высоко был поднят ее меч; видел, как она три раза подряд нападала на лагерь бургундцев и, наконец, взяла его приступом; видел, как она свернула вправо и, пришпорив коня, поспешила навстречу вспомогательному отряду герцога; видел, как она атаковала этот отряд. То был последний в ее жизни военный подвиг. Вот опять наступал этот роковой день, и что принес он с собой!

ГЛАВА XVIII

Жанна была признана виновной в ереси, колдовстве и прочих страшных преступлениях, перечисленных в двенадцати статьях. Ее жизнь была, наконец, в руках Кошона. Он мог сразу отправить ее на костер. Вы думаете, он считал теперь свою работу оконченной? Был удовлетворен? Ничуть не бывало. Что будет стоить его архиепископство, если народ вообразит, что Жанна д'Арк, освободительница Франции, была невинно осуждена и сожжена кучкой корыстолюбивых попов, покорных английскому кнуту? Ведь это значило бы превратить ее в святую мученицу. И тогда дух ее воскреснет из пепла ее тела и, тысячекратно возвеличенный, столкнет в морскую пучину английское владычество, а вместе с ним — Кошона. Нет, победа еще была неполна. Виновность Жанны должна быть подтверждена какой-нибудь уликой, которая удовлетворила бы народ. Где же достать улику? Только один человек в мире мог дать ее — сама Жанна д'Арк. Она должна всенародно осудить себя, по крайней мере, так должно показаться.

Но как это устроить? Много недель ушло уже на старания победить ее. Время истощено. Чем же теперь убеждать ее? Пригрозили ей пыткой, пригрозили огнем, что же осталось? Недуг, смертельное изнеможение, огонь, зрелище костра! Вот что еще не использовано.

То была удачная мысль. Жанна, в конце концов, была лишь девушка, и под влиянием недуга и изнеможения она окажется подвластной девическим слабостям.

Да, то была коварная мысль. Жанна сама намекнула, что путем жестокой пытки они смогут вырвать у нее лживое признание. Стоило помнить эти слова — и их не забыли.

Тогда же она проронила и другое замечание; она обещала отказаться от своего признания, лишь только пытка кончится. Об этом тоже не забыли.

Как видите, она сама научила их, как надо поступить. Прежде всего, они должны утомить ее, потом напугать видом костра. И пока страх не рассеялся, они заставят ее подписать бумагу.

Но она, быть может, потребует, чтобы ей прочитали эту бумагу? Они не посмели бы отказать ей в присутствии народа. Что, если во время чтения она снова окрепнет духом? Ведь тогда она откажется подписать. Однако и с этим затруднением можно будет справиться. Они прочтут короткую, незначительную записку, затем подsunут подробный, смертоносный документ, и она подпишет, не заметив обмана.

Впрочем, предстоит еще одно затруднение. Если они заставят ее отречься от своих заблуждений, то она освободится от смертной казни. Они будут иметь право держать ее в церковном заточении, но не получат возможности убить ее. А это не годилось бы, так как только смертная казнь удовлетворит англичан. Жанна опасна, пока жива; на свободе или в тюрьме — все равно. Ведь она уже два раза бежала из темницы.

Но и это затруднение не оказалось непреодолимым. Кошон может надавать ей обещаний, она в свою очередь даст обещание отказаться от мужского платья. Он нарушит свои обещания, а тогда и ей нельзя будет сдерживать своего. Нарушение обета приведет ее к костру, и костер будет готов.

Таковы были намеченные ходы игры; оставалось только сделать их в предписанном порядке — и партия выиграна. Можно было почти предсказать день, когда обманутая девушка, самая невинная и благородная дочь Франции, обретет мученическую смерть.

Время, жестокое время, благоприятствовало. Духа Жанны еще не угасили, он был высок и могуч, как всегда; но ее телесные силы непрерывно таяли в продолжение последних десяти дней. А могучий ум только в здоровом теле находит нужную опору.

Теперь всему миру известно, что план Кошона был именно таков, как я рассказал вам вкратце; но тогда никто этого не знал. Есть несомненные указания, что Варвик и другие английские вельможи, за исключением самых высших, например кардинала Винчестерского, не были посвящены в тайну; и что из французов только Луазлер и Бопэр знали, в чем дело. Иногда я даже сомневаюсь, было ли все с самого начала известно Луазлеру и Бопэру. Во всяком случае, если кто-нибудь и был посвящен, то именно они.

Обыкновенно осужденным предоставляют провести спокойно последнюю ночь, но если верить ходившим тогда слухам, то бедной Жанне было отказано и в этой милости. Луазлер пробрался в ее келью и, выдавая себя за духовного отца, друга, тайного приверженца Франции и ненавистника англичан, несколько часов подряд уговаривал ее «прибегнуть к единственной истине и справедливости» — подчиниться Церкви, как подобает доброму христианину; и он говорил, что тогда она сразу вырвется из грозных ногтей англичан и будет переведена в церковную тюрьму, где ее будут уважать и приставят к ней женщин вместо тюремщиков. Он знал, чем затронуть ее. Он знал, как ненавистно ей было присутствие грубых, циничных английских часовых; он знал, что Голоса неясно обещали ей нечто, в чем она была готова видеть возможность бегства, спасения, избавления, возможность еще раз выступить на защиту Франции и довершить то великое дело, которое возложено на нее Небом. Была у него и другая причина: если удастся еще более утомить слабеющее тело Жанны, лишив ее отдыха и сна, то ее усталый ум будет завтра затуманен и усыплен, не окажется в силах противостоять увещаниям, угрозам и виду костра, и, таким образом, не заметит тех ловушек, присутствие которых он тотчас открыл бы при обычных условиях.

Должен ли я говорить, что в ту ночь я не знал покоя. Ноэль — тоже. Под вечер мы отправились к главным воротам; мы ухватились за последнюю надежду, вспомнив смутное пророчество Голосов Жанны, похожее на обещание, что в самую решительную минуту ее освободят силою. Быстро разнеслась повсюду потрясающая весть, что Жанна д'Арк, наконец, осуждена и что завтра утром, по прочтении приговора, ее сожгут заживо. Поэтому народные толпы устремились в ворота сплошным потоком; многих английские солдаты вовсе не пускали в город — тех, у кого были сомнительны или отсутствовали пропускные грамоты. Жадно всматривались мы в эту толпу, но не видели никаких указаний, что это были наши боевые товарищи, и, конечно, мы не заметили ни одного знакомого лица. И вот когда ворота наконец закрылись, мы пошли обратно, удрученные горем, боясь хоть одним словом или мыслью обличить свое разочарование.

Взволнованные толпы загрохотали все улицы. Трудно было продвигаться вперед. К полуночи мы случайно забрели в места, находящиеся по соседству с красивой церковью Сен-Уан. Там шла какая-то кипучая работа. Над многолюдной площадью высился лес факелов. Свободная дорога, охраняемая стражей, разделяла толпу. Рабочие носили доски и бревна, исчезая с ними в воротах кладбища. Мы спросили, что здесь происходит. Ответ гласил:

— Ставят подмости и позорный столб. Разве вы не знаете, что завтра утром сожгут французскую ведьму?

Мы ушли. Не по душе нам было это место.

На рассвете мы опять были у городских ворот. На этот раз нас осенила новая надежда, которую наши утомленные тела и лихорадочные мысли превратили в великую возможность. До нас дошел слух, что аббат Жюмьежский отправился в Руан вместе со своими монахами, чтобы присутствовать на казни. Наши желания, поощряемые воображением, видели вместо этих девятисот монахов — старых стражников Жанны, а вместо их аббата — Ла Гира, или Бастарда, или д'Алансона; мы глядели на их нескончаемую вереницу, беспрепятственно входившую в город, и на людей, которые почтительно расступались перед ними, обнажая головы; и сердца наши замирали, и наши глаза туманились слезами радости, гордости и восторга; и мы заглядывали под монашеские капюшоны, собираясь дать знак первому незнакомцу, что мы — приверженцы Жанны и что ради святого дела мы не замедлим принести в жертву свою и вражескую жизнь. Как безрассудны мы были! Но мы были молоды, а вы знаете, что юность всему верит, на все надеется.

ГЛАВА XIX

Утром я, согласно моей должности, занял указанное место. Оно находилось на подмостках, сооруженных на высоте человеческого роста, на Сент-Уанском кладбище, около церковной стены. На этих же подмостках расположились многочисленные священники, именитые граждане и несколько юристов. Немного отступя, на равной высоте, стояли другие, более просторные подмости, осененные красивым балдахином для защиты от солнца или дождя и убранные богатыми коврами. Кроме того, там были удобные кресла, из которых два, отличавшиеся особой роскошью, стояли на некотором возвышении. Одно из кресел было занято принцем английского королевского дома, его преосвященством кардиналом Винчестерским; другое — Кошоном, епископом Бовэским; остальные кресла были отданы в распоряжение трех епископов, вице-инквизитора, восьми аббатов и шестидесяти двух монахов и законников, которые были судьями Жанны.

Впереди, в двадцати шагах, был третий помост — усеченная пирамида из камней, сложенных уступами, наподобие ступеней. Над этой пирамидой возвышался позорный столб, у подножия которого были нагромождены поленья и связки хвороста. На земле, у основания пирамиды, стояли три ярко-красные фигуры — палач и его помощники. У их ног лежала куча перегоревших головешек, превратившихся в багровые угли; в двух шагах был сложен дополнительный запас топлива, составлявший огромную кучу высотой с человеческий рост и равнявшуюся по меньшей мере шести нагруженным телегам. Подумайте только! На первый взгляд наше тело так непрочное, так легко разрушимо, так недолговечно; а между тем гораздо легче превратить в пепел гранитную статую, чем человеческое тело.

Вид позорного столба причинил мне острую боль, но, как я ни отворачивался, мои глаза не могли оторваться от этого зрелища. Такова притягательная сила всего грозного и ужасного.

Площадь, занятая подмостками и позорным столбом, была оцеплена английскими солдатами; бок о бок стояли они, выпрямившись и застыв в своих сверкающих стальных латах. А за ними, в обе стороны, раскинулось море людских голов. И мы не видели ни единого окна, ни единой крыши, где не виднелись бы лица любопытных.

Но все было охвачено безмолвием, оцепенением; как будто все умерло. Впечатление этой торжественной тишины усугублялось свинцовым сумраком, так как небо было затянуто покровом низко нависших грозных туч. А на далеком горизонте вспыхивали слабые зарницы, и по временам доносились глухие, мятежные раскаты грома.

Наконец тишина нарушилась. Послышались вдалеке невнятные, но знакомые звуки — отрывистые слова команды; затем море голов раздвинулось, и показался бодро марширующий отряд солдат. Мое сердце забилося учащенно. Не Ла Гир ли идет со своими головорезами? Нет, не такова у них поступь. Нет. То была пленница под конвоем. То вели Жанну д'Арк. И снова меня охватило безотрадное чувство. Несмотря на ее слабость, ее заставили идти пешком: им надо было утомить ее, насколько возможно. Расстояние небольшое — около тысячи футов, но все-таки это было слишком тяжелое испытание для девушки, которая в течение многих месяцев была прикована к месту и отвыкла ходить. Ведь целый год Жанна не знала ничего, кроме холодной сырости тюрьмы, а теперь она была вынуждена тащиться по этой летней духоте, по этому раскаленному воздуху, от которого стеснялось дыхание. Когда она, изнемогая от усталости, вошла в ворота, то мы увидели рядом с ней предателя Луазлера, что-то шептавшего ей на ухо. Впоследствии мы узнали, что он опять провел все утро в ее темнице, надоедая ей увещаниями и стараясь ее обольстить ложными надеждами, и что около ворот он продолжал ту же работу, прося ее исполнить все требования и обещая счастливый исход, если она пойдет на уступки; она тогда избавится от страшных англичан, и покровительство Церкви послужит ей безопасной защитой. Негодный человек! Человек с каменным сердцем!

Жанна села на подмостках и тотчас понурила голову; и она продолжала так сидеть, сложив руки на коленях, равнодушная ко всему и ни о чем, кроме отдыха, не думая. И опять она была такая бледная, точно алебастр.

Каким любопытством загорелись эти бесчисленные лица, и сколько напряженного внимания было во всех глазах, устремленных на хрупкую девушку! И это было так естественно: эти люди ведь сознавали, что наконец-то им довелось увидеть ту, которую они давно жаждали видеть: ту, чье имя разнеслось по всей Европе и затмило своей славой все прочие имена и знаменитости, Жанну д'Арк, чудо нынешнего века, чудо всех грядущих веков! И, глядя на их изумленные лица, я, как по книге, мог прочесть их мысли: «Возможно ли? Неужели действительно эта молоденькая девушка, этот ребенок с добрым, нежным, прекрасным и милым лицом, брала приступом крепости, неслась в атаку во главе победоносных войск? Неужели это она единым дуновением смела со своего пути английское могущество? Неужели это она так долго вела одинокую борьбу с первыми мудрецами и учеными Франции? И она победила бы, будь это честная борьба!»

По-видимому, Кошон начал побаиваться Маншона, видя, что тот относится к Жанне с нескрываемым сочувствием, и на его место был теперь назначен новый регистратор; таким образом, моему покровителю и мне оставалось только сидеть, сложив руки.

Я думал, что уже сделано все, что могло телесно и духовно утомить Жанну; но я ошибся: они придумали еще одну пытку. Они решили прочесть ей проповедь среди этой гнетущей жары.

При первых словах проповедника она кинула на него огорченный, разочарованный взгляд и снова опустила голову. Проповедник был не кто иной, как Гильом Эрар, знаменитый своим красноречием. Темой ему послужили двенадцать злословий. Он вылил на Жанну всю грязь клеветы, которая была заключена в этом скопище яда, обозвал ее всеми грубыми именами, которые были пристегнуты к двенадцати статьям обвинения; и с каждой фразой он разгорячался больше и больше. Но труды его были напрасны: Жанна, по-видимому, была погружена в свои думы; она не двигалась и как будто даже не слышала ничего. Наконец оратор возгласил:

— О Франция, до какого унижения тебя довели! Ты всегда была оплотом христианства. Но вот Карл, именующий себя твоим королем и повелителем, начинает покровительствовать словам и деяниям бесчестной, преступной женщины — это ли не доказательство, что он еретик и схизматик!

Жанна подняла голову, и ее глаза сверкнули огнем. Проповедник обратился к ней:

— Тебе, Жанна, я говорю: знай, что твой король — схизматик и еретик!

О, он мог бы вдоволь надругаться над ней: с этим она примирилась бы. Но до последней минуты своей жизни она не могла терпеливо выслушать хоть единое слово упрека, направленного против этого неблагодарного предателя, нашего короля, которому надлежало бы явиться сюда с мечом в руке, чтобы истребить всех этих змей и спасти самую благородную из своих верноподданных; и он пришел бы, если бы мои слова о нем не были правдивы. Преданная душа Жанны была возмущена; и, повернувшись к проповеднику, она бросила ему в лицо несколько пламенных слов, оправдавших перед толпой все легенды о Жанне д'Арк:

— Клянусь своей верой, сударь! Несмотря на пытку и смерть, я буду утверждать и клясться, что он — самый благородный христианин среди христиан и больше всех предан вере и Церкви!

Толпа разразилась рукоплесканиями; это весьма рассердило проповедника, так как ему давно хотелось услышать подобное проявление восторга; он наконец его дождался, но одобрение досталось не ему: он трудился, не щадя сил, а она, она перехватила награду. Эрар топнул ногой и крикнул приставу:

— Заставь ее замолчать!

В толпе захохотали.

Толпа не может уважать взрослого мужчину, который просит пристава защитить его от больной девушки.

Одной своей фразой Жанна гораздо больше отдала проповедника от его цели, чем он приблизился к ней сотней витиеватых возгласов; поэтому он был почти выбит из колеи, и ему трудно было опять разогнаться вовсю. Впрочем, ему не о чем было тревожиться. Толпа ведь была настроена главным образом в пользу англичан. Она лишь повиновалась закону нашей природы — непреодолимому закону — сочувствовать и рукоплескать всякому отважному и находчивому возражению, от кого бы оно ни исходило. Толпа была заодно с проповедником; на одно мгновение, только на одно, она отвлеклась, она скоро опомнится. Эти люди собрались сюда, чтобы видеть сожжение девушки; пусть им только дадут это зрелище, не слишком затягивая дело, и они будут довольны.

Вскоре после того проповедник обратился к Жанне с формальным предложением подчиниться Церкви. Он предъявил это требование вполне самоуверенно, так как Луазлер и Бопэр внушили ему, что Жанна смертельно утомлена и не будет в силах проявить дальнейшее упорство; и действительно, глядя на нее, можно было подумать, что они правы. Однако она еще раз сделала попытку отстоять свое мнение и произнесла усталым голосом:

— На этот вопрос я уже ответила моим судьям. Я сказала им, чтоб они представили все мои слова и поступки на суд святейшего Папы, которому после Бога я подчиняюсь.

Опять врожденная мудрость подсказала ей эти потрясающие слова, цены которых она не знала. Но теперь, когда перед ее глазами уже стоял позорный столб, а кругом толпились тысячи врагов, эти слова все равно не могли бы спасти ее. Тем не менее все богословы побледнели, а проповедник поспешил перейти к другой теме. Недаром бледнели эти преступники: ведь обращение Жанны к папскому суду сразу отнимало у Кошона право суда над ней и сводило к нулю все, что было и будет сделано им и остальными судьями.

После некоторых дальнейших словопрений Жанна повторила, что в своих поступках и словах она повиновалась Божьему повелению, затем, когда была сделана попытка впутать короля и его друзей, она воспротивилась.

— Ни на кого я не взваливаю моих поступков, — сказала она, — ни на короля, ни на других. Если я совершила промахи, то ответственность лежит только на мне.

Ее спросили, согласна ли она отречься от тех слов и деяний, которые, по мнению судей, являются преступными. Ее ответ снова породил тревогу и смятение:

— Я готова представить все на суд Бога и Папы.

Еще раз Папа! Положение становилось крайне затруднительным. Подсудимой приказывают подчиниться Церкви, а она добровольно соглашается, сама предлагает подчиниться главе Церкви. Чего же больше можно требовать? Как реагировать на ее страшный, невозможный ответ?

Встревоженные судьи начали перешептываться, совещаться и строить предположения. В конце концов, они вынесли довольно-таки необоснованное постановление; впрочем, они в данную минуту не могли придумать ничего лучшего. Они сказали, что Папа находится слишком далеко и что вообще незачем к нему обращаться, так как присутствующие судьи облечены полной властью и достаточно авторитетны, чтобы разобраться в этом деле; в этом отношении они действительно представляют собою «Церковь». В другое время, но не теперь, они сами посмеялись бы над такой жалкой уловкой; теперь же им было слишком не по себе.

Толпа начинала проявлять нетерпение. Она принимала угрожающий вид; она устала стоять и изнемогала от жары. Между тем громовые раскаты приближались, и молния сверкала ярче. Необходимо было скорей кончать. Эрар показал Жанне заранее приготовленный список и потребовал, чтобы она отреклась.

— Отречься? Что значит отречься?

Она не знала этого слова. Масье объяснил ей. Она старалась понять, но изнемогала от усталости и не могла уловить смысл. То был какой-то хаос, какой-то подбор незнакомых слов. Придя в отчаяние, она взмолилась:

— Да укажет мне Церковь Вселенская, должна ли я отречься или нет!

Эрар вскричал:

— Ты отречешься сейчас же или сейчас же будешь сожжена на костре!

Услыша эти страшные слова, она подняла глаза и впервые заметила позорный столб и кучу раскаленных угольев, еще более багровых и зловещих при сгущавшемся сумраке, предвестнике грозы. Она вздрогнула, вскочила с места и, забормотав что-то несвязное, с каким-то недоумением смотрела на толпу и на все окружающее, как человек, который либо ошеломлен, либо только что проснулся и не знает, где он находится.

Священники обступили ее, прося подписать бумагу; несколько человек говорили зараз, а толпа шумела, кричала, волновалась.

— Подпиши! Подпиши! — настаивали попы.

А Луазлер говорил ей на ухо:

— Поступи, как я тебе советовал. Не губи себя!

Жанна грустно отвечала:

— Ах, нехорошо вы поступаете, обольщая меня.

Судьи присоединили свои голоса к просьбам остальных.

И даже их сердца смягчились. Они говорили:

— О Жанна, мы так жалеем тебя! Возьми назад свои слова, иначе мы должны будем предать тебя казни.

А вот с другого помоста раздался еще один голос, торжественно звучащий среди общего шума, голос Кошона: он читал смертный приговор!

Силы Жанны истощились окончательно. Некоторое время она продолжала стоять, ошеломленная, потом медленно опустилась на колени, нагнула голову и сказала:

— Я покоряюсь.

Они не дали ей времени обдумать, они знали, как это было бы опасно. В то же мгновение, как она изъявила покорность, Масье начал читать текст отречения, а она машинально, бессознательно повторяла за ним слова и улыбалась. Улыбалась, потому что ее утомленные мысли блуждали где-то далеко, в более счастливом мире.

Затем эту короткую записку в шесть строк незаметно спрятали, подсунув на ее место пространный документ, состоявший из нескольких страниц. Жанна, ничего не подозревая, поставила свой значок, сказав в оправдание, что она не умеет писать. Но среди присутствующих находился секретарь английского короля, и он взялся помочь горю; направляя ее руку, он вывел имя: Jehanne.

Свершилось великое преступление. Она подписала — что? Ей это не было известно, но другие знали. Она подписала бумагу, в которой было сказано, что Жанна — колдунья, сообщница нечистой силы, лгунья, хулительница Бога и Его ангелов, кровопийца, проповедница обмана, жестокая преступница, посланница сатаны; и эта подпись обязывала ее навсегда отказаться от мужского платья. Были и другие обязательства, но достаточно и одного этого, на чем можно построить ее гибель.

Луазлер протолкнулся вперед и поздравил ее с завершением «такого хорошего дела». Но она была еще во власти своих грез и едва ли расслышала.

Потом Кошон произнес слова, которыми отменялось отлучение, и ей открывался доступ в лоно возлюбленной Церкви со всеми ее драгоценными обрядами и таинствами. О, на этот раз она слышала! Это видно было по ее лицу, вдруг преобразившемуся глубокой благодарностью и восторгом.

Но как скоротечно было ее счастье! Кошон, голос которого ни разу не дрогнул от сострадания, добавил несколько уничтожающих слов:

— И дабы она раскаялась в своих преступлениях и больше их не повторяла, мы приговариваем ее к вечной тюрьме, где она будет питаться хлебом скорби и водой печали.

Вечная тюрьма! Она никогда не предполагала этого. Ни Луазлер, ни другие ничего ей не сказали. Луазлер определенно обещал, что «ей будет вполне хорошо». А последние слова Эрара, когда он с этих же подмостков увещевал ее отречься, заключили в себе прямое, несомненное обещание, что если она покорится, то ее выпустят на свободу.

С минуту она стояла, пораженная, безмолвная, потом она с некоторым утешением (поскольку могла утешить ее эта мысль) вспомнила, что на основании другого ясного обещания, обещания, данного самим Кошоном, она будет, по крайней мере, пленницей Церкви и вместо грубых солдат ее будут окружать женщины. И вот она повернулась к священникам и произнесла с грустной покорностью:

— Возьмите же меня в вашу тюрьму, служители Церкви, не оставляйте меня в руках англичан.

И, подобрав цепи, она приготовилась уйти. Но, увы! В ответ раздались позорные слова Кошона, сопровождаемые насмешливым хохотом:

— Отведите ее в тюрьму, откуда пришла!

Бедная, обманутая девушка! Она стояла оцепенелая, убитая, бессловесная. Без жалости нельзя было смотреть. Ее заманили, оболгали, предали, теперь она все поняла.

Тишина была прервана барабанным боем, и на одно мгновение Жанну охватила мысль о доблестном спасении, обещанном Голосами, — я угадал это по тому восторгу, которым озарилось ее лицо. Но она сейчас же увидела, что это приближается ее тюремный конвой, и свет погас навсегда. И вот она начала медленно качать головой: было видно, что она терпит несказанную муку и что ее сердце разбито. И ушла она печальная, закрыв лицо руками и горько рыдая.

ГЛАВА XX

В точности неизвестно, был ли кто-нибудь во всем Руане посвящен в тайну темной игры Кошона, кроме кардинала Винчестерского. И вы легко можете себе представить удивление и недоумение этой огромной

толпы и этих многочисленных представителей Церкви, когда они увидели, что Жанна д'Арк уходит назад, живая и невредимая, ускользает из их когтей, после столь томительного ожидания, после стольких танталовых мук.

Некоторое время никто не мог ни двинуться, ни говорить — так все были ошеломлены, так не верилось им, что позорный столб продолжает стоять на месте, но — без жертвы. Потом вдруг все пришли в неистовое бешенство; проклятия и обвинения в измене посыпались отовсюду, посыпались и камни: один камень даже едва не убил кардинала Винчестерского — чуть не угодил ему в голову. Впрочем, нечего винить того, кто бросил: он был взволнован, а сгоряча можно и перепутать цель.

Смятение первое время было очень сильное. Капеллан кардинала забылся настолько, что дерзнул излить свой гнев на священной особе самого епископа Бовэского; поднеся кулак к его лицу, он закричал:

— Клянусь Богом, ты — изменник!

— Ты лжешь! — возразил епископ.

Он-то изменник? О, вовсе нет! Конечно, из всех французов он был последний, которого англичанин мог обвинить в измене.

Граф Варвик тоже не сдержался. Он был доблестный воин, но когда дело касалось умственной работы, тонких хитростей, подкопов, обманов, то он так же мало видел сквозь землю, как любой простой смертный. И вот он начал изливать свой гнев с чисто военной откровенностью; клялся, что мнимые слуги короля Англии оказались изменниками и что они помогают Жанне д'Арк спастись от позорного столба. Но ему прошептали на ухо несколько утешительных слов:

— Будьте покойны, милорд: мы скоро опять приберем ее к рукам.

Возможно, что подобный же слух разнесся и в толпе — хорошие новости распространяются так же быстро, как и дурные. Во всяком случае, неистовства черни прекратились, и огромная толпа понемногу рассеялась. Настал, таким образом, полдень этого страшного четверга.

Мы, двое юнцов, были счастливы, несказанно счастливы, ведь мы так же мало были посвящены в тайну, как и все остальные. Жизнь Жанны была спасена. Мы это знали и были довольны. Франция услышит о преступлении, совершившемся в этот день, и тогда!.. О, тогда ее доблестные сыны тысячами и тысячами, неисчислимой ратью соберутся у родного знамени, и их гнев уподобится гневу океана, волнуемого неистовой бурей. И они низринутся на этот обреченный город и опрокинут его с сокрушительной силой океанских волн. И Жанна д'Арк опять пойдет в поход! Через шесть-семь дней, через какую-нибудь короткую неделю, бесстрашная, благодарная, негодующая Франция начнет громить городские стены, будем считать часы — минуты — секунды! О, блаженный день, о, день восторга, каким ликующим гимном звучали струны наших сердец!

Ведь мы тогда были молоды, очень молоды.

Вероятно, вы думаете, что пленнице позволили отдохнуть и подкрепиться сном после того, как она истощила последний остаток своих сил, едва позволивший ей дойти до тюрьмы?

Нет. Не дали ей отдыха кровожадные псы, гнавшиеся по ее пятам. Кошон и некоторые из его помощников тотчас же последовали за ней в ее узилище; они застали ее оцепеневшей, ошеломленной, в полном упадке духовных и телесных сил. Они напомнили ей о совершившемся отречении, сказали, что она дала известные обещания, между прочим, носить отныне только женское платье, и что в случае нарушения обета Церковь навсегда лишит ее своей защиты. Она слышала слова, но их смысл был ей чужд. Она как будто находилась под влиянием снотворного зелья, и ей смертельно хотелось спать, смертельно хотелось дать отдых истерзанной душе, хотелось быть наедине с собой. В таком состоянии человек безотчетно исполняет все требования своего истязателя и лишь смутно сознает совершившееся, лишь запоминает происходящее. И Жанна надела платье, принесенное Кошоном и его служителями. Понемногу она придет в себя и на первых порах будет недоумевать, как произошла перемена.

Уходя, Кошон был счастлив и доволен. Жанна беспрекословно надела женское одеяние; с другой стороны, она получила формальное предостережение — не нарушать обета. И то и другое произошло в присутствии свидетелей. Чего же лучше?

Но что, если она не нарушит обета?

Очень просто: ее к этому принудят.

Не намекнул ли Кошон английским солдатам, что если они, начиная с этого дня, сделают плен Жанны еще более невыносимым и жестоким, то начальство будет смотреть на это сквозь пальцы? Возможно, ибо тюремная стража сейчас же перешла именно к такому образу действий, а начальство не вмешивалось. Да, с этого мгновения жизнь Жанны в тюрьме превратилась в пытку, почти нестерпимую. Не просите меня рассказать об этом подробнее. Не могу.

ГЛАВА XXI

Пятница и суббота были счастливые дни для нас с Ноэлем. Нам все время грезилась восставшая Франция, Франция, потрясающая оружием, Франция воинствующая, Франция у стен города. Мы видели Руан обращенным в пепел, мы видели Жанну свободной! Воображение наше было разгорячено. Повторяю, мы были очень молоды.

Мы ничего не знали о том, что произошло в тюрьме вчера, после полудня. Мы полагали, что раз Жанна отреклась, раз она вернулась на лоно всепрощающей Церкви, то теперь с ней обращаются гораздо мягче и ее плен отныне будет смягчен различными уступками, поскольку это осуществимо при настоящих условиях. И вот, беспредельно радуясь, мы в течение этих двух счастливых дней строили планы близкого освобождения Жанны и непрестанно толковали о том, какое участие мы примем в предстоящей битве. То были едва ли не самые счастливые дни за последний год.

Наступило воскресное утро. Я сидел, наслаждаясь чудной, блаженной погодой, и размышлял. Размышлял об освобождении Жанны, о чем же более? Других мыслей у меня не было. Я был поглощен этой мечтой, упивался ее несказанным счастьем.

Далеко, в конце улицы, послышался чей-то голос, который понемногу приблизился, и я разобрал слова: — Жанна д'Арк нарушила обет! Ведьма дождалась своей участи!

Мое сердце остановилось, кровь застыла в жилах. Произошло это более шестидесяти лет назад, но этот торжествующий крик до сих пор так же отчетливо звучит у меня в ушах, как прозвучал тогда, в это давно прошедшее летнее утро. Мы странно созданы: умирают те воспоминания, которые могли бы нас осчастливить, и остается только то, что надрывает нам сердце.

Вскоре крик этот был подхвачен другими голосами — десятками, сотнями голосов; весь мир, казалось, был объят зверской радостью. Гам разрастался; слышен был топот бегущих людей, веселые поздравления, грубый хохот, барабанный бой и грохот далекой музыки; люди оскверняли ликованием этот священный день.

После полудня Маншона и меня по распоряжению Ко-шона позвали в тюрьму Жанны. К этому времени англичане и их солдаты снова сделались недоверчивыми, и весь Руан пришел в гневное, угрожающее настроение. Чтобы убедиться в этом, стоило выглянуть в окно: сжатые кулаки, мрачные взгляды, суетливые, разъяренные толпы, запрудившие улицу, — все это говорило само за себя.

Кроме того, мы узнали, что около замка дела обстоят очень плохо, что там собрался всякий сброд, в их числе множество полупьяных английских солдат, что чернь считает слух о нарушении обета выдумкой попов. Мало того, эти люди не ограничились угрозами. Они напали на нескольких священников, которые пытались войти в замок, и тех едва удалось спасти от расправы.

Маншон отказался идти. Он заявил, что не сделает шагу, пока Варвик не даст ему охрану. На следующее утро Варвик прислал отряд солдат, и мы отправились под их защитой. За это время обстоятельства не только не улучшились, но, скорее, ухудшились. Солдаты защитили нас от побоев, но когда мы проходили мимо большой толпы, окружавшей замок, то нас осыпали оскорблениями и ругательствами. Впрочем, я относился к этому вполне терпеливо и говорил себе с чувством тайного удовлетворения: «Через каких-нибудь три-четыре дня, голубчики, вам придется запеть на иной лад — и я тогда приду послушать».

Я считал этих людей обреченными. Многие ли из них останутся в живых после того, как Жанну освободят? Останется не больше того, сколько нужно, чтобы позабавить палача в течение получаса.

Оказалось, что слух правдив. Жанна нарушила обет. Она сидела в цепях, опять одетая в мужское платье.

Она никого не обвиняла. Не такова она была. Она не была похожа на того человека, который нанимает слугу и валит на него всю ответственность за совершаемые им, по его же приказанию, поступки. Ее ум теперь прояснился, и она поняла, что вдохновителем того обмана, жертвой которого она пала вчера утром, был не подчиненный, но начальник — Кошон.

Произошло следующее. В воскресенье рано утром, пока Жанна спала, один из часовых потихоньку унес ее женский наряд, положив на его место мужскую одежду. Проснувшись, она спросила, где женское платье, но стража отказалась вернуть ей просимое. Она сказала им, что ей запрещено носить мужскую одежду. Но они не уступали. Стыдливость повелевала ей одеться; к тому же она убедилась, что ей невозможно защитить свою жизнь, если приходится на каждом шагу бороться с предательством. И она надела запретное платье, зная, чем это кончится. Бедная, она не имела больше сил для борьбы.

Мы вошли в залу вслед за Кошоном, вице-инквизитором и еще некоторыми; их было человек шесть — восемь; и когда я увидел Жанну, угнетенную, убитую, закованную в цепи, то я обомлел. Совсем не такую картину писало мое воображение. Удар был очень сильный. Быть может, я сомневался, что она нарушила обет, а быть может, верил этому, но бессознательно.

Победа Кошона была полная. Долгое время ему приходилось недоумевать, злиться, терять терпение, но теперь все это прошло, сменившись настроением ясного спокойствия, довольства собою. На его багровом

лице была печать безмятежного и злобного блаженства. Он подошел к Жанне, шелестя по полу краем своей мантии, и остановился перед ней, важно расставив ноги; больше минуты оставался он в таком положении, пожирая пленницу глазами и наслаждаясь видом несчастной, погубленной девушки, которая помогла ему завоевать столь высокое место среди служителей кроткого и милосердного Иисуса, Спасителя мира, Господа Вселенной, если только Англия сдержит свое обещание, данное человеку, который никогда своих обещаний не исполнял.

Вскоре судьи начали допрашивать Жанну. Один из них, по имени Маргери, человек скорее пронизательный, чем осторожный, коснувшись перемены одежды, сказал:

— Тут есть что-то подозрительное. Как могло это произойти без чьего-либо соучастия? Или нечто еще худшее?

— Тысяча чертей! — бешено заорал Кошон. — Заткните вашу глотку!

— Арманьяк! Изменник! — закричали солдаты, стоявшие на страже, и бросились на Маргери с копьями наперевес. Злополучного судью удалось спасти с большим трудом: его чуть не пронзили пикой. Бедняга, он больше не вмешивался в допрос. Остальные судьи продолжали вести следствие.

— Почему ты снова надела мужское платье?

Я хорошенько не разобрал ее ответа, так как именно в это мгновение у одного из солдат выпала алебарда и грохнулась на каменный пол. Но, как мне показалось, Жанна ответила, что она надела платье по собственному побуждению.

— Но ведь ты обещала и поклялась, что никогда не станешь больше носить мужскую одежду.

Я с напряженным вниманием прислушивался, что она ответит на это. И ответ ее вполне совпал с моими ожиданиями. Она сказала совершенно спокойно:

— Никогда не собиралась клясться и не давала сознательной клятвы, что откажусь от мужской одежды.

Я так и думал, я был уверен, что она в четверг говорила и действовала бессознательно, и ее ответ подтвердил мое предположение. Жанна продолжала:

— Но я имела право снова надеть это платье, потому что данных мне обещаний не исполнили, а мне было обещано, что я могу посещать обедню и причащаться и что меня освободят от этих цепей, между тем как они не сняты до сих пор.

— Все равно ты отреклась, и обещание не носить мужской одежды было оговорено особо.

Тогда Жанна протянула этим бесчувственным людям руки в тяжелых оковах и грустно сказала:

— Лучше смерть, чем это. Но если цепи эти будут сняты, и если мне можно будет ходить к обедне, и если меня поместят в заточении, где ко мне будет приставлена женщина, то я исполню все, что вы сочтете нужным.

Кошон презрительно поморщился. Блюсти договор, который заключен с ней? Исполнить условия? Чего ради? Предложение условий — мера временная; она годилась, пока это было выгодно; но она уже сослужила свою службу, надо придумать теперь что-нибудь более свежее и полезное. Возвращение к мужской одежде могло пригодиться для всевозможных целей, но быть может Жанна сама проговорится о чем-либо, помимо этого рокового проступка. И вот Кошон осведомился, говорили ли с ней Голоса после четверга, — и при этом он напомнил ей о ее отречении.

— Да, — сказала она.

И из ее слов выяснилось, что Голоса говорили с ней об отречении — рассказали ей об этом. Она еще раз чистосердечно подтвердила Божественность источника своего вдохновения, и по ее спокойному лицу было видно, что она никогда не отрекалась от этого сознательно. Таким образом, я еще раз убедился, что она сама не замечала того, что происходило в четверг, на помосте. В заключение она сказала: «Мои Голоса заявили, что я поступила очень нехорошо, признав свои деяния преступными». Потом она вздохнула и добавила простодушно: «Но меня принудила к этому боязнь огня».

То есть боязнь огня заставила ее подписать бумагу, содержания которой она тогда не поняла, но понимала теперь, благодаря откровению Голосов и указаниям самих преследователей.

Она была теперь в здравом уме; утомление прошло; вернулась ее отвага, а вместе с ней — врожденная преданность истине. Она смело и спокойно говорила правду, зная, что этим она отдает свое тело тому самому огню, который казался ей столь ужасным.

Ее ответ был пространен, вполне чистосердечен, вполне свободен от каких-либо умалчиваний или полупризнаний. Я слушал и содрогался; я чувствовал, что она произносит свой смертный приговор. И бедный Маншон тоже понял это. И на полях отчета он приписал: *Responsio mortifera*.

Роковой ответ. Да, все присутствующие знали, что это — роковой ответ. Жанна замолчала, и воцарилась тишина, какая бывает в комнате безнадежно больного, когда сидящие у смертного одра глубоко вздыхают и тихо говорят друг другу: «Все кончено».

Здесь тоже все было кончено. Но через несколько мгновений Кошон, желая поставить последнюю заклепку, задал такой вопрос:

- Продолжаешь ли ты верить, что твои Голоса принадлежат святой Маргарите и святой Екатерине?
- Верю в это, как и в то, что они посланы Богом.
- Но на подмостках ты отреклась от них?

Тогда она ясно и напрямик заявила, что она никогда не имела намерения отречься от них; и что если — подчеркиваю это «если» — «если она в тот раз от чего-либо отреклась, то это сделано ею из боязни огня и является искажением истины».

Видите, опять. Очевидно, она не ведала тогда, что творила, и только потом узнала от этих людей и от своих Голосов.

Следующими словами, в которых прозвучала усталость, Жанна закончила эту мучительную сцену:

— Я предпочла бы сейчас же отправиться на казнь; дайте мне умереть. Я не могу переносить этот плен.

Душа, рожденная для солнечного света и простора, так рвалась на свободу, что готова была принять ее в какой угодно форме, хотя бы под видом смерти.

Некоторые судьи покинули залу взволнованные, опечаленные. Не таково было настроение остальных. На дворе замка мы нашли графа Варвика с сотней англичан — они нетерпеливо ждали новостей. Кошон, лишь только увидел их, крикнул, смеясь, — подумайте, кем надо быть, чтобы смеяться, погубив беспомощную бедную девушку:

— Будьте спокойны, с ней покончено!

ГЛАВА XXII

Молодости свойственно впадать в полное отчаяние; так было с Ноэлем и со мною. Но, с другой стороны, надежды молодежи легко возрождаются, и это свойство также отразилось в смене нашего настроения. Мы вспомнили о смутном предсказании Голосов и говорили друг другу, что победоносное спасение должно явиться «в последнюю минуту». Именно теперь настало последнее мгновение; именно теперь сбудется пророчество — придет король, придет Ла Гир, а с ними наши ветераны, а за ними — вся Франция! И мы снова ободрились, и нам уже слышалась эта волнующая музыка боевых кликов, бряцающего оружия и воинственного натиска, и нам уже грезилось, что дорогой пленнице возвращена свобода, что цепи ее раскованы и что она снова взяла меч.

Но и этот сон рассеялся. Поздно ночью пришел Маншон и сказал:

— Я только что из тюрьмы; и у меня к тебе есть поручение от этой бедной девушки.

Поручение ко мне! Будь он повнимательнее, он, вероятно, узнал бы, в чем дело, узнал бы, что мое равнодушие к пленнице притворно. Ведь я был застигнут врасплох, и я так сильно был взволнован и превознесен оказанной мне честью, что не мог скрыть своих чувств.

— Поручение ко мне, ваше преподобие?

— Да. Она обращается к тебе с просьбой. Она сказала, что заметила молодого человека, моего помощника, и что у него доброе лицо; не согласится ли он оказать ей услугу? Я ответил, что уверен в твоем согласии, и осведомился, в чем именно должна состоять услуга. Она сказала: письмо — не напишешь ли ты письмо к ее матери? Я сказал: конечно. И добавил, что сам я исполнил бы это с радостью. Но она возразила: нет, мне и так приходится много работать, и она полагает, что молодой человек охотно выведет ее из затруднения — сама она писать не умеет. Тогда я послал было за тобой, и ее печальное лицо просветлело. Бедная, одинокая — она обрадовалась, как будто ожидала свидеться с другом. Но мне не разрешили. Я сделал все, что от меня зависело, но отдан строжайший приказ не допускать в тюрьму никого, кроме должностных лиц; как и раньше, только должностные лица могут говорить с ней. И я вернулся и сообщил ей о неудаче — она вздохнула, и ее лицо снова опечалилось. А вот о чем она просит написать ее матери. Послание довольно странное, и мне оно совершенно непонятно, но она говорит, что мать поймет. Ты должен «передать ее семье и деревенским друзьям горячий любовный привет и сказать, что спасения не будет, потому что в этот вечер ей было видение Древа — в третий раз на протяжении года».

— Как странно!

— Да, это странно, но таковы были ее слова; и она сказала, что родители поймут. Затем она погрузилась в мечтательную задумчивость, и ее уста шевелились, и я услышал несколько слов, которые она повторила раза два или три, и, по-видимому, в этих словах она находила успокоение и утешение. Я записал, думая, что это имеет связь с письмом и пригодится тебе; но я ошибся: это просто какой-то отрывок, случайно воскресший в ее памяти и не имеющий значения, — ничего не разъясняющий.

Я взял лоскуток бумаги и прочел именно то, что ожидал найти:

И если мы, в чужих краях,
Будем звать тебя с мольбой,
Со словами скорби на устах, —

Отныне надежды не было. Теперь я понял. Я понял, что письмо Жанны было обращено и к Ноэлю, и ко мне, и к ее родным, и что своим посланием она хотела указать нам на тщетность всяких надежд; она сама хотела предупредить нас о предстоящей утрате, чтобы мы, ее солдаты, отнеслись к этому удару мужественно, как подобает нам и ей, и подчинились воле Господа; и в этой покорности мы должны обрести свое утешение. Это было похоже на нее: она всегда думала о других, не о себе. Да, ее сердце страдало за нас; она успела позаботиться о нас, о самых незаметных своих слугах, она пыталась смягчить нашу муку, облегчить бремя нашей скорби — она, которая пила воды горькие; она, которая шла по Долине Тени Смертной *Книга Иеремии, II, 6. (Примеч. пер.)* .

Я написал письмо. Надо ли говорить вам, какое это было страдание для меня. Я писал тем же деревянным грифелем, которым когда-то начертал первые слова, продиктованные Жанной д'Арк, — ее вдохновенное воззвание, приглашавшее англичан покинуть Францию; это было два года назад, когда Жанне было семнадцать лет. А теперь этот же грифель записал ее последние слова. После того я его сломал. Ибо перо, служившее Жанне д'Арк, не должно было унижаться служением кому-нибудь из оставшихся жителей земли.

На следующий день, 29 мая, Кошон созвал своих слуг, и сорок два откликнулись на его зов. Хотелось бы думать, что остальным двадцати было стыдно явиться. Совет сорока двух признал ее отпавшей еретичкой и приговорил к передаче светским властям. Кошон поблагодарил судей. Потом он отдал приказ, чтобы Жанну на другое утро доставили на площадь, называемую Старым Рынком; там она будет передана представителю светского суда, а этот в свою очередь передаст ее палачу. Это значило, что она будет сожжена.

Всю вторую половину дня и весь вечер вторника, 29 мая, весть о грядущем событии распространялась по окрестностям, и в Руан начали стекаться жители сел, желавшие видеть казнь; всякий, кто мог доказать свое сочувствие англичанам и получить пропуск, стремился в город. Улицы наполнились народом, возбуждение росло. И опять можно было подметить то, что многократно проявлялось и раньше: многие крестьяне в глубине сердца жалели Жанну. Это сочувствие становилось заметным всякий раз, когда ей грозила большая опасность; так было и теперь — стоило взглянуть на многочисленные лица, запечатленные немой скорбью.

В среду, рано утром, Мартен Ладвеню был послан к Жанне вместе с другим монахом, чтобы приготовить ее к смерти; Маншон и я сопровождали их. Для меня это было жестокое испытание. Мы шли по сумрачным коридорам, сворачивали то направо, то налево и проникали все глубже и глубже в эту огромную каменную твердыню. Наконец, мы стояли перед Жанной. Но она не заметила. Сложив руки на коленях и опустив голову, она сидела, погруженная в свои мысли, и ее лицо выражало беспредельную грусть. Нельзя было отгадать, о чем она думает. О своей ли отчизне, о мирных лугах, о друзьях ли, которых ей не суждено больше увидеть? О тех ли несправедливостях и жестокостях или о смерти? О той смерти, к которой она стремилась и которая была так близка? Или о том, какая смерть ждет ее? Лишь бы не о последнем! Ибо она страшилась только одного рода смерти, и эта смерть была в ее глазах несказанно ужасна. Я думал, боязнь такой смерти была в ней столь сильна, что она напряжением своей могучей воли отгоняла от себя эту мысль, и верила, и надеялась, что Бог сжадется над ней и пошлет ей более мирную кончину. И можно было предполагать, что принесенное нами известие поразит ее как совершенно неожиданное.

Некоторое время мы стояли молча, но она по-прежнему не замечала нас, погруженная в свои печальные думы. Немного погодя Мартен Ладвеню мягко произнес:

— Жанна.

Тогда она подняла на нас глаза, вздрогнула слегка и, слабо улыбнувшись, сказала:

— Говорите. Вы принесли мне известие?

— Да, бедное дитя мое. Мужайся. Думаешь ли ты, что у тебя хватит сил выслушать?

— Да, — тихо ответила она и опять опустила голову.

— Я пришел, чтобы напутствовать тебя перед смертью.

Легкая дрожь пробежала по ее изнуренному телу. Наступило краткое молчание. Среди тишины мы слышали собственное дыхание. Потом Жанна сказала тем же тихим голосом:

— Когда это произойдет?

Издали донеслись удары похоронного колокола.

— Теперь. Времени осталось немного. Опять легкий трепет.

— Так скоро... ах, это слишком скоро!

Воцарилась продолжительная тишина, нарушаемая только ударами далекого колокола. Неподвижно стояли мы и прислушивались. Наконец, молчание было прервано.

— Какая смерть ждет меня?

— Костер!

— О, я так и знала, я так и знала!

Она вскочила с места, как безумная вцепилась руками в волосы и начала судорожно рыдать, плакать, скорбеть, и она обращалась то к одному из нас, то к другому и с мольбой всматривалась в наши лица, как будто она надеялась найти в нас друзей и спасителей. Бедняжка, она сама никому не отказывала в дружбе и в помощи — даже раненому врагу на поле битвы.

— О, как жестоко со мной поступили! И неужели мое непорочное тело сегодня же делается добычей огня и превратится в пепел? Ах, скорее согласилась бы я семь раз положить голову под секиру палача, чем быть обреченной на такую мучительную смерть! Когда я изъявила покорность, то мне обещали церковное заточение; и если бы меня отправили туда, а не оставили во власти моих врагов, то я спаслась бы от этой ужасной судьбы. О, я взываю к Господу, к Вечному Судье, — да узрит Он, как несправедливо поступили со мной!

Ни один из них не мог оставаться спокойным. Они отвернулись, слезы текли по их щекам. В одно мгновение я бросился на колени, к ногам Жанны. Она тотчас заметила опасность, которой я себя подвергал, и прошептала мне на ухо: «Вставай! Будь осторожнее, добрая душа! Ну вот... Да благословит тебя Господь на всю жизнь!» И я ощутил быстрое рукопожатие. Последняя человеческая рука, к которой Жанна прикоснулась перед смертью, была моя. Никто этого не видел; историки об этом не знают и не рассказывают, но я говорю вам святую правду. В следующее мгновение Жанна увидела приближающегося Кошона; она выступила вперед и, остановившись перед ним, сказала:

— Епископ, из-за вас я умираю.

Он не был пристыжен или взволнован, но ответил ей невозмутимо:

— Будь терпелива, Жанна. Ты умираешь, потому что, не сдержав обета, вернулась к своим прегрешениям.

— Горе мне! — сказала она. — Если бы вы отправили меня в церковную тюрьму и дали мне справедливых и благопристойных тюремщиц, как обещали, то ничего этого не случилось бы. И за это вам придется отвечать перед Богом!

Кошон не устоял, его спокойная самоуверенность несколько омрачилась, и, повернувшись, он покинул келью.

Некоторое время Жанна стояла, задумавшись. Она успокаивалась, но по временам еще вытирала глаза, и иногда рыдания снова потрясали ее тело; однако приступы отчаяния были уже не столь сильны и повторялись все реже и реже. Наконец, она подняла глаза и, увидев Пьера Мориса, который вошел одновременно с епископом, спросила у него:

— Мэтр Пьер, где я буду нынче вечером?

— Уповаешь ли ты на Бога?

— Да, и по милости Его я буду в раю.

Затем Мартен Ладвеню исповедал ее; она пожелала причаститься. Но как же можно приобщить Святых Даров человека, который всенародно отлучен от Церкви и в такой же степени лишен права участвовать в таинствах, как некрещеный язычник? Монах не решался сделать это и послал спросить у Кошона, как ему надлежит поступить. Но в глазах этого злодея все законы, Божественные и человеческие, были равны — он не уважал ни тех, ни других. Он приказал удовлетворить все желания Жанны. Последние ее слова, быть может, пробудили в нем страх, но они не могли проникнуть в его сердце, потому что сердца у него не было.

И была дарована евхаристия этой бедной душе, которая в течение стольких месяцев страстно мечтала об этой милости. То была торжественная минута. Пока мы находились в тайниках тюрьмы, открытый двор замка успел наполниться огромной толпой — то были бедняки, мужчины и женщины, которые узнали о том, что происходит в келье Жанны, и, смягчившись сердцем, пришли... Зачем? Они сами не знали. Мы их не видели и не знали об их присутствии. А за воротами замка собрались еще большие толпы — тоже бедный люд. И когда мимо них были пронесены зажженные свечи, и шествие со Святыми Дарами направилось к темнице Жанны, то все эти люди опустились на колени и начали молиться за нее; многие плакали. В келье Жанны началось таинство причащения, а издали доносился тихий, печальный напев — невидимые толпы читали литию о спасении отходящей души.

С этих пор боязнь огненной смерти покинула Жанну, чтобы вернуться только на один короткий миг, после чего все ее страхи исчезнут, и вместо них воцарятся отвага и спокойствие.

ГЛАВА XXIII

В девять часов Орлеанская Дева, Освободительница Франции, покинула тюрьму и в ореоле красоты своей невинной юности отправилась отдать жизнь за отечество, которое она так горячо любила, и за короля, который покинул ее на произвол врагов. Она ехала в телеге, в которой возят только преступников. В одном

отношении с ней поступили хуже, чем с преступником: ибо, хотя ей еще предстояло выслушать приговор, который будет вынесен светским судом, однако на колпаке, вроде митры надетом ей на голову, были заранее начертаны слова осуждения:

ЕРЕТИЧКА, НАРУШИТЕЛЬНИЦА ОБЕТА,
ОТСТУПНИЦА, ИДОЛОПОКЛОННИЦА!

В повозке рядом с ней сидели монах Мартен Ладвеню и мэтр Жан Масье. Она была девственно прекрасна, нежна и непорочна в своем длинном белом одеянии, и когда она появилась из сумрака тюрьмы и, залитая волнами солнечного света, на одно мгновение остановилась светозарным пятном на фоне мрачных ворот, то над огромной толпой бедного люда пронесся говор: «Видение, видение!» И, упав на колени, они начали молиться. Многие женщины плакали. И мольбы об умирающей зарождались снова и могучей волной неслись дальше, утешая и благословляя Жанну на протяжении всего пути к месту смерти. «Иисусе, будь милостив! Сжался, святая Маргарита! Молитесь за нее, все святые, архангелы и преподобные мученики — молитесь за нее! Святые и ангелы, будьте ее заступниками! Боже милостивый, да минует ее гнев Твой! Господи Боже, спаси ее! Сжался над ней, Боже милосердный, молим Тебя!»

Справедливо и верно говорит по этому поводу некий историк:

«Неимущие и беспомощные ничего не могли дать Жанне д'Арк, кроме своих молитв; но мы верим, что молитвы эти не были бесплодны. История не знает другого столь же трогательного события, как эта рыдающая, беспомощная, молящаяся толпа, которая стояла у тюремных стен старой крепости коленопреклоненная, с зажженными свечами в руках».

И так всю дорогу: далеко раскинулась коленопреклоненная многотысячная толпа, густо усеянная бледно-желтыми огнями свечей — точно поле, по которому разбросаны золотистые цветы.

Впрочем, не все были на коленях: исключение составляли английские солдаты. Они стояли непрерывной цепью по обе стороны дороги; а за этими живыми стенами находились коленопреклоненные толпы.

Во время пути какой-то безумец в одежде священника, прорвавшись сквозь толпу и цепь солдат, бросился на колени рядом с повозкой, крича и рыдая, и умоляюще простер руки:

— О, прости, прости!

Это был Луазлер!

И Жанна простила. Простила его от всего сердца, которое не знало ничего, кроме всепрощения, сострадания и жалости по отношению ко всем страждущим — каковы бы ни были их преступления. И ни единым словом не упрекнула она этого жалкого негодяя, который дни и ночи взыскивал пути лжи, предательства и лицемерия, чтобы погубить ее.

Солдаты едва не убили его — граф Варвик спас ему жизнь. Дальнейшая его судьба неизвестна. Он куда-то удалился от мира, чтобы наедине терзаться угрызениями совести.

На площади Старого Рынка стояли те же два помоста и тот же позорный столб, которые накануне находились на Сент-Уанском кладбище. Разместились, как и раньше: на одном помосте — Жанна и ее судьбы; на другом — высокопоставленные лица, из коих на первом месте были Кошон и английский кардинал — Винчестерский. Площадь была запружена народом. Люди также толпились у окон и на крышах прилегающих домов.

Кончились приготовления. Мало-помалу все затихло, суэта прекратилась, и воцарилось тягостное молчание — торжественное, грозное безмолвие.

Наконец по приказанию Кошона некий священник, по имени Николай Миди, начал читать проповедь, посредством которой он желал доказать, что если виноградная лоза осквернится заразой, то ее надо отрезать прочь, иначе она погубит весь виноградник, то есть Церковь. Он утверждал, что Жанна, как отъявленная грешница, является опасной угрозой чистоте и святости Церкви и что поэтому ее необходимо умертвить. Дойдя до конца своей речи, он повернулся к Жанне, помолчал и произнес:

— Жанна, Церковь отныне лишает тебя своей защиты. Ступай с миром!

Жанну посадили совершенно отдельно, на виду у всех: этим хотели показать, что Церковь от нее отрекается; и она сидела там, одинокая, терпеливо и смиренно, ожидая конца. Теперь к ней обратился Кошон. Ему советовали прочесть ей вслух текст ее отречения, и он принес с собой эту бумагу; но он передумал, боясь, что она отреклась бессознательно, — и таким образом опозорит его навеки. Он удовольствовался тем, что посоветовал ей помнить о своих грехах, покаяться в них и думать о спасении души. Затем он торжественно провозгласил ее отлученной от Церкви. Заключительными словами своей речи он предавал Жанну светской власти — для вынесения приговора и казни.

Жанна, вся в слезах, опустилась на колени и начала молиться. О ком? О себе самой? О нет — о короле французском. Нежно и ясно звучал ее голос, и все сердца трепетали. Она ни разу не подумала о предательстве короля, не подумала о том, что он ее покинул, не вспомнила, что только из-за его

неблагодарности она осуждена на жестокую смерть. Она лишь помнила, что он — ее король, что она — его любящая подданная и что враги запятнали его честь ложными доносами и обвинениями, не дав ему возможности явиться для защиты. И вот, стоя на пороге смерти, она забыла о всех своих горестях и умоляла присутствующих отнестись к королю справедливо и поверить, что он добр, благороден и чистосердечен, что он никоим образом не повинен в ее поступках, что он ничего не предуказывал и не поощрял и вполне свободен от ответственности за ее деяния. В заключение она в смиренных и трогательных выражениях просила всех предстоящих молиться за нее и простить ей — просила об этом и друзей, и врагов, и тех, которые смотрят на нее без неприязни и жалеют ее в глубине своего сердца.

Едва ли хоть один из очевидцев не был растроган, даже англичане, даже судьи были заметно потрясены. И многие уста трепетали, многие глаза затуманились слезами. Кардинал Винчестерский — и тот не выдержал; он обладал государственным сердцем из камня, но его человеческое сердце было телесно.

Светский судья, которому было поручено вынести приговор и определить наказание, был столь взволнован, что забыл свою обязанность, и Жанна умерла, не выслушав приговора. Таким образом, дело, начавшееся беззаконием, кончилось так же незаконно. Он только сказал, обращаясь к страже:

— Ведите ее.

А палачу он сказал:

— Исполни свою обязанность.

Жанна попросила дать ей крест. Под рукой не оказалось. Но один из английских солдат, повинувшись влечению доброго сердца, сломал палку, сложил куски крестообразно и, связав их, подал Жанне это подобие креста; она взяла крест, поцеловала его и прижала к груди. Потом Изамбар де ла Пьер, отправившись в находившуюся по соседству церковь, принес ей крест освященный; она поцеловала и этот крест, и с восторгом прижала его к груди, и снова принялась целовать его и обливаться слезами, славя Господа и святых.

Не переставая плакать и прижимать крест к губам, она взобралась по жестким ступеням к позорному столбу. Брат Изамбар сопровождал ее. Потом ей помогли взойти на кучу дров, окружавшую нижнюю часть столба; она стала спиной к столбу, а люди смотрели на нее, затаив дыхание. Палач тоже поднялся наверх и обмотал цепями ее стройное тело, привязав ее таким образом к позорному столбу. Потом он сошел вниз, чтобы кончить свое страшное дело. Она осталась там одна; она, у которой было столько друзей в дни ее свободы и которую все так любили.

Все, что описано до этих пор, я видел — хотя смутно, сквозь слезы. Но тут не хватило моих сил. Я оставался на своем месте, но то, что я вам расскажу, я узнал впоследствии от других очевидцев. Я продолжал сидеть, и какие-то скорбные звуки слышались мне и терзали мое сердце. Но вот что я могу вам сказать: последний образ, запечатлевшийся в моей памяти в этот пагубный час, был лик Жанны д'Арк, по-прежнему сиявший юной красотой; и этот образ, не тронутый разрушительным временем, вечно живет перед моими глазами. Теперь продолжу свой рассказ.

Ошибался тот, кто думал, что в этот торжественный час, когда все преступники каются и открывают свои сокровенные мысли, Жанна д'Арк опровергнет свои слова и признает злом свои великие деяния и укажет на сатану как на своего вдохновителя. Ее непорочному уму были чужды подобные мысли. Не о себе, не о своих горестях она думала, но о других людях и о тех бедствиях, которые падут на их голову. И, окинув скорбным взглядом красивую панораму города с его башнями и колокольнями, она сказала:

— О Руан, Руан, неужели я здесь должна умереть и ты будешь моей могилой? Ах, Руан, Руан, боюсь, что тебе придется пострадать за мою смерть!

Облако дыма на мгновение окутало ее лицо, и мимолетный ужас охватил ее, и она вскричала: «Воды! Дайте мне святой воды!» Но страх ее тотчас рассеялся и больше не терзал ее.

Она услышала треск горящих поленьев, и забота о спасении ближнего, стоявшего на опасном месте, вытеснила остальные мысли. То был брат Изамбар. Она передала ему крест и просила поднять его кверху и держать перед ее глазами, чтобы она могла черпать надежду и утешение, пока не войдет в царство вечного мира. Она заставила его отстраниться от огня. После того она успокоилась и сказала:

— Теперь держите распятие перед моими глазами, до самого конца.

Но Кошон, этот человек, не знавший стыда, постарался отравить ее предсмертные минуты. Он подошел к ней — черная, преступная душа! — и крикнул:

— В последний раз предлагаю тебе, Жанна, — покайся и заслужи прощение Господа!

— Из-за тебя я умираю, — ответила она, и это были последние ее слова, обращенные к жителю земли.

Черный дым, из которого вырывались красные огненные языки, окутал ее густым облаком и скрыл из глаз. И из середины этого мрака доносилась ее звучная, красноречивая молитва; а когда ветер на мгновение слегка рассеивал тучу дыма, то можно было смутно разглядеть обращенное к небу лицо и шевелящиеся уста. Наконец, прорвалась кверху благодетельная волна огненной стихии, и никто больше не видел этого лица, этого стройного тела. И голос умолк.

Да, она ушла от нас — Жанна д'Арк! Как немного слов нужно, чтобы поведать, что наш роскошный мир опустел, обнищал!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жак, брат Жанны, умер во время великого руанского суда. Сбылось все предреченное Жанной на лугу, в тот день, когда она сказала, что мы, остальные, пойдем на войну.

Ее бедный, старый отец не смог пережить известия о ее мученической кончине — сердце его не выдержало. Матери Жанны была назначена пенсия от города Орлеана, и она прожила еще долго, пользуясь этим пособием. Через двадцать четыре года после смерти своей знаменитой дочери она совершила путешествие в Париж, зимой, и присутствовала на открытии совещания в соборе Парижской Богоматери — то был первый шаг к Восстановлению. Париж был переполнен народом, собравшимся со всех концов Франции; и они спешили взглянуть на почтенную старушку, и нельзя было не умилиться, созерцая, с каким благоговением растроганная толпа расступается перед ней, идущей в собор, где ее ожидали великие почести.

Коснусь теперь Суда Восстановления. Жанна короновала короля в Реймсе. Вместо награды он предоставил врагам возможность затравить ее насмерть, а сам не сделал ни единой попытки спасти ее. В продолжение двадцати трех лет он был равнодушен к ее памяти; равнодушен к клейму осуждения, которым попы запятнали ее доброе имя, мстя за все, что она сделала для спасения его самого и его державы; равнодушен к тому, что Франция устыдилась своего позора и начала мечтать о восстановлении доброй славы Освободительницы. Все это время он был равнодушен. Потом он вдруг переменял образ мыслей и начал сам требовать, чтобы бедной Жанне была оказана справедливость. Почему это? Почувствовал ли он, наконец, благодарность? Или угрызения совести подступили к его жестокому сердцу? Нет, он руководствовался более ценными соображениями — ценными в глазах таких людей, как он. Дело в том, что к этому времени, когда англичане были окончательно вытеснены из Франции, они начали поговаривать, что король получил свою корону благодаря женщине, которую церковный суд признал сообщницей сатаны и сжег на костре как колдунью; а потому, можно ли считать его настоящим, правомочным королем? Конечно, нет. Никакой народ не позволил бы такому королю оставаться на престоле.

Надо было приниматься за дело, и король больше не медлил. Вот почему Карл VII начал вдруг заботиться об оказании справедливости своей благодетельнице.

Он обратился к Папе; Папа назначил коллегия богословов и поручил ей ознакомиться с событиями жизни Жанны и сообщить свое заключение. Коллегия заседала в Париже, в Домреми, в Руане, в Орлеане и в других местах и в течение нескольких месяцев трудилась над этой задачей. Были исследованы отчеты суда над Жанной; были допрошены и Бастард Орлеанский, и герцог Алансонский и д'Олон, и Пакерель, и Курсель, и Изамбар де ла Пьер, и Маншон, и я, и многие другие, чьи имена знакомы вам по моим рассказам; кроме того, были вызваны больше ста свидетелей, чьи имена вам не столь знакомы: друзья Жанны из Домреми, Вокулера, Орлеана и других мест, — и многие судьи и очевидцы руанского суда, отречения и мученичества. И после такого всестороннего исследования личность Жанны, как и ее жизнь, была признана безупречной, непорочной, и это решение было занесено в отчет как окончательное и неизменное.

Приятно было слушать, как герцог Алансонский восхвалял военные дарования Жанны и когда Бастард красноречиво подтверждал этот хвалебный отзыв и затем начинал рассказывать, как кротка и добра была Жанна и сколько в ней было огня, стремительности, веселого лукавства, нежности, сострадания — всего чистого, благородного и прекрасного. Своим описанием он словно воскресил ее, и мое сердце болезненно сжалось.

Я окончил историю Жанны д'Арк, этого дивного ребенка, этой недостижимо высокой личности, этой души, которая была беспримерно свободна от какого-либо корыстолюбия, эгоизма или тщеславия. В ней вы не найдете и следа этих побуждений, а разве можно сказать то же самое о каком-нибудь другом деятеле всемирной истории.

У Жанны д'Арк любовь к отечеству была не только чувством, но и страстью. Жанна была гением Патриотизма; она была воплощенным, олицетворенным Патриотизмом, осязаемым и видимым.

Любовь, Милосердие, Сила, Война, Мир, Поэзия, Музыка — все эти понятия можно олицетворять как угодно; но стройная девушка, в расцвете своей первой весны, с мученическим венцом на голове, держащая в руке меч, которым она разрубила оковы отечества, — не будет ли она, и только она, служить олицетворением Патриотизма до скончания веков?



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

**«Strelbytskyy
Multimedia Publishing»**

Saksaganskogo str., 58, office 8
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

**«Мультимедийное
издательство Стрельбицкого»**

ул. Саксаганского, 58, оф.8
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Электронная книга издана
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:
www.strelbooks.com **www.audio-book.com.ua**

Желаем приятного чтения!
Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Эта книга охраняется авторским правом
Copyright © 2015
«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»**